

ЛЕОНИД
РАХМАНОВ

Люди

и народ

интересный

Г



ЛЕОНИД РАХМАНОВ



ЛЕОНИД РАХМАНОВ

Люди

и народ
интересный

Автобиографическая повесть



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Ленинградское отделение

1981




Книга известного советского драматурга и прозаика Л. Н. Рахманова принадлежит к жанру автобиографической прозы. Воспоминания о детстве и юности соседствуют в ней с рассказами о многих писателях и деятелях искусства, с которыми автору довелось дружить и работать в течение долгих лет. Впервые книга была издана в 1978 году.

Художник Михаил Новиков

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

зрослые
моего детства

..Я живу
Теперь не там...
Пушкин



*МОЕЙ ЖЕНЕ,
УБЕДИВШЕЙ МЕНЯ РАССКАЗАТЬ
О СВОЕМ ДЕТСТВЕ*

ОТ АВТОРА

Взрослые моего детства... Могут спросить — почему взрослые? Ведь детям всегда интереснее дети, и большую часть своего досуга они проводят среди равных себе. Даже если у ребенка нет ни сестер, ни братьев, он непременно разыщет сверстников, как бы тесно его ни окружали взрослые.

Разумеется, я не исключение. Я дружил с товарищами по школе, с детьми родных и знакомых, просто с соседскими ребятами. Река, лодка, рыбалка летом, коньки, лыжи, салазки зимой — все сближало меня со сверстниками. Как водится, у нас были свои интересы, тайны, свой мир, куда взрослые не имели доступа, и об этом я тоже рассказываю, без этого детство не детство. И все же игры и шалости, общение с однолетками, даже первая любовь заняли в книге второстепенное место. Вероятно, это произошло потому, что взрослые мне сейчас интереснее, в них больше запечатлелось время, причем время давнее, не похожее на сегодняшнее, — пятьдесят, шестьдесят лет назад не шутка!

Мало того, в ходе работы выяснилось, что взрослые были мне интересны и раньше, иначе я их не запомнил бы: сослуживцы отца, постоянные и случайные наши гости, соседи, мамыны родственники (отец не был местным уроженцем) — десятки взрослых людей толпились, оказывается, в моей памяти. Одни никуда и не исчезали, я их помнил всегда, — из-за того, что я был один ребенок

в семье, я невольно видел и слышал взрослых больше, чем это бывает обычно в многодетных семьях; другие возникали как бы из небытия — настолько прочно, на годы забылись, — и все же я о них вспомнил и решил рассказать, многие из них характерны для своего времени.

Сразу скажу, что никто из них не был революционером, общественным деятелем (пусть в уездном масштабе), — мое детство прошло в семье трудовой, но далекой от социальных проблем и преобразований. И хотя мне, подростку, нравилась ломка старых понятий — идейных, политических, религиозных, — я при всем своем мальчишеском радикализме оставался домашним мальчиком.

А быт дома, семьи сохранялся по форме прежним. Несмотря на войну, голод, испанку, тиф, по утрам пили кофе из собранных мною, сбитых палкой с заречных дубов желудей, в полдень и в восемь вечера пили морковный чай, обедали в четыре часа (картошкой без масла), — во всем по возможности соблюдался определенный порядок. . . Может быть, потому внешний мир, революционные сдвиги присутствуют в повести главным образом в одном смысле: видно, как изменяются судьбы знакомых мне, симпатичных и антипатичных, близких и чуждых, но так или иначе запомнившихся людей.

Когда я думал о том, как рассказывать, я стоял перед выбором: связный, последовательный рассказ или свободное сочетание отдельных, отрывочных глав и главков. Я остановился на втором варианте и заранее отказался от беллетристики: никакой выдумки, никаких ухищрений для занимательности. Пусть будет строго документальная проза, хоть и не подкрепленная «документами». . . Даже диалогов в ней будет мало: опыт показывает, что разговор всего труднее точно воспроизвести, если не считать счастливо попавших в семейную летопись метких фраз и словечек.

Я рад, что этой работой как бы отдаю долг родному краю и городу, откуда уехал полвека тому назад. Да, я очень люблю Ленинград, где живу с 1925 года. Я обязан ему, казалось бы, всем, начиная с первых литературных опытов. Это здесь, в Ленинграде, я принялся жадно впитывать его старую и новую историю. Это он тесно связал меня со страной, с ее заботами, с ее будущим. Но Котельничу я обязан, может быть, главным: первым

толчком, первой тягой к прекрасному — прекрасному в жизни, в природе, в театре, в музыке.

Став потом литератором и наезжая в Котельнич, я всякий раз непременно усаживался за письменный стол (им часто служил подоконник или отцовская чертежная доска) и усердно работал. Так, летом 1928 года я написал в Котельниче свою первую повесть «Полнеба», напечатанную вскоре в журнале «Звезда», летом 1929 года — повесть «Племенной бог», в 1932 году закончил повесть «Базиль», в 1935 году набросал самый начальный вариант «Беспокойной старости» (будущий «Депутат Балтики»). Список написанных там вещей можно бы продлить, — как же мне не быть благодарным Котельничу?



ПОЖАРЫ

Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо
и дверь.

Пушкин

Э тот день стал как бы осуществлением страшного сна, который из года в год мы видели по ночам, не могли забыть днем и покорно ждали, когда он исполнится наяву. Кто не жил в маленьком городе, состоявшем наполовину из деревянных домов, окруженных деревянными же амбарами, сараями и курятниками, тот не знает таких навязчивых страхов. Чего стоил один набат — этот словно взбесившийся, бьющий по нервам дробный блям колокола, висевшего на пожарной каланче в соседнем квартале. Особенно страшен зловещий набат был ночью. Он нас будил, мы вскакивали, впопыхах одевались, не зная, что горит, где горит, далеко или близко. Однажды и среди дня, без набата, мы опрометью выскочили из дому, когда к нам с неистовым криком ворвалась незнакомая женщина:

— Горитё ведь вы! Горитё!

Проходя мимо, она увидела, как крышу нашего флигелька всю осыпают искры из труб нависавшей над ним двухэтажной некарни. В давно не чищенных (если их когда-либо чистили) дымовых трубах сажа горела часто, обильно, пылко, и пекарне это ничуть не вредило: крыша на ней была железная. Наша крыша была деревянной, но мы тоже постепенно привыкли к горящей саже, к пышным, раскидистым снопам искр, и как-то вечером, когда к нам пришли гости, папа даже прервал священнодействие ужина и повел гостей во двор — полю-

боваться очередным фейерверком: у Верещагиных опять горела сажа. Гости ахали, ужасались, а мы — мы уже немного гордились! Во всяком случае, я, но кажется мне, что и папа чуть-чуть гордился.

Привычка привычкой, но в глубине души мы сознавали, что играем с огнем, что придет день или, еще того хуже, ночь, и мы из-за этой пекарни сгорим. Впрочем, пожар настойчиво подбирался к нам то с одного, то с другого бока. Он подступил почти вплотную, когда в нашем квартале, на противоположной стороне улицы, загорелись и сгорели четыре полукаменных дома, принадлежавших до революции купцам Зубаревым и Селезневым, торговавшим льном и холстом с границей. В годы гражданской войны в них разместились тыловые госпитали, как и во всех немногих больших домах нашего мещанского и купеческого городка. Пожар случился ночью, зимой, раненых и тифозных в одном белье перетаскивали на носилках и на руках в другие госпитали, и без того переполненные; можно представить, каково им было вдаль от войны спастись от огня. Мы тоже начали вытаскивать из дому свои пожитки: горело так близко, что трудно было надеяться на счастливый исход. Тем более, что против нашей одворицы стояли нежилые бревенчатые бараки, где летом селились ратники, проходившие воинский сбор. Осенью и зимой бараки никто не охранял, крыши на них были худые, замшелые — самая легкая добыча для прожорливого огня, — и лишь узкая полоска сада отделяла крайний левый барак от пылавшего в эту ночь, как факел, селезневского дома. Однако бараки уцелели, и еще несколько лет, вплоть до самого главного, стихийного пожара, уничтожившего две трети, если не три четверти города, стояли пустые, с забитыми окнами. Не успели восстановить и купеческие дома, нижние, каменные их этажи чернели оконными впадинами, закоптелыми стенами, навевая тоску заброшенностью и безлюдьем.

Словом, вся противоположная сторона нашего квартала, от Нижней площади до улицы Карла Маркса, в продолжение шести с лишним лет оставалась нежилой. Это было, конечно, неприятно, всегда казалось, что в этих развалинах, с их нелепо торчавшими высокими печками, с хлопающим от ветра полуоторванным железным листом и все еще где-то посвистывающим и пощел-

квивающим вентилятором, прячутся бандиты и жулики, готовые в любой момент, особенно в темные осенние вечера, раздеть тебя с головы до ног. Горожане по той стороне улицы ходить избегали; полквартала так и осталось без тротуаров, как важно называли у нас деревянные с шатучими досками мостки.

Но привыкнуть можно, повторю, ко всему, и мы к этому неудобству и уродству привыкли. Правда, еще год-два, и дома бы, наверно, отстроились: страна начала заделывать бреши, причиненные семилетней войной, начала строить, больше того — воздвигать. В начале мая 1926 года я вернулся домой после годового отсутствия: вернулся с заканчивавшейся строительством Волховской ГЭС, первой нашей сверхмощной для того времени гидроэлектростанции. Едва я успел немного отдохнуть, как уже надо было приниматься за подготовку к экзаменам: я собирался поступать в Ленинградский электротехнический институт — дело непростое.

Утром 26 мая я сидел за столём у окна и решал уравнения из памятного многим поколениям алгебраического задачника Шапошникова и Вальцева. За два года, прошедших после окончания школы, занятие это было не столь уж легким, и я не сразу заметил тревожное оживление на улице. Когда же заметил и открыл окно, то услышал тревожные слова:

— В Шуршонках горит!

Шуршонки — это была приткнувшаяся к городу деревня, по существу продолжение нашей улицы, только за железной дорогой, пересекающей город. Улицу Луначарского и Шуршонки соединял виадук, перекинутый через железнодорожные линии. Как себя помню, я любил на нем стоять и смотреть вниз и вдаль, на рельсы, уходящие к железнодорожному мосту в семьсот метров длиной, на его пять пролетов, пять арок, шагающих через реку Вятку. Это здесь я питал свой мальчишеский интерес к урбанизму. Стихотворения Маяковского «Бруклинский мост» я тогда еще не мог знать, оно появилось позже, зато вдохновенно декламировал про себя (а иногда и вслух) брюсовские стихи:

Улица была как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый рок.
Мчались omnibusы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток...

Ни подо мной, ни вокруг меня не замечалось ни малейшего признака бешеного движения. Редко-редко проходил товарный, еще реже — пассажирский поезд, обдавая гордо стоявшего на виадукке молодого индустриала паром и дымом, по прилегающим улицам и по площади плелись крестьянские лошадки, запряженные в телеги и тарантасы, чинно шли пешеходы, — спешить было совершенно некуда. Что до автомобилей, то в Котельнице их попросту не было, ни легковых, ни грузовых; даже пожарные ездили пока на лошадях.

— Горит в Шуршонках! . .

Где бы ни горело, жители наши, узнав о пожаре, выбегали на улицу. И не только от страха или из любопытства: многие, как например мой отец, непременно бежали на пожар, чтобы помочь тушить, — такова была провинциальная традиция, приближавшаяся к неписаному деревенскому закону, по которому все соседи сбегались гасить загоревшуюся избу или овин, пусть даже их самоличным хозяйствам не грозила опасность. Лишь однажды, я помню, мой серьезный, не склонный к озорству отец рассказывал, как они с приятелем в молодые годы, под видом того, что тушат пожар, пихали и кидали в огонь все, что попадалось под руку: деловые бумаги, прошнурованные с печатями конторские книги, — горела полиция!

Услыхав про Шуршонки, я захлопнул задачник, выскочил за ворота и сразу увидал клубы густого дыма, быстро несущиеся по небу из-за железной дороги в нашу сторону. Не успел я решить — бежать мне сразу туда, где горит, или не оставлять маму одну, дожидаться папы — скоро обеденный перерыв, — как вдруг папа меня окликнул. Вместе с моим школьным другом Колей Карловым они примчались с горы, где к Верхней площади примыкала обширная территория городской больницы, главным врачом которой был Колин отец, а кварталом ниже жила их семья.

Чуть раньше, чем я, в самом начале одиннадцатого, Коля услышал от пробежавшего мимо дома мальчишки:

— Дяденька, пожар!

Выбежав на улицу, Коля увидел большой столб дыма, поднимающийся где-то в районе железной дороги, примерно там, где жили мы; как был, в сандалиях, в

домашней куртке, он побежал к нам и почти сразу догнал моего отца.

Очень скоро папа и Коля поняли, что горит далеко, за железной дорогой, и умерили шаг. Правда, ветер дул как раз оттуда, с запада, и довольно сильный, день стоял жаркий, несмотря на май, но пока еще ничто не предвещало большой беды. И все же в Шуршонки отправились только мы с Колей; папа, вопреки традиции и характеру, остался дома: по-видимому, мама попросила остаться, она пуще всех в нашей семье боялась пожара.

Добежав до виадука, мы оглянулись — и остолбенели: дым валил уже возле самого нашего дома! Ничего не поняв, что произошло, как, почему возник новый пожар (в первый момент создалось впечатление, что это два независимых друг от друга пожара), мы с Колей ринулись назад. Оказалось, что загорелся дом нашей соседки, старой учительницы. Отец побежал в ее двор, хотел взобраться на горевшую крышу двухэтажного деревянного дома, но не нашел лестницы. Сейчас он уже влез на крышу ближних к дому Екатерины Матвеевны наших старых амбаров.

Ветер усиливался с каждой минутой и разносил горящую паклю с места пожара, со складов кудели и льна, лепя ее на все деревянные крыши города. Так в первые же полчаса загорелась деревянная каланча, и набат умолк. Умолк навсегда: после пожара каланчу не восстановили. А в тот злополучный день, когда одновременно пылали все городские улицы, местные пожарные вообще мало что смогли сделать.

Зато упорно, систематично тушили пожар вблизи железной дороги мои любимцы — паровозы, спешно прибывшие с соседних станций. Скромные трудяги-маневрушки — «Овечки», «Щуки», как называли их по первым буквам «ОВ» и «Щ», — постоянно дежурившие на станциях Котельнич-1 и Котельнич-2, вступили в борьбу с огнем еще раньше. Только благодаря паровозам, качавшим воду из своих тендеров, удалось отстоять вокзал, многочисленные станционные постройки — пакгаузы, склады, сберечь мельницу «Коммуну» на Нижней площади, военные казармы, нефтяные баки. Посчастливилось жителям всех ближних к железной дороге кварталов, в частности нам. Если бы не паровозы, охраняв-

шие Нижнюю площадь, нам бы не удалось спасти добрую часть домашних вещей, да и самим пришлось бы худо. Так, жителям центра пришлось спасаться в городском овраге с протекавшей по нему речкой Балакиревицей и на реке Вятке. Правда, и на реке в тот день много раз загорались плоты и сложенное на них имущество, но там можно было побросать вещи в воду и самим туда залезть, что жители и проделывали. Пристань же и стоявшие на причале и на якорях баржи увели подалее от города пароходы. (Моторных катеров в речном обиходе, сейчас столь многочисленных, тогда не было.) Больницу отстояла вызванная по телеграфу вятская пожарная команда, усиленная вятскими же курсантами, красноармейцами и рабочими.

Но обо всем, что происходило в макромире нашего городка, мы узнали потом, — события развернулись с такой быстротой, что мы едва поспевали за огнем в микромире нашего участка, нашего дома. Сначала отец не принимал участия в спасении утвари — весь первый час провел на крышах, преграждая дорогу огню к жилому дому. Наши старые пустые амбары тянулись на большом пространстве, окружали почти весь участок, и отцу приходилось перебегать, перелезать и переползать с крыши на крышу. Да, и переползать, потому что гнилые доски то и дело проваливались, а ведь часть амбаров была двухэтажной. Коварно опасен был и высокий навес, ни разу за много десятков лет не чиненный. Мама увязывала носильные вещи в узлы, мы с Колей вытаскивали эти узлы во двор, потом на середину улицы, потом предстояло им переместиться на Нижнюю площадь.

Неоценимую помощь нам оказали наши друзья — крестьяне из ближних деревень, расположенных верстах в пяти, в семи от города. Узнав, что Котельнич горит (тучи дыма видны были издалека, да и слух о пожаре быстро разнесся по всей округе), они кто прибежал, кто приехал на лошади (тем более великодушный поступок для любого крестьянина) и рьяно принялись выносить и увозить наши вещи в относительно безопасное место.

Не обошлось без курьезов. Скажем, мы с молодым мужиком вымахнули из дома окованный железом старинный сундук с бельем и одеждой; один угол которого

в обычное время я бы не мог приподнять даже на вершок от пола! Потом тот же самый Михаил Сивков, симпатичный мужик, которого я помню всегда улыбающимся, начиная с минуты, когда он впервые у нас появился, вернувшись из германского плена, на моих глазах бежал по двору с туалетным зеркалом, стоявшим обычно на мамином комод; крепко держа его перед собой обеими руками, он вдруг загнулся за что-то, упал — и толстое стекло треснуло пополам. Это был единственный раз, когда я заметил, как с Мишиного лица сошла обычная белозубая улыбка и появилось выражение озабоченности и огорчения. . . Впрочем, зеркало существует и сейчас, пусть с трещиной, а Михаила Сивкова давно нет: вещи, как известно, надолго переживают людей.

Не знаю, как вернее сказать: время не то убыстрилось, не то замедлилось, — во всяком случае, с ним произошло какое-то волшебство, ибо за час-полтора мы успели сделать и спасти столько, что нам и не снилось в самых подробных пожарных снах. Все делалось «на-ускоре», «впробегутки», выражаясь по-местному. Вытаскивали вещи не только из комнат, из кухни, из сеней, с чердака, который назывался «подволокой», но и из соседнего с домом амбара, служившего для нас летом чем-то вроде дачи: там было прохладней, чем дома, мы пили там чай, обедали, даже принимали гостей, хотя обстановка была совсем не парадная. Над головой угрожающе нависала лежавшая на балках большая лодка, которую никогда не спускали на воду, — для этого существовала другая, значительно меньших размеров; вдоль двух стен — задней и боковой — протянулись поленицы отборных березовых дров, предназначенных для самой морозной поры. Представляю, как жарко они пылали и как дружно трещали, когда добрался до них огонь!

Третья стена амбара была для меня самая интересная: отведена плотницким, столярным, слесарным инструментам, моткам проволоки, связкам бечевки, веревок и рыбачьим снарядам. У четвертой стены, обращенной во двор, подле широких двустворчатых дверей, стояли разные брусья, рейки и колья, а также мои и отцовские лыжи. Именно здесь отец и я что-нибудь мастерили: здесь не страшно было настрогать, насорить — легко по-

том подмести. Пол был простой, некрашенный, но, как и в доме, имелась необходимая для житья-бытья мебель: стол, диван (со спинкой и подлокотниками, оклеенными фанерой красного дерева, пусть облупившейся), простые, крепкие стулья. Начиная с весны, как только становилось теплее, мы обживали эту нашу дачу; кухня, естественно, оставалась в доме, обед и кипящий самовар для утреннего и вечернего чая приходилось носить из кухни. Зато в открытые настежь двери мы видели весь наш зеленый, заросший травой и лечебной ромашкой двор, слышали свист носившихся над двором и над крышами ласточек и стрижей. (Где они были во время пожара? Улетели из города? А птенцы? Научились ли они уже летать к тому времени?)

Но вот я сказал: «дрова трещали» — и подумал о том, что шум, треск пожара мы еще слышали, а вот все остальное — сборы, хлопоты, беготня, бесконечная, терпеливая и бесстрашная борьба папы с бесчисленными кострами и костерками — очажками пожара на крышах, и прочее, и прочее, и прочее, да и весь этот день, весь пожар в городском масштабе, — запомнилось мне как немой фильм, без единого слова. Собственно, звуковых фильмов тогда и не существовало, все фильмы были немыми, так что сравнение это я делаю единственно для того, чтобы подчеркнуть безмолвие происходившего с нами и вокруг нас. Наверное, мы перекидывались какими-то необходимыми фразами, короткими репликами, но впечатление таково, что мы все только действовали, совершенно не переговариваясь. Так оно, наверно, и было: как начался этот пожар без привычного для всех прежних пожаров набата, так он и продолжался, так и закончился: немой, немой, как в немом сне. . .

Я не раз называл имя моего друга Коли Карлова, самого деятельного участника спасения нас от огня. Что в это время происходило в его семье, в его доме? Вытаскивать вещи практически было некому — одни женщины; Николай Иванович, как главный врач, не считал возможным покинуть больницу, которой угрожала опасность; младший брат Боря за день до пожара уехал вместе со своим выпускным классом в Вятку, а Коля. . . Коля долго не мог попасть в свой район: пути оказались перерезаны огнем. С Нижней площади, от «Коммуны», была хорошо видна поднимающаяся в гору Советская

улица с пылающими справа и слева домами, с объятыми пламенем колокольнями Троицкого собора и Никольской церкви, с уже сгоревшей деревянной аркой поперек улицы (осталась после Первомайского праздника); пройти, пробежать сейчас вдоль этой улицы — все равно что проскочить сквозь огненный коридор более чем километровой длины. И Коля его проскочил, но — поздно: их квартира сгорела.

Мы оба хорошо помним, как в последний раз подбежали к нашему дому, когда он тоже уже горел. Горел и отделенный от него воротами и калиткой наш старый, уже три года как нежилой дом. Горел забор и лежащие за ним бревна — складница на высоту роста плюс поднятая рука. Все это пылало так жарко, что нас поразило — откуда такая сила у маленьких, низких строений. Ведь двухэтажный верещагинский дом еще не горел — он загорелся уже от нашего флигеля, через какие-то считанные минуты, но все-таки после. Вот ирония судьбы: всю жизнь мы боялись соседства этой пекарни, осыпавшей нас искрами из своих труб, а вышло так, словно мы ее подожгли!

Хотя горела пока лишь одна сторона улицы — наша, жар стоял такой, что нам с Колей не удалось унести вытасканный на улицу зеленый шкаф, обычно стоявший в сенях (в нем и зимой и летом хранились различные варенья), — сейчас он лежал на самой середине дороги. Одновременно схватившись за него с двух концов, мы в тот же миг отскочили: масляная краска так раскалилась, что уже пузырилась и мы, отдернув обожженные руки, почувствовали, что, останься мы здесь еще с минутой, и одежда на нас задымится. Помню, как, добежав до площади, я с облегчением сунул голову под струю из водоразборной колонки, из которой обычно мы брали питьевую воду. Потом я жалел, что не схватил лежавшие рядом со шкафом весла от лодки (лодку мы с папой как раз накануне пожара спустили на реку), прильнув к земле, они, вероятно, раскалились меньше, чем шкаф.

Недавно Коля Карлов (ныне врач Николай Николаевич, с сорокапятилетним стажем, отец и тесть врача; все трое работают в Котельнической больнице) напомнил мне любопытную подробность: по ту сторону улицы, где еще ничего не горело, какой-то человек торопливо ломал

забор, отделявший деревянные бараки от сгоревших семь лет назад селезневских домов.

— Разве ты его не узнал? — спросил меня Коля. — Это был Николай Семенович Зырин.

Я почему-то не помню, как выглядел Зырин. Между тем это был известный в городе человек: бывший председатель уездной земской управы, бывший помещик (единственный в нашем уезде), бывший хозяин огромного участка земли, простиравшегося от улицы Луначарского (бывшей Воробьевской) до Советской (бывшей Московской), бывший хозяин прекрасного дома из лиственницы, где помещался после революции городской клуб, бывший хозяин не раз упомянутых деревянных барачков и многочисленных надворных построек, где разместились казенные склады... Зачем же Зырин ломал забор? Что он пытался спасти? Муниципализированные дома, право собственности на которые он никогда не вернет? Дело обстояло проще. Зырину разрешили построить на бывшем его участке, вернее на малой его части, примыкавшей уже не к центральной, а к нашей улице, небольшой домик, в котором он жил и вокруг которого развел садик (за забором не было видно ни дома, ни садика), — их-то он и пытался спасти от огня, ломая заборы... Конечно, ему это не удалось. Как не удалось почти никому.

Почти... Значит, кому-то все-таки удалось? Да, на главной, Советской, улице огонь не пошел дальше Верхней площади и не тронул больницы; на улице Луначарского остановился кварталом ниже, дойдя до большого, красивого, трехэтажного здания школы, в которой мы с Колей учились; на Октябрьской и Пролетарской улицах пожар не перешагнул за овраг, перерезавший город на две приблизительно равные части. Что остановило пожар? Кроме усилий гасивших его людей были опять же и естественные причины. Прежде всего льняной склад, из которого летела во все концы города пылавшая или тлевшая куделя, сгорел начисто. Затем сильный и все усиливавшийся в первой половине дня ветер (казалось, что сам пожар, разгораясь, создает этот бурный воздушный поток, а возможно, что так и было) стал утихать. И наконец, как это часто бывает в результате большого пожара или после длительного артилле-

рийского боя, тучи дыма образовали дождевые тучи, и хлынул обильный дождь, благодатный дождь. . .

Ах, какое это было блаженство! Кажется, еще никогда в жизни мы не испытывали такой радости от дождя, — эту радость я помню, чувствую и сейчас; а вот долго ли шел этот дождь, не помню. . .

Зато хорошо помню, как со знакомым мужиком Константином из деревни Вшивая Горка я под вечер поехал на лошади по сгоревшему городу, как приехали мы к нашему двору и не нашли там ничего, кроме дымивших головешек: это догорали врытые в землю бревна парников в огороде и венцы бревенчатых срубов колодца и погреба. Обгорели, но не упали наземь деревья — любимые мной тополя, березы, черемуха, липа, на которые в детстве я с упоением лазал. Обойдя наш участок, мы прошли на соседний: там тоже все было пусто, голо, черно — ни двухэтажного, стоявшего в глубине двора деревянного дома, в котором я часто бывал у Екатерины Матвеевны, ни амбаров, ни колодца, ни погреба; и так же, как у нас, стоял черный, как уголь, сгоревший сад, и точно так же везде пахло гарью и дымом.

Мы вышли на улицу. То, что я здесь увидел, меня потрясло, впервые за этот день заставило оцепенеть физически и душевно, — впервые, ибо весь день пребывал я в непрестанном движении, в действии, в желании действовать, даже сейчас, когда бродил по участку. А увидел я на улице вот что: на середине дороги, напротив сада Екатерины Матвеевны, лежала она сама, мертвая. Лежала на спине, вся одежда сгорела, только под темным чернела кружевная наколка, в которой я ее всегда помнил; в правой руке зажата связка ключей, на запястье левой виднелись часы; они шли, в тишине явственно слышалось тиканье. Тело Екатерины Матвеевны не обгорело, лишь слегка вздулось, поэтому выглядело молодым, что дало повод флегматичному Константину заметить:

— Ну и ну! Ровно девка лежит!

Первым моим движением было закрыть это тело. Чем? Даже сена ни клочка не было на телеге. И вокруг ни травы, ни зеленых ветвей. И никого, к кому мог бы я обратиться.

Константин молча сел на телегу, я рядом с ним, и мы укатили, оставив мертвую Екатерину Матвеевну. Не

знаю, как мы могли иначе поступить, куда увезти ее тело,— мы даже не знали, цела ли городская больница с покойницей.

На следующий день я с моими родителями снова пришел на пепелище. Труп старой учительницы на улице уже не было. К тому времени мы узнали, что человеческих жертв от пожара немного: сгорела соборная сторожиха или монашка, которая зачем-то заперлась в церковной сторожке, сгорел какой-то старик, бежавший через Соборную площадь с самоваром в руках и внезапно охваченный огнем; сгорело еще несколько человек. Обожженных, конечно, было немало.

На этот раз мы внимательно, сверхвнимательно осмотрели участок — не осталось ли чего-нибудь годного. Остались железные части лопат, вил, ухватов, кочерг, различные задвижки, болты, гвозди, щеколды, скрюченные, искривленные куски толстой проволоки, еще какие-то железяки. В погребной яме лежало, стояло, свернувшись набок, несколько обгоревших, с почерневшей или совсем отвалившейся эмалью кастрюль, чугунков, горшочков.

Нашли скелет козы Гульки, которая вчера забилась в угол сарая, где она жила и откуда ее не могли ни выгнать, ни вытащить. Кто-то мельком вчера заметил, как кошка шмыгнула на чердак, а щенок под мостки,— там они и сгорели. А вот куры... куры почти все уцелели, сгорела только одна, высиживавшая цыплят. Принято говорить: «Она (или он) — настоящая курица», считая кур образцом бестолковости. Между тем шеф наших кур, петух, организованно вывел их со двора, затем на площадь, там они где-то бродили или ютились,— в самое горячее, вернее, горячее время мы их не видели, не до них. Сегодня же мы нашли наших кур на Нижней площади: во главе с полным достоинства петухом они ходили, прилежно поклевывая рассыпанные на утоптанной, уезженной земле ржаные, пшеничные, ячменные зерна; им явно по нраву пришлись окрестности мельницы, где в обыденной своей жизни они никогда не бывали и кроме овса и отрубей ничего не пробовали.

Как же случилось, что город сгорел на две трети? Как могла выгореть на протяжении двух километров главная улица, почти вся состоявшая из каменных до-

мов с железными кровлями? Как сгорели три каменные церкви, в том числе и старинный толстостенный собор, рядом с которым на целый квартал простирался каменный же гостиный двор, тоже с толстыми стенами и сводчатой каменной галереей, где было всегда прохладно? Да, бесновался огненный вихрь, но могло бы еще обойтись, если бы не дворовые постройки: амбары, сараи, дровяники — все это было деревянным, а то и ветхим, все легко вспыхивало даже от одной искры. Взглянуть бы тогда на город со стороны! Наверно, это было похоже на Страшный суд, только грешники не корчились в адском пламени, не вопили, грозя небу кулаками, а деятельно таскали на себе свое добро, порой забывая в доме ценные вещи, а спасая рухлядь и хлам.

С чего же все началось?

Разумеется, провели следствие, и подозрение сперва пало на столяра и гробовщика Зайцева, проживавшего в деревне Шуршонки. Якобы он в то утро варил во дворе олифу и то ли по небрежности, то ли по забывчивости упустил момент, когда костерок разгорелся и пламя охватило накопившийся в углу двора строительный мусор. Рядом же с зайцевским двором находились те самые склады льна, о которых я уже дважды упоминал, — они-то и сделались разносчиками пожара, невольными поджигателями, погубившими город. Бывают же такие злосчастные совпадения: именно в этот день, с утра пораньше, по случаю хорошей погоды, вынесли лен и куделю на крышу для просушки. И через час начался пожар...

Недавно я прочел в местном краеведческом музее записи моего отца, бывшего в те годы техником Совнархоза:

«Возник пожар в пригороде, в так называемой деревне Шуршонки, в западной части города, в доме Зайцева Александра Ильича. Много было догадок о причине пожара, были и аресты по подозрению, но дознаться истинной причины так и не удалось. Самого хозяина, по профессии столяра, тогда дома не было, он находился, как староста, в церкви, был какой-то церковный праздник. Подозревался его квартирант Куликовский, глухой и вечно с трубкой во рту старик, тоже занимавшийся столярным ремеслом во дворе; предполагали, что он, как курящий, мог заронить искру в стружки, а ветер раз-

дул ее в пожар. Но, видимо, он сумел доказать свою невиновность и был освобожден. Едва ли не достовернее будет версия, которую мне случайно пришлось выслушать уже несколько лет спустя от одного из граждан, прибывших к месту пожара в самом начале, когда горела нижняя часть тесового крыльца. Он передавал, что огонь вырвался как раз из-под лестницы и возник от горячих углей, вынесенных в корчаге в кладовку и не заглушенных крышкой по забывчивости и торопливости, с которой вынесшая угли женщина вернулась в дом к заплакавшему в этот момент ребенку. . .

Но, что бы ни было причиной пожара, — пишет дальше отец, — к шести часам вечера от города осталась лишь четверть, лучшую его часть вымело огнем. Сила огня была такова, что о тушении уже не думали, а спасались сами. . . Я знаю случай, когда от нивелира, вынесенного с прочим имуществом на берег, осталась только часть медной трубы с расплавленным стеклом объектива».

Сейчас и я вспомнил случай, характеризующий силу ветра в часы пожара. В двадцати пяти километрах от Котельнича находится село Пищальское. С высокого берега Вятки в ясный день можно увидеть сельскую колокольню, — она белеет на синей лесной полосе на горизонте крохотным восклицательным знаком. В это село и принес воздушный поток легкую шелковую косынку, как весть о беде, — двадцать пять километров летела эта необычная аэрограмма. . .

Теперь несколько слов вообще о Котельниче. Кто знал, кто слышал о нем до пожара? А ведь городок существует с XII века, когда он был черемисским селением и назывался Кокшаров; уже в конце века его завоевали новгородцы и наименовали Котельничем, от слова котел: центр города и сейчас расположен в котловине между двумя горами. Вот летописные сведения, относящиеся к 1629 году:

«Город Котельнич над рекою Вяткою, деревян, ветх. Всего в городе и на посаде пять церквей, да церкви без пения. Да в городе и на посаде семь дворов церковных, да двор съезжий для посланников, да два двора пушкарских, да два двора монастырских, а в них живут старицы, да двадцать пять дворов тягловых людей, и

людей в них тож (иначе говоря, взрослых мужиков.— Л. Р.) да двадцать шесть дворов пустых, да тридцать семь дворовых мест пустых. За посадом, за рекой Балакиревицей, монастырь Ивановской, а в нем церковь во имя Рождества Ивана Предтечи деревянная, а на монастыре семь келий, а в них живут черноризцы, старец Иов с братию, да к тому монастырю на монастырской стороне монастырские бобыльские четыре двора».

В новое время — я имею в виду XIX и начало XX века — Котельнич хорошо знали ссыльные и их близкие родичи: ссылали в наш город часто, в те годы, когда через него еще не прошла транссибирская магистраль. Несколько лет жил в Котельниче Беклемшев, народо-волец, сюда же сослали и его сына; до сих пор на улице Луначарского, в нагорной ее части, сохранился деревянный домик (пожар его не достиг), где в юности проживал Н. Е. Федосеев, с которым в девяностые годы переписывался В. И. Ленин.

В 1926 году неведомый почти никому Котельнич благодаря пожару приобретает всероссийскую известность, чуть ли не славу: о нем пишут в газетах, сравнивают котельнический пожар с другими известными большими пожарами, например в Сызрани, собирают и шлют пожертвования и пр. Слава продолжалась недолго — сенсации забываются быстро. И все же сенсация была, и помощь тоже была. Приехал в Котельнич и выступил перед жителями нарком внутренних дел.

Собственно, приезд такого известного человека в Котельнич являлся тоже событием, но я не помню большого стечения народа на митинге в городском (Загородном) саду. Слишком озабочены были жители своим устройством после беды, слишком заняты подысканием хоть какого-нибудь жилья; да немного их и осталось в городе, большинство расселилось в окрестных деревнях. Впрочем, в том же Загородном саду был организован пункт питания погорельцев и устроена временная библиотека-читальня. Да, прекрасная городская библиотека сгорела, как сгорели и все магазины и продуктовые лавки, — купить что-либо стало возможным только на рынке или в деревнях, — городок являл собой полдесятка квадратных километров черной пустыни, долгие месяцы — летом, осенью и зимой — удушливо пахнувшей

гарью, но библиотека, конечно в миниатюре, сразу же возродилась. И люди, пришедшие в сад съесть миску супа и прочитать свежую газету, полистать журнал «Крокодил» или «Безбожник», молча выслушали речь наркома, который деловито, без митинговых приемов, рассказал о принятых правительством мерах помощи, о спущенных городу фондах строительного леса и кирпича, и с удовлетворением разошлись. Кто-то из толпы крикнул: «Почему страховку не платят?» На него справедливо шикнули: шла всего первая неделя после прошедшей беды, от банка остались одни закоптелые стены, но инкассаторы ежедневно привозили из губернской (еще не областной) Вятки и аккуратно выплачивали уездным (еще не районным) служащим жалование (кажется, тогда его еще не сменило слово «зарплата»).

Примерно с год Котельнич был пуст и черен (если не считать, что зима благодатно укрыла белой пеленой головешки и развалны, — я увидел его именно таким, приехав на зимние каникулы; впрочем, гарью все равно пахло), но потом быстро отстроился. Не стало только церквей, украшавших город, и еще не поднялась зелень новых посадок, превратившихся со временем в тенистые сады и бульвары, делающие его нынче похожим на южный курорт.

Котельнич стал погорельцем за пятнадцать лет до войны. Как ни странно, война, уготовившая несравненно худшую участь сотням городов и селений, принесла ему известность гораздо большую, чем пожар 1926 года. Тысячи эвакуированных из Ленинграда и других городов осели на несколько лет в Котельниче — число жителей в городе сразу удвоилось, достигло сорока тысяч, — а великое множество фронтовиков и тыловиков, командированных и мобилизованных, москвичей и уральцев, сибиряков и дальневосточников проехало мимо, возможно запомнив название станции. К тому времени станция была уже узловой — точка пересечения Северной и Горьковской железных дорог и пристань на большой судоходной реке.

И какие же разные это были люди! Одни ждали пересадки, сутками живя на вокзале, часами топчась на рынке, меняя вещи на продукты, которые стоили здесь вдвое и втрое дешевле, чем в крупных промышленных

центрах: скажем, за пуд картошки запрашивали все же не тыщу, а четыреста рублей. Другие прослышали о Котельнице от поселившихся в нем родных и знакомых. Третьи лежали в здешних госпиталях, размещенных во всех двухэтажных и единственном трехэтажном зданиях города. Выздоровливающие бродили по улицам, толкались на базаре, меняя пять кусков пиленого сахара на восьмушку самосада, в летние и весенние дни грелись на солнышке,— мудро не запомнить место, где они возвратились в жизнь, иные хотя бы и для того, чтобы вновь отправиться навстречу смерти.

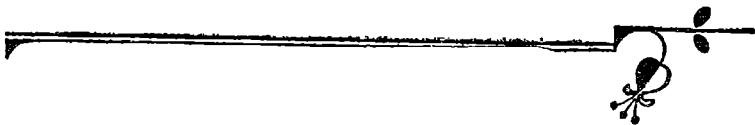
Когда война кончилась, город стал ширить свои границы. Ближние к нему деревни становились городскими улицами, сперва окраинными, затем обычными, рядовыми. Вокруг станции Котельнич-2 (Горьковской ж. д.) образовался свой город-спутник с домами и участками усадебного типа, с садами и огородами, где улицы все до одной почему-то получили историко-литературные наименования: улица Герцена, Лермонтова, Рылеева и многих других писателей. В городе появились четырехэтажные и пятиэтажные жилые дома,— оригинальности, красоты в них не было, но в сочетании с зеленью деревьев, алыми кистями рябин, цветущими яблонями снаружи и бытовыми удобствами внутри они могли считаться достижением городской культуры.

Мало, очень мало кто из жителей этих новых, полунновых и совсем немногих оставшихся доживать старых домов помнит о стихийном пожаре 1926 года,— каких-нибудь два-три десятка людей, не больше. И дело не только в том, что прошло полвека, что с тех пор появились на свет уже два поколения, не видевшие пожара, а те, что были тогда детьми, стали дедушками и бабушками: исконных котельничан осталось вообще немного, не к ма, говоря по-вятски.

Конечно, во время пожара я не успел ощутить утрату всего, что вчера еще было моим детством и отрочеством: двор, дом, сад — за несколько часов все исчезло, и в эти часы было не до горьких осмыслений. Не до того мне было и после пожара: подготовка к экзаменам в вуз, скорый отъезд в Ленинград, молодая целеустремленность — вот что решало и определяло самочувствие. «Вперед, вперед! Назад не оглядывайся!» — таков был не произносимый вслух девиз. Вместе с тем где-то внут-

ри, глубоко внутри, я, несомненно, ощущал, что пожар отчеркнул резкой угольной чертой все мое прошлое, если можно его в восемнадцать лет так назвать!

Лишь теперь, через полвека, мне захотелось вспомнить и рассказать о том, что предшествовало этой черте, обо всем, что в тот майский день сгорело. Впрочем, не надо усматривать в этом подчеркнутом слове символику и патетику: в том, что я хочу вспомнить и рассказать, ничего такого возвышенного не будет, — будут просто картинки уездной жизни, запомнившиеся ребенку, подростку, немного позднее юноше.



СТАРЫЙ ДОМ И ЕГО ХОЗЯЙКА

На Луначарской улице
Я помню старый дом...

Маяковский

Дом, в котором мы жили до пожара, в отличие от стоявшего рядом старого, главного дома, считался флигелем. В нем были две комнаты и кухня, все три помещения весьма скромных размеров, как нынче сказали бы — малого метража. Старый дом отделен был от флигеля нешироким проездом, замкнутым со стороны улицы двустворчатыми воротами и калиткой. На моей памяти он имел еще вид буквы «Г», загибаясь длинным концом внутрь двора, но постепенно, уже на моих глазах, его всё ломали, ломали на бревна и на дрова, отсекая от него часть за частью, так что наиболее сознательная пора моего детства прошла вблизи дряхлой коротышки с безобразно обрубленной и безобразно заделанной с торца крышей. Было неприятно смотреть на зрелище этой медленной, нищенской смерти и, возвращаясь домой среди бела дня, когда безобразие было всем напояз, я чувствовал, что немножко стыжусь этого уroda и мысленно желаю ему скорого конца.

Но случилось, что флигель обветшал едва ли не скорее старого дома: он был болен, заражен каким-то кошмарно прожорливым грибом или жучком, в рекордные сроки съедавшим начисто все полы в доме, прихватывая и нижние венцы бревенчатых стен. Мне, ребенку, этот домовый хищник представлялся определенно живым и к тому же сверхъестественным существом, которое

умышленно наносило нам вред и которого я втайне от взрослых боялся. Разве не жутко, когда стулья в комнатах начинают проваливаться то одной, то сразу двумя ножками (толстый слой глянцевой краски, скрывававший гниль, был особенно каверзен), вода на полу возле умывальника по ночам замерзает, сколько днем ни топи обе печки, и русскую и голландскую, а раньше вместо голландской лежанку, с которой я однажды свалился.

Взрослых тоже тревожило состояние флигеля: надо, надо срочно что-то предпринимать. И вот летом подводили новые венцы, перестилали полы, обеззараживали почву под домом. Увы, ничего не помогало: жучок (или грибок) немедленно возобновлял свою разрушительную работу. Папа часто в сердцах говорил, что есть лишь одно верное средство: сжечь этот флигель. И флигель сгорел, но об этом уже рассказано.

В разные годы в старом доме жили разные люди, в том числе и его владелица, тетя Аня, покинувшая его после того, как едва спаслась, чудом выскользнула из-под упавшего на нее потолка. До самой смерти не переходил в другое жилье ее брат, мой дед, отец мамы. Он редко к нам приходил, разве что за газетой, которую называл «ведомости» уже и в советское время. Он любил читать «Мир приключений» в ярких обложках с впечатляюще изображенными на них кораблекрушениями, пальбой из револьверов, плясками дикарей вокруг костра, на котором они собирались поджарить пленного европейца. «Мир приключений» доставлял деду («дедке», как я его звал) наш родственник, муж маминной двоюродной сестры, Флегонт Гушин, паровозный машинист, о котором я еще расскажу. Мне этот заманчивый журнал, издаваемый П. П. Сойкиным как приложение к журналу «Природа и люди», читать не давали, — может быть, потому и сейчас я к нему отношусь с неким волнением, с жгучим любопытством проглядываю случайно попавший мне в руки номер журнала, донельзя зачитанный, рванный, подклеенный, — их вообще-то на свете осталось, должно быть, несколько штук.

В молодости, судя по фотографиям, дед был красив: темные, волнистые волосы, широко расставленные задумчивые глаза; ему шел его бархатный черный пиджак с широкими лацканами, окаймленными светлой полосой. Я его помню уже стариком с большой седой бородой

и все еще темными, густыми волосами (мама тоже до старости почти не седела). После ранней смерти жены, моей бабушки, Иван Иванович Пиков перенес нервную горячку, навсегда оразившуюся на его душевном здоровье: он с тех пор нигде не служил, находился на иждивении сестры, тети Ани, помогая ей в огородных делах. Со мной он был всегда добр и ласков, и мне теперь жаль, что мама и тетя Аня как-то делали так, что мы с ним мало виделись. Может, боялись или стеснялись его странных выходок? Помню, к нам прибежали соседи — сказать, что увидели из своего двора, как Иван Иванович купается посреди огорода в стоявшей там для поливки большой сорокаведерной бочке. Теперь, наверно, это никого бы особенно не удивило, а тогда тетя Аня ужасно сконфузилась и задала брату знатную проборку.

Думается, что дед порой просто озорничал, дразнил своих близких. Например, когда тетя Аня велела ему унести корзину с морковью на берег, он и унес ее на берег Вятки, примерно за версту от дома, хотя отлично знал, что «берегом» в наших местах называли еще и дощатые края ямы в погребке. Разве не было в этом поступке своеобразного вызова? Сестра его строго держала — вот дед и устраивал иногда безобидный бунт.

Конец его жизни тоже нельзя считать ординарным. Заболев и побывав у врача, который не скрыл от него его опасной и в те времена почти неизлечимой болезни (врач был мизантроп и пессимист вопреки фамилии Праздников), дед отнесся к своему положению стоически: у него хватило воли с этого самого дня ничего не есть, как родные ни уговаривали, и через несколько недель он тихо угас, ни разу не пожаловавшись на боль, а ведь это был рак кишечника, несомненно причинявший ему страдания.

Деда долго потом вспоминали добром знакомые крестьяне, приезжавшие к нам из ближних и дальних деревень, хотя при жизни его кое-кто из них пользовался его простотой и чудаческим нравом. Помню, как буживала тетя Аня, когда дед поменялся с одним мужиком валенками: отдал ему свои новые, а взял взамен старые, заплатанные, подшитые, понравившиеся ему тем, что, будучи сброшены с любой высоты, непременно вставали торчком, а не валились набок.

Из квартировавших в старом доме разных людей запомнился мне Косолапов, начинающий лавочник, только еще переехавший из деревни в город и открывший торговлю на главной, Московской, улице, рядом с площадью, где через много лет мы спасались от пожара. Это был рыжеватый бойкий человек, любивший поговорить и похвастать, с пафосом и апломбом употреблявший иностранные слова.

— В этом отношении, Ксения Ивановна, я держу нейтралитет,— бодро говаривал он моей маме.

Желая вполне цивилизоваться, вручал жене флакон с духами и пульверизатор.

— Дуй! — командовал он ей.

— Да куда дуть-то? — пугалась жена.

— Дуй, тебе говорят, сюда, деревня!

Потом я учился с двумя Косолаповыми — один был его сын, другой — племянник. Почему-то племянник был вылитый дядя, такой же рыжий и бойкий, с пронзительным голосом. Сын был совсем другой — красивый, темноволосый, интеллигентный мальчик. С его отцом, лавочником, я встретился как-то на улице; мне было уже лет пятнадцать, я шел со скрипкой на урок. Он меня остановил, спросил, у кого я учусь музыке. Я ответил:

— У Тупицына. У Анатолия Лукича.

Это был всем известный, уважаемый в городе бухгалтер, директор счетоводных курсов, приватным увлечением которого с давних пор стала скрипка.

— Ах вот что? Прекрасно! — как всегда воодушевленно, одобрил Косолапов.— Я слышал, Анатолий Лукич играет даже на трубе. . .

Когда мы расстались, я долго пытался понять смысл этой похвалы: что же все-таки выше для Косолапова — уметь играть на скрипке или на трубе?

После него жил в доме и держал небольшую пивную другой первогорожанин, имени и фамилии которого не помню,— помню лишь, что его хорошенькую жену звали Марьей Андриановной; сам он был тоже видный мужчина, молчаливый и тихий, тихо было и у него в пивной — ни драк, ни скандалов в своем заведении этот уездный бармен не допускал. В 1914 году его мобилизовали, Марья Андриановна закрыла пивную и вскоре уехала, прислав нам на память фотографию, где она снята вместе с мужем, одетым в военную форму: он сидит, она

стоит рядом, положив, как принято тогда было, руку ему на плечо. . .

В зимние месяцы в старом доме арендовали помещение для жилья и работы так называемые «катанщики» или «шерстобиты» — муж, жена и двое сыновей, — они делали валенки. К ним было страшно войти: комната представляла собой крошечный ад — дым, пар, смрад, пыль. Шерсть чистили и взбивали на жиле, прикрепленной к деревянной стойке (некто вроде гигантского смычка или лука), затем мочили, парили и накатывали на колодки разных размеров и фасонов. Эта сезонная мастерская немало занимала мое воображение, и пугая и привлекая: семья работала с утра до ночи, не отдыхая, по-моему, даже в воскресенье. К весне шерстобиты, распродав свой товар на Алексеевской ярмарке (вторая половина марта по старому стилю), уезжали на родину, — откуда они были родом, не знаю.

Комнаты, в которых жила сама тетя Аня до того, как потолок обвалился, были уставлены старой мебелью: диван, стол, кресла и стулья, обклеенные отслоившейся от времени и от сырости фанерой красного дерева, простая железная кровать с периной и высоко взбитыми подушками; в простенках висели два зеркала в черных рамах с испорченной местами амальгамой, немощно отражавшие желающих на себя поглядеть. Запомнилось, как меня, еще совсем маленького, купали в железной ванне, крашенной белой краской внутри и зеленой снаружи; ванна стояла на полу в тети Аниной комнате. Вдруг все ушли, вероятно на короткое время, показавшееся мне бесконечно долгим, и я заорал благим матом, оказавшись один в пустом доме, где сами собой трещали разошедшиеся кресла, словно на них сидел кто-то невидимый, и похоронно пели комары. . .

Тетя Аня, Анна Ивановна Лебедева, до замужества Пикова, была незаурядной женщиной, несмотря на не бог весть какую грамотность и массу предрассудков. Чем занимался ее отец, не знаю. Был ли он выходцем из деревни и, перебравшись в город, занялся тут чем-то, или так и родился горожанином и домовладельцем, — могу только гадать. Во всяком случае, деревни Пиковы или хотя бы деревни, населенной людьми с такой фамилией, в Котельничском уезде нет, — значит, скорее всего он был потомственный мещанин.

Полагаю, что отец тети Ани не мог быть богат хотя бы уж потому, что нарожал слишком много детей, главным образом дочерей,— всех надо выдавать замуж, готовить приданое. Детей насчитывалась чуть ли не дюжина, да еще сколько-то умерло в раннем возрасте. Я знал тетю Аню, тетю Лизочку, тетю Калю (Клавдию), тетю Наню (Анастасию), тетю Машеньку,— собственно, все это были мамнины тетки, приходившиеся мне бабушками. Про деда Ивана Ивановича я уже говорил. Кстати, у тети Лизочки было, кажется, тоже двенадцать детей, из которых я знал Маню, Августу, Валентину, Софью, Дмитрия. Но ближе, роднее всех была для меня тетя Аня.

Тетя Аня в свое время, то есть лет за сорок до нашей «встречи», вышла замуж за красивого блондина Ивана Антоновича Лебедева, где-то служившего и, судя по фотографии, имевшего вид томного и меланхоличного лирического поэта. Тетя Аня же в молодости выглядела необычайно пикантно и привлекательно. По-видимому, она очень любила мужа,— даже голос ее менялся, когда она о нем говорила. Иван Антонович рано умер (причины не знаю), страстной натуре Анны Ивановны обязательно нужно было сразу что-то сотворить с горя, и она перестала есть мясо. И сколько бы лет после этого ни прошло, тетя Аня всегда говорила, что ровно сорок лет не ест мяса.

Характер тети Ани был крайне противоречив. С одной стороны, профессия огородницы, выращивавшей ранние огурцы, требовала терпения, прилежания, выдержки, необходимых для многомесячной возни с рассадой, высаживания всходов в парники и на гряды и каждодневного за ними ухода. Когда ни войдешь в огород, видишь тетю Аню стоящей на коленях перед парником, перед приподнятой на колышке стеклянной рамой; просунув внутрь голову и руки, она рыхлит землю в лунках, сощипывает лишние завязи и листочки, поливает из ковшика, днем бережно прикрывает от солнца ветвями пихты, а на ночь — от возможных утренников и заморозков — большими соломенными матами (представляю, как ярко горела эта солома в 1926 году!).

Огуречная страда начиналась в марте, когда надо было замачивать семя в мох в глубоких тарелках и глиняных чашках и наступала пора позаботиться о навозе

для гряд и парников. Все трудные годы — с 1918-го по 1923-й — мы сгребали навоз вручную на улицах, свозили на тачках и сносили на носилках в огород. Папа делал гряды. Поливка в жаркие летние месяцы требовала расхода двух сорокаведерных бочек колодезной воды ежедневно, что будет описано особо, ибо проходило при моем ближайшем участии.

Страда заканчивалась осенью, когда собирали семенные огурцы, крупные, желтые, испещренные выпуклыми жилками, как дыни; их взрезали, вылущивали из них семя, промывали его и сушили, затем разбирали по сортам и по спелости. Повторяю, всеми этими трудоемкими процессами, от семечка, из которого нынешним летом родился огурец, и до семечка, из которого произойдет на следующий год новое огуречное поколение, руководила и занималась сама тетя Аня — в железных очках, с глубоко вевшимся в морщины загаром (загар не проходил от лета до лета), трудолюбивая и упорная.

Вместе с тем тетя Аня могла невероятно вспылить, прямо-таки заходила в гнев, — правда, быстро и отходила, прощала, жалела, что погорячилась. Как я понимаю, когда-то, на первых порах брачного союза моих родителей, тетя Аня и мой отец, тоже человек вспыльчивый, случалось, что ссорились, кричали один на другого, хотя тетя Аня обожала моего папу, а он, чуткий ко всему одаренному, душевно богатому, чувствовал, сознавал недюжинность этой натуры. В последние годы тетя Аня заметно притихла: и возраст, и зависимость от нашей семьи, и меньший радиус действия, меньшая возможность общения с самыми разными людьми — все это ограничило ее волю и укротило характер.

Помню несколько ее крутых вспышек. Летом наш двор густо зарастал травой, превращаясь в настоящую поляну. Чудесно пахла лечебная безлепестковая ромашка. Кошка бродила среди зелени, разыскивая ей только ведомую целебную травку. Чистота во дворе была стерильная — тетя Аня прометала и прочищала каждый его уголок, будь это деревянные мостки-тротуары, амбар или погреб, курятник или сарай для коз. Чистота царила и под навесом, куда приезжавшие в город знакомые мужики ставили своих лошадей. Беда, если кто насорит, напачкает под навесом; даже сено, которое натрусил на земле лошадь, следовало подобрать или за-

места в угол. И вот с этим-то в своем роде священным местом и связана одна бешеная вспышка тети Ани.

Ворота и калитка для въезда и входа во двор были крепкие, сравнительно новые, и железная щеколда каждый раз звякала, когда кто-нибудь открывал калитку. В те годы по дворам часто ходили с кружкой монашки, собиравшие деньги на нужды своего монастыря. Тетя Аня их терпеть не могла, хотя в бога верила, в церковь ходила и усердно и чистосердечно молилась на сон грядущий; ей не мешало то, что под одним с ней одеялом спал Бобик, необыкновенной смышленности песик; после ее смерти он вскоре умер от той же болезни, что и она, что и дедка, — рака желудка или кишечника.

Однажды щеколда в калитке тихо звякнула и во двор незаметно, как ей, наверно, казалось, проскользнула монашка, среднего возраста, бесцветной наружности, в обычном черном одеянии и с кружкой на груди. Тетя Аня недреманным оком уследила ее появление и без труда накрыла под навесом за отпращиванием большой нужды. Бог ты мой, как она взъярилась! Топала ногами, кричала, стыдила и наконец заставила подобрать и унести с собой все, что монашка успела содеять. Кто спорит, выходка тети Ани, разумеется, была грубовата, но зато выразительна! Папа мог быть доволен, он тоже недолюбливал этих святых попрошаек.

Горячая, резкая, тетя Аня бывала и трогательно заботлива, ласкова и нежна, причем не только с близкими ей людьми, но и с чужими, особенно когда они попадали в беду. Как-то на масленице остановился на ночлег в старом доме малознакомый крестьянин. Лошадь у него стояла под навесом, и ночью мужичок вышел на двор — посмотреть ее и напоить. Стал доставать из обледеневшего колодца воду и, поскользнувшись, упал внутрь. . . Там, на дне сруба, сумел удержаться, раскинув руки и ноги, и избежал купанья в стылой воде, но зато так, в распорку, просидел в колодце до утра. Утром услышали его призывные сильные крики и вытащили полуживого. Тетя Аня сама энергично возвращала его к жизни, оттирала руки, отпаивала водкой. . . Не исключено, что дядька и раньше был под хмельком: это помогло ему скovyрнуться в колодец, зато дополнительное внутреннее тепло не дало окоченеть.

Тетя Аня удочерила мою маму в самом младенческом ее возрасте, как только та появилась на свет, — старшие сестры попали в приют, а маме повезло. Вышло так, что я не видел ни одной своей бабушки, в этой роли была тетя Аня, и бабушкой она оказалась классической. Мама рассказывала, что тетя Аня воспитывала ее по-спартански, приучала сызмала делать все по хозяйству и в огороде, но ко мне тетя Аня была бесконечно добра и нередко ворчала на то, что родители мои, как ей казалось, чрезмерно строги и требовательны (я сейчас этого не считаю!), приучая меня к домашней работе: копать гряды, полоть морковь, подрезать помидоры, обирать гусениц с капусты, пилить и колоть дрова. Пилить я не любил — монотонно, скучно, папа следит за тем, чтобы пила в моих руках не вихлялась; колоть же очень любил, особенно зимой, когда мерзлое полено раскалывается звонко и легко (если, конечно, не слишком сучковатое). Главная прелесть колки — самостоятельность: тебе поручили — ты делаешь; сделал, кончил, сложил — принимайте работу! Противнее всего для меня был сбор гусениц — всегда питал отвращение к червям; в иные годы гусениц был легион, и все жирные, крупные; зато везло курам, когда, набрав полведра, я вываливал им эту зеленую шевелящуюся массу.

Основным моим летним делом, когда подросток, стала поливка огорода. Собственно, поливал не я, поливали взрослые, — на моей обязанности лежало доставать воду из колодца и транспортировать ее в огород. Я не носил, не возил туда воду — операция была и сложнее и проще, о ней стоит подробно рассказать, тем более что однажды она чуть не кончилась бедой.

Я уже говорил о сорокаведерных бочках, вернее кадках, стоявших одна посреди огорода (это в ней купался мой дед), другая у колодца во дворе. Под навесом на определенной высоте (чтобы не мешать лошадям, не задевать дугу) были прикреплены к столбам деревянные лотки из сбитых под углом длинных досок, проложенных в месте скрепления просмоленной холщовой лентой (чтобы не протекали). Один лоток нависал над другим, другой над третьим; по огороду шли они уже на скрещенных кольях, примерно на высоте роста. Их роль понятна: по ним вода текла в огородную кадку, из кадки ее черпали ведрами, лейками и разносили по грядкам

и парникам. А во дворе, у колодца, где стоял двойник такой бочки, всегда наполненный водой, вели сходни к лоткам. Мне следовало зачерпнуть из кадки ведром, взбежать с ним по сходням, поднять на уровень глаз и вылить в лоток. Пенистой шипящей волной бежала вода по лоткам в огородную кадку, пополняя убыль от поливки десятков гряд.

Логика работы проста: пока не опорожнишь кадку во дворе — не наполнишь кадку в огороде; а во дворе надо возобновлять запас воды, доставая ее из колодца висящей на цепи и канате бадьей. Вал, на который наматывался канат, заканчивался большим деревянным колесом, утыканным ручками: черпать воду обычным воротом было бы намного труднее, да и далеко летом вода в колодце — обмелевает в жару и в бездожде.

В разгар поливки приходилось развивать яростную энергию: крутя колесо, опрокидывая в кадку бадью, таская воду наверх по сходням, выливая ее из ведра в лоток,— иначе, как бегом, не поспеть: зазвонит звонок. Вдоль лотков тянулась из огорода бечевка к звонку на пружине: дернут один раз — значит, нужна вода, дернут два раза — хватит, бочка полна, .. перерыв. . . наполняй пока свою бочку! Не скрою, сигнализацию устроил я: мне нравилось все, что напоминало о технических усовершенствованиях. . .

Но лучше бы я следил за исправностью тех же сходней! Они так истерлись, а местами подгнили, что в один прекрасный июльский день произошла авария. Сходни состояли из трех досок с набитыми на них поперек перекладинами-ступеньками; верхний конец сходней лежал на козлах. И вот однажды, когда, развив быстроту и натиск, я, как обычно, лихо взбежал по сходням и поднял ведро, чтобы вылить его в лоток, конец доски, на который я наступил, подломился,— и я рухнул вниз. Упал я грудью на ведро, что отчасти смягчило удар, но как раз край ведра-то и повредил мне левое верхнее ребро (что, кстати, выяснилось только годы спустя). . . От боли и неожиданности я на какой-то момент потерял сознание. Не слыша себя, я, как видно, стонал довольно громко, потому что папа, красивший пол во флигеле, услышал и прибежал на стоны; словно почуяв неладное, прибежали из огорода мама и тетя Аня. . . Что было тут с тетей Аней! Как она кричала: «Убился! Убился!» Ка-

кими страшными проклятиями клеймила свой огород, и тех, кто придумал эти лотки, и тех, кто заставляет ребенка (мне было четырнадцать лет) непосильно работать (кстати, после поливки я имел обыкновение еще упражняться на самодельном турнике или совершать прыжки через рейку, постепенно поднимая ее все выше, воображая, что я одерживаю мировые рекорды!).

Впрочем, тетя Аня и в более безобидных случаях кровно меня защищала. Хорошо помню, как однажды мы всей семьей сели за праздничный стол — с пасхой в виде Хеопсовой пирамиды в миниатюре, куполообразными румяными куличами и крашеными разноцветными яйцами. Шипел и сверкал самовар, мама разливала чай. Папа пил из стакана, остальные из чашек, в том числе я. Точнее — я пил из блюда, поскольку чай из кипящего самовара был для меня слишком горяч. Впрочем, я был уже достаточно взрослый (шесть лет), чтобы самому налить чай из чашки в блюдо, что и проделал аккуратнейшим образом, чтобы, не дай бог... Какой ужас! Как ни осторожно я действовал, из-под блюда сразу же растеклась по белоснежной скатерти желтая лужа... Папа, от взгляда которого ничто не ускользало, нахмурился, мама захлопотала, быстро подложила под мой прибор чистую накрахмаленную салфетку, закрыв ею позорную лужу, а я под острым, как меч, папиным взором весь собрался, сосредоточился и на этот раз сверхосторожно, архитщательно налил чай в блюдо. Нет, я не успел не только отпить глоток, но даже взять блюдо в руки, как по свежей салфетке опять поползло ядовитое, зловеще-желтое пятно! Тут уж папа не мог смолчать и выдал мне за повторное вопиющее разгильдяйство и свинство полной мерой; его гневный голос буквально потряс стены нашего флигеля!

Я ничего не понимал! Я был уверен, что не виноват, что не проливал мимо блюда ни одной капли. Значит, что же — произошло колдовство? Какой-то демон решил нарушить благолепие светлого праздника и нагло действовал за меня?

Тетя Аня страшно огорчилась и готова была на любое самопожертвование, но поздно: праздник был омрачен... Тут маме пришлось на ум осмотреть злополучное блюдо. Боже, какая волшебная неожиданность! В его донышке обнаружилась дырка, маленькая, ничтожная

дырка, почти неприметная глазу. Откуда она взялась? И вдруг тетю Аню осенило.

— Коротенькая баба! Великий четверг! — вскричала она, победно вздевая на лоб очки.

Все стало на свое место. Действительно, на страстной неделе у нас ночевала знакомая крестьянка — пришла в город говеть. В кухне всегда висели над столом ножницы для всякой швейной работы. Женщина — ее звали Кузьмовна, в просторечии «коротенькая баба» (ввиду особенностей ее фигуры) — хотела их снять с гвоздя и уронила. Ножницы упали стоймя, отвесно, Кузьмовна успела их подхватить, но они все же стукнулись острым концом об стол. Об стол? Как бы не так! Под ними лежало это самое блюдо — они и пробили дырку, дырку без ответвлявшихся трещин, круглую, крохотную, как от пули лилипута. . .

Ура! Христос воскрес! Все были счастливы. Тетя Аня смеялась до слез. Никто не сердился на коротенькую бабу. Наоборот, мы еще пуще полюбили это добрейшее существо, всегда появлявшееся у нас с бутылкой сливок, за которую она ни за что не брала денег: гостинец! Будь она сейчас здесь, с какой радостью мы с ней похристосовались бы!

Что касается дырки в блюде, то папа ее в тот же день залечил: ювелирно залепил замазкой из толченого фарфора, растертого на олифе. Это блюдо верно служило нам в продолжение многих лет, существует, возможно, и теперь, пережив тетю Аню, Кузьмовну, моих родителей. . . Если, конечно, уцелело при пожаре.

Говоря о тети Аниных квартирантах, я не упомянул о самом последнем: он поселился в старом доме уже после того, как тетя Аня перебралась к нам, когда умер Иван Иванович. Не упомянул потому, что сперва хотел рассказать о характере тети Ани, о ее пылкой, страстной и во многом пристрастной натуре. Все, кого она знала, для нее резко делились на два противоположных разряда: одних она беззаветно любила и безотчетно им верила, других не любила и не доверяла ни в чем — порой без всякой причины. Переубедить ее, уговорить сменить гнев на милость никто не мог; случалось, что ее антипатия принимала крайние формы — презрение, ненависть, чего она не скрывала. Именно так она относилась к своему последнему жильцу.

В начале главы я сказал о том, что старый дом постепенно обрубали, пока в нем не остались всего одна комната и кухня,— их-то и занял инвалид Вылегжанин. Инвалидность заключалась в том, что Павел Вылегжанин прихрамывал и на правой руке у него недоставало трех пальцев,— это не мешало ему спекулировать и торговать. С наступлением нэпа Павел (отчества его не помню) открыл на рынке ларек, где продавал галантерею, что-то еще и еще, словом, мелочь — до крупного, солидного нэпмана он не дорос: не тот размах, не та грамотность.

Помешало и то, что он пил. Пил один, пил с женой Груней, с племянниками, приезжавшими из деревни. Никаких бесчинств они не устраивали, пировали тишком; через день-другой Груня к нам приходила опухшая, просила в долг пару «лимонов» на опохмелку (дензнаки еще не сменились червонцами и счёт шел на миллионы, иначе на «лимоны»). Она плакала, жаловалась на племяшей: спаивают Павла, пропивают его деньги, портят ей жизнь.

Тетя Аня слушала Грунины жалобы без особого сочувствия. Во-первых, она терпеть не могла пьяных баб — к мужикам относилась все-таки снисходительнее; во-вторых, не признавала полумер: она требовала, чтобы Груня ушла от Павла. А куда Груня могла уйти? Уйти ей было совершенно некуда... Павла тетя Аня невзлюбила давно, почти сразу, как он поселился; простить себе не могла, что пустила его на квартиру. В Павле ее раздражало все-все, вплоть до потной веснушчатой лысины и безбровых глаз, но главное — тетю Аню не оставляло предчувствие, что мы наживем из-за него беду. Какую беду, она объяснить не могла, но что беда будет, не сомневалась. Мы подтрунивали над ее предрассудками; бедоносный Павел вел себя по отношению к нам безупречно, никогда не лез с пьяными разговорами, вообще выпивши не показывался на глаза, трезвый же был услужлив, вежлив, тактичен: настоящий джентльмен! Но тетю Аню ничто не смягчало: любезность она считала лестью, готовность помочь — подхалимством. Впрочем, Павел хорошо знал ее нрав и старался не обижаться.

Не обижался он до того самого дня, когда произо-

шло чрезвычайное событие, — событие, обострившее их отношения до предела.

В один майский (или ранний июньский) полдень 1922 года, вернувшись из школы, я застал папу, маму и тетю Аню растерянными и всполошенными. Что случилось? Оказывается, пока нас не было (папа на службе, я в школе, мама и тетя Аня в огороде), воры сломали замок и унесли из дому все мало-мальски ценное. После голодных лет мы только-только начали оправляться. У папы появились заказы на проекты и планы как от частных лиц (граждане стали обстраиваться, обновлять ветхие дома), так и от учреждений — от нефтебазы, потребсоюза, паровой мельницы, расширявших свои предприятия.

Когда мама и тетя Аня вернулись из огорода, отъединенного от дома и двора сплошной стеной старых амбаров, они нашли дверь во флигель настежь распахнутой, внутри же царил разгром: сундуки и шкафы открыты, вещи разбросаны, — видно, что воры спешили и все же успели всласть похозяйничать. Как позже выяснилось, от воровских глаз и рук не укрылись даже жалкие мамины колечки и серьги, всегда лежавшие втуне на дне сундука (ни аскетически настроенный папа, ни державшая маму в строгости с малых лет тетя Аня не признавали пустых украшений).

Не помня себя, мама бросилась из дому. Зачем? Как потом она объясняла, «позвать Павла на помощь», — хотя чем он тут мог помочь? Но, едва мама выскочила на крыльцо, калитка, ведущая на улицу, отворилась и во двор прихрамывая неторопливо вошел Павел, одет он был по-домашнему.

— Павел! — в отчаянии крикнула мама. — Ведь нас обокрали!

— Да что вы, Ксения Ивановна! Когда? Господи! .. — заахал квартирант.

— Сейчас... пока мы были в огороде...

— То-то, я услышал, калитка хлопнула... Пошел — никого... Ксения Ивановна, — спохватился Павел, — может, за Николаем Николаичем сбежать? Нет, лучше я до угла... Может, их еще увидаю...

И как был — без фуражки, без пиджака, рубаха не подпоясана — услужливо кинулся в сторону Нижней площади. Мама снова вбежала в дом, где металась тетя

Аня, пытаясь наспех определить, что цело, что утащили. Время как раз подошло к обеденному перерыву на службе и к концу моих школьных занятий, и уже через час мы с папой начали по свежему следу розыск. Дело в том, что воры впопыхах насовали часть взятых вещей в большой холщовый мешок, вывалив хранившийся в нем лук прямо на пол, отчего квартира и сени оказались заваленными этим луком и луковой шелухой. Шелуха виднелась и во дворе, и за воротами — значит, мешок волочили по земле действительно в сторону Нижней площади. Мы с папой обнаружили следы и дальше, по дороге к станции, — как видно, воры торопились на поезд, который как раз в это время проходил через Котельнич. Впрочем, спустя квартал луковые следы исчезли — мешок пообтряся.

Папа заявил в угрозыск, к нам пришли два молодых агента, братья Бековы, с младшей сестрой которых я когда-то учился, такие же горбоносые, загорелые, спортивного вида. Они расспросили, как, когда, что украдено, составили акт (или протокол), никаких шерлокхольмсовских методов не применяли, а просто, узнав, что в том же дворе живет Вылегжанин («А, Беспалый!»), предложили его забрать — уж он-то им все расскажет. Папа невероятно расстроился, услышав их предложение, — расстроился, по-моему, больше, чем от кражи. Потом он нам сказал, что боялся, как бы Павла не стали там бить.

Когда папа категорически воспротивился аресту, братья, посмеиваясь, ушли, а мы остались подсчитывать убытки, тетя Аня вдруг резко сдвинула на лоб очки, как всегда это делала в тревожные минуты, и в сердцах воскликнула:

— Я всегда это знала!

— Что знала? — удивилась мама (обе они отсутствовали во время разговора с агентами).

— Что Павел нас обкрадет!

— Тетя, ты что? Как ты можешь?! — взволновалась мама. — Да он первый побежал ловить воров! . .

Начался трудный, нелепый спор, где, как ни странно, обе стороны были по-своему правы: одна — привычно веря Павлу, другая — считая его главным вором. Этот спор потом бесконечное число раз возобновлялся, и, как тетю Аню ни убеждали, она продолжала твердить:

— Это я виновата! Я! Давно надо было согнать с квартиры! Я всегда знала, что он разбойник!

То же она заявила и в лицо Павлу:

— Ты, ты украл!

В ответ он клялся, божился, жаловался на обиду и напраслину папе, маме и даже мне, плакал горячими слезами (трезвый!), что безвиновен!.. Ни ухом, ни духом!.. Господь бог свидетель!.. И мы с папой и мамой сердились на тетю Аню за ее обидные подозрения.

Так получилось, что в то же лето затеян был срочный ремонт нашего флигеля (пока ненасытный грибок или жучок его не сожрал) и мы на время, месяца на два, должны были переехать на житье в старый дом. Пришлось отказаться от квартиры Павлу. Подчеркиваю: только из-за ремонта. И то папа чувствовал себя перед ним неловко. . .

Через год мы узнали, что Павел купил на окраине Котельнича домик, Груня там стала хозяйничать, завела огород и кур, а еще через год оба они совершенно спились; Павел, продав свой домишко, куда-то исчез, а Груня пошла побираться. Пришла и к нам, рыдала и винилась. Винилась в краже. Правда, в тот день ее в городе не было, но она все знала: орудовали в нашем доме племянники, а Павел стоял у огорода на стреме, затем проводил племянников за ворота, — тут и застала его мама. Немножко не застала воров. . .

— И слава богу! — говорила Груня, крестясь. — А то бы. . . кто знат!

Верно, кто знает! Может, она все выдумала, желая отплатить бросившему ее мужу, а может — сказала правду. Знаю одно: тетя Аня поверила ей, а не Павлу, — Павлу она никогда не верила. Груню же — пусть тетя Аня брезгала этой пьяной нищенкой: вытерла после нее стол, стул, даже дверную скобку, — Груню постаралась досыта накормить, дала ей с собой ватрушку, кусок пирога (как раз было воскресенье) и, встречая потом на улице, всегда совала ей немножко денег.

После пожара 1926 года никто из нас больше не видел Груни. Известно, что среди немногих жертв была женщина, сгоревшая в церковной сторожке. Кто-то говорил, что монашка. А уж не Груня ли это? Она ютилась и спала где попало, куда пускали.

Сама тетя Аня не дожила до пожара ровно год: она умерла в мае 1925 года от той же болезни, что и ее брат. Умерла столь же мужественно, не жалуясь, никому не докучая, но и не делая ничего, чтобы скорей умереть: не отказывалась от пищи и от лекарств. Я потом часто думал: вот для кого пожар означал бы конец всему, конец света... Куда там апокалипсические литературные фантазии! Тетя Аня срослась с этой землей, со своим огородом, домом, для нее просто не существовало и не могло существовать другой жизни. Зачем бы ей без этого жить?



СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Повесть, из которой я здесь приведу несколько строк, написана так давно, чуть не полвека назад, и ровно никому сейчас не известна, что автоцитата, надеюсь, не будет выглядеть нескромной. Между тем эти строки в какой-то мере помогут рассказу о взрослых моего детства.

«Представьте себе:

Берете вы в руки семейный уездный альбом, сучая бездельем в гостях, и размышляете кисло-кисло: раскрыть его или не стоит, и хотите уже, погладив золоченый обреш, опять положить его на косенький столик. Но звонко вдруг отскакивает тяжелая, обложенная медью покрывка — и на колени вам и на пол пыльной террасы сыплются выцветшие желтые карточки. Вы неловко их ловите, задыхаясь, вы перегибаетесь влево и вправо, у вас сбилась прическа, вы озадачены, гости глазают на вас злорадно, а любезный хозяин привычно тушит за вас беспорядок. Он проворно отнимает от ветра бумажную ветошь, он плавает вокруг вас и под стулом, шлепая ладонями по полу, как по воде, брызгая пылью, махая спасенными карточками, и, обращая к вам красную от натуги улыбку, ласково так журчит:

— Это ничего! Это моя бабушка. Ничего не значит. Золовка моей бабушки. Пустое! Сидите, сидите, я подберу. Мой троюродный дядя. У его собаки на переднем зубе была золотая коронка. Погиб под Плевной. Помилуйте, какое беспокойство! Его невеста, первая красави-

ца в городе. Что? Да, жива. Печет просфорки для церкви».

Казалось бы, ирония и сарказм, которые мне хотелось вложить тогда в каждое слово, не имеют ничего общего с настроением, с каким я теперь раскрываю наш старый семейный альбом и пытаюсь как можно больше припомнить о тех, чьи лица в нем вижу, и мысленно дополняю образами и судьбами тех, кого здесь нет и кого я тем не менее отчетливо помню.

В чем дело? Что изменилось во мне или вокруг меня, отчего я с совсем иным чувством разглядываю фотографии? Неужели причина в возрасте? Вероятно... С годами становятся ощутимее человеческие потери.

Вот передо мной фотография, напечатанная еще на дневной, так называемой аристотипной бумаге. Делалось это так. Негатив с подложенной под него фотобумагой выставлялся на свет минут на сорок, а то и на целый час, в зависимости от плотности снимка и от времени дня и года. Затем отпечаток подвергали химической обработке, высушивали, и наконец снимок был готов. Способ этот уже тогда считался архаичным и медленным и скоро уступил место более совершенным и быстрым, но была в нем и особая прелесть: во время часового пребывания негатива и позитива на дневном свете можно было легонько отогнуть уголок и посмотреть, как идет дело.

Да и что значит эта медлительность, этот проведенный в ожидании час по сравнению с тем, сколько лет прошло с той поры, как я видел живыми этих людей! А живы они были все — шестьдесят лет назад; уже через год одного из них не стало, через десять — двенадцать лет не осталось никого.

...Во дворе, на лужайке стол. За столом сидят лицом к нам три пожилые женщины, три старухи, очень непохожие одна на другую: одна большая, массивная, с крупными чертами лица, по бокам две другие — худенькие, небольшого роста; у левой нижняя губа оттопырена, у правой поджата. Все они — родные сестры. На столе спит пушистая, желтая, с белыми подпалинами собака, тоже лицом к нам. Я хорошо помню, как ее гладил, помню особое ощущение от ее чисто промытой, тонкой, шелковистой, как у кошки, шерсти. Когда я те-

перь показываю эту фотографию друзьям, знакомым, я говорю:

— Четыре мои тетки. Вернее, мамины тетки. Смотрите слева направо: тетя Каля (Клавдия Ивановна), тетя Наня (Анастасия Ивановна), тетя Аня и тетя Лизочка.

Обычно следует шутливый вопрос:

— Тетя Лизочка — это которая собачка?

— Нет, собаку звали Мухой, — серьезно отвечаю я. — А от тети Лизочки здесь только плечо. Видите, справа? Больше ничего не поместилось. Очевидно, фотограф-любитель неверно навел объектив, и тетя Лизочка оказалась как бы лишней.

Если бы только на снимке! Лишней она оказалась и в жизни — но об этом после.

Остальные мамины тетки были бездетны. Кто из них был счастливее, кто несчастнее, трудно сказать. Четыре жизни — четыре судьбы. Каждая, с моей точки зрения, заслуживает того, чтобы о ней рассказать хотя бы немного, что знаю и помню. О тете Ане я уже рассказал — ее я знал несравнимо больше, — теперь об остальных.

Начну с тети Нани, которую потерял раньше других — не то в последний предвоенный, 1913 год, не то зимой 1914—1915 года. Я любил тетю Наню. Это была крупная, спокойная женщина, слышная в нашем городе главной кулинаркой. Ее звали в богатые купеческие дома в торжественные дни, она была «шеф-поваром» именинных, свадебных, похоронных и других помпезных трапез. Но любил я ее, конечно, не за это. Она была очень добра и ласкова и очень естественна, что дети всегда ощущают. Помню подаренную ею книгу большого формата, которую я читал в летний солнечный день (значит, летом 1913-го), сидя на завалинке старого дома, тогда еще в виде буквы «Г». В этой книге, называвшейся «Бабушка Татьяна», были и знаменитые, известные каждому ребенку строчки: «Тили-тили-тили-бом, загорелся кошкин дом», и многие другие, и все это было хорошо иллюстрировано и как-то особенно вкусно читалось и запоминалось, а изображенная на обложке и внутри книги бабушка Татьяна напоминала тетю Наню. Через тринадцать лет сгорела и эта книжка, и старый дом, на крыльце которого я ее читал, и весь город. «Тили-тили-тили-бом...» Впрочем, набата, как я уже

сказал раньше, на этом тотальном пожаре не было, колокол упал с деревянной каланчи и разбился. Тети Нани, как и остальных маминих теток, к тому времени тоже не было. Кстати, дом на гористой улице, где жила теть Наня с сестрами Клавочкой и Лизочкой, как раз уцелел: огонь, остановленный густым садом бывшей женской гимназии, до него не дошел.

Единственно неприятное, что для меня было связано с тетей Наней,— то, что в богатых домах ей дарили или отдавали задешево не новые, но еще прочные мужские сорочки с манжетами и крахмальной грудью, и она иногда продавала или дарила их моему отцу. Кажется, ему достался по дешевке и черный костюм из зубаревского дома,— краем уха я слышал, знал об этом, и мне, несмотря на мой весьма юный возраст, это было неприятно. Я с болезненной ясностью представлял, как папа в этом нарядном костюме идет по улице и встречает бывшего его владельца, который живет в том же квартале, и они любезно раскланиваются, поскольку они соседи и знакомы; я гадал, что они могут при этом ощутить, что друг о друге подумать; окинет Зубарев взглядом моего папу — как-то сидит на нем его костюм, или оглянется на него, уже пройдя мимо, или не узнает своего костюма, или он вообще выше этого... Ну а папа? Что почувствует он? Я стыдился не того, что мы беднее Зубаревых,— я был убежден, что мой папа лучше, умнее их, намного достойнее,— но тем более возникло неприятное чувство...

Кстати, бывший хозяин костюма, главный наследник старика Зубарева, его старший сын Яков Александрович, вскоре уехал в Англию, с которой он торговал льном и холстом, остался там после революции и помогал посылками своим родственникам в Котельниче — младшему брату Александру и двум сестрам, Клавдии и Олимпиаде, или, как звали их все за глаза, Клавочке и Липочке, миловидным, среднего возраста, очень богомольным, одевавшимся во все черное, как монашки, говорившим тихими, кроткими голосами. Где жили они после того, как дома их сгорели (еще до большого пожара), — не знаю; а непосредственно перед этим, когда их дома заняли госпитали, сестры переселились к своим соседям, в дом Селезневых. Селезневские дочери были совсем в другом роде: красивы, шикарны, одна дочь вы-

шла замуж за приезжего адвоката, другая — за приезжего крупного военного, о котором уже в наше время с большой похвалой отзывается в своих воспоминаниях маршал Жуков. Вот передо мной их фотографии, подаренные в 1907 году «на добрую память Настасье Ивановне», то есть тете Нане. Две стройные молодые женщины, в узких, закрытых до горла темных платьях, стоят у круглого столика и рассматривают в стереоскоп фотографии. У обеих правильные черты лица, одинаковые прически. У третьей сестры, снятой отдельно, тоже строгое темное платье, тоже закрытый ворот, она тоже затянута в корсет, но держится свободней, у нее пышные буфы на рукавах, пышные бедра и в лице что-то ленивое, чувственное.

Тетя Наня овдовела рано. Ее муж, Андрей Архипович, любил выпить, о чем свидетельствует опять же фотография: он снят рядом со столиком, на котором так и стоит откровенно рюмочка — без нее, очевидно, ему показалось скучно фотографироваться... Сама тетя Наня умирала тяжело, от водянки. Когда гроб стоял в Предтеченской церкви, которую так и не успели достроить всю до пожара, под ним поставили два таза, чтобы было куда течь воде из раздувшегося трупа. Бедный папа перед ее смертью должен был поворачивать тяжеленную тетю Наню с боку на бок, помогать сажать ее на судно. Меня тоже брали с собой к этим старым теткам (не с кем было оставить дома), но я сидел в соседней комнате и не видел ее предсмертных мучений и смерти. Потом не раз вспоминали (уже с улыбкой), как тетя Наня в полубеспамятстве передразнивала не то тетю Аню, не то тетю Калю, которые уговаривали ее: «Ходи, Нанечка, ходи!» А она повторяла: «Ходи, Нанечка, ходи!..» Когда я подросток, мама мне рассказала, что папа, впервые присутствуя при смерти человека и вдоволь наглядевшись на агонию и прочие неприятные вещи, долго потом побаивался темноты, ходил в наши сени с лампой или со свечкой. Мне кажется, мама говорила об этом не без некоторого удовлетворения: она знала папу как безусловно смелого и сильного человека, а тут он проявлял слабость...

После ему пришлось хоронить и остальных маминых тетушек, беря на себя все хлопоты и заботы. Живые они были несхожи по характеру и занятиям, и жизнь у них

была разная и нелегкая. Тетя Каля была земской акушеркой, она приняла почти всех детей в нашем городе, в том числе и меня, и маму. Старая дева, она была некрасива, с оттопыренной нижней губой (на фотографии, запечатлевшей сестер, тетя Каля слева); этой губой она подпирала вечную папиросу — поздний отзвук нигилистических шестидесятых годов прошлого века в далеком от просвещенных столиц Котельниче. Она была крайне немногословна и упорно молчала в ответ на насмешливые замечания и воркотню своих сестер, и потом я не раз жалел, что у меня вырвались эти неосторожные и обидные слова, столь развеселившие остальных тетушек, когда я показал на угрюмо нахохлившуюся в углу, в кресле, с папироской во рту Клавдию Ивановну: — Тетя Каля точно обезьяна сидит!

Когда сестры ее засмеялись (впрочем, засмеялась, кажется, только тетя Лизочка, из них самая недоброжелательная), мне стало сразу совестно, хотя сама тетя Каля ничуть на меня не рассердилась, даже не поглядела с немым укором.

Умерла она тоже молча, никого не обеспокоив. Поздно вечером пошла в уборную, держа в руках керосиновую лампу; в сенях, видимо, почувствовала себя плохо, аккуратно поставила лампу на пол, рядом легла сама — и наутро нашли ее мертвой; лампа еще горела, но пламя было увернуто, не коптило. Вот когда сестры ее от души похвалили — за то, что не устроила пожара.

Тетю Лизочку, в сущности, тоже следует пожалеть. Она родила много детей, двенадцать или тринадцать (у меня сохранилась большая фотография, где она снята в кругу своей большой семьи), дочери и сыновья ее выходили замуж, переженились, уехали, и никто не позвал к себе мать, а один женатый сын, некоторое время еще остававшийся в Котельниче, по воле жены просто не пускал ее к себе на порог. С ней долго жила некрасивая дочь Маня, которая лишь в сорок лет, уже после революции, вышла наконец замуж за некоего Воробьева, быстрого, бойкого, как воробушек. Воробьев худо обращался с женой, бил ее, изменял ей с бабами и девками, работавшими под его начальством в складе с овсом — государственным овсом, которым он, бывший частный торговец, теперь заведовал. Воробьев присмирел на время только после того, как потерял в этом

складе свои вставные челюсти. Он искал их со своими помощницами до утра, перелопачивая овес, перерыл весь амбар и не нашел, а новые зубы в те дни мудрено было заказать. Скоро он опять стал бить жену, забил насмерть и куда-то исчез.

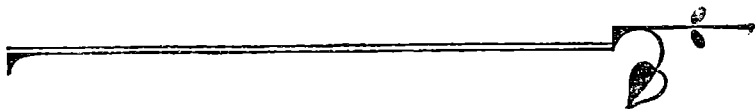
Тетю Лизочку я не любил: из всех старых тетушек она одна была ко мне равнодушна; может быть, потому, что собственные дети и внуки были равнодушны к ней. Единственное, что я с удовольствием для нее делал, это мундштуки для самокруток (тетя Лизочка, как и тетя Каля, тоже курила), да и то только потому, что мне нравилось выдалбливать их из бузины с ее мягкой, упругой, резинистой сердцевинкой. Впрочем, и мундштуки я перестал мастерить после одной поразившей меня тети Лизочкиной выходки. Я увидел, как, придя к нам, она погрозила кулаком вписавшему у нас на стене большому портрету Льва Толстого. Толстой уже давно умер, но для нее он все еще был отлученный от церкви крамольник, проклятый богом. И несмотря на то, что сама тетя Лизочка вовсе не была фанатичкой и даже в церковь ленилась ходить, а я тогда еще почти ничего не читал из Толстого (кроме рассказа «Булька» и «Кавказского пленника», до странности непохожего на пушкинского и лермонтовского), я очень за него обиделся. За него и за папу. Уж папа не стал бы держать над своим столом портрет плохого человека.

Видел я тетю Лизочку довольно редко — на святках, на пасхальной неделе и в мамины именины. В один из таких праздников она удобно уселась в своем шуршащем шелковом платье на обильно смазанный маслом противень, приготовленный для пирога. То-то радовались по этому случаю ее сестры! Вообще, взаимоотношения сестер могли удивить постороннего человека. Они словно бы и любили друг друга, три из них до самой смерти жили в одном доме, но хозяйство вели отдельно, лишь чай пили вместе (каждая со своим вареньем), и постоянно выясняли отношения между собой и с людьми, которых они встречали в молодости. Одна за другой тетушки умирали, а остававшиеся в живых делили наследуемое имущество. Они страстно спорили, ссорились, потихоньку утаскивали ночью из общей кучи особо понравившиеся вещицы, а наутро пропача обнаруживалась и начиналась свара. Но при этом они называли

друг друга — Клавочка, Лизочка, Анечка, и когда при разделе наследства чихали от пыли, то желали здоровья чихнувшей.

В доме, где они жили и умирали, полы покосились, по ним стало трудно ходить, как по кособогу, тем более что полы были скользкие, крашеные, краска не облупилась, выглядела как новенькая: хозяйки ее берегли, возвращаясь домой, сразу же надевали мягкие туфли. А что дом заваливался, ветшал — тут уж они ничего не могли поделать, денег на ремонт не было.

Но дом пережил хозяев, пережил и большой котельнический пожар. Наследников не оказалось, и дом перешел в ведение коммунхоза. Его сломали, сад заглох, теперь там стоят другие дома, — за полвека, прошедшие после пожара, и они успели заметно постареть, во всяком случае не молоденькие. Когда я теперь приезжаю в Котельнич и прохожу мимо, я невольно подумываю о том, что никто-то, кроме меня, не знает сейчас ни о существовании того дома, ни о живших в нем, таких разных, сестрах. . .



СОСЕДИ

Улица, на которой мы жили, называлась Воробьевской, а после революции — улицей Луначарского, но чаще ее называли просто Второй. У нашего городка было одно сходство с Нью-Йорком: продольные улицы жители называли по номерам — Первая, Вторая, Третья, Четвертая. Правда, в Нью-Йорке этих самых его авеню тринадцать, Котельнич довольствовался четырьмя, но тянулись они тоже через весь город, версты на две с гаком, — по крайней мере главная, Первая улица, именовавшаяся Московской, потом Советской. Вторая улица была покороче.

Наш квартал соседствовал с Нижней площадью, где каждую весну, в марте, бурлила Алексеевская ярмарка, крутились карусели, царствовал цирк, а лошадей, запряженных в нарядные, убранные коврами сани, кошевки, кибитки, в простецкие розвальни, топталось столько, что навоза от них хватало на все обывательские огороды, да еще пригородные мужики увозили его на свои поля.

Вдоль железной дороги, пересекавшей площадь, рядом с полосой отчуждения, заросшей ромашкой и лютиком, красовались мясного цвета каменные ряды; в обычное, неярмарочное время они пустовали, потому что рынок был в другом месте — на Соборной площади, в городском центре. После пожара собор был снесен, вместо него разбит сквер, а рынок перенесли на Нижнюю пло-

щадѣ, и колхозники теперь продают баранину и свинину в тех самых кирпичных рядах, нимало не сомневаясь, что так было от века.

По другую сторону линии располагались воинские казармы барачного типа и среди них деревянный же Гарнизонный театр. Как-то ранней весной 1919-го или 1920 года среди нас, школьников, распространился слух, что в Гарнизонном театре будут давать спектакль «Князь Серебряный» по роману А. К. Толстого, — неизвестно, почему именно эту вещь избрало чье-то воображение: Целый вечер мы торчали у входа в театр, но его так и не отперли. Вместо «Князя Серебряного» мы увидели в широком итальянском окне соседней казармы, как, раскорячившись на нарах лицом к свету, не обращающая внимания на редких прохожих, а тем более на нас, молодой краснoармеец сосредоточенно брил себе лобок: год был тифозный.

Трудно сказать, почему это зрелище произвело на меня столь щемящее впечатление: я вернулся домой сам не свой. К сыпняку, разгулявшемуся в тот год и косившему наших родных, друзей и знакомых, можно было уже привыкнуть: бытовое явление. И все же сжималось сердце, когда я слышал негромкий, полусекретный разговор родителей: мама пришла домой и обнаружила у себя на белье вошь. И вот две недели тревожно ждем — заболит мама или не заболит. . . Моя чувствительность и мой страх принимали порой неожиданные формы. Я дружил с мальчиком моих лет Володей Бутыриным, мать которого давно умерла. И вдруг я ему позавидовал: горе его позади, он привык быть сиротой, ему не надо переживать то, что будет со мной, если я потеряю маму. Самое удивительное, что я убедил и Володю: он согласился, что он счастливее, во всяком случае благополучнее меня!

Странным образом сочетались тогда самые несовместимые вещи: война, голод, тиф, обычная трудовая жизнь — и развлечения. Я имею в виду не только нас, ребятшек, не унывающих в любую эпоху, — развлекались и взрослые. В клубах, учреждениях, госпиталях устраивались вечера и балы, благо город изобиловал воинскими духовыми оркестрами. Самый лучший оркестр принадлежал летной части (с ее привязными аэростатами — не самолетами). Молодые, красивые ко-

мандиры танцевали с совбарышнями, местными и приезжими; все эти дочери и молодые жены купцов, подрядчиков, приказчиков, бухгалтеров, врачей и священников, а то и столичных сановников, постаравшихся затеряться в российских просторах, днем стучали на машинках в УОНО, горсовете, совнархозе, уземотделе, а вечером откровенно веселились. Шла своеобразная уездная жизнь, похожая и непохожая на дореволюционную, словно бы устоявшаяся, налаженная всерьез и надолго, а на самом деле — пф! — и все разлетится... Но не разлеталось! Множились любовные романы с идиллическими и драматическими развязками; дамы упоенно рассказывали, как один командир стрелял в себя из-за измены возлюбленной, но ее отец, врач, спас его, вылечил, и командир благополучно отбыл на фронт после такой романтической тыловой передышки; а уж что с ним было потом, никому не известно — война длилась и длилась.

Соседи... Котельнич был таким маленьким городом, что чуть ли не всех его жителей можно считать соседями. Правда, война и революция их усердно перемещали, перетасовывали, но я начну с дореволюционных соседей; некоторые из них были маминими родственниками, другие — знакомыми, третьих я только видал на улице.

Угловой дом по нашей стороне Воробьевской, первый от Нижней площади, когда-то принадлежал купцу Микишеву. Дом унаследовала дочь Микишева, вышедшая замуж за Александра Васильевича Чемоданова, маминего двоюродного брата, моего крестного. Чемоданов служил частным поверенным у известного в нашем городе и в губернии Александра Викторовича Лебедева, человека великанского роста, с астматическим хриплым басом, бывшего революционера, по крайней мере постоянного участника революционных кружков, в то же время хозяина магазина (гастрономия, бакалея, колоннальные товары), домов (два солидных двухэтажных дома — каменный и полукаменный), усадьбы верстах в двадцати от города и водяной мельницы (мы с отцом ездили к нему однажды в деревню: отец проектировал для мельницы дополнительный мукомольный постав, и за нами прислали тройку лошадей, запряженных в нарядную коляску).

Дочь Микишева и жена Чемоданова, Ольга Павловна, важная, полная дама, властно руководила семьей —

мужем, прислугой, дочерьми, сыном. Сын Миша, долговязый великовозрастный гимназист в очках, с увлечением вырезал бумажных солдатиков и играл ими в русско-германскую войну, за всеми событиями которой следил с величайшим интересом и знанием дела. За годы нашего с ним приятельства этот славный смиренный парень только раз надо мной от души посмеялся и позвал посмеяться своих сестер, когда я высказал мнение, что женские груди — это легкие, находящиеся у женщин, в отличие от мужчин, почему-то снаружи, а не внутри. В 1919-м или 1920 году Мишу призвали на гражданскую войну; не доехав до фронта, он заболел сыпняком и умер. Хорошо помню, как после краткого своего учительства в деревне, он пришел к нам прощаться и слезы стояли в его близоруких добрых глазах. Худой, слабый, не приспособленный к жизни, он боялся не войны — он боялся трудной, долгой дороги до войны. Так и вышло: он умер в пути.

Очень разная судьба была у дочерей Чемодановых, Мани и Лиды. Старшая, Маня, хромая и глуховатая, навсегда осталась старой девой, нянчила детей своей младшей сестры, страдала от ее капризов всю жизнь, в конце вообще была вынуждена жить и работать у чужих людей. Младшая, Лида, хорошенькая, несмотря на длинноватый нос и привычку шуриться, легкомысленная и, казалось, удачливая, в каком-то смысле была роковой женщиной. С чего это началось?

Незадолго до революции семья Чемодановых продала свой дом и, прожив год или два у Лебедева, в богатой, но мрачноватой квартире, затем у своей дальней родственницы Шляпкиной, недалеко от нас, переехала уже в советское время к столяру и гробовщику Зайцеву (с дома которого через несколько лет начался большой городской пожар). Там-то, в маленьком флигельке, Лида и оказалась невольной причиной семейной беды. С фронта приехал и заночевал у них молодой командир, не то родственник, не то просто знакомый. Любившая покетничать, пофлиртовать, Лида до позднего часа сидела с ним на диване, у печки, подцепила тифозную вошь, заболела сама, но поправилась, а заболевший отец умер.

И семья опять переехала, на этот раз на другой конец города, в психиатрическую больницу, где служил

завхозом тот самый Лебедев, бывший революционер, бывший домовладелец, бывший купец, бывший мельник. Лебедев взял Ольгу Павловну, вдову бывшего своего поверенного, кастеляншей в психолечебницу, а Лида поступила служить в УОНО, потом поехала было в Пермь учиться на врача, но скоро вернулась, не вытерпев трудной учебы и трудной жизни, когда и у экзаменатора и у экзаменуемого громко и угрожающе урчало в животе, и вновь превратилась в созбарышню. Затем вышла замуж за какого-то предприимчивого жителя Яранска (в 80 верстах от Котельнича конным трактом), человека, неплохо существовавшего в годы нэпа, родила от него двух сыновей — и потом потеряла их в Великую Отечественную войну; успела выйти замуж за летчика — он тоже погиб; сейчас она, крупная, ухоженная, выглядящая моложе своих лет, замужем за директором завода где-то на периферии.

У нас с Лидой имелась тайна, многозначительными намеками на которую она меня долго смущала. Одно время, как я сказал, они жили у Александры Петровны Шляпкиной. Эта решительная, энергичная пожилая дама своим напористым басом разносила по городу всевозможные новости, одновременно преувеличивая их и принижая. Особенно любила она уменьшительные словечки: «юбочка», «штанёшки», «лампёшка», «женичочка»; презрительно уменьшала она и имена тех, о ком говорила: «Петька», «Надька», «Людмилка», какого бы возраста они ни были. На деле Александра Петровна была добра, отзывчива и без памяти любила свою племянницу Лелю, невысокую плотную девушку с толстыми косами до колен. В один прелестный апрельский вечер, идя к Чемодановым, я увидел, как у ворот дома Лида целовалась с высоким интересным брюнетом, у которого, к моему удивлению, из-под форменной гимназической фуражки торчали суконные наушники: шалку гимнастам и верно что не разрешали раньше носить даже в морозы, но ведь тут уже было не царское время, да и тепло, весна. Успев это разглядеть, я деликатно отвернулся, но когда Лида явилась домой (гости все были в сборе), она принялась всячески затягивать меня в заговор: таинственно улыбалась, мигала, прикладывала палец к губам, словом явно купалась в любовной тайне. В конце концов это мне так надоело, что, будь

у меня другой характер, я бы ее непременно выдал! А вообще Лида нравилась мне своей легкостью, добротой, охотой играть с нами, детьми.

Ольгу Павловну я не любил, особенно после одного случая. Как-то зимой я так разыгрался с Лидой, что, уходя домой, не заметил, не вспомнил, что поверх своей шапки надел каракулевую шапку своего крестного. Я искренне недоумевал, почему это лихие ребята из колонии малолетних преступников (как ее называли в городе), вечно толпившиеся и курившие у ворот, показывают на меня и гогочут. Только придя домой и ужаснув маму («Надел дорогую чужую шапку... мог ее потерять... что скажут и подумают Чемодановы... сейчас же беги и неси и проси прощения!»), я понял причину их смеха. Удивляюсь и до сих пор благодарен (а ведь этих парней опасались и взрослые): вот не сшибли же они у меня с головы шапку и не забрали себе! Когда я явился с повинной головой и завернутой в платок шапкой к Чемодановым, то одна Лида смеялась над происшествием, Ольга же Павловна отнеслась к нему весьма хмуро — в свои десять лет я почувствовал это и внутренне оскорбился; а в какое бы я попал положение, если бы «дефективные» (их называли и так) присвоили этот приз!

Когда Чемодановы жили еще в своем доме, верхний этаж его занимал бухгалтер Волжско-Камского банка, по фамилии Глухих, женатый на умной, интеллигентной женщине, обладавшей звучным голосом и певшей на любительских концертах.

Анастасия Васильевна до замужества была классной дамой в женской гимназии в городе Орлове, ныне Халтурине, которую перед тем сама кончила (моя мама училась там несколько позже). У них было четыре сына с изысканно выбранными именами: Виталий, Вадим, Рафаил и Игорь. Все они были младше меня, и, когда мы играли в войну, я скромно брал себе имя и обязанности Наполеона, отдав братьям Глухих маршальские звания. Неврастеничный, заносчивый, строптивый Виталий, говоривший немного в нос, с просвечивавшими венами на тонкокожих висках, становился Мюратом; флегматичный, покладистый, добродушный Вадим — Даву; остальные — не помню уж какими маршалами. Когда любимец матери Виталий умер от скарлатины,

свободомыслящая, эмансипированная, прекрасно знавшая и любившая русскую литературу Анастасия Васильевна ударилась в религию, и как, с какой силой! Стала принимать у себя и кормить богомолков, монашек, изъясняться текстами из священного писания, прислуживать в церкви в качестве псаломщика (не знаю, как это совмещалось с церковным запретом для женщины бывать в алтаре), дружила с семьями священников, говорила тихо, почти не разжимая губ (исключая часы, когда пела или читала в церкви), сурово порицала «светские» книги и полностью вовлекла мужа в свои интересы.

Михей Иванович Глухих, краснолицый блондин, поактерски бритый, что в те годы встречалось нечасто — большинство мужчин носило усы и бороду, увлекавшийся дамами, говоривший им сладкие комплименты и целовавший ручки (полагаю, не больше, судя по властному характеру Анастасии Васильевны), не чуравшийся клуба и карт, тоже стал поститься, молиться, не знаю, насколько искренне, насколько подчиняясь жене. Кстати, Анастасия Васильевна была дочерью простой крестьянки из пригородной деревни Парышевы, бойкой на язык, деловитой, практичной Елизаветы Никифоровны, жившей вдвоем с молчаливым сыном. Когда мои родители после пожара поселились в их доме, за целый год они ни разу не слышали, чтобы Михаил Васильевич произнес вслух хотя бы единое слово, кроме неразборчиво буркнутого утреннего приветствия.

Я не знаю, по какой причине Чемодановы продали свой дом; скорее всего потому, что он стал ветшать, а возиться с ремонтом им не хотелось. Ольга Павловна всегда жила барыней, Александр же Васильевич был натурой пассивной, хотя и оптимистичной: у них был голый-преголый кот Сюнька, которого крестный очень любил, и всякий раз, когда кто-нибудь пренебрежительно отзывался о его проволокособразном хвосте, глава дома ласково-примирительно говорил: «Ничего, опушится». Эта фраза его получила в нашей семье расширительное понятие — когда что-нибудь не ладилось, кто-нибудь из нас говорил: «Ничего, опушится!»

Дела в семье Чемодановых после смерти крестного, увы, не «опушились». Странно даже представить, как Ольга Павловна в психолечебнице принимала от прачек

и выдавала санитарам и санитаркам белье для больных, в том числе и смиренные рубашки. . .

А продали они дом котельническому мещанину Филиппу Павловичу Демину, для меня, подростка, фигуре загадочной и тем самым манящей, хотя я смотрел на него не без гадливого страха. Из обрывков слов старших я понял, что Филипп Павлович до покупки чемодановского дома сам был домовладельцем, но особого сорта. Он жил на Четвертой, Сиротской, улице, имевшей дурную славу: там существовали тайные кабаки и вертепы, больше того, Филипп Павлович и содержал такой вертеп, иначе бордель, иначе бардак (от кого-то услышал я и это слово), а по-книжному — дом терпимости, на доходах от коего он и разбогател. Надо ли объяснять, с каким пугливым любопытством приглядывался я к этому тихому, безукоризненно вежливому, но, как чудилось мне, приторно липкому, с нечистой тайной внутри человеку, когда он приходил к моему отцу посоветоваться о ремонте и перестройке дома, или когда я встречал его на улице, или видел в открывшуюся на секунды калитку расхаживающим по двору. Думаю, что он замечал мое особое внимание к нему, потому что при встрече успевал первым со мной поздороваться, чем немало меня смущал: обычно взрослые меня не замечали, когда я им кланялся,— я имею в виду, конечно, не родственников и не близких знакомых, а просто соседей, вроде отца Феди Куницына. Впрочем, Куницын-отец ни с кем не здоровался и никому не отвечал: по улице он ходил с тростью, втыкая ее вертикально в землю, в мостки и упорно смотря сам туда же. Не знаю, говорил ли он хотя бы с женой или детьми; кроме сына у него было пять дочерей, очень на него похожих — худеньких, тонконогих, постоянно молчавших; в одну из них, мне казалось порой, я влюблен,— в детстве я был очень влюбчив.

А вот в дочь наших соседей Верещагиных, Соню, я не был влюблен ни капельки, хотя часто играл с ней и ее братьями. Во дворе верещагинского дома, вдоль всей границы с чемодановским участком, протянулись старые двухэтажные амбары с верхней и нижней галереями. Что было в амбарах раньше (и почему вообще в Котельнице такая уйма амбаров), я не интересовался; при мне они стояли пустые и в них можно было превос-

ходно прятаться или, забившись в уголок, тихо рассказывать друг дружке страшные истории. Об ожившем покойнике, от большого пальца ноги которого был протянут, как якобы всегда делалось в усыпальницах, звонок к сторожу, и как в два часа ночи покойник вдруг позвонил. . . О запрятанном где-то здесь же в амбарах кладе, который можно попытаться разыскать только в полночь. . . Достоверность этим далеко не новым историям придавала обстановка, а также то, что их будто бы поведала детям сама верещагинская мама. Лично я пересказывал «Страшную месть» и «Вия», Верещагиным-младшим еще неизвестные.

Павел Иванович Верещагин был пекарь. Пекарня и булочная помещались в нижнем этаже; наверху, вместе с теперешними хозяевами, жила и бывшая хозяйка дома, Елизавета Константиновна Воронцова, породистая старуха с белоснежными волосами, по моему убеждению напоминавшая Пиковую Даму, о чем я также докладывал Верещагиным. В бытность ее домовладелицей, перед германской войной и в первые годы войны, на месте булочной и кондитерской помещалась «казенка» или «монополька» — государственная винная лавка. Это соседство было еще беспокойнее горячей сажи из труб: бывало, что мимо нас сплошняком валили пьяные, залегали на дороге или в канавке напротив окон; чтобы опохмелиться, ломались в наши ворота, считая, что это мы заперли винную лавку и можем ее отпереть, если они будут настойчивее.

У Верещагиных было три сына и три дочери. Старший сын кончил гимназию, дальше учиться не стал, а стал помогать отцу. У него были слабые легкие, подозревали чахотку, худел Николай еще и от непрерывного жара в пекарне; для него ежедневно брали у нас кружку козьего молока, считавшегося целебным. Средний сын, Павел, учился в Вятке в коммерческом училище — спокойный, блондинистый, почти альбинос. Евгений, вихрастый, бойкий, учился в Котельниче в параллельном со мной классе; потом он работал на Вохме, одним из первых строителей вблизи Котельнича, и учился там в химическом техникуме. Старшая дочь, Анюта, училась в Петрограде на Высших женских курсах и редко приезжала в Котельнич. Средняя, Клавдия, окончив гимназию, стала общественницей, комсомоль-

ским работником, порвала с родителями. Соня, бойкая девчонка немного моложе меня, охотно принимала участие во всех мальчишеских играх — в лапту, в лепки (от слова «влепить»), в сыщиков-разбойников, в чижи-ка-подковырку, в панки (бабки), в ножичек, дралачь и царапалась — словом, была молодцом. Но взрослая ее жизнь, как я слышал, не задалась: неудачные замужества, служба в детдоме, где и мужчин-то один завхоз; затем я потерял ее из виду, как большинство моих сверстников и сверстниц. Сколько бы ни ездил в Котельнич, никого не встречал из школьных товарищей, а из близких друзей детских лет — одного Колю Карлова, самого близкого.

Соседи. . . У меня сохранился план города, составленный в начале этого века. На нем обозначены не только улицы и жилые кварталы, но и отдельные домовладения — частные, муниципальные, земские: школы, гимназии, городская управа, земская управа, больница, богадельня, тюрьма, пожарная команда, гостиный двор, церкви. Фамилии домовладельцев на плане не значатся, но кое-кого я помню, и, как выяснилось, довольно многих, правда, большинство понаслышке. Несколько фамилий здесь приведу, потому что они типично котельнические; некоторые из них я нигде не встречал или встречал, но редко: Корякин, Кóлбин, Метелёв, Коврижных, Изергин, Волобуёв, Вохмянин, Кёрпиков, Хрóбрых, Кошурников, Пинаёв, Куёмов, Баруткин, Бизяёв, Ворона, Грёдин, Грехнёв, Пёрминов, Мурат (!), Новокшонов, Балыбердин. . .

Сейчас попробую вспомнить тех, мимо которых я ежедневно ходил, — ходил, а также ездил на коньках. Разве можно по улице катить на коньках? Да запросто! Зимой тротуары обледеневали, потому что в большинстве домов не было водопровода и воду носили из водоразборных колонок, вернее из маленьких бревенчатых домиков в русском стиле, стоявших на нелюдных перекрестках или площадях, например на нашей Нижней площади. Когда я немного подрос, носить воду стало моей обязанностью. Это делалось так. В городской управе (а потом в горкомхозе) покупались «марки» — круглые жестяные бляхи величиной с дореволюционный пятак; на одних отпечатано по зеленому фону «1 ведро», на других — «2 ведра». С пустыми ведрами я подходил

к домику, стучал в окошко, открывалась форточка, я подавал туда свою марку (или пару марок), ставил ведро на скамью, под кран, и постоянно обитавшая в домике сторожиха наливала их доверху, наблюдая за этим из окна. Случался и перелив, и зимой к скамейке бывало трудно подойти, ноги оскальзывались на ледяной горке, зато как приятно было нести домой полные ведра, стараясь не расплескать. Но хочешь не хочешь — вода расплескивалась, и все мальчишки гнали на коньках по обледеневшим деревянным мосткам к центру города, где в овраге был устроен каток. Мне это было особенно удобно: на протяжении двух, даже трех кварталов дорога шла под уклон.

Мимо чьих же домов совершал я свой путь? Мимо дома старой учительницы Банниковой, о трагической смерти которой я рассказал в «Пожарах». Мимо железнодорожного околотка, которым ведал и при нем жил фельдшер Губотенко, сивоусый мужчина с двумя сыновьями. Когда мой отец, тесавший острым плотницким топором доску, срубил себе почти всю левую икру, он примотал ее полотенцем и, оставляя кровавый след, побежал к Губотенко пришивать. Один из сыновей фельдшера был на год, на два старше меня и частенько возбуждал мою ревность, ибо нравился девочкам, которые нравились мне. Красивый, среднего роста, всегда с насмешливым выражением лица, Женя Губотенко был прирожденный гимнаст и спортсмен. Как-то на школьном вечере с ним произошел казус: В то время еще не носили плавок под трусиками (просто шились трусы подлиннее), и, делая стойку на руках на параллельных брусьях, Женя выказал из-под широковатых ему трусов то, что принято обычно скрывать... То-то зафыркали, делая вид, что отворачиваются, наши девочки и заготовали мальчишки!

За розовым каменным куницынским домом (два этажа с мезонином; кстати, так и не знаю, чем занимался, на что жил этот угрюмо молчавший Куницын) стояли два белокаменных дома, принадлежавших братьям Колбиным, оптовым торговцам яйцами. Двор был заставлен ящиками со стружкой: в них упаковывали яйца и отправляли в Англию. Самих Колбиных я знал плохо и даже не отличал одного от другого: оба — мясистые, толстолобые, краснощекие: у кого-то из них сын Шура,

тоже мясистый и краснолицый, но я и его мало знал. Приятельствовал я с Женей Анненковым, сыном железнодорожного инженера, занимавшего верхний этаж одного из колбинских домов. Мать Жени, утомленная интеллигентная дама, большую часть долгого летнего дня сидевшая с книгой на широкой светлой веранде, снисходительно относилась к моей босоногости. (Впрочем, помнится, Женя тоже бегал иногда босиком — такое уж было время.) До Котельнича они жили в Вологде, Женя любил прихвастнуть и, зная, что я влюблен в паровозы, вокзалы, станционные пути, вообще во все железнодорожное, с жаром рассказывал, что путей на станции Вологда не меньше ста, а то и двухсот. Потом в своей жизни я проезжал через Вологду много десятков раз и удостоверился, что путей там много, но очень далеко до названных Женей цифр. Игрушек у Жени было действительно вдосталь, самая драгоценная для меня — маленькая всамделишная паровая машина, отапливаемая спиртом; она так меня восхищала, что мне было даже не до зависти. Помню также, как Женя уверял, что за один день прочел всю «Войну и мир», возмущался, что я не верю, обращался за подтверждением к своему подначальному приятелю Вите, и Витя охотно поддакивал и божился, изо всех сил моргая рыжими ресницами.

В угловом доме, заключавшем квартал, деревянном, одноэтажном, с широким крыльцом-верандой, до революции помещался безымянный трактир, вернее просто большая пивнуха. Хозяина ее я ни разу не видел, видел только осторожно спускавшихся по ступеням крыльца пьяноватых посетителей, которых я сторонился. Что в этом доме было в двадцатые годы — почему-то забыл; теперь уже мнится, будто его вовсе не стало, хотя он наверняка достоял до общегородского пожара. Помню же я, что на противоположном углу во время нэпа открылась булочная, пытавшаяся конкурировать с верещагинской; кстати, вдруг, через четверть века, ее бывший владелец (не то Важенин, не то Вылегжанин) обратился ко мне в Ленинграде как к депутату Ленгорсовета с жилищной просьбой, которую я при всем желании не мог бы выполнить — жилых домов строилось тогда мало.

Центром следующего квартала являлась пожарная часть с деревянной каланчой, той самой, что мгновенно

сгорела в 1926 году. Учреждение это влекло меня к себе чрезвычайно: красные пожарные машины, насосы, лестницы, багры, бочки, бойкие холеные лошади, до блеска начищенные каски и такие же сияющие медные трубы собственного духового оркестра, длиннущий брезентовый рукав, сушившийся на каланче после выезда на пожар или учебную тревогу; неусыпно шагавший наверху, по круговой галерейке, дежурный, зимой в тулупе, летом в брезентовом плаще, в любую секунду готовый ударить в сигнальный колокол, усмотрев пожар,— все это возбуждало острый интерес и внушало сладкую зависть к пожарным. Единственно, кого из персонала команды я недолюбливал, это лохматого, старого, вонючего, всего в грязи и в репьях, но зато с огромными устрашающими рогами козла. Днем он бродил по городу, затевал драки, до истерики раздражал собак, чуть не на смерть пугал детей; на ночь же его запирали в конюшню, и он выполнял свой служебный долг — оберегал лошадей от нечистой силы. По правде сказать, я нигде никогда не видал более отвратительного существа,— не мудрено, что его боялись и черти!

По дороге к пожарной я часто встречал или обгонял важно прогуливавшегося одного из домохозяев этого квартала, сравнительно еще молодого Корякина с негнущейся шеей: он поворачивался всем корпусом, если хотел взглянуть на меня или на каланчу, говорили, что это последствие контузии, полученной на германской войне; на какие средства он жил, почему в любой день и час гулял, вместо того чтобы где-то служить или работать, для меня осталось неизвестным, как и многое, многое в те строгие и странные времена.

На другой стороне улицы, как раз напротив пожарной команды, кирпичная арка ворот вела в церковный двор, протянувшийся от Второй до Первой улицы. В домах, замыкавших этот двор, жили причты всех трех церквей, в том числе и законоучитель нашей земской школы отец Константин Кибардин, объяснявший нам, первокурсникам, что муки в аду — нравственные, а не физические (равно, как и самый ад): человек умирает, а душа его мучается, если он совершал при жизни дурные поступки; какие именно, он не уточнял, не запугивал нас. Но в том же церковном доме жил мой тезка, Леонид Авениров, законоучитель городского училища, куда

я попал через год,— он, наоборот, уверял, что муки в аду самые натуральные, грешников поджаривают на углях. В 1919 году отец Константин умер от сыпняка, и я греховно подумал: почему надо, чтобы умер добрый и еще молодой отец Константин, а не старый черствый сухарь отец Леонид Авениров?

Оба эти священника состояли в причте Никольской церкви, где примерно до восьми лет я говел — исповедовался и причащался, где отпевали моего деда и крестного, маминих тетюшек, где по утрам стояли десятки гробов с покойниками, особенно в тифозные годы, что значительно омрачало эту многооконную, светлую, с легким куполом, чем-то даже веселую церковь (в отличие от старинного сводчатого собора). В праздники и накануне праздников здесь пел превосходный хор, которым управлял популярный в нашем городе регент (он участвовал и в светских концертах). У Германа Петровича был неистовый, дикий бас, который он пускал в ход, когда требовалось чудовищное фортиссимо:

Ты еси бог, творяй чудеса!
Творяй! ТВОРЯЙ!! ТВОРЯЙ!!!
Чудеса!

При слове «творяй» он так поддавал, что молящиеся невольно вздрагивали. Я и теперь, через шестьдесят с лишним лет, слышав могучий бас тубы, вызванный к жизни рукой дирижера в финале вагнеровской увертюры или малеровской симфонии, нет-нет да и вспомню Германа Петровича.

В той же Никольской церкви служил другой мой тезка — отец Леонид Несмелов, кроткий, тихий, со слабым голосом, во всем оправдывавший свою фамилию. К концу двадцатых годов он снял с себя духовный сан, выучился на счетоводных курсах, а через много лет я узнал, что он служит бухгалтером... в ленинградском кинопрокате! Кто мог предвидеть такой оборот?

Образцом примитива можно считать запяницовского отца Арсения, который в моем раннем детстве приходил в наш дом в первый день рождества и в первый день пасхи, служил вдвоем с дьяконом краткий молебен, а затем заставлял меня встать на стул и пропеть ему «Христос воскрес из мертвых» или «Рождество твое, Христе боже наш» (в зависимости от праздника), после

чего надеялся конфетой и одобрительным возгласом:
— Хорошо, собака, славит!

К иному, совсем иному культурному слою принадлежал отец Феодосий, протоиерей Троицкого собора, прибывший в Котельнич уже после 1917 года; до этого он был миссионером где-то в Северном национальном округе и в свое время окончил духовную академию. Этот светский, обходительный человек в самый разгар комсомольских антирелигиозных карнавалов без тени смущения или недовольства приходил в своей элегантной дорогой рясе в городскую библиотеку, неторопливо просматривал там в читальном зале свежие газеты, журналы, вплоть до «Безбожника» и «Безбожника у станка» (издавался тогда и такой журнал), с блеском спорил на диспутах, — в те годы в Котельнич приезжали видные, образованные лекторы, красноречиво и дельно ниспровергавшие бога.

Старший сын Феодосия Иванова играл на рояле и собирался поступать в консерваторию, мой папа готовил его к выпускным экзаменам в школе; но случилось, что в самый разгар занятий, в середине зимы, в Котельнич приехала украинская труппа и стала давать веселые спектакли с музыкой, пением, плясками — «Кум-мельник, или Сатана в бочке», «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечерницю»; через неделю труппа уехала, и вместе с ней исчез молодой пианист Иванов, то ли увлекшись одной из артисток, то ли просто в качестве аккомпаниатора. Иная судьба поджидала его младшего брата, которого в 1924 и 1925 годах репетировал по математике я (за полчервонца в месяц). Этот большеглазый, живой, непоседливый мальчик, не слишком старательный, но все схватывавший на лету, впоследствии был тяжело ранен на фронте, потерял ногу. . .

Откровенным врагом отца Феодосия, считавшим его соглашателем, почти атеистом, был не очень-то образованный, зато фанатичный отец Петр, — фамилию его не знаю, в лицо никогда не видел, лишь слышал о нем, об успехе его истеричных проповедей у прихожанок. Он делал этот успех с Михаилом Глушковым, о котором я расскажу в главе «Гости».

Миновав церковный двор и завернув на улицу Ленина (бывшая Троицкая), пронесся мимо бывшей городской управы и бывшего городского училища (в котором

я учился недолго), Я на секунду задерживался возле углового большого дома, недавно еще принадлежавшего богатым купцам Глушковым, в родстве с которыми был отец Михаил. Обыватели благоговейно рассказывали, как прислуга Глушковых, неся к столу кипящий самовар, завязывала кран тряпочкой, чтобы не накапать на зеркально натертый паркет. Но прошли годы, Инна Михайловна Глушкова после пожара повредилась в уме, жила в чьей-то баньке на краю города, держа при себе шесть-семь искалеченных кошек, которых она подбирала на улице и кормила, хоть сама нищенствовала, а наследникам было не до нее.

С одним из ее племянников я учился в школе. Николай Глушков приехал из Ялты, недавно освобожденной от Врангеля (там жил и умер от чахотки Глушков-отец, много лет уже не принимавший участия в торговых делах), приехал бедным, но чистеньким барчуком, в гимназической фуражке летнего образца, с белым верхом, — таких фуражек мы прежде не видели. Как-то, играя на дворе в чехарду, я неловко задел его фуражку, — белый чехол слетел, и на голове Глушкова остался один околыш, без тульи.

— Смерть проклятым белогвардейцам! — азартно крикнул Санчик Балыбердин и сам же смутился: никому раньше и в голову не приходило, что Глушков до Котельнича год или два учился в белом Крыму! А он, бедняга, все так и стоял, нагнувшись, недоуменно оборотив к нам красное от натуги лицо. Николай был очень худой, очень длинный и очень способный мальчик. Однажды весной, во время экзаменов, он пришел ко мне и попросил рассказать «Обломова», которого он не читал и опасался, что назавтра его как раз спросят. Я ужаснулся.

— Как я тебе могу рассказать такой толстенный роман?

Но он упросил, и я ему рассказал, рассказал плохо, сбивчиво. На следующий день Николая действительно спросили про «Обломова», и он безупречно изложил содержание и четко охарактеризовал героя. Я не верил своим ушам, готов был думать, что Глушков меня разыграл, но все знали, что он в самом деле мало читал, даже не очень любил это занятие. Правда, семья его жила бедно, тесно, мать часто прихварывала, ему при-

ходило за ней ухаживать и помогать по хозяйству. Вскоре Любовь Ивановна, маленькая, некрасивая, вышла замуж вторично — за такого же, как и она, некрасивого, маленького человечка; брак этот достатка и счастья в семью не принес. Немного позднее Николай поступил в Ленинградский институт путей сообщения, но не перенес ленинградского климата — умер от туберкулеза; вот так и вышло, что сын когда-то богатого человека не унаследовал от отца ничего, кроме болезни. Его младший брат, Елисей, еще более худой и длинный, чем Николай, окончив школу, стал электромонтером; страшно было смотреть, как со связками изоляторов тонкий, как стебелек, Елисей лазал по столбам: вот-вот переломится! Лет пять назад знакомый котельничанин мне рассказал, что Елисей Глушков после своего монтерства где-то учился, стал директором котельнической районной совпартшколы, затем пошел на войну и там погиб, всего на десять лет пережив старшего брата. Так кончилась еще одна котельническая династия.

Переехав или перебежав на коньках Советскую улицу, я оказывался подле углового дома Самоделкиных, где раньше торговала швейными машинами фирма «Зингер», а потом помещался профклуб. Несколько скользких пробежек вдоль по Советской — и я у моста через овраг. Чуть пониже, на склоне оврага, стучал дизель-мотор маленькой электростанции, обслуживавшей в дореволюционные времена два котельнических кинематографа — «Художественный» и «Свет и тени». Большинство городских домов, магазины, улицы, площади освещались тогда керосиновыми и керосинокалильными лампами; у последних раскаленный в парах керосина асбестовый колпачок («сетка Ауэра») давал ярко-белый свет, превосходивший во много раз свет обычной керосиновой лампы. Керосинокалильные фонари стояли на всех перекрестках, и я любил смотреть, как их в сумерках зажигали, спуская для этого со столба. Любопытно, сохранился ли в каком-нибудь коммунальном музее такой фонарь?

С дробным стуком съехав по деревянным сходням в овраг, я оказывался у цели: передо мной простирался большой, старательно разметенный, уставленный по краям скамейками, обсаженный воткнутыми в сугробы зелеными елками, весь исчерченный мелькающими фи-

гурками конькобежцев, знаменитый наш городской каток. Чем он был знаменит? Тем, что город его любил и берёг. Каждую осень запруживали речку Балакиревицу (обыватели называли ее Котлянкой, хотя на деле река Котлянка протекала не в центре, а на окраине города), и овальное зеркало новорожденного пруда с первыми же заморозками превращалось в каток. По воскресеньям и по субботам, начиная с шести-семи часов вечера, здесь играл духовой оркестр (радио тогда еще не было), и за право катания в эти вечера надо было покупать билеты. Но мальчишки попадали на каток бесплатно: для этого стоило лишь перелезть плотину, отделявшую устье речки от реки Вятки, или просто спуститься в овраг по склону со стороны недостроенной Предтеченской церкви.

Так или иначе, два часа кружения по катку — это два часа чистейшего наслаждения, с которым ничто не могло сравниться, после которого дома и сладко читалось, и сладко спалось... А сколько смешных происшествий! Помню, я попал под ноги нашему учителю гимнастики, рослому Робинзону, как мы почему-то его звали, мерившему длинными своими норвегами лед. Странно, я-то на ногах устоял, а споткнувшийся об меня Робинзон полетел в сугроб. Впрочем, этот добрейший человек ничуть не рассердился, — он всегда был спокоен, улыбчив и заботливо страховал нас в гимнастическом зале, когда мы делали стойки на параллельных брусьях, всклепки и «солнце» на турнике.

Другое событие было куда трагичнее; правда, произошло оно еще до того, как меня стали отпускать на каток; толковали о нем всю зиму. Некая семейная дама (муж, две дочери) насмерть жахнула коньками в висок старшеклассницу-гимназистку, приревновав к ней своего любовника. Мой отец не терпел пересудов, и у нас в доме об этом скандальном и кровавом событии не говорили, но, когда мы бывали в гостях, отзвуки происшедшей на катке драмы доходили до моего слуха и возбуждали неодолимое любопытство: еще бы, убийство! И где? На катке! Под звуки духового оркестра!

Конечно, в Котельниче происходили и другие, не столь эффектные и не такие «светские» драмы, но о них я не знал, не слышал, как не знал и не слышал о многих котельничанах, проживавших на отдаленных от нас ули-

цах, в тех глухих кварталах, из которых возник вдруг и поселился по соседству с нами Филипп Павлович Демин. Так, в 1931 году, приехав в гости к родителям, я зашел в редакцию местной газеты «Ударник» и увидел там странного, жутковатого на вид человека: уши и ноздри у него были заткнуты грязной, желтой от гноя ватой, глаза тоже гноились, одет он был в какую-то засаленную хламиду, а на редакционном столе, подле которого он стоял, возвышалась горка конторских книг; он молчал, но мне объяснили, что человек этот принес стихи, которые он написал за долгие годы,— ему было лет шестьдесят. Когда мы развязали пачку и заглянули внутрь, мы увидели сплошь исписанные крупным и четким почерком сотни, тысячи страниц. Уже по чернилам можно было определить, какая из этих тетрадей-книг старше; одно родило все записи — чудовищная безграмотность, особенно бросавшаяся в глаза благодаря ясному, красивому почерку.

Да, малограмотные вирши, не больше, и все же эта многолетняя, неотступная, изнуряющая потребность в самовыражении не могла не тронуть. Я не раз потом думал: как же так — всего в трех-четырех кварталах от нас жил и писал строку за строкой, тетрадь за тетрадью нищий, больной человек, и ни я, ни мои родители не подозревали о его мучительной страсти, а ведь это тоже был наш сосед. . .



ГОСТИ

Нельзя сказать, что все наши гости сознательно делились моими родителями на «чистых» и «нечистых»,— да и что понимать под этими определениями? И все же так получалось, что мамыны родственники и их семьи принимались у нас отдельно от папиных сослуживцев; мамыны старые тетки не смешивались с мамыными же двоюродными братьями, их женами и детьми; были семьи, которые ни с кем не объединялись, как, например, доктор Шейнкман с женой и младшей дочкой (старшая у нас никогда не бывала); инженер Захаров с женой; страховой агент Сердюк с женой и сыном (а чаще один); фельдшер, а затем врач Николай Иванович Павлов, сначала один, холостой, а затем с женой, москвичкой, тоже врачом; и наконец, уже в советское время, ближайшие наши друзья — врачебная семья Карловых. Бывали и гости-одиночки: чрезвычайно мне симпатичный Матвей Семенович Саутин, к сожалению рано умерший; член губернского суда Серафимов, громко и, как мне казалось, грубо со мной шутивший,— его я не любил и даже боялся,— к счастью, он наезжал редко.

Теперь-то я понимаю, что гостераздел происходил вполне естественно, в основном по линии большей или меньшей интеллигентности. Гости, которые были неизбежны, это мамыны родственники. (Почему не папины? Да потому, что их в Котельнице не было, если не считать нашей общей любимицы — папиной младшей сест-

ры.) Это не значит, что папе они были неприятны,— неприятных он не пускал в дом,— просто они были ему неинтересны, уровень, на котором шли разговоры за чаем и ужином, ниже «желательного», с ними чаще играли в карты, чем беседовали, хотя среди них были и колоритные фигуры.

О Чемодановых я рассказал в главе «Соседи», мы с ними дружили, но дружба эта была скорее сердечной, чем духовной. Еще более далеки для папы были Трухины. Андрей Константинович Трухин был женат на сестре Чемоданова, Александре Васильевне, доброй, вялой, чуть заикающейся женщине. Он владел небольшим мануфактурным магазином и полукаменным двухэтажным домом, верх которого занимал учитель женской гимназии Троицкий. Сергей Иванович Троицкий так привык преподавать историю девочкам, что потом и у нас, в единой трудовой школе, закрыв глаза, повторял, постукивая ребром ладони по парте: «Тише, барышни! Тише, барышни!» — из чего мы могли заключить, что и гимназистки на уроках шумели. А историю он нам наизусть шпарил по старому, верноподданнейшему учебнику Иловайского,— я нарочно принес в класс и проверил. (Сделал ли я это из ехидства? Да нет, просто меня удивила анекдотичность такого цитирования на пятом году революции; самого же Сергея Ивановича мы скорее любили, вернее — жалели.)

Андрей Константинович Трухин был типичный благонамеренный обыватель. Когда чаепитие происходило в саду и гости, особенно мой отец и племянник хозяина, Николай Михайлович, приехавший на побывку с фронта с двумя Георгиевскими крестами, затевали опасный разговор о войне, о политике, называли царя кретином, величали его Николашкой, Андрей Константинович страшно пугался и, сложив перед собой ладонки в виде заслонки, шепотом умолял:

— Господа! Рядышком... ведь рукой подать... полиция!

Для меня Трухин представлял главный интерес тем, что нюхал табак и трубно сморкался в большой красный платок, каких я нигде и ни у кого не видывал, как не слышал и столь оглушительного сморкания. Играя в карты — в «наполеона», в «подвеску», в «тещу», как упрощенно у нас называли «пиковую даму», он пригова-

ривал: «Мое почтение!», или «Мы люди маленькие, нам много не надо!», или «А мы ее по усам, по усам!», и еще чаще сморкался, чтобы успеть подумать над очередным ходом. Из года в год Андрей Константинович подписывался на «Ниву» и «Родину» с их многочисленными приложениями, но не читал (он ничего не читал, кроме губернской газеты «Вятская речь»), а складывал в большой окованный железом сундук. Исключение составляли собрания сочинений классиков, требовавшиеся по учебной программе для дочери: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев и Гончаров чинно стояли на ее этажерке.

— Подкоплю деньжат,— лукаво подмигивая, говорил Андрей Константинович,— выйду на покой, стану читать.

Покоя не вышло, книги так и остались непрочитанными. Дочь кончила гимназию с золотой медалью, поехала в Пермь учиться на врача, выучилась, и, когда в 1918 году у Трухина реквизировали и национализировали магазин, дом и прочее, она отказалась от отца, оставив при себе лишь мать. Андрей Константинович бродяжил, нищенствовал (больше по деревням), раза два заходил и к нам, вытаскивал из кармана какую-то грязную тряпицу вместо фулярового платка и тихо, почти беззвучно сморкался; правда, и нюхательного табака у него уже не было, говорил, что пробовал мелко растирать махорку, но:

— Не тот коленкор,— стеснительно пояснял он и снова робко сморкался. Все балагурство, чудачества, граничившие раньше с юродством, пропали вместе с достатком.

Самым далеким, чужим, враждебным нам был второй зять Чемоданова, женатый на его сестре Антонине,— Михаил Прокопьевич Косолапов, лавочник, монархист, черносотенец, как о нем со значением говорили. Ни Косолаповы у нас, ни мы у них в доме никогда не бывали. Но вот случилось, что в Котельнич приехал из Яранска мамин племянник, Владимир Михайлович Кузнецов, добродушный молодой купчик, здоровый, румяный, кровь с молоком (удивляюсь, почему его не взяли в армию). У Косолаповых была дочь на выданье, скорее уже старая дева, довольно милостивая, но с огромным орлиным носом; Чемодановы и Трухины их познакомили, Влади-

мира Михайловича быстро окрутили, женили на Наденьке, и, как папа ни противился, всем нам пришлось пойти на свадьбу. В день свадьбы папа упал, расшиб спину (спина у него часто болела с детства, с того дня, когда он свалился в амбаре с высокой балки, попробовав использовать ее как турник). В доме Косолаповых он сидел мрачнее тучи, не ел, не пил, не вымолвил ни одного слова и с трудом перевозмогал боль в спине. А вообще этот случай мне показал, что мой прямой, вспыльчивый, непреклонный отец в каких-то немало важных для него вопросах и делах уступал маме, редко, но все же делал то, что ему неприятно, и меня, восьмилетнего, это огорчило. Яранский жé богатырь Кузнецов оказался совсем подкаблучником, пикнуть не смел при Наденьке. Спустя много лет, когда моя любимая тетя Санька побывала в Яранске и наши ее спросили, как поживает Владимир Михайлович, она ответила:

— Ничего. Нарожал ребят. Бегают по двору, похрякивает.

Очевидно, Владимиру Михайловичу оставалось лишь так проявлять свою личность, говорить ему Наденька не позволяла. А я окончательно понял, что орлиный нос — признак сильной природы! Легко перенесла Наденька и расстрел своего отца в 1918 году. Впрочем, не знаю ни одного человека, который бы его пожалел, — на редкость был малопривлекательный субъект. Помню, когда еще в царское время я проходил мимо его дома и лавки, где он торговал товарами для деревни («кнуты и пряники!»), мне представлялось, что там живет, рычит, точит когти зверь неизвестной породы, отнюдь не медведь, хотя и Михаил Косолапов. . .

Подумать только, какие разные люди существовали одновременно в Котельнице! Я любил, когда к нам заживал Матвей Семенович Саутин, маленький, очень маленький ростом, но пропорционально сложенный человек, с чеховской бородкой, приветливый, тихий, воспитанный. До революции он служил в земской управе, был холост, прикован к одру больной, но волевой матери, из-за которой так и не женился. Потом мать умерла, он куда-то уехал, и несколько лет мы его не видели. И вдруг зимой 1924 года он к нам пришел в отсутствие папы, остался его ждать и, пока мама хлопотала, готовя

чай и волнуясь, что папы нет (она всегда волновалась, когда его долго не было), мы с Матвеем Семеновичем беседовали. Он только что вернулся из Крыма, где давно мечтал побывать и куда после смерти матери решил переехать, чтобы сразу переменить свою жизнь; но жил там недолго, соскучился по Котельничу, по старым друзьям. Мне было лестно, что он, как со взрослым, со мной поделился...

Папа пришел поздно и сообщил печальную весть: на собрании объявили — умер Ленин. До самой ночи Саутин и папа толковали о том, каково-то будет теперь в стране без Ленина, а я молча слушал, испытывая сложные чувства: мне было страшно представить себе Россию без Ленина и вместе с тем приятно знать, что таких разных по темпераменту и укладу жизни папу и Матвея Семеновича объединяет и волнует эта потеря. Через неделю в Москве состоялись похороны Ленина. Радио в Котельниче тогда еще не было, газеты приходили лишь через день, но 27 января мы вдруг услышали слитный хор гудков — немногих фабричных и заводских и многих паровозных. В Котельниче, как и в Москве, стояли морозы, и в стлом воздухе, где из всех труб столбиками поднимались дымы, гудки пронизывали, казалось, насквозь; не было, думалось, человека, которого бы они не взяли за сердце. Я и сейчас не знаю, кому тогда пришла в голову талантливая мысль — потрясти всю страну траурными гудками, этим салютом смерти, салютом жизни: восстановленные заводы, окрепший транспорт провожали уходящего вождя.

Дорогим, интересным для меня гостем был Федор Мартинианович Захаров. Дорожный техник, служивший вместе с моим отцом сначала в земской управе, потом в совнархозе, потом в Комгоссооре (Комитет государственных сооружений), он не был местным уроженцем; после постройки железнодорожного моста в 1903 году, в которой он принимал участие, Захаров остался в Котельниче, женился на богатой вдове Анне Федоровне Глушковой (в молодости, и еще на моей детской памяти, высокой, статной, красивой женщине), построил на их большом садовом участке на краю города второй дом в современном духе: высокие, просторные комнаты, широкие окна, светлые тисненные обои. В доме этом мы однажды побывали в гостях. Однажды, потому что

очень скоро Захаровы опять переехали в старый дом, тоже с просторными комнатами, тоже красивый, сверкающий белизной заново выкрашенной деревянной обшивки, резными наличниками окон, издали — настоящая вилла, и все-таки чем-то старомодный. Новый дом Захаров пустил под спичечную фабрику, где я также успел побывать — посмотрел, как из осиновых чурок машины строгают солому для спичек. Говорю — успел, потому что затея оказалась невыгодной: под городом уже существовала спичечная фабрика братьев Зубаревых и конкурировать с ней не имело смысла. Живой, предприимчивый характер Захарова подстрекал его ко все новым и новым производственным затеям, и в начале нэпа он быстро переоборудовал бывшую спичечную фабрику в механическую мельницу, но и ей недолго пришлось существовать: в 1922 году Федор Мартинианович поехал в Вятку на операцию аппендицита и вернулся оттуда мертвым — не проснулся после наркоза.

Захаров был широкой натурой. Если уж принимал гостей, то угощал их на славу, для чего приглашал поваров из клуба. Впрочем, мне эти яства казались невкусными, может быть, потому, что в детскую комнату блюда попадали уже холодными — то, что оставалось от взрослого стола. Кроме их собственных детей — трех сыновей и двух дочерей — на захаровских именинах из посторонних детей бывал только я. Почему родители брали меня с собой, а не оставляли дома с тетей Аней, неясно; может быть, думали, что мне интересно с захаровскими ребятами. Но я не помню, чтоб мы веселились, шумно играли, даже на рождестве, вокруг елки. Ветви этой раскидистой и высокой, под потолок их большого зала, елки, вернее — ели, гнулись под тяжестью игрушек, хлопушек, флагов, золотых и серебряных цепей, шоколадных бомб, начиненных различными сюрпризами; все это отдавало купеческим шиком, излишней роскошью, — явно сказывалось влияние Анны Федоровны. Самым симпатичным из хозяйских детей мне казался Олег, но он был младше меня; Володя и Тюша (Мартиниан) были слишком флегматичны, а девочки Зоя и Ариадна диковаты, хотя и красивы, в мать.

Взрослые гости, в отличие от наших, собирались вместе самые разные, типичная смесь! Например, присутствии братьев Шалагиновых вообще выглядело

«анахронизмом». Дело в том, что сестра Анны Федоровны, тоже видная женщина, с редким именем — Павла, была раньше замужем за одним из этих братьев, небольшого роста усатым человечком, приказчиком из мануфактурного магазина. Затем она его оставила и вышла замуж за военного, краскома Баранова, но к Мите, Дмитрию Петровичу, и она и Захаровы продолжали хорошо относиться, даже помогали ему материально, когда магазин закрылся. Когда же Барановы уехали из Котельнича, а Захаров умер, Митя спустился еще на ступеньку: стал банщиком в городской бане, принимал пяточки на чай, бегал за пивом для посетителей, но усы отрастил длиннее прежних.

Для развлечения гостей у Захаровых часто заводили граммофон, который я не любил за его зычный голос; эта нелюбовь распространялась и на Шаляпина, пластинки которого я доныне слушаю с некоторой опаской. Но вот пластинка с «Записками сумасшедшего» производила на меня сильнейшее впечатление: в конце, когда Поприщин произносил слова: «Матушка, спаси твоего бедного сына!» — мороз подирал по коже и мне хотелось рыдать от сочувствия к этому глубоко несчастному человеку. Но одновременно я испытывал гнев. Я негодовал не столько на тех, кто мучил и не понимал Поприщина, сколько на тех, что слушали эту пластинку: и хозяева и гости покатывались от хохота... Я боялся взглянуть на своих родителей — неужели и они смеялись над Поприщиным? Папа — наверняка нет, он без комка в горле не мог читать вслух даже такие рассказы Чехова, как «Белолобый» или конец «Каштанки»: непременно находились строчки, которые его волновали и трогали; позже я не раз видел, как папа плакал, перечитывая «Архиерея», особенно его последние строки. Мама же, как и я, боялась, не любила граммофона, — если она тут и смеялась, то деланно, потому что все смеялись. Потом я часто ловил себя на окаянной мысли: неужели большинство людей не ощущает трагическое сквозь внешне нелепое и смешное? Зачем тогда творит Чаплин? Зачем он поставил «Огни большого города», где прозревшая слепая девушка, такая прелестная, добрая, смеется над его страдальческой гримасой? Для кого и для чего в таком случае существует искусство?

Обиднее всего для меня было то, что смеялся и лю-

бил слушать эту пластинку сам хозяин — Федор Марти-
нианович Захаров. Мне он очень нравился, я был влюб-
лен в его быструю походку, в его манеру вертеть в руке
трость и пожимать на ходу плечом: еще восьмилетним я
старался ему в этом подражать. С интересом и, я бы
сказал, с сочувствием слышал я о его романтических
увлечениях: например, как он выпрыгнул из окна второ-
го этажа, чтобы не скомпрометировать даму, и не то сло-
мал, не то вывихнул ногу. Все это немало пленяло мое
мальчишеское воображение, тем более что я не симпа-
тизировал его жене; я не любил, когда они приходили к
нам в гости вдвоем и она своей болтовней, безапелля-
ционной, хвастливой, мешала увлекательным мужским
разговорам. Правда, Федор Мартинианович ее иногда
обрывал, решительно, но не грубо, лишь учащенно по-
дергивая плечом: «Анюта, перестань!» — и она на како-
то время замолкала или принималась говорить только с
мамой. Зато я очень любил, когда Федор Мартиниано-
вич, работая в одном учреждении с папой, заходил к нам
днем выпить чаю и все обсудить. Помню, как они с папой
смеялись прозвищам, которые дал в своей речи Ленин
чинушам и нэпманам: «совбюры» и «совбуржуи».

В первые пореволюционные годы Захаровы продол-
жали принимать гостей, хотя и не так пышно. Бывал
среди гостей и военком Винтерштейн, говоривший с ино-
странным акцентом. Это он Первого мая устроил эф-
фектный военный парад на Верхней площади: воинские
части, квартировавшие в городе, в основном артилле-
рия на конных упряжках, несколько раз объезжали во-
круг квартала и вновь и вновь появлялись перед трибу-
ной на площади! Уже потом я узнал о Винтерштейне
подробнее. Австрийский офицер, взятый в плен в пер-
вую мировую войну, он стал коммунистом, воевал на
Урале, женился, как и Захаров, на красивой богатой
женщине (что ему ставили иногда в вину). В Котель-
нице был военкомом в 1918—1922 годах, затем опять
служил на Урале и умер где-то от туберкулеза, ненадол-
го пережив Захарова. Он хорошо относился к их семье,
что особенно помогло им в самый первый год после смер-
ти Федора Мартиниановича. Кстати, гроб с телом Заха-
рова стоял в большом зале, где жили Винтерштейны;
многие ли предоставят свое жилье для чужих похорон?

Бывал у Захаровых землемер Гриневский, альбинос

с вращающимися глазами: покрутятся глаза в одну сторону, затем раскручиваются в другую. Мне было очень жаль его миловидную жену, принужденную терпеть такого мужа. Потом оказалось, что он родной брат писателя Грина, о котором присутствовавшие тогда, считая меня и папу, почти ничего не знали, слышали только, что у Гринева есть где-то брат, помещает в журналах рассказы. Это уж через много лет мне стало интересно, что думал о Грине его брат: уважал, завидовал или считал прощельгой (бежал из дому, невесть где шатался, ссылали за что-то в Сибирь), — но было уже поздно, не спросишь. . .

1922 год. Весна. Я с родителями на похоронах Федора Мартиниановича Захарова. Он лежит в гробу как живой — румяный, веселый, каким я его всегда видел, и, наверно, не одному мне думается: вдруг это не смерть, а глубокий обморок или летаргический сон? Его взрослый пасынок, Михаил Валентинович, любивший своего отчима и многим ему обязанный, все прикладывался ухом к груди Федора Мартиниановича, приставлял зеркальце к его рту — нет ли дыхания, не обнаружится ли жизнь. . . Напрасно. Я остро помню, как жаль мне было Захарова. К тому времени мы успели уже потерять многих родных и знакомых, но ничья взрослая смерть не поразила меня так, как эта. Уж очень велик контраст: быстро ходил, оживленно говорил, смеялся, был полон идей, проектов, — и вдруг все кончилось. Наверное, впервые проникся я жестко осознанным неприятием смерти, уничтожающей самых-самых живых.

А потом. . . потом удивили меня слова Михаила Валентиновича, столь трогательно прощавшегося с Захаровым. Произнес он их чуть ли не в самый день похорон, или, во всяком случае, вскоре после похорон:

— Выключим телефон, электричество и станем потихоньку жить.

Я невольно подумал: уж искренне ли он горевал по отчиму?

Впрочем, жизнь и характер Михаила Валентиновича были во всем необычны и неожиданны. Я не уверен даже, что он был вполне нормален психически. В свое время он был гусаром: помню, он приезжал в начале германской войны таким молодцом, с такой фигурой, выправкой, что им любовались не только мать и отчим;

видно, недаром тратились на его экипировку и на гусарский образ жизни! Вот Миша привез в дом невесту — студентку Московской консерватории, пианистку и певицу, красивую брюнетку с усиками. Не помню точно, в какой момент это произошло, думаю, что в самом конце мировой войны, когда в столицах стало уже труднее жить. Привез и куда-то исчез. Как потом выяснилось, попал на Кавказ, в Новый Афон, в монастырь, увлекся монашеством и религией, а затем снова оказался в Котельниче, но уже со склонностью к мистике, к опрощению, к христианским нотациям, которые он читал своим сводным братьям, стал соблюдать посты, приучил к этому и свою жену, затем принял духовный сан и стал самым фанатическим священником из всех, каких я знал. В конце двадцатых годов его арестовали за слишком активные проповеди, похожие больше на агитацию. Дальнейшей судьбы отца Михаила не знаю. Жена его с двумя детьми куда-то уехала; в Котельниче она давала уроки музыки (в том числе мальчикам Карловым и мне), пока муж не запретил ей это «тешащее дьявола» занятие. Помню, как ее мать, переселившаяся из Москвы в Котельнич, возмущалась и негодовала на иступленную нетерпимость зятя и кроткое послушание дочери. Да и нам казалось, что в отца Михаила вселился не святой дух, а черт — такой он стал злой, нетерпимый. Между тем тот же Миша Глушков когда-то любил показывать нам, ребятам, забавный фокус — «отрывал» на своей руке большой палец, и мы дружно вместе с ним хохотали. Что до «руки Всевышнего», она принесла ему и всем близким лишь горе. . .

Сейчас я еще раз подумал о Федоре Мартиниановиче. Откуда взялись его широкие замашки, страсть к частному предпринимательству? Искала выход кипучая энергия? Несомненно. В другое время она могла быть приложена к совсем другой деятельности, а тут вдруг свалился на дорожного техника купеческий капитал! Это не значит, что Захаров женился на деньгах, из расчета: видно было, что он очень любит свою Анюту, любит, несмотря на ее ограниченность, нелепое фанфаронство. Она хвасталась всем, чем только могла, — домом, садом, промышленными затеями мужа, столь кратковременными, быстро сменяющимися друг дружку. И когда Федор Мартинианович умер и семья обеднела, Анна Фе-

доровна продолжала гордиться вслух. Чем? Детьми, потом внуками—она называла их всех «мои ребенки». Однажды я встретил ее поздно осенью на перевозе через реку, постаревшую, одетую в какой-то шушун, с корзиной, полной не то брусники, не то клюквы, и она не преминула похвастаться тем, что ежедневно ездит и ходит по ягоды и набрала на всю зиму (собственного сада с клубникой, малиной, смородиной уже давно не было). Когда-то ее хвастовство меня раздражало, потом смешило, а тут растрогало. Потому что я за этим увидел деятельную заботу о семье: разве не заслужило уважения то, что Анна Федоровна сумела в такие нелегкие для нее годы вытянуть, выкормить, выучить пятерых детей, воспитать из них трудовых интеллигентов? Святоша старший сын ей ничем не помог.

Памятны посещения нас Иосифом Самуиловичем Сердюком, страховым агентом, украинцем по происхождению, женившимся на дочери местного кондитера и, как Захаров, застрявшим в Котельниче. Добродушный, осанистый, невероятно говорливый, он засиживался у нас (когда приходил без жены) часов до двух ночи. Впрочем, последний час он уже не сидел, а стоял одетый у двери, в шубе с серым каракулевым воротником и такой же шапке. Стоял и говорил, говорил, иногда перемежая свою речь словами прощания и сочными поцелуями: и при встрече и при расставании он любил целоваться, награждая поцелуями всю нашу семью, в том числе и меня. Мне нравились эти визиты тем, что можно было долго не спать.

В конце двадцатых или в начале тридцатых годов жена Сердюка умерла, и он, как Саутин, уехал в Крым, но еще неудачнее: в 1938 году весной я его встретил в Ялте, где он познакомил меня со своей новой женой и двумя падчерицами,— сразу видно, что счастья в этой семье он не нашел—похудел, обвис, был затуркан. Да он и не скрывал, что ему худо живется. Через несколько дней я уезжал в Севастополь, Иосиф Самуилович пришел проводить меня и, прощаясь, расплакался. Если бы я еще день-другой провел в Ялте, он непременно бы рассказал мне про всю свою жизнь,— в новой семье никто не желал его слушать, а он так любил поговорить! Сердюк возместил себе это тем, что в минуту прощания трижды облобызал меня крест-накрест, враспаш,

как лобызал прежде; пароход отвалил от пристани, и мы долго махали друг другу платками.

Сердюк был моему отцу хорошим товарищем. Уже будучи взрослыми и семейными людьми, они вместе брали уроки французского языка; отец, как и все, что он делал, занимался усердно, а беспечный Сердюк лежился, за что папа ему выговаривал, тот с украинским юмором оправдывался и обещал в следующий раз выучить урок... В Ялте он успел рассказать, как однажды, идя с Колей по улице (он звал моего отца Колей, и они были на ты, что для отца было редкостью), он поскользнулся, упал и сломал себе ногу и как с трогательной заботой Коля нес его на руках до извозчика.

— А ведь я был тяжеленек! — опять прослезившись, сказал Сердюк.

Не знаю, что в этом рассказе было чистой правдой, а что преувеличением, почему-то я потом не уточнил у отца сообщенный факт. Тогда же Иосиф Самуилович с грустью поведал о своем разочаровании в сыне, который давно окончил Политехнический институт, женился, развелся, начал пить и совсем забыл об отце. Слушая Сердюка, я не мог не подумать — до чего же ехидна жизнь, нанося удары тем, кто ждет от нее только радостей, и как обидно ошибается автор этих легкокрылых оптимистических слов: «Человек создан для счастья, как птица для полета!»

Из одиночек бывал у отца гость, которого, собственно, нельзя назвать гостем: преподаватель немецкого языка, приятный молодой студент в золотом пенсне. Это был настоящий немец, приехавший из Германии, — зачем, почему, когда — неизвестно. Возможно, папа и знал его биографию, но я помню только, как он приходил к нам раз в неделю, как папа с ним занимался, как, готовя в обычные дни уроки, папа читал мне сказки братьев Grimm сперва по-немецки, затем переводил по-русски; хорошо помню и этот сборник с картинками, на одной из которых храбрый портняжка высунул ноги из окна кареты, изобразив ими ножницы, чтобы напугать медведя, которому накануне он остриг когти; на другой — люди проедают себе дорогу сквозь манную кашу, разлившуюся из горшочка по улицам.

Немец был деликатный, воспитанный, очень внимательный ко всем нам; он хорошо знал русский язык,

видно давно жил в России; иногда оставался выпить чаю и побеседовать. И вдруг немец совершенно переменялся: стал раздражителен, стал с папой крикливо спорить — началась война 1914 года. Вскоре он перестал приходить, что с ним произошло дальше — не знаю.

Кроме Сердюка у отца был еще один взрослый соученик, мечтавший получить экстерном аттестат зрелости и поступить в высшее учебное заведение: фельдшер Павлов. Высокий, смуглый, с иссиня-черными брыжами щеками и подбородком, Николай Иванович говорил быстро, чуть задыхаясь; порой не заканчивал фразы от страстного желания скорее высказать мысль. Горячий, порывистый, он тем не менее был идеальным хозяином, когда, еще холостым, принимал гостей: сам накрывал на стол, сам угощал, хлопотливо бегал из кухни в столовую и обратно. На столе у него во всякое время года стояли живые цветы, — не знаю, откуда он их зимой доставал, наверно в одной из немногих в Котельниче купеческих оранжерей. Николая Ивановича, несмотря на его скромное фельдшерское звание, ценили местные богачи, предпочитая его врачу-пессимисту Праздникову, тому, что напрямик объявил моему деду близкую смерть, и высокомерному доктору Куршакову, сыну кондитера.

Я не часто бывал с родителями у Павлова, но в любом случае он непременно мне присылал огромную ветку янтарного винограда или увесистое, полуфунтовое яблоко апорт.

В 1918 году Павлов уехал в Москву. Он поступил на медицинский факультет, на ускоренный льготный курс, учрежденный уже в советское время для лиц, имевших определенный фельдшерский стаж. Таких в Котельниче и в уезде оказалось несколько, и все они через три года вернулись в Котельнич дипломированными врачами. Характер моего отца исключал всякую зависть, но, мне думается, он не мог не испытывать горечи: с юности мечтал получить высшее образование, и всегда ему что-нибудь мешало — раннее вдовство матери, забота о ней и о сестрах, ранняя женитьба, война, голодное время, когда он не мог оставить семью без кормильца. Обидно и то, что в 1918 году отец тоже получил право поступить в Лесной институт на льготных условиях, получил — и остался в Котельниче со мной и мамой. . .

Вернулся Павлов в Котельнич не только врачом, но и семейным человеком. Женой его стала москвичка, также бывшая фельдшерца, а теперь врач, значительно моложе Николая Ивановича, веселая, умная, с хорошо привешенным языком и всегда своим мнением по любому вопросу. В семье она была головой, это очень бросалось в глаза. Когда они бывали у нас, Федосья Сергеевна с первой же минуты завладевала ключом к беседе, умела разговорить моего отца, и они азартно все обсуждали, так что мама и Николай Иванович были как бы оттерты в сторону. Федосье Сергеевне явно нравился мой отец, но никаких видов на него у нее, конечно, не было, у него — тем более: мой отец во всех отношениях был человек долга, а кроме того — однолюб; просто им было интересно друг с другом.

Все бы, наверное, так и оставалось надолго, но произошли два несчастья: врач-фтизиатр, Николай Иванович Павлов сам заболел туберкулезом и вскоре умер, а Федосья Сергеевна начала терять зрение; эта неизлечимая болезнь называлась — отслаивание сетчатки. Сперва она была вынуждена уйти из лечащих врачей в санитарные, затем стала читать популярные лекции (лектором она была превосходным, я слышал ее еще в школе, где она преподавала нам гигиену) и, наконец, сравнительно молодой вышла на пенсию. Безмужней, с тремя детьми, ей было трудно жить; трудно и без друзей, а друзья — одни умерли, другие уехали, да и в тяжкие военные годы у всех было слишком много своих забот. Мне очень жаль, что Федосья Сергеевна перестала бывать у моих родителей, а они не навещали ее: мама моя ее недолюбливала, а папа не хотел огорчать маму. Не было Федосье Сергеевне утешения и в детях. Старший сын погиб на войне, а младший, который как-то при мне забежал в наш дом и спросил: «Я тут, помню, у вас брал книжонку «Анна Каренина»... нет чего-нибудь вроде?» — младший, выучившийся на юриста, стал помощником районного прокурора и спился. Впрочем, Федосья Сергеевна, уехавшая к замужней дочери, до этого не дожила, и слава богу! Хватило ей и других бед.

А теперь о самой нам близкой семье.

В 1918 году, летом, я стал замечать двух мальчиков примерно моего возраста. Как видно, они жили в нашем

квартале, потому что ходили мимо нас почти каждый день, именно ходили — не бегали, не носились как угорелые, как почти все мальчишки. Одинаково одетые, в матросках, в коротких штанах до колена, всегда обутые (подчеркиваю, ибо большинство нас в те годы ходили и бегали летом босиком). Какое-то время мальчишки гуляли с отцом, судя по форме — военным врачом, потом с матерью, сестрой милосердия, привлекательной, симпатичной молодой женщиной. Когда мы потом познакомились, эта симпатия моя к ней переросла, говоря без всякого преувеличения, в сыновнюю любовь, и так было уже до конца дней этой необычайной доброты женщины; полюбили ее и мои родители, полюбила и она нас.

Это была семья Карловых, приехавшая в Котельничи осенью 1917 года, за три дня до Октябрьской революции. Карловы были петербуржцы. Точнее, Николай Иванович, его сестра и мать были урожденными петербуржцами и когда-то жили за Московской заставой, неподалеку от завода «Электросила» (тогда Сименса и Гальске), в одном доме с семьей Самуила Маршака (тогда еще Семы). На русско-японской войне молодой врач, окончивший Военно-медицинскую академию, после того как проучился два года на физико-математическом факультете в Петербургском университете, встретил сестру милосердия Надежду Алексеевну, родом из Иркутска, женился на ней и привез ее в Петербург, не очень обрадовав тем своих родных: они сочли этот брак мезальянсом.

Шло время, Карловы жили в окрестностях Петрограда — в Шувалове, а до этого в Выборге; с начала германской войны Николай Иванович колесил в санитарных поездах по западным областям России, по Польше, а в 1917 году, познакомившись где-то с котельническим купцом Зубаревым, отправил свою семью — жену, мать, сестру и двух сыновей — в далекий тыловой городок. Со старшим мальчиком, Колей, мы оказались в одном классе немного позже, когда начались бесконечные школьные эксперименты, когда класс стал называться не классом, а группой, когда наша учительница, Белла Львовна, обуреваемая левыми педагогическими идеями, предложила нам сидеть не на партах, а на подоконниках, на полу, кому где захочется (для пушего

раскрепощения и личной свободы), когда другая учительница (литературы) приводила нам для примера, как якобы фольклор, детские считалки:

— Эни-бени, моко-фоко, торбо-орбо, мус-мас-моко, теус-теус, корна-теус, тикус-бакус, ты — дуракус!

Мы заучивали эту чепуху, запоминали, и запомнили, как теперь выяснилось, на всю жизнь. На полу и на подоконниках мы сидели недолго, вскоре мы с Колей усадились на одну парту и просидели рядом до окончания школы. За эти четыре года, равно как и в следующие, студенческие, проведенные уже в Ленинграде, мы с Колей (а затем и с его младшим братом Борей) чрезвычайно подружились, хотя наши характеры были прямо противоположны. Коля всего на полгода старше меня, но его хладнокровие, выдержка, чувство меры, дисциплинированность всегда делали его заметно взрослее, так что я с полным основанием могу приобщить его к «взрослым моего детства»!

Теперь все наши старшие взрослые умерли — как мои родители, так и Карловы; умер от скоротечной чахотки и Боря, студент третьего курса медицинского института, робкий, застенчивый юноша; умерли переехавшие в Котельнич карловские родственники, жившие до Великой Отечественной войны в Белоруссии; утонули в реке Вятке приехавшие погостить родственники из Латвии. Трагичнее всех погиб сам Николай Иванович. Глубокий старик, уже глуховатый и перенесший инсульт, но еще сравнительно бодрый и словоохотливый, он пошел на вокзал, чтобы что-то купить, а вернее, чтобы просто прогуляться, — он любил все, что связано с железной дорогой. Возвращаясь домой, он сбился, пошел не по запасному пути, где зимой поезда не ходят, а по главному, и за поворотом на него налетел сзади тяжелый товарный состав. Хоронил Николая Ивановича весь город — столько лет он отдал больнице и врачебному делу. У меня есть фотография, на которой можно с трудом разглядеть многолюдную похоронную процессию: когда его везли на кладбище, валил снег, крутила метель, но горожане провожали его до самой могилы. Моги ли он думать полвека назад, скитаясь по фронтовым дорогам, что в мирной жизни его подстерегает такой конец? И что это такое — судьба? Дикий случай?

Да, Николая Ивановича все почитали в Котельнице, разумеется и я тоже, но любил я его сыновей и Надежду Алексеевну несравнимо больше. В чем дело? Мне чудилось, что еще с моих детских лет Николай Иванович относился ко мне слегка неприязненно,— дети это всегда замечают.

Когда в следующие годы я приезжал домой на каникулы и приходил к Карловым, Надежда Алексеевна встречала меня как родного, Николай же Иванович не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Может, действительно я ему чем-то не нравился,— скажем, излишней живостью, резвостью, неожиданными и, на его взгляд, вздорными увлечениями... Словом, тем, чего не желал бы он своим сыновьям. Впрочем, это сегодняшние догадки (или тогдашняя моя мнительность) и все обстояло как-нибудь проще, но у кого теперь спросишь?

За столом Николай Иванович был превосходным рассказчиком — повидал на своем веку вдоволь,— и я, как все, с удовольствием его слушал. Серебряный бобрник его волос, белоснежный китель и добродушный смех украшали любое застолье, а благодушие, оптимизм невольно всех заражали.

К сожалению, эти превосходные качества тоже не могут порой предотвратить несчастье... Когда старший сын в 1933 году окончил институт и уехал врачом на Дальний Восток, младший, учившийся в том же вузе, остался в Ленинграде один. Если волевой и спокойно-настойчивый Коля умел заставить скупых стариков хозяев регулярно топить в комнате печь, то робкий, уступчивый Боря мирился с холодом, сыростью и, заболев плевритом, покорно молчал и терпел. Когда Боря приехал на зимние каникулы, он кашлял, ночью потел, словом, явно был нездоров; несмотря на это отец, многоопытный врач, позволил ему вернуться в институт, в Ленинград. Весной болезнь Бори зашла так далеко, что ленинградские родственники известили о ней родителей, Николай Иванович приехал и увез сына домой умирать,— лечить уже было поздно.

Я часто думал об этой грустной истории, пытаюсь понять, как она могла произойти. Разве что на Николая Ивановича все еще действовало военное прошлое... По-

мню его в шинели, в фуражке (даже морозной зимой), а в более поздние годы — в штатском пальто, которое сидело на нем всегда по-военному, хотя Николай Иванович был невелик ростом и полноват. Помню его на лыжных и конькобежных соревнованиях на реке: в легких сапожках стоял он на льду, на снегу, на ветру, с живым интересом наблюдая за ходом многочасовых состязаний, измеряя спортсменам пульс, когда они один за другим финишировали. . .

Наверное, в те решающие судьбу Бори рождественские каникулы Николай Иванович счел болезнь несерьезной: кашель — это пустяк, мальчик справится, пусть закаляется; а про свой ночной пот Боря дома ничего не сказал, об этом узнали позже. . .

Не знаю, кто прислал в наш дом санитарку, когда Боря умер. В ту осень я гостил у родителей, был повдний вечер, мы наспех оделись и побежали. Мы провели у Карловых почти всю ночь. Мой отец сам вымыл Борино исхудавшее тело, помог одеть его. Никому не хотелось видеть в эти часы чужих людей, слышать ненужные утешения, соболезнования — все это неизбежно придет завтра.

А назавтра, в погожий осенний день, мы с Колей пошли на кладбище — выбирать место для Бориной могилы; впрочем, оно само собой выбралось, рядом с покойной бабушкой, — тогда еще только одна она выбыла из карловской семьи. Шли по высокому берегу Вятки, вспоминали, как мы втроем проводили на реке и за рекой целые дни, загорали, купались, а то, угнав лодку как можно дальше от города и раскачав ее так, чтобы зачерпнула бортами воду, опускались с ней вместе на неглубокое песчаное дно; затем вытаскивали лодку на отмель и, вылив из нее воду, пускались в обратный путь, чаще греб я (или Коля), а Боря сидел на средней скамейке, лицом ко мне, и я шутя ему говорил, когда Борины коленки мешали грести:

— Боря, протяни ноги!

Разве мы могли подумать, что через несколько лет эта дурацкая шутка приобретет прямой страшный смысл? Борю шокировало тогда совсем другое: остановив лодку под крутым глинистым берегом, я грозился, что вырежу на откосе ножом ернические стихи, которые

в свое время Есенин написал углем на стене Страстного монастыря.

Я нарочно дразнил Борину скромность — он с трудом, я бы сказал, со страдальческой улыбкой принимал даже малую долю цинизма. И вот через десять лет, когда мы, уже без Бори, шли над рекой — по краю глинистого обрыва; я со стыдом вспомнил свое озорство, задевшее этого милого, доброго, чистого, ласкового и безответного парня; из-за своей безответности и несмелости он скорее всего и погиб... Несмелости? Нет, неверно: сделал же он полостную операцию — кесарево сечение — роженице, находясь на студенческой практике в деревенской глуши.

Да, недолго Боря погостил среди нас... .



ВОРОНЦОВА

Что же такое детская любовь? Точнее, влюбленность, потому что я говорю о любви не к родителям, не к товарищам по играм, а к существу противоположного пола. Бывает ли в жизни столь раннее чувство? Не выдумка ли оно, не преувеличение ли? «Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна» — так начинается рассказ Бабеля «Первая любовь». Десятилетний его герой любит, ревнует, испытывает многообразные и сильные чувства к взрослой, замужней женщине, и это не парадокс и не извращение — это нервная впечатлительность рано развившейся художественной натуры.

Но я хочу рассказать о сравнительно простом случае: о любви мальчика к девочке, к сверстнице, к той, чье имя, вернее фамилия (в первый год совместного обучения мы звали друг друга по фамилии), вынесена в заголовок моего рассказа. И было мне все-таки не десять, а одиннадцать лет — как раз тот возраст, когда босоногий Том Сойер влюбился в Бекки и, допрыгав на одной ноге от забора до Беккиного крыльца, галантно поднес ей цветок, зажатый в пальцах другой ноги. В ту зиму я еще не читал бессмертной повести Марка Твена, так что мой роман — не подражание.

1918 год. Конец мая. Я держу вступительные экзамены в гимназию. Выдержал. Четыре пятерки! Значит, можно покупать гимназическую фуражку. Правда, в

семье ожидали, что я получу круглое пять (5×5), но один из экзаменов неожиданно отменили: по церковно-славянскому языку. Что случилось? Оказывается, начал действовать новый закон: церковь отделена от государства. Значит, зря привыкал вместо «человек» или «царь» писать «члк», «црь», ставя поверх строки титло; зря учился произносить слегка в нос на французский манер: «мондр» вместо «мудр», «зомб» вместо «зуб».

Осенью нашу семью ожидало куда большее разочарование. Устроили жеребьевку, и я попал не в гимназию, а в высшее начальное училище, — хорошо, что не успели купить форменную фуражку! Впрочем, фуражек в продаже уже не было, равно как и многих других предметов. Училище же это было особенное: во время войны его эвакуировали из Прибалтийского края, послали подальше от немцев, — так оно у нас и осталось, сохранив название — Гапсальское, то есть из города Гапсаля.

Сейчас трудно вспомнить и объяснить, почему мы, младшеклассники, учились в вечернюю смену, а старшеклассники — в дневную, но нам это нравилось, в этом было что-то романтическое. И кто знает — если бы мы учились днем, может, не состоялось бы то, о чем рассказано дальше.

Все началось в один из длинных осенних вечеров, когда, возвращаясь домой и дойдя до угла нашей улицы, я перебежал на другую сторону, так что три девочки, с которыми я шел и из которых меня интересовала только одна, очутились сразу на расстоянии десяти сажен. Дистанция эта меня почему-то воодушевила, и я вдруг закричал:

— До свиданья, милая Воронцова!

Ответа с той стороны я не услышал, да и не ждал, наоборот, припустил со всех ног домой. Через пять минут я уже снимал пальто и спрашивал хлопотавшую в кухне тетю Саню:

— А где папа-мама?

Спрашивал я не зря. Дело в том, что, когда я уже прокричал свою прощальную фразу, мне почудились удаляющиеся в темноту две знакомые спины. (Фонари в ту осень погасли почти на всех улицах — начала сказываться разруха.) Слово не воробей — оставалось на-

деяться, что я ошибся и родители сидят дома. Но я не ошибся. Через полчаса папа и мама вернулись с прогулки, мы стали пить чай, и мама, передавая мне чашку, спросила:

— Кому это ты кричал «до свиданья»?

Не помню, что я пробормотал в ответ, помню только, что по всем правилам литературных штампов я попытался скрыть смущение за самоваром. Даже не видел, улыбались родители или оставались серьезными.

Но этого мало, на следующий день я предпринял еще более смелый шаг. В конце перемены, стоя у дверей класса, я пропустил мимо себя почти всех учеников и учениц, пока не показалась та, которой я хотел сказать и с к а з а л — ясно, отдельно, бесповоротно:

— Я — тебя — люблю!

Не знаю, слышал ли мои слова кто-нибудь кроме Воронцовой, — подруги ее, возможно, и слышали, — мне важно было, что та, для которой мои слова предназначались, слышала: она покраснела, втянула голову в плечи и тихо скользнула в класс. Несколько ошеломленный своей агрессивностью, я через две-три секунды последовал за ней, и мы уселись каждый на свое место. Парта, где сидел я, стояла первой в правом ряду, ее парта — в среднем ряду второй. Чтобы взглянуть на свою избранницу, мне надо было чуть-чуть повернуться; за весь урок (а он был последним) я не взглянул ни разу. Не провожал я ее и домой: на этот вечер с меня хватило активных действий.

Какая же она была, Воронцова? Почему я выбрал ее среди двух десятков девочек в нашем классе и примерно такого же количества в параллельном? А что такое любовь? — опять спрошу я. Откуда она берется и почему выбирает себе предмет из десятков, сотен, подчас из тысяч? Наверно, в этих двух классах учились и более привлекательные девочки, даже наверняка, и об одной из них, роскошной блондинке из параллельного, я еще расскажу, — случай и память тесно связали ее для меня с Воронцовой.

Могут также спросить: разве до школы я близко не видел девочек, не играл с ними? Конечно, это не так. У наших друзей и соседей были девочки моего возраста, чуть старше, чуть младше; скажем, Лиля, дочь земского врача, необычайно популярного в нашем городе: он спа-

сал порой безнадежных больных, спас и меня, дважды вылечив от крупозного воспаления легких. Лиля Шейнкман мне тоже нравилась, я видел, что она очень красива, мы с ней встречались, играли, бегали на гигантских шагах, устроенных в больничном дворе, между домом, где она жила, и аптекой. Но любви не было тут ни унции. И дело вовсе не в Лилиной избалованности, не в ее капризах, не в том, что, приходя к нам, она совершенно не интересовалась моими игрушками, состоявшими в основном из «конструкторов» (тогда их называли как-то попроще), из которых я строил мосты и другие инженерные сооружения. Не мешало и то, что, в отличие от меня, хозяина уютного уголка за печкой-голландской, где я любил играть и читать, у Лили имелась отдельная детская комната с подвешенной к потолку трапезией, со множеством дорогих игрушек, снизу доверху заполнявших полки вдоль стен; что их дом, их быт вообще был богаче и «стильнее» нашего. Житейскую разницу между семьями я ощущал, но она ничуть не мешала мне обожать Лилиного отца — весьма редкое чувство: докторов дети обычно побаиваются. Лев Григорьевич, окончивший курс в Берлине, пленял всех, и прежде всего меня, веселостью, добротой, врожденным — или воспитанным — демократизмом. Лиля же для меня оставалась чем-то вроде ее большой говорящей куклы. . . Увы, скоро кукольное благополучие кончилось: их семья переехала почему-то на Урал, в Златоуст, где Лев Григорьевич заболел и умер. Как сложилась дальше Лилина жизнь, не знаю.

А вот девочка из другой среды, дочка пекаря, примерно возраста Лили, но куда менее изысканная. Соня была отличным товарищем для шумных игр во дворе, о чем я уже рассказывал, и мало отличалась замашками от мальчишек. Могу представить себе ее изумление, объяснись ей кто-нибудь в любви, назови ее милой! Да мне это никогда и в голову бы не пришло, как мы ни дружили. . . (Кстати, не исключено, что я глупейшим образом ошибаюсь и Соня приняла бы объяснение в любви как миленькая!)

Так или иначе, но не Лиля, не Соня и не другие знакомые девочки, а именно Воронцова оказалась моей первой любовью, и вряд ли это можно объяснить. Эффектной внешностью она действительно не блистала:

небольшой рост, тихий голосок, робкая улыбка, чистый прямой пробор, пушистые золотые косы — вот и все. Но это меня и трогало: кроткий нрав и застенчивая улыбка заставляли меня чувствовать себя сильнее, мужественнее, чем я, наверное, был. Нет, я не пыжился перед ней, не фанфаронил, мне хотелось быть как можно естественней, потому что естественной была она сама. Мне казалось, что имя Лиза ей тоже очень подходит, хотя сначала я Лизой ее не называл, вернее никак не называл, если не считать первого прощания на улице: «До свиданья, милая Воронцова!»

Кстати, Лизу можно было считать красавицей, если сравнить с ее родным братом, который со своим облупленным красным носиком, бесшабашной улыбкой и вечной трепотней выглядел и вел себя, как цирковой клоун, как ярмарочный Петрушка; летом, когда мы купались и загорали, он всех на песке и на плотках потешал. Слушая и смотря на него, я невольно думал: чувствует ли он, ценит ли то счастливое обстоятельство, что он брат Воронцовой?

Между тем отношения мои с его сестрой усложнились, и происходило это на виду у класса. По нынешним школьным нравам странно, что нас не дразнили. Воронцова была, так сказать, стороной пассивной, она лишь принимала мою любовь, принимала, правда, не равнодушно — ее не могло не тронуть столь бурно и непрерывно выказываемое чувство, — но любопытно, что все это не удивляло и не сместило моих товарищей. Когда произошли первые в истории котельнических школ выборы классных старост — их называли тогда председателями, — меня избрали на этот высокий пост и Воронцова вместе со всеми весело за меня голосовала. Совершенно не помню, в чем заключались мои председательские права и обязанности, зато отлично помню, как на следующих выборах, уже через месяц (процедура эта в те времена была в новинку и потому в охотку), меня так же единодушно выбрали классным уборщиком, и Воронцова не без лукавства поднимала за мое новое избрание свою милую руку. . .

Но этот удар по самолюбию и тщеславию я пережил легко, вот другой удар пришелся напрямик в сердце.

В нашем классе учился серб-беженец, поселившийся в Котельнице во время германской войны. Он был

постарше нас, своих одноклассников, но охотно с нами играл и хорошо говорил по-русски. У меня с ним сложились особенно добрые отношения; когда мы на переменках воевали с соседним классом, этот высокий, плечистый парень сажал меня к себе на плечи, и мы таким двухэтажным танком легко пробивались через ряды противников. Оказалось, что он живет в одном доме с Воронцовой и по-братски, чуть не по-отечески к ней относится,— к ней, ко мне и к нашей, вернее к моей, любви. Однажды он отозвал меня на площадку лестницы (школа помещалась во втором этаже) и взволнованно сообщил, что Воронцова с ним поделилась своими соображениями.

— Что мне делать? — сказала она. — Я люблю Борю Изергина, но мне нравится и Рахманов. . .

Да, это был жестокий удар! Случаются же такие невероятные совпадения: любит не кого иного, как Изергина! Изергин сидит на одной со мной парте, это славный и слабый мальчик, которому я симпатизирую, которого опекаю, стараясь уберечь от влияния третьего нашего однопартника, Киселева, насмешливого, циничного, развитого мальчишки, умеющего хорошо рисовать. Но как я раньше не замечал чувства Воронцовой к Изергину, не замечал, что она нежно смотрит на него, что называет его Борей, а меня Рахмановым? Да, я был слеп, слеп — теперь прозрел. Но если я хочу быть человеком, я должен проявить благородство — отступить в сторону, а то и покровительствовать их любви. . .

И тут начались мои мучения. Любовь не слабела, напротив, усиливалась, я ничего не мог с собой поделать. Вся жизнь, все уроки, все перемены, все, чем я занят в школе и дома, было посвящено Воронцовой.

Урок пения. Раз в неделю приходит к нам в класс отец Яковенко. Почему отец? Потому что он дьякон из Никольской церкви. Это тихий, добрый человек, по происхождению украинец, под звуки его скрипки мы с увлечением поем малороссийские песни.

— Виют витры, виют буйны. . . — старательно вывожу я, не спуская глаз с Воронцовой, для чего приходится выкручивать себе шею,— Воронцова сидит чуть позади меня. Я вижу, что она тоже поет, вижу, потому что голоса ее не слышно, как, впрочем, не слышно и моего: солирует, царит над хором сильный, красивый голос де-

ревенского парнишки (забыл фамилию), конопатого, рыжего и, несомненно, отмеченного певческим даром.

Урок рисования, Наш учитель — Василий Александрович Евсеев, высокий, худой, кудрявый, любитель выпить, с которым все время что-нибудь приключается. В городе, помню, со смехом рассказывали, как он умудрился попасться навстречу председателю уездного исполкома в самом что ни на есть неприглядном виде — на четвереньках. Предуика хорошо знал оформителя первомайских праздников, творца плакатов и шаржей на империалистов и не утерпел, чтобы не спросить:

— Куда направился, Василий Александрович?

Евсеев приподнял голову, снизу вверх, исподлобья, посмотрел на преуика и спокойно ответил:

— С-спешу на отдых.

Как и отец Яковенко, Василий Александрович всегда с нами добр, и мы этим не злоупотребляем, не устраиваем бедлам, как это нередко бывает, когда педагог чересчур снисходителен, — мы усердно рисуем. И вдруг я не верю своим глазам: тихая Воронцова, заговорщически мне улыбнувшись, делает вид, что хочет уколоть сзади булавкой нагнувшегося над партией учителя... Я поражен, пожалуй, даже шокирован, но меня утешают теперь и такие знаки внимания и доверия!

Я сказал — все уроки посвящены Воронцовой. А так ли?

В наших программах отсутствовала история, ее заменяла конституция, которую преподавал адвокат Николаев. Адвокат этот во время войны приехал из Петрограда и застрял в Котельниче на долгие годы, женившись на местной красавице. Красноречивый, образованный, умный, он говорил с нами как со взрослыми. Лишь через десять лет я оценил это в полной мере, слушая профессора Евгения Викторовича Тарле, который говорил со студентами о франко-прусской войне или о Версальском мире как со своими коллегами или с профессиональными дипломатами — он высказывал нам свои мысли, словно не сомневаясь, что факты мы и без него превосходно знаем.

Что касается Николаева, то уже много позже, приезжая в Котельнич взрослым, я с наслаждением слушал его в зале суда, когда он защищал хотя бы ничтожного воришку или растратчика, уж не говоря о каком-либо

настоящем деле. Потом он вернулся в Ленинград и погиб там во время блокады. На память о нем у меня сохранилась тоненькая, в 16 страниц, брошюра, изданная в 1918 году: «Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Республики». На обложке карандашом написано: «Принадлежит Ларионову». Почему этот экземпляр очутился у меня и где мой (а он у меня был), не знаю, зато хорошо помню, как Ларионов толковал конституцию.

Борис Ларионов был сыном почтенного купца, владельца двух деревянных двухэтажных домов, которые революция муниципализировала. Семья продолжала жить в одном из этих домов, сестра Бориса, Тамара, прилежно училась в нашем классе. Учился и сам Борис, если можно считать ученьем два его основных занятия: он запускал из-под парты самодельные ракеты, начиненные настоящим порохом, и искусно плевал в далеко отстоявшую от его места классную доску. Когда учитель географии и космографии Федор Андреевич Зимин, один из самых смиренных людей, каких я только встречал в своей жизни, сделал ему замечание, Ларионов ответил: — А что, теперь свобода!

Федор Андреевич не мог ничего ему возразить и не выгнал из класса. Интересно, что сделал бы на его месте Николаев. Наверно, тоже не стал бы разъяснять, что такое свобода,— но вся штука в том, что на его уроках Ларионов не хулиганил. Поразительно разные это были люди — Зимин и Николаев. Зимин об Африке и об Южной Америке рассказывал так, словно те мало чем отличаются от Вятской губернии, нарочно подчеркивал их обычность, будничность, даже скуку. Пампасы? Это такое ровное-ровное место, где растут засухоустойчивые кустарники. Гольфштрем (так называли тогда Гольфстрим) — это такое тепловатое течение в океане, от которого... — хотелось договорить за Федора Андреевича,— никому ни тепло, ни холодно... Точно так же рассказывал он о планетах, о звездах.

— Вы думаете,— уныло говорил он,— что, если вы посмотрите на звезду в телескоп, вы увидите ее больше-ой! Нет, она останется такой же ма-аленькой-маленькой... — При этих словах он утончал голос до дисканта и складывал пальцы в щепотку, чтобы показать незначительность этой едва видимой в телескоп звезды.

А Марк Емельянович Николаев даже о такой сухой материи, как установление и изменение Всероссийским Съездом Советов системы мер и весов, говорил так, что мы при желании могли ощутить связь времен. Это от него я узнал, что метрическая система была введена впервые Великой французской революцией, причем в первый же год существования республики, в 1793-м,— вот и у нас тоже в первый, в 1918-м.

Могут сказать, что я преувеличиваю, досочиняю, приписываю детям слишком взрослые интересы, усложняя их восприятие. Для самопроверки спрошу себя: почему в таком случае на уроках именно Николаева, а не на чьих-либо других я начисто забывал о том, что справа, чуть сзади сидит моя любимая Воронцова, и за целый час ни разу на нее не взглянул?

Ближе к весне в большом зале бывшей женской гимназии состоялся общегородской школьный вечер, на который пригласили родителей. Мы все долго и терпеливо готовились к вечеру; все, начиная с Евсеева, обещавшего сыграть на гитаре и спеть. Мне предстояло читать со сцены заранее выбранные учительницей стихи, а так как моему чтению недоставало выразительности, меня отправили на выучку к даме, когда-то участвовавшей в любительских спектаклях. Она обучала меня искусству декламации, состоявшему в том, что с пафосом, с дрожью в голосе произносилось каждое слово, но последнее слово в строке, на которое падала рифма, проговаривалось как можно более слитно со следующей строкой, чтобы рифму никто не заметил: актеры почему-то всегда стесняются стихотворной формы.

Уроки не пошли впрок: на вечере я прочел стихотворение, как хотел, а не как учила меня артистка, и в конце вечера она мне сказала:

— Все не так, все неправильно. Но все равно молодец.

Но я не считал себя победителем,— тут была уже не моя и не ее вина,— я читал что-то трескучее, хотя и революционное, а вот мальчик Гоголин из другой школы читал стихотворение:

Отец твой был солдатом-коммунаром
В великом восемнадцатом году... —

и я впервые почувствовал разницу между талантливым и бездарным, настоящим и дешевой подделкой, не имеющей права существовать. Разница меня больно кольнула: почему не я прочитал со сцены это хорошее стихотворение? (Эта мысль ранила не тщеславие, а что-то другое, поглубже.) Через десять — двенадцать лет я встретился в Ленинграде с его автором, Василием Князевым, и вид этого немолодого поэта, своим красным носиком напоминавшего мне постаревшего Воронцова, меня разочаровал.

Но это было далеко впереди, а тогда подходила к концу зима 1918—1919 года. Как все эти первые революционные годы, она была исторической, но мы этого не знали — у нас были свои заботы, свои события. . .

Стычка с Киселевым. Я столкнул его с парты за то, что он посмел нарисовать карикатуру, на которой мы с Воронцовой тянемся губами друг к другу через проход между партами. Надо отдать должное художнику: несмотря на гигантские губы, нас можно было узнать — может, это меня и разозлило. Удивился я лишь тому, что Киселев на меня не рассвирепел, скорее зауважал за вспышку, и не пустил рисунок по классу, как это обычно делают, а взял и разорвал. Во вторую половину зимы Киселев вдруг исчез: оказалось, он сын полицейского надзирателя, которого еще в прошлом году расстреляли, и нынче мать с сыном решили уехать из нашего города. Уже потом, спустя годы, я пытался понять, угадать, что мальчик мог чувствовать по отношению к нам, ко всем остальным, — злость, ненависть или ничего особенного? А может, я уже и тогда об этом подумывал, — приходило же мне на ум, что для Воронцовой Изергин⁸ ближе меня потому, что их купеческие семьи могли дружить, ходить одна к другой в гости — словом, встречаться домами, пусть даже они этого фактически и не делали.

Стычка с Исуповым. Я прижал этого толстяка столом в угол класса так, что он завизжал, а его сестра чуть не выцарапала мне глаза. Собственно, брат пострадал как раз за сестру, которая распустила язычок насчет Воронцовой, Изергина и меня.

Еще событие. На лестнице перегнулась ко мне через перила и поцеловала (я спускался по одному маршу, она поднималась по другому) девочка с белокурыми локонами из параллельного класса. Ею все очарованы, за

нею ухаживали, с ней танцевали на праздничном вечере старшеклассники. Но я остался равнодушным, даже, как ее зовут, не узнал. Вот если бы это была Воронцова!

Новое разочарование: Воронцовой нравится, во всяком случае не противен, этот жуир и нахал Губотенко из второго класса. Надо признать, он прекрасный гимнаст, никто лучше его не делает всплеску на турнике. И красив, собака, и уже танцует на школьных вечерах!

Рождественские каникулы. Я набрал из библиотеки интересных книжек: «Два адмирала» и «Блуждающий огонь» Фенимора Купера, «Упрямец Керабан» и «Паровой дом» Жюль Верна. Читаю, хожу на каток, но мне невесело. Вот если бы встретить на катке Воронцову. . . Но серб мне сказал, что она простудилась и сидит дома. Скорей бы каникулы кончились и я опять увидел ее! Только видеть ее!

Папа сделал мне прекрасную ледяную гору. Я каждый день разметаю лед и катаюсь в холодном одиночестве. О, если бы она каталась вместе со мной! Если бы она шла по улице, а я увидел ее и позвал! Но это пустые мечты. Она живет далеко и никогда не бывает в наших местах. . . Вообще, чудес не бывает.

Верхушка горы на одной высоте с забором. И однажды я в самом деле увидел чудо: по противоположной стороне улицы шла она. . . вместе с той белокурой девочкой в локонах!

После того как я узнал, что Воронцова любит Изергина, и решил устраниваться, я ни за что не позвал бы ее сейчас покататься. Если бы не тетя Саня. Тетя Саня стояла рядом со мной и окликнула:

— Капа!

Девочки обернулись, увидели нас и сразу же перебежали дорогу. Оказывается, тетя Саня где-то в гостях познакомилась с белокурой девочкой (я и не знал, что ее зовут Капой, Капитолиной) и та объявила ей, что знает меня и что я ей нравлюсь. . . Так просто объяснилось чудо.

Девочки катались вдвоем, о чем-то говоря и смеясь, а я молча, как заведенный, катался один или с тетей Саней. Вверх — вниз, вверх — вниз. Я боялся спугнуть этот сон и больше всего боялся, что они вдруг уйдут.

Так мы катались до темноты. Так я и не вымолвил ни одного слова.

— Тебе весело было? — спросила потом тетя Саня, ожидая моей благодарности.

— Да, — сказал я.

Весь вечер я размышлял: рассказала ли Капа Лизе о своем поцелуе? Мне хотелось, чтобы рассказала.

Но ничего не переменилось. Отношения наши зашли в тупик. Правда, я как-то в школе перед последним уроком спрятал шубку Воронцовой. Спрятал за самую дальнюю парту, на которой никто не сидел. Воронцова, чувствуя свою власть надо мной (несмотря на всю свою скромность), заставила меня найти, достать и подать ей шубку, как подают взрослым. Шубка была синяя, с маленьким лисьим воротником, и я до сих пор ощущаю в руках ее невесомость. . .

Вот и кончилась зима 1918—1919 года. Весной, уже в солнечные, пригретые солнцем дни, когда улицы из снежно-белых, с укатанными леденистыми колеями, стали желтыми от вытаявшего, зимнего, и свежего, только что оброченного конского навоза, мы всей семьей выходили на сбор этого драгоценного удобрения для тети Аниных огурцов. Больше всего навоза было на Нижней площади — осталось после Алексеевской ярмарки — и на Соборной площади, служившей постоянным, в продолжение всего года, городским рынком.

Нижняя площадь находилась близко от нашего дома, я чувствовал себя на ней по-хозяйски вольно, тем более что она прилегала к железной дороге, которую я любил почти так же, как реку. Соборная площадь была чужой, но зато на нее выходил окнами дом, в котором жила Воронцова, и, сгребая в кучи золотистый навоз, я испытывал сложные чувства: в те трудные годы вокруг все работали, а меня с самого раннего детства приучали не быть барчонком, — и все-таки ложный стыд немножко тревожил, я боялся, что Воронцова в окно увидит, как я вожусь с навозом. . .

Весной в кинотеатре «Художественный», помещавшемся рядом с ее домом, загорелась кинобудка. Это случилось днем, не во время сеанса, и пострадавших не было, но честь честью приехали пожарные, сбежались охотники качать воду и просто зеваки. Прибежал и я — спасать Воронцову, — но так ее и не видел: из их дома

не успели начать вытаскивать вещи, как пожар потушили.

Наступил июнь, занятия в школах кончились, началась разлука. На первых порах я ее остро чувствовал, меня все тянуло к дому Воронцовой. Даже лечение зубов отчасти скрашивало, что врач живет в том же доме и где-то за стенкой — она. Путь к реке также пролегал мимо воронцовского дома, белая краска с обшивки которого сошла от времени и непогоды, и стали отчетливо видны пятна сучков и следы шпаклевки. Но сколько я ни вглядывался в окна во втором этаже рядом с зубо-врачебным кабинетом, никогда Воронцовой не видел.

Лето. Много читаю. Библиотекари, студент и курсистка; красивые, молодые, явно друг другу нравятся, — я желаю им счастья... и желаю его себе с Воронцовой. Библиотекарь Борис Авенирович затеял рукописный детский журнал. По его совету избрали меня редактором. Я было горячо взялся, убеждал знакомых и малознакомых читателей писать рассказы, стихи; потом остыл: Воронцова, с которой надеялся я встречаться в библиотеке и в конце лета вручить ей красивый, интересный журнал, ни разу не пришла... Так и не вышло ни одного номера журнала. Даже названия ему не придумал.

Лето взяло свое, и я понемногу забыл Воронцову.

Осенью все переменялось. Гимназии — и мужскую и женскую — ликвидировали, высшие начальные — тоже: вместо них появилась Единая трудовая школа 1-й и 2-й ступени. Наш класс Гапсальского училища засчитали за два класса гимназии, поскольку у нас учили лучше, и учеников разбросали по разным школам, — со мной не оказалось почти ни одного прежнего ученика.

С половины зимы появилась Воронцова. Но на что она была похожа! Она была больна, очень больна. Серое лицо, худоба, жидкие волосы, — куда подевались ее золотые косы! Она куталась в старый пуховый платок, вечно дрожала, даже за партой иногда сидела в той самой шубке, которую я когда-то прятал, а потом подавал: сейчас сукно залоснилось, воротничок облез — должно быть, Воронцова и дома сидела в ней или лежала. Но главное — переменялся ее взгляд. Это был теперь взгляд взрослой, нет — постаревшей женщины, понимающей, что она потеряла все: здоровье, миловидность, внимание окружающих. Правда, из всех ее одноклас-

ников остался лишь я да еще две-три девочки, не близкие ее подруги, Изергина вообще уже не было в Котельнице.

А я — я разлюбил Воронцову. Мне было ее жаль, но присутствие ее меня тяготило. Я избегал ее ищущего взгляда, болезненной, жалкой улыбки, старался держаться поодаль и был доволен уж тем, что никто не знает или не помнит о моей прежней любви к этому несчастному существу. Прежде меня трогало до слез, что мать у нее умерла, что она сирота, а теперь и она на моих глазах чахла от той же болезни (кто-то сказал мне, что чахотка наследственна), и я сейчас презирал себя за то, что не в силах заставить себя быть ласковым и внимательным — подойти, сказать несколько слов... Повторяю, особенно я стеснялся других: а вдруг догадаются! (Почему, почему мы бываем такими жестокими?)

Скоро она перестала ходить в школу.

Ближе к весне она умерла. В классе знали об этом, но она ведь была чужой, училась здесь всего один месяц. И никто не пошел на похороны. Мимо школы носили на кладбище, и утром кто-то закричал:

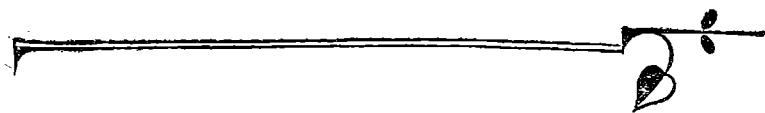
— Воронцову несут!

Все повскакали с мест и бросились к окнам.

В нашем городе принято нести покойников до могилы в открытом гробу, и я мог еще раз увидеть свою Воронцову.

Но я не подошел к окну. Я не хотел видеть ее мертвой.

Я так ясно представлял себе Воронцову, какой она была год назад. Мне казалось, что у меня никогда уж не будет любви сильнее.



СКРИПКА

Как появилась, откуда взялась в моей жизни скрипка? Сразу скажу: это была папина мечта, папина идея, и осуществилась она по его почину. Он любил скрипку больше, чем все другие музыкальные инструменты, в скрипке таилось для него нечто волшебное, скрипка пела, тогда как рояль, пианино казались ему аккомпанирующими инструментами. Может быть, потому, что больших солистов, настоящих поэтов фортепьяно папа не слышал ни в Котельниче, ни в Уржуме в свои молодые годы.

Но вот где, когда полюбил папа скрипку, он этого не рассказывал. Наверно, рассказал бы, если бы я спросил. Вечная история! Как мы потом жалеем, что вовремя не спросили,— так интересно сейчас было бы знать о старших все, или хотя бы то, что они сами хотели нам рассказать, а мы не поинтересовались... Ругаешь себя — но поздно.

Итак, скрипка. Где и как я с ней познакомился? Увы, это было жалкое и смешное знакомство. Еще до поступления в школу, году в 1915-м, я играл с соседскими детьми в цирк. Все участники, как и нынче, являлись по очереди и зрителями и артистами, то есть все умели что-то нехитрое делать: кто стоять на голове, кто жонглировать палками, кто изображать французскую борьбу. Не хватало только музыки, а без музыки какое же представление! Один из нас, уже гимназист, немного умел

играть на скрипке. Знал он всего две музыкальные пьесы, которым его обучил учитель пения, он же дьякон, — это «Боже, царя храни» и «Коль славен наш господь в Сионе». Вот под эти бравурные мотивы мы и выделяли свои головоломные трюки. Визгливые, сильные, писклявые, мяукающие, свистящие звуки, которые извлекал Коля из своей скрипки, удивительно подходили к его фамилии — Верещагин; они на год, на два внушили мне отвращение к романтичному даже по своим очертаниям инструменту, о котором я столько читал и слышал. Почему на год, на два? Примерно через такой промежуток времени я услышал если не Ауэра, не Мирона Полякина, то все же мастеров своего дела: в дореволюционном кинотеатре в Котельнице играл струнный оркестр, состоявший из пленных австрийцев. Почему-то так получилось, что большинство попавших в Котельнич соотечественников Моцарта оказалось музыкантами. Днем они трудились на спичечной фабрике, на частном кожевенном заводе, а вечером отдыхали душой в оркестре. Тут я впервые оценил силу мерно вздымающихся из-за барьера оркестровой ямы смычков, когда скрипки в унисон пели что-нибудь печальное или победное, смотря по настроению показываемой на экране сцены.

Заодно скажу, что мне, мальчику, разрешалось ходить только на серьезные картины, поставленные по русским классическим произведениям. Например, я видел «Войну и мир». Да, была такая картина, немая, но тоже в нескольких сериях, как и нынешняя, и тоже с массовыми батальными эпизодами. Видел «Пиковую даму». Было очень страшно, когда Германн подошел к гробу поцеловать руку мертвой графине, а она... Даже сейчас жутко, хотя забыл, что она сделала — подмигнула, что ли? Видел веселую «Ночь перед рождеством» с летающим чертом и прочими чудесами. Честное слово, это было неплохо сработано! Конечно, я тогда не предполагал, что когда-нибудь окажусь причастен к кино, не то присмотрелся бы внимательнее. Кстати, ходил я почти всегда с мамой, папа кино не любил: почти все картины казались ему нехудожественными — глупыми, пошлыми, вульгарно-надрывными или противно-слащавыми. Судя по заглавиям, это так и было. Беру старую газету и читаю: «Женщина, взглянувшая в лицо смер-

ти», «За право первой ночи», «Ступени слез», «Сломанный бурей нежный цветок»; даже самое невинное заглавие — «Бабушкин подарок» — сопровождалось завлекательным пояснением: «Мясопустная картина на злобу дня» (мясопустной неделей называли обычно масленицу, когда ели блины и веселились). Папа любил смотреть только видовые картины, но отдельно их никогда не показывали, всегда вместе с драмой и комической, очевидно вроде этой мясопустной.

Жалко, не сохранился у меня номер иллюстрированного журнала «Солнце России», на цветной обложке которого был изображен шестилетний Вилли Ферреро, дирижирующий большим симфоническим оркестром. Этот мальчик, помню, возбудил у меня восхищение и зависть, — зависть не к славе: меня поразило, что чуть не сотня взрослых мужчин, усатых и бородатых, повиновались моему однолетке в бархатных коротких штанишках и с широким бантом на шее. Мог ли я предполагать, что лет через сорок увижу его за дирижерским пультом в Большом зале Ленинградской филармонии и многие оркестранты будут значительно нас моложе... Кстати, финал «Болеро» Равеля, его последняя нота, прозвучал у Ферреро как-то по-новому: оркестр словно взвыл перед тем, как смолкнуть. А может, это мне показалось, — я ждал от бывшего вундеркинда чего-нибудь неожиданного... Среднего роста, подвижной, худощавый, изжелта-смуглый — таким я увидел Вилли Ферреро в 1952 году.

Но вернусь к скрипке. После революции скрипка снова возникла, когда я поступил в Гапсальское училище; тот самый дякон, который учил Верещагина, учил нас пению, вторя нам и себе на скрипке. Владел он смычком умело, но с австрийцами сравниться все же не мог и увлечь меня желанием самому взять в руки инструмент тоже не мог. Я лишь однажды слышал профессионального скрипача-солиста. В Котельниче дал концерт молодой «свободный художник» (таково тогда было звание окончивших консерваторию) — худенький, пышноволосяй брюнет, который в моменты наибольшей экспрессии бурно откидывал свои черные как смоль, как вороново крыло (так писали в старых романах), тяжелые кудри, что, по правде сказать, мне немножко мешало, казалось искусственным. Уж очень велик был

контраст с тишайшим и благолепнейшим, кротким, аки голубь, отцом Яковенко. . .

Зато в эти же годы я имел счастье слушать отличного пианиста. В городе появился талантливый музыкант — статный, красивый моряк Люминарский. Он давал уроки игры на рояле моей дальней родственнице, готовившейся в консерваторию, и случалось, что целыми вечерами я слушал, как он исполнял у нее на дому клавир опер Вагнера. Мне не только не было скучно, но я еще бегал днем в пустой летний театр, где Люминарский играл для себя; с тех пор я никогда не устаю слушать рояль. Конечно, в фортепьянном переложении я не мог угадать властных труб, тромбонов, валторн, всего вагнеровского роскошества духовых («духовенства», как их шутливо зовут музыканты). Не мог я услышать и пронзающих насквозь скрипок его вступлений и интермедий к «Лоэнгрину» и «Тристану и Изольде» — все это я узнал много позже. И все же я испытал то предчувствие большой музыки; за которое после не раз мысленно благодарил неведомо откуда взявшегося и неизвестно куда исчезнувшего военного матроса Люминарского: занесло и унесло ветром тех лет, как было тогда со многими.

Так, исчезла сперва из Котельнича, а потом из жизни и Леля Шляпкина, красивая, чуть полноватая девушка со смуглым румянцем, темными сросшимися бровями и тяжелыми косами до колен: поступила в Московскую консерваторию и через год умерла от скарлатины или дифтерита. Кажется, уже тогда я, двенадцатилетний, подумал: как странно! Кругом тиф, испанка, голод, война, и все это прошло мимо цветущей, веселой и, как говорили, на редкость одаренной Лели; больше того — она в Москве, занимается любимым искусством, может, станет скоро знаменитой артисткой; и вдруг — раз! — ее уже нет! Разумеется, я не знал, что такие мысли люди зовут философией. . . пусть не научной, житейской, но все же!

Реально в моей жизни скрипка появилась лишь в 1923 году, когда жить стало уже полегче и когда я учился в предпоследнем классе средней школы. Что в скрипке воплощались именно папина мечта, о том свидетельствовали факты. К папе пришел знакомый лесничий, изредка наезжавший из вятской или нижегород-

ской глубинки, крупный, добродушный мужчина. Совсем между прочим он рассказал, что у его сестры, живущей в Котельнице, завалилась никому не принадлежащая, никому не нужная скрипка. Папа сразу загорелся купить ее или арендовать, и Виктор Иванович охотно взялся посодействовать. Уже через день мы с мамой пришли к Клавдии Ивановне Зыриной, симпатичной пожилой женщине. Действительно, в ее комнате на стене висела скрипка.

Пожалуй, мне сейчас трудно определенно сказать, с каким чувством я на нее смотрел,—кажется, это была смесь восхищения и страха. Восхищения — потому что скрипка была, безусловно, красива: эта изящная, элегантная, изысканная, капризная, почти фантастическая, а на деле, несомненно, оправданная каким-то музыкальным законом, выверенная веками форма; эта блестящая, светло-коричневая, с отливами, переливами, с двумя змеевидными, похожими на французское S, узкими прорезями верхняя дека (я уже знал, как и что называется!); этот черный гриф, эта шейка, на изогнутом конце, на головке которой торчали колки, натягивающие четыре струны — приму, басок и две средних, не имевших иного названия, кроме издаваемых нот ля и ре первой октавы.. А что же внушало страх? Хрупкость и беззащитность этого прекрасного инструмента: возьмешь — и уронишь, упадет — и рассыплется!

— Возьмите,— просто сказала Клавдия Ивановна.— Пусть мальчик учится играть. Что она зря висит.

Мама занкнулась о деньгах, Клавдия Ивановна замахала руками, мы поблагодарили, попрощались и унесли скрипку, бережно завернув ее и смычок в большой белый платок.

Дома платок был развернут, скрипка повешена над маминим комодом — все приготовлено к папиному приходу со службы. Первое, что спросил папа с порога, еще не успев войти в комнату:

— Были у Клавдии Ивановны?

Создалось полное впечатление, что инструмент предназначенся ему... Ничего не напишешь: жизнь так сложилась, что мечту суждено осуществить уже сыну...

На другой день папа мне сообщил, что виделся с Анатолием Лукичом Тупицыным и условился, что тот будет давать мне уроки. Но не успел я встретиться и

познакомиться с будущим учителем, буквально через два-три дня после появления в нашем доме скрипки, к нам с криком ворвался восточного вида незнакомец, как потом выяснилось, бывший квартирант Клавдии Ивановны Зыриной, по профессии не то санитарный врач, не то ветеринар. Он в два прыжка оказался подле комода, сорвал со стены скрипку, смычок и, крича, что это его, его, его инструмент, в том же стремительном темпе («аллегро удирато», по выражению нашей тетушки) ринулся к двери. Напрасно мама пыталась его остановить, предлагала завернуть инструмент хотя бы в газету, — незнакомец, продолжая выкрикивать угрозы и крепко держа в руках скрипку и смычок, уже мчался по улице.

Каково было папино огорчение, когда, вернувшись со службы, он не увидел на стене скрипки. . . Вообще, случай странный. Может, Клавдия Ивановна просто забыла, чья это у нее скрипка? Вместе с тем трудно себе представить, что, съезжая с квартиры, санитарный врач (или ветеринар) ни с того ни с сего оставил бы там свою скрипку. Зачем? Почему? И как сразу узнал, что она у нас? Ничего не понятно! К Клавдии Ивановне мы решили пока не ходить, не смущать ее выяснением щекотливого дела, а Виктор Иванович Зырин в следующий приезд басовито похихотал: мол, товарищ врач отлично знал, что инструмент ничей, и блестяще провел операцию похищения! К сожалению, процесс оказался необратимым, и мы с папой лишились своей первой скрипки. (Между прочим, никто из нас никогда не видал больше этого энергичного незнакомца. Возник, как злой дух, и, как злой дух, исчез.)

Однако вскоре инструмент опять появился в доме. Нет, это была уже другая скрипка, мы купили ее у музыкальных дел мастера, по случайному совпадению проживавшего рядом с Зыриной, на улице Карла Маркса, в одноэтажной ветхой хибаре. Посещая его крошечную мастерскую, пахнувшую столярным клеем и деревом, увешанную и заставленную различными музыкальными инструментами, вплоть до притулившейся в углу фисгармонии, я всякий раз боялся встретить на улице Клавдию Ивановну: после недоразумения со скрипкой остался неприятный осадок. Мастер же оказался славным, добрым стариком, правда слишком словоохотливым. Три вечера он неторопливо рассказывал мне об

особенностях и различиях в строении и качестве старинных скрипок Страдивариуса, Амати и других. Это было очень интересно, интересно вдвойне: каждый вечер я приходил к нему с надеждой получить сегодня скрипку и уходил с такой же надеждой получить ее завтра — мастер еще не успел досказать историю создания скрипок. Клянусь, что я был терпеливым слушателем, но отдаление цели начинало меня тревожить. Впрочем, мы расстались друзьями, и я с торжеством унес наконец скрипку домой. Торжество тем большее, что скрипка на этот раз помещалась в футляре, пусть картонном и стареньком, который потом пришлось чинить, оклеивать снаружи черной, внутри цветной бумагой, — но, держа футляр за тоненькую медную ручку или под мышкой, я уже походил на настоящего скрипача.

Если бы я заранее знал, сколько меня ждало огорчений и разочарований! Увы, пугающе скоро выяснилось, что музыкальные упражнения красивы только в стихах Алексея Константиновича Толстого:

Он водил по струнам. Упали
Волоса на безумные очи,
Звуки скрипки так дивно звучали,
Разливаясь в безмолвии ночи.

Разливаясь... Дивно... Ну ничего, абсолютно ничего общего! Разве что безумные глаза — у меня и у моих домашних... Удивляюсь папиной выдержке, когда он впервые услышал, как его сын водит смычком по струнам. И вряд ли я был уж таким исключением, музыкальным уродом, показательной бездарью: начальные уроки игры на скрипке, как я потом узнал, всегда трудны и неблагозвучны, но нам от этого было не легче...

Начались мои походы к Тупицыну через весь город — верста с лишком. Походы летом, зимой, осенью, в крошечную грязь и темень, — уличного освещения почти не было, если не считать двух-трех главных переулков. Фонарик с огарком свечи прицеплен на груди. В руках — картонный футляр со скрипкой (для надежности футляр вложен в холщовый чехол) и ноты в папке. В дождь прикрываю их еще и зонтом. Хожу всегда вечером, поздно вечером, к концу занятий на бухгалтерских курсах, которыми руководит Тупицын. Порой жду, когда занятия задержались или пока Анатолий Лукич

поужинает. Занимаемся музыкой в большом зале, где только что отучились курсанты.

Особенно трудны были первые уроки — они перевернули все мои прежние понятия о том, что значит удобно, естественно и приятно. Меня заставили держать скрипку так, чтобы левая рука, ее кисть, пальцы, локоть, а также плечо, подбородок, шея, даже поясница и ноги испытывали наибольшую неловкость и напряжение. Левый локоть следовало завести под скрипку как можно правее, почти до центра груди; левую кисть — извернуть винтом, пальцы расставить и скрючить, шею свернуть, склонив голову на левое плечо; подбородок (отчасти и щеку) плотно прижать к деке, так плотно, чтобы скрипка, зажата между подбородком и грудью, могла держаться в горизонтальном положении без помощи руки; корпус при этом развернут в одну сторону, правая нога отставлена в другую. . .

Что я не преувеличиваю, не карикатурю, может подтвердить любой скрипач, если честно припомнит, как он впервые взял в руки скрипку; теперь-то он к ней привык и все кажется ему удобным и целесообразным!

Привык постепенно и я — начались упражнения, упражнения. . . Полуторачасовой урок, многочасовые упражнения дома, тем более утомительные, что играть приходилось стоя — сидеть перед пюпитром Тулицын не разрешал, это предполагалось далеко впереди, в тех случаях, когда стану участвовать в дуэтах, квартетах или играть в оркестре. . . Что представляли собой начальные правила? Смычок обязан ходить по струнам строго параллельно подставке (кобылке) — иначе неизбежны скрип и визг. Волос смычка умеренно натянут и умеренно натерт канифолью (если смычком постучать, то с него не должен сыпаться порошок). Сила звука зависит от силы всей правой руки, держащей смычок, — от плеча до кончиков пальцев, из которых четыре лежат на древке, а один, большой, всунут между волосом и древком (тростью) смычка. В идеале нужно водить смычком так, чтобы ты чувствовал его продолжением твоей руки. Легко сказать! . . . Но, пожалуй, еще труднее левой руке: неодолимо хочется расслабить кисть, выпрямить ее, привольно опустить шейку скрипки в выем между ладонью и большим пальцем, — исключено: кисть должна быть постоянно согнута, чтобы пальцы могли

скользить по грифу, могли занять любую позицию — первую, вторую, третью... все ближе и ближе к подставке, все выше и выше звук, вплоть до девятой позиции, которая применяется лишь на самой тонкой струне, на квинте, когда мизинец дотягивается до самой-самой крайней точки и позволяет брать столь высокий, сверхкомариный звук, что он едва различим ухом... Эти звуки так высоки, что уже не вибрируют.

Итак, «Школа скрипичной игры» Мазаса, «Школа скрипичной игры» Берно (тот и другой в свое время знаменитые скрипачи, — знали ли они мучения рядовых учеников?). Штрихи «легато» (связно), «стаккато» (отрывисто), «спиккато» (скачущее). Тупицын предельно строг — играем лишь гаммы, этюды, специальные упражнения. Правда, чтоб я окончательно не заскучал, не засох, не отвратился от скрипки, он позволяет мне брать и переписывать принадлежащие ему ноты нетрудных пьесок — вальсов, маршей, различных мелодий, — но на уроках мы играем только учебные вещи: вырабатываю технику. «Приватные» же ноты я достаю повсюду и трудолюбиво списываю, благо в писчебумажном магазине стали продавать нотную бумагу (а до этого сам разлиновывал бумагу подаренным мне Тупицыным особым нотным пером, которое проводит сразу пять линий). Играю верхнюю строчку фортепьянных вещей и даже верхнюю — сольную — строчку вокальных произведений. В ход идут романсы Чайковского, дилетантские вещички дам-сочинительниц, злоупотреблявших бемоляки для пушного настроения: «Молчи, грусть, молчи!», «Памяти Комиссаржевской» и пр. и пр. Не гнушался я и нотами для корнет-а-пистона — они также годились для скрипки. С моим школьным другом Карловым мы задавали в его доме концерты: у Карловых было пианино, и Коля на нем играл уже не первый год. Мое дело было играть верхнюю строчку. У меня сохранилась картонная афишка-анонс: «Музыкальный вечер. Н. Карлов (пианино), Л. Рахманов (скрипка), В. Бутырин (мандолина) и др. исполнят свои лучшие номера solo, duetes et trio». Володя Бутырин был наш школьный товарищ, а «др.» — Колин брат Боря, подыгрывавший нам на бабагане.

Уже после мне папа сказал, что к нему обращались из местного кинотеатра — не соглашусь ли я играть в их

оркестре. Боже, как бы я смог это делать при полном отсутствии практики и с избытком застенчивости?! Впрочем, партии второй скрипки я бы смог, понаторев, исполнять, но папа все равно не позволил бы. И правильно поступил: смотря снизу вверх на мелькавший перед самым носом экран, я бы в два счета испортил себе глаза, не говоря о том, что потеряны были бы все вечера.

Кто же такой был Тупицын? Мало сказать, что Анатолия Лукича хорошо знали и уважали: когда этот лысый, полнеющий, коротковатый человек шествовал с портфелем в руке через город, большинство горожан с ним почтительно здоровались, — у него были сотни учеников, и не только в Котельниче, но и в районе, и даже в области. Я, разумеется, имею в виду окончивших его счетоводные курсы, — играть на скрипке учился у него я один, если не считать его старшего сына, студента, который, собственно, и дал мне несколько первых уроков, приехав к отцу на каникулы, — высокий, красивый молодой человек.

Семья Тупицыных вся была музыкальна: дочь Людмила играла на виолончели, училась в Петроградской консерватории у профессора Мальмгрена, на юбилее которого в 1925 году играло 40 виолончелей; виолончелистом был и родной брат Анатолия Лукича, Александр, так что они вчетвером — отец, сын, дочь и брат — играли Гайдна, Бетховена, когда все съезжались в Котельниче.

Хорошо ли играл сам Анатолий Лукич? Сейчас мне трудно судить, был у него талант или только любовь к музыке и беспримерное трудолюбие. Еще задолго до наших уроков с ним произошла беда: упорными упражнениями он намозолил один из пальцев левой руки, под мозолью образовался глубокий нарыв, который пришлось разрезать; после неудачной операции остался шрам, что мешало игре. Теперь, когда существуют антибиотики, такой операции, вероятно, удалось бы избежать, а может, она была сделана не очень искусно. Во всяком случае, я отчетливо представлял, как это случилось, и всегда мог сказать себе и папе (не мог сказать только самому Тупицыну): вот что бывает от чрезмерных упражнений!.. Тем не менее Анатолий Лукич играл с горячностью (когда выходил за рамки урока), волну-

ясь, громко дышал и даже сопел, беря особенно эмоциональную ноту. Зато в следующую минуту становился еще строже и сдержаннее, словно бухгалтерская его натура брала верх, Сальери побеждал Моцарта. . .

Платил я за уроки «натурой»: Шура Тупицын, ученик средней школы, класса на два младше меня, отставал по математике, и Анатолий Лукич предложил мне заниматься с ним в обмен на уроки музыки. Так и сделали. До самого моего отъезда в Ленинград я занимался с Шурой и с еще одним мальчиком. Шура был флегматичен и ленив до того, что меня от уроков с ним корчило — большого труда стоило усидеть рядом с ним за столом, раз по десять втолковывая правило или теорему. . . И все же перед отъездом я получил письменное свидетельство Шуриной школьной учительницы по математике о том, что Александр Тупицын стал больше знать и лучше учиться — достижение выдающееся! Поблагодарил меня и Анатолий Лукич, что для меня было гораздо дороже, тем более что в следующие годы мы с ним встречались редко.

В 1925 году, в конце мая, я уехал в Ленинград, поступил сначала на Волховстрой, потом в институт; от физического труда и от длительного перерыва в скрипичной игре пальцы огрубели, растренировались; к тому же я стеснялся играть среди новых для меня людей, в коммунальной квартире; так получилось, что взятая с собой в Ленинград скрипка в своем старом, потертом картонном футляре была заброшена на самый верх книжных полок. Надолго? Да навсегда.

О занятиях музыкой я рассказывал в таком легком, даже насмешливом тоне, что можно подумать, будто, распрощавшись со скрипкой, я испытал радость. Это не так. Уверять сейчас себя и других, что я пережил тяжелую драму, тоже не стану, — наступило время других занятий и увлечений — техникой, литературой, — но должен сказать, что разрыв был чувствительным. Дело в том, что я успел привыкнуть не столько к скрипке, сколько через нее к музыке, полюбил музыку, заинтересовался жизнью ее творцов, хотел как можно больше узнать и услышать старой и новой музыки. Когда же я перестал играть сам, я почему-то решил вычеркнуть музыку из круга родных мне интересов и чувств. Обидно вдруг сделалось быть только слушателем, по-нынешне-

му говоря, потребителем,— тогда к черту все! Я почти перестал посещать концерты (а уж где-где, как не в Ленинграде!), на оперы ходил, скорее, как на зрелища и больше из любопытства, чаще выбирая те, что с левым уклоном (поскольку был леваком и в литературе!), — «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Прыжок через тень» и «Джонни» Кшенека, «Нос» Шостаковича; словом, на несколько лет музыка если и не перестала для меня существовать (невозможно было отбросить сильнейшие впечатления от «Пиковой дамы» или не запомнить и не твердить про себя марш из «Трех апельсинов»!), то все же оказалась на втором плане, по крайней мере музыка симфоническая. Глупое ограничение? Очень глупое. Потом я мог об этом только жалеть. Жалею и сейчас. Сколько я пропустил замечательных, даже великих концертов! Это продолжалось пять лет — с 1925-го по 1930 год. Что произошло в 1930 году?

14 апреля не стало Маяковского. Через несколько дней, через неделю, через две, точно уже не помню, в Большом зале Ленинградской филармонии состоялся вечер памяти Владимира Маяковского. Он начался с исполнения 6-й симфонии Чайковского — Патетической. Надо сказать, что смерть Маяковского произвела на меня (как и на многих других, не говоря уж о близких его друзьях) тягчайшее впечатление. Я страстно любил его ранние стихи и поэмы, всегда слушал его новые вещи, когда он выступал в Капелле. А тут, перед самой смертью, Маяковский приезжал в Ленинград, и однажды я видел его очень близко, в редакции журнала «Звезда».

Быть может, заранее подготовленный всем этим к соответствующему восприятию Патетической симфонии, я сидел, вцепившись в локотники кресла, едва удерживая дрожь (какой уж тут «концертный озноб», о котором писал Мандельштам в «Египетской марке», — меня бил настоящий, крупный озноб). Мне казалось, что это я умер и это меня в адском марше топчет неотвратимый рок! Я много раз потом слышал 6-ю симфонию, слышал в исполнении знаменитых оркестров с великими дирижерами — Отто Клемперером, Гансом Кнапперстбушем, Натаном Рахлиным, Евгением Мравинским, Фрицем Штидри, — но никогда я не переживал такого волнения, как в тот, первый раз, когда дирижировал Александр Гаук, и за это я ему навек благодарен.

Впрочем, еще одно исполнение Патетической взволновало меня не меньше. В тридцатых годах в Ленинград приезжал замечательный чешский дирижер Вацлав Талих. На одном из его концертов произошел неприятный случай. Перед началом 6-й симфонии, перед ее первыми тактами, когда дирижер уже поднял палочку, где-то позади, наверху, послышался вой. Все обернулись и увидели на хорах бившегося головой о барьер, извивающегося в судорогах припадочного. Я быстро взглянул на Талиха. Его бледное, доброе лицо было спокойно, он опустил палочку и ждал, когда кончится припадок. Эпилептика увели, Талих обернулся к оркестру и поднял палочку; симфония началась. В этот момент я почувствовал острую жалость: ведь тот, кого увели, не услышит первых гениальных тактов, тех самых, которых он напряженно ждал — и не дождался. А пожалев его, я пожалел и весь остальной глухой мир: насколько же мы, сидящие в этом зале, слушающие эту райскую, адскую музыку, счастливее тех, кто ее не слышит, не слышал и даже не знает потребности в этом наслаждении! Нет, это было не высокомерие, не снобизм — это было просто сознание своего счастья и боль за тех, кто его не знает.

Этим ощущением счастья и боли я жил с тех пор в мире звуков и не считал себя потребителем, хотя сам уже не играл на скрипке.



КНИГИ

Есть книги настолько живые, что все боишься, что, пока не читал, она уже изменилась... Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?

М. Цветаева

Мальчик в среднеинтеллигентной семье, в провинции, к тому же выросший без братьев и сестер, привыкал к книгам с младенческих лет,— он, можно сказать, жил в книжном царстве. Жил в этом царстве и я. Смутно помню, как года в два, еще не умея читать, а только смотря картинки в книжках, я потерпел первое жизненное крушение. Две наши небольших комнаты согревала печка-лежанка, и вот однажды, в морозный солнечный день, когда я уютно на ней полеживал, созерцая мир с высоты двух аршин, у меня шевельнулась мысль: достать свешивавшийся одним концом с печки нарядный складень — книжку-складень. Я подвинулся к краю... дальше, дальше, еще немножко — голова перевернулась, и я рухнул вниз, на железный противень, защищавший пол от скакавших из дверцы каленых углей. Грома было много, рева тоже, шрам на лбу заметен и сейчас; так началось мое знакомство с литературой.

Знакомство продолжалось все детство, правда уже не столь драматично, зато катастрофически быстро росла лавина прочитанных книг. Одни книги составляли мою личную собственность, книги-подарки, другие принадлежали моим родителям, третьи — нашим знакомым, четвертые я брал из библиотек, городской и школьной, и это был главный книжный источник,

Но существовали книги, которые я перечитывал ежегодно, а то и чаще: это были в основном те, что хранились дома в книжном шкафу, либо в сундуке в амбаре, куда я имел доступ зимой и летом. Пожалуй, одно из самых больших наслаждений, какие я испытал в жизни, было перебирать в сундуке эти знакомые книги, теша себя надеждой — вдруг найти среди них нечитанную, невиданную, неслыханную. Нередко я посвящал этому занятию весь короткий зимний денек; в мороз одевался потеплее, зябли лишь пальцы, которыми листал и перебирал книги одну за другой, вплоть до самого дна, устланного газетами «Русское слово» и «Русские ведомости».

Книги и журналы были самые разные, больше всего приложений к «Ниве» и сама «Нива» за 1905, 1906 и 1907 год. Когда я подрост, меня удивил в этих журналах вопиющий контраст между фотографиями собственного корреспондента Карла Буллы, мгновенно откликавшегося на бурные события тех лет — Московское вооруженное восстание, революция в Прибалтийском крае, похороны революционеров, — и мещанскими идиллическими картинками вроде «Войны и нейтралитета», где изображены иступленно лающий щенок и свирепо окрысившаяся на него кошка, вторая кошка спокойно сидит на табуретке и с любопытством смотрит сверху на стычку. (Теперь мне видится в этом контрасте нечто программное, а в самом рисунке — некий символ, но это, конечно, вольные домыслы. А уж что говорить про повести и романы И. Потапенко, Б. Лазаревского, П. Гнедича, Вас. Немировича-Данченко, где не было и в помине событий века, или обложки «Нивы», тесно заполненные рекламой пышных усов, выращенных благодаря чудодейственному усатину фирмы «Перуин-Пето», или рекламой бюста роскошной дамы, объявляющей всем, всем: «Как я увеличила мой бюст на два дюйма». Помнится, я и тогда недоумевал, почему это увеличение исчислялось в линейных мерах.

Был и другой амбар, который снимал под свой товар мучник Селезнев с большой окладистой бородой белого цвета. Очевидно, борода была седая, но я считал, что она белая от муки. Сын мучника, невысокий паренек, был взят на войну и вернулся с нее не только целым и невредимым, но и чудесно выросшим сантиметров на

двадцать; теперь это был рослый мужик, легко поднимавший пятипудовые мешки. Когда арендаторы в 1918 году съехали и амбар опустел, в нем поселилась коза с козлятами; усердно вылизывавшая мучные углы и щели, и возникли два ящика с книгами — остатки домашней библиотеки дальнего маминого родственника, не шибко богатого купца Трухина. Я в этих ящиках жадно рылся и среди приложений к журналу «Родина» (сортом пониже «Нивы») нашел сочинения Понсон дю Террайля: «Похождения валета треф», «Похождения дамы червей»; увы, знаменитого «Рокамболя» того же автора в ящике не было, кто-то его уже зачитал...

Из принадлежавших Трухину книг я запомнил еще пять томов Ибсена в издательских переплетах, аккуратно обернутых белой бумагой. Об Ибсене я тогда знал лишь одно: когда дочь Трухина заболела тифом и уже выздоравливала, о ней рассказывали, что после болезни она была не в себе и, не обращая внимания на домашних, сутками напролет читала Ибсена. Это казалось всем странным, даже чуть-чуть неприличным. Действительно, если знать, что всегда спокойная, уравновешенная Катя доселе читала, чинно сидя за столом, и преимущественно то, что полагается для ученья (она окончила гимназию с золотой медалью), а теперь, похудевшая, стриженная, с начинающими отрастать, вьющимися, как это часто бывало после сыпняка, желтыми волосами, денно и нощно сидит в постели и глотает пьесу за пьесой какого-то Ибсена, — это могло удивить. Впрочем, скоро Катя уехала учиться на врача, рассталась навсегда с Ибсеном, он попал к нам, и я с любопытством подростка искал в его пьесах «неприличие» и «безнравственность», о чем от кого-то из посторонних слышал, и ничего не нашел. Что же, спрашиваю сегодня себя, привлекло в пьесах Ибсена двадцатилетнюю купеческую дочку? Прогрессивные взгляды? Эмансипация женщин? Что-то не верится, чтобы это могло ее пылко заинтересовать: Катя была рассудительна и на редкость практична.

Любопытно отметить, что наши недавно зажиточные и вдруг разорившиеся родственники и свойственники оставляли нам на хранение только книги — никто не расставался с носильными вещами или с посудой; как видно, без печатного слова им легче было обойтись. Так,

хранились у нас принадлежавшие Чемодановым иллюстрированные журналы военного времени — «Огонек», «Всемирная панорама» — со множеством фотографий погибших и отличившихся в боях офицеров, с карикатурами на кайзера, на Франца-Иосифа, на султана Абдул-Гамида, с фигурками бегущих в атаку солдат.

Какие же книги меня больше интересовали и что я чаще всего перечитывал? Как ни странно, это были очень разные книги, ничуть не схожие даже по жанру: «Записки Пиквикского клуба» и «Домби и сын» Диккенса, «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, «Фрегат «Паллада» Гончарова и «Таинственный остров» Жюль Верна. Книги эти навсегда остались любимыми и чтимыми — чтимыми во всех смыслах. Даже роман приключений «Таинственный остров» для меня не просто занимательное чтение, а одна из лучших на свете книг о труде, труде увлеченном, изобретательном и, в отличие от «Робинзона Крузо», коллективном. На что прозаичнее, кажется, производство азотной и серной кислоты, необходимых колонистам для выработки железа, но и оно выглядит романтическим и увлекательным. С первых же страниц мы успеваем полюбить этих деятельных и честных людей.

О своем вечном любимце Диккенсе я мог бы говорить без конца, но ограничусь тем, что повторю слова Аркадия Аверченко, нынче мало кому известные. Аверченко писал, что для души он читает перед сном Диккенса — «этого великого обывателя с улыбкой бога на устах». Улыбка бога — не преувеличение: Диккенсу гениально удавались именно те образы и характеры, которые он писал с улыбкой; впрочем, начав писать Пиквика как чисто комический персонаж, он вдохнул в него нечто такое, от чего тот стал не только смешным, но по-своему мудрым и благородным. Что касается «обывателя», это словцо у Аверченко звучит несколько вызывающе, он как бы примеряет свое определение Диккенса к самому себе: критики его постоянно упрекали, что он пишет для обывателей и сам их не лучше. Думаю, однако, что Аверченко был достаточно умен, чтобы не сравнивать себя с Диккенсом.

Как обстоит с Аксаковым? Я за него сейчас обижаюсь: дети с трудом и редко его читают. За что его любил и люблю я? Прежде всего, разумеется, за пламен-

ную любовь к природе, но не только за это. Кстати, прочтя несколько лет назад статью Бальмонта, где тот объясняется в любви к Аксакову, я был не просто удивлен неожиданной симпатией старого декадента — откровенно говоря, я на склоне собственных лет зауважал его гораздо больше, чем в юности. Но что там капризы Бальмонта, — меня поражает сам Сергей Тимофеевич: как этот старый человек, который родился на тридцать лет раньше Достоевского и почти на сорок лет — Льва Толстого, как он мог с такой психологической глубиной проанализировать далеко не простые взаимоотношения своей матери, ее отца, ее свекра и мужниных теток, живших еще в XVIII веке, — одних он знал будучи ребенком, других и вовсе не видел. Смешно, но придется отдать должное и себе, малолетку: как-то смог же я оценить «Семейную хронику», иначе не перечитывал бы ее столько раз.

Особый случай и с Гончаровым. Его антиромантическое описание своего кругосветного путешествия в начале пятидесятых годов прошлого века, казалось бы, не могло увлечь юного любителя приключенческих книг. Автор, который пишет про штормовое море: «Оно красиво, но однообразно» или: «Скучное дело качка», должен был меня разочаровать, а он очаровывал. Когда я много позднее читал о той же Японии романы Пьера Лоти и Клода Фаррера, при всей изысканности сюжетов и стиля они мне были скучны, а при всей подчеркнутой прозаичности изложения и устарелости содержания японские главы «Фрегата «Паллады» интересно читать и сейчас. В чем колдовство? Очевидно, вот в этой самой затягивающей тебя, подчиняющей себе взаправдашности.

Повторяю, книг было прочитано за детские годы не одна тыща. Полные собрания сочинений того же Жюль Верна, Майн Рида, Купера, Буссенара, Густава Эмара, Жаколио, Андре Лори и других приключенцев; русские и иностранные классики и полуклассики, вроде нашего Станюковича и польского Сенкевича, — у первого все морские его произведения, у другого все исторические; множество исторических романов Салиаса, Данилевского, Вс. Соловьева, Евг. Тур; десятки детских журналов, как еженедельников, так и ежемесячников: «Путеводный огонек», «Родник», «Всходы», «Детское чтение»,

приключенческие и научно-популярные «Вокруг света», «Природа и люди», «Вестник знания». Где сейчас все эти журналы? Большинства их не видел я уже более полувека, с тех пор как уехал из своего городка; не увижу теперь и там — сгорели в 1926 году. Когда-то в котельной земской библиотеке выписывали даже спиритический, оккультный журнал, издаваемый известной авантюристкой Еленой Блаватской, «жрицей Изиды», как назвал ее Вс. Соловьев, кузиной министра финансов Витте, который в своих мемуарах пишет о ней без излишней почтительности. К библиотеке этой я еще вернусь.

Было ли мое чтение бесконтрольным, стихийным или им кто-то руководил? Пожалуй, никто. Мой строгого вкуса и аскетических принципов отец в эти годы либо отсутствовал, либо был так занят, что ему было не до моего чтения. Впрочем, один детский журнал и один знаменитый детский писатель были категорически запрещены: это журнал «Задуманное слово» и Лидия Чарская. Уже взрослым я с удовлетворением прочитал о Чарской уничтожающую статью Корнея Чуковского, — недаром же, значит, отец презирал это сусальное чтиво. Потом, когда я уже немного подрос, в запретный круг чтения справедливо попали так называемые «сыщики» — шестнадцатистраничные выпуски приключений Ника Картера, Ната Пинкертона, Шерлока Холмса, женщины-сыщика Этель Кинг. Сожалею, что под сомнением для моего отца оказался и конан-дойлевский Шерлок Холмс, — отец оценил его лишь под старость, и я с особенным, «злопамятным» удовольствием подарил ему томик рассказов Конан Дойля. К сомнительным можно прибавить «Мир приключений», на который отец мой тоже косился: его раздражали броские цветные обложки с изображенными на них жестокими сценами, для него это была вульгарная дешевка и только. Вслух же он мне читал «Гайавату» в бунинском переводе и смешные рассказы Чехова. Я очень ценил эти чтения, ценил еще потому, что в такие минуты мой строгий отец становился мне ближе — мы одинаково были увлечены чтением.

Кому же я обязан большинством прочитанных книг? Первым моим библиотекарем была Мария Павловна Спасская. Сухощавая, пожилая, очень прямо держав-

шаяся (как я теперь понимаю, затянутая в корсет), говорившая словно бы ворчливо, но при этом всегда улыбающаяся, с ямками на щеках, Мария Павловна благодушно мне позволяла рыться на полках, даже на самых верхних с помощью лесенки, а затем, вздев на лоб очки, своим угловатым, крупным почерком, похожим на почерк Льва Толстого (в детстве я собирал образцы автографов), записывала выбранные мною книжки в большую конторскую книгу,— карточки тогда еще не ввели в такого рода библиотеках.

Земская библиотека, которой заведовала Мария Павловна, гордо называлась Публичной и, пожалуй, имела на это право: для уездного города она была весьма богата. Передо мной протоколы Котельнического уездного земского собрания за 1911 год. Читаю: «В текущем году получались следующие периодические издания: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Современник», «Русское богатство», «Современный мир», «Исторический вестник», «Вестник знания», «Всеобщий журнал», «Новый журнал для всех», «Природа и люди», «Нива», «Пробуждение», «Сатирикон», «Русский паломник», «Вокруг света», «Россия», «Родник», «Юная Россия», «Светлячок», «Тропинка», «Путеводный огонек», «Ученик», «Солнышко», «Модный свет». Далее идут названия газет.

Не считая периодических изданий, в библиотеке числилось 6758 книг. Наибольшим спросом пользовались: Толстой Л. Н. (872 выдачи), Тургенев (646), Вербляцкая (638), сборники «Знания» (585), альманахи изд. «Шиповник» (564), Амфитеатров (546), Белинский (540), Григорович (500), Данилевский (468), Соловьев Вс. (455), Мельников-Печерский (448), Островский (422), Шеллер-Михайлов (415), Шиллер (400), Байрон (380), Пыпин (350), Михайловский (345), Потاپенко (335), Скабичевский (310), Загоскин (300), Писемский (292), Достоевский (283), Пушкин (250), Лермонтов (240), Арцыбашев (230) Гарин-Михайловский (200), Гамсун (198), Андреев (190), Ключевский (130), Надсон (125), Некрасов (120), Ожешко (100), Вас. Немирович-Данченко (95); от 60 до 50: Прево, Мирбо, Пшибышевский, Федоров, Скиталец, Серафимович, Стриндберг, Лажечников, Салтыков, Эберс, Шницлер, Дюма, Бальзак, Щепкина-Куперник, Шоу, Банг и Крестовский.

Я привел эти списки и цифры не из дотошности или любви к статистике: разве не интересно, что в городке, состоявшем из пяти с небольшим тысяч жителей, постоянными подписчиками библиотеки состояли 365 человек, которым за год выдано около тридцати тысяч книг (не считая уездных подписчиков, которым отправлено еще более тысячи томов)? Любопытно также попытаться понять, почему те или иные книги пользовались большим или меньшим спросом. Одни цифры вполне объяснимы, другие — нет. Скажем, популярность Льва Толстого и... Вербицкой можно уразуметь, хотя, вероятно, читали их разные люди. Белинский и другие критики понадобились учителям и учащимся, равно как и Шиллер и Байрон. Сравнительно небольшой спрос на Пушкина и Лермонтова объясняется тем, что почти в каждом интеллигентном доме имелись их сочинения; Достоевского «тяжело» читать; на Арцыбашева к этим годам, возможно, спрос уже схлынул; но почему так мало читали Дюма? Наверное, потому, что еще не успели издать полное собрание его сочинений (вышло лишь в 1916—1917 годах). А почему в перечне отсутствует Жюль Верн, широко изданный тем же Сойкиным в 1906—1907 годах? Я брал его книги именно в этой библиотеке. Ну, предположим, он отсутствует в перечне как «детский» писатель... А почему нет Горького? Знаю от отца, как он был популярен в Котельниче: пьесу «На дне» даже играли на любительской сцене, у меня сохранилась программа спектакля. Правда, усердно читались сборники «Знания» (585 выданных книг), а там и печаталось большинство рассказов и повестей Горького, но ведь упоминаются же отдельно Скиталец, Серафимович, Федоров, тоже постоянные авторы «Знания». Словом, ясности нет, разве что это случайные пропуски.

В 1919 году библиотека переехала из земской управы в дом богачей Воронцовых на главной улице, сначала в первый этаж, на место бывшего мануфактурного магазина, а потом во второй, где раньше жили сами хозяева. Заведовать библиотекой стал молодой человек в пенсне, студент, приехавший из голодной столицы к родителям. Борис Авенирович Пинегин как раз и открыл для меня Диккенса, прочитав вслух «Рождественскую песнь в прозе». Произошло это на рождестве, в один из морозных каникулярных дней; в помещении бы-

ло холодновато, и мы, школьники, в перерыве грелись, толкая друг друга и разминаясь. Чтение заняло весь зимний день — рассказ большой, — но слушали терпеливо, никто не ушел, никто не шумел, не мешал читать. Мне трудно сейчас судить, хорошо ли читал Борис Авенирович: для меня это первое знакомство с Диккенсом явилось чудом, настоящим рождественским чудом!

Весной произошел эпизод в ином роде. Привыкнув рыться на полках, я выбрал себе роман Эмиля Золя «Проступок аббата Муре» (хорошо еще, что не «Нана»!) и, когда дома начал читать, ощутил неловкость: делаю что-то не то. Не стану преувеличивать свою сознательность, но все же я вернул книгу в библиотеку, не дочитав. Вернул в присутствии Бориса Авенировича, тогда как брал без него, и тут испытал другую неловкость: его помощница получила из-за меня выговор — не подумавши выдает книги! Я впервые видел Бориса Авенировича не на шутку расстроенным. Зато во время пасхальной заутрени (единственная церковная служба, которую я посещал охотно: привлекало зрелище сотен горящих свечей, ликующий хор — «Смертию смерть поправ!») я очень обрадовался, увидев, как Борис Авенирович и его милостивая помощница мирно христосовались — обменялись троекратным, если не пятикратным поцелуем.

И какое же неоценимое благо совершила эта молоденькая библиотечка, вручив мне летом того же 1919 года «Приключения Тома Сойера»! Пожалуй, еще никогда не испытывал я такого восторга и такого ощущения сотоварищества, чувства локтя, читая о приключениях Тома; тем более что его влюбленность в Бекки нашла бурный отклик в моей влюбленности в Воронцову, о которой я уже рассказывал.

Через год библиотека переехала в небольшой деревянный дом в гористой части города, принадлежавший местному провизору, красивому мужчине с пышными, как на рекламе «Перуин-Пето», усами. Мне он внушал почтительный интерес: я знал (и в открывшуюся на считанные секунды дверь видел), что в подвальной ему аптеке идет таинственная, кропотливая работа: пересыпают и взвешивают на точных химических весах белые порошки, переливают разноцветные жидкости, на столах и на полках мерцает множество больших и малых

стеклянных сосудов; было во всем этом что-то уэллсовское, да и ходил Сергей Николаевич Пиков по улице (и даже у себя по двору) всегда с озабоченным лицом, словно испытывая тревогу — не взорвалась бы без него эта лаборатория. Вызывало только недоумение, зачем он отрастил такие усищи: еще обмакнет ненароком в какой-нибудь яд или кислоту! Пиков был мой родственник, один из маминых двоюродных братьев, но я с ним не был знаком, хотя учителем математики в нашей школе был его родной брат. Борис Николаевич, в противоположность Сергею Николаевичу, был некрасив и своей козлиной бородкой и ехидным нравом напоминал Мефистофеля. Даже серьезного, никогда не шалившего Колю Карлова он умудрился поймать на том, что тот на уроке чиркнул под партой чьей-то зажигалкой, и долго над ним измывался. Учитель он был неважный, путался в уравнениях, а до бинорма Ньютона нас так и не довел — не успел или убоился трудностей.

Жена Бориса Пикова, Зоя Петровна, строгая дама в синих очках, как раз и стала немой, но внимательной свидетельницей того, как менялись мои читательские интересы. Этой новой нашей библиотечарше пришлось методично, из недели в неделю, выдавать мне книги по технике, электричеству; начитавшись вволю, я производил дома опыты и сооружал приборы — лейденские банки, электрическую машину, от которой они заряжались. Книги же, на дом не выдававшиеся и тем особенно привлекательные, например толстый том «Чудеса техники XX века» инженера Рюмина, я просматривал в читальном зале и с сожалением возвращал затем Зое Петровне.

В пиковском дворе библиотека пребывала несколько лет. За эти годы приключения были совсем забыты, на смену им кроме книг по технике пришли серьезные русские и западные писатели; еще через год, ближе к шестнадцати, меня потянуло к поэзии (к чтению, не к писанию стихов), и это уже навсегда. Если Некрасова, Лермонтова, Пушкина (именно в такой последовательности) я любил с детства, то лет с пятнадцати я начал усиленно читать Фета, Тютчева, затем кинулся к Брюсову и Бальмонту, Блока почему-то пропустил: очевидно, была потребность ошарашить себя чем-то экстравагантным, непохожим на «прежние» стихи... Зато тогда же

открылась для меня поэтичная и вместе с тем необычайно плотная и вещественная бунинская проза; стихи Бунина, если не считать «Гайаваты» в его переводе, я полюбил позднее. Здесь, быть может, уместно сказать о значении Бунина вообще в моей жизни, в какой-то период даже роковом, если перескочить от детства и отрочества к зрелому возрасту.

Но начну с середины. В 1925 году, когда я семнадцатилетним приехал в Ленинград учиться и работать и жил на пятнадцать целковых в месяц, я смог купить лишь одну тощую книжечку Бунина, состоявшую из ранних рассказов и «Господина из Сан-Франциско». В марксовском издании Бунина, которое я знал по Котельничу, этого рассказа не было, и он произвел на меня — не хочу подбирать иных слов — гипнотическое действие. Я до сих пор не могу простить горячо любимому мною Юрию Карловичу Олеше несправедливых слов: «Пресловутый «Господин из Сан-Франциско» — беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Не думаю. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство». Откуда, зачем этот поклеп? И откуда взялись «молодые» в «Господине из Сан-Франциско», кому там можно завидовать? Что называет Олеша «лакейством»? В жизни и в сочинениях Бунина и без того хватало подлинных, реальных грехов. Я мысленно спорил с ним, публицистом, я ненавидел его косные, если не сказать — тупые, высказывания о символистах и футуристах (в речи на юбилее «Русских ведомостей», в «Автобиографии»), но я страстно любил Бунина-прозаика, а затем и поэта.

Какую же роль он сыграл в моей литературной работе? Как ни странно, довольно злую. В 1935 году, весной, написав к этому времени уже четыре повести и принявшись за пятую, я прочел рассказ Бунина «Казимир Станиславович» (повторяю, до этого хорошо знал «нижского» Бунина и «Господина из Сан-Франциско») — и на добрых три десятка лет почти перестал писать прозу, занялся сценариями, пьесами, статьями, рецензиями, «педагогикой»... Что случилось? Почему перестал? Очень просто: вдруг ощутил, что так писать не могу, а хуже — не стбит. Но разве раньше (да и тогда) не читал ничего равного, а то и намного превосходящего

этот бунинский рассказ (даже у самого Бунина)? А Толстой, а Стендаль, а Гамсун, которым я увлекался в юности, особенно его «Мистериями», где Нагель уносит с собой в морскую глубь свою тайну? Все такие разные, даже полярные, разве они не дразнили: «Писать так, как мы, ты не можешь»?! Нет, они были столь высоки, далеки, непохожи на те мои представления о прозе, искусством которой словно бы и я могу овладеть, что даже не вызывали желания стремиться к этим недостижимым образцам, а вот Бунин почему-то казался ближе, достижимей, несмотря на свое несравненное мастерство. Разумеется, это был самообман: здесь, возможно, сыграла роль его «провинциальность» — так в своей уездной глуши я воспринимал его прозу. И, начав писать сам, стал подражать Пильняку, учившемуся в раннем своем сборнике «Былье» прежде всего у Бунина, а уж потом, и то меньше, чем принято считать, у Белого и Ремизова. В Пильняке я ценил настроение уездного революционного быта, деклассированных усадеб, в которых поселились интеллигентные коммунары (очень это напоминало обнищавшие бунинские усадьбы), а главное — обостренное чувство осенней и зимней уездной природы, — оно-то и шло от Бунина.

Смесь «французского с нижегородским» (точнее — с вятским) образовалась у меня в повести «Полнеба» в 1928 году, когда я начитался Олеси и Жироду, еще не преодолев «пильняковщины», но Бунин, чистый Бунин сопровождал меня всю жизнь, хотя и не сказывался напрямую на языке, на стиле моих вещей, да это, повторяю, и невозможно. Убежден, что при всех моих увлечениях я не мог и не хотел освободиться от родных корней: любовь к родной земле, к ее природе проявлялась не в краеведческих пристрастиях, не в землячестве, — наоборот, я тяготел к Питеру и бывал рад, когда меня принимали за коренного ленинградца (еще полвека назад!), — проявлялась она как раз в том, что больше всего любил и ценил Бунин, пусть не вятич, но такой русский писатель и интеллигент, если не считать смешного мелкопоместного барства.

В шестнадцать лет, в год окончания школы, я стал почитать и философов, тех, что писали поострее и поэффектнее — Ницше, Штирнера, Шопенгауэра, — выбрав их как бы по принципу эпатажа: Собственно, кого

я дразнил — родителей, товарищей, библиотекарей? Нет, товарищи и родители знать не знали про мои «философские» интересы, библиотекари были в общем-то безразличны, — впрочем, Зоя Петровна иногда удивленно и неодобрительно качала головой, но молчала. Не исключено, что я больше дразнил самого себя: привык с детства к гуманным жизненным правилам — и вдруг столкнулся с жестокими парадоксами, высказанными в яркой, щегольской форме; чего стоил один «Так говорил Заратустра», а говорил он действительно красиво! Это я теперь нахожу в его речах и риторику, и безвкусицу, и просто переливание из пустого в порожнее, а тогда... Полагаю также, что в моих увлечениях содержалась немалая доля игры: вот я уже большой, вот я читаю такие книги, о каких знакомые мне взрослые и не слышали.

Правда, в ту пору я уже открывал для себя великого писателя и философа — Достоевского, и уж тут мои изумление и восторг были самыми искренними. Подумать только: после «пройденных» в школе «Бедных людей», которые показались мне, скорее, бедненькими, ничем не затронули воображение, вдруг прочесть за одно лето все главные романы Достоевского, — это ж не просто лето, это эпоха!


Как-то под вечер, сидя с книгой на деревянном крыльце нашего уездного дома, но мысленно находясь далеко отсюда — в зловещем карамазовском доме, я услышал знакомый голос.

— Леня, что вы читаете? — поинтересовался проходивший мимо ветеринарный фельдшер Чеснок и, узнав, осуждающе сказал: — Как это вам позволяют читать такую сальную книгу?!

Когда-то я страстно негодовал на захаровских гостей, хохотавших над «Записками сумасшедшего» Гоголя; сейчас я позволил себе лишь снисходительно пожалеть симпатичного, но, увы, заблуждающегося Ивана Михайловича. Вслух я ему ничего не сказал, и правильно сделал.

...И все-таки, все-таки Аксаков и Диккенс оставались моими любимцами и тогда, когда вовсю читались уже Достоевский, Толстой, Чехов, Бунин, Гамсун, Стендаль (не говоря уже о кратковременном остреньком интересе к Ницше), пьесы Гауптмана и Ибсена, а по-

эже — многотомные эпопеи высоко чтимого мною и сейчас Томаса Манна. Остаются они среди перечитываемых любимцев и нынче, особенно когда прихворнешь. . . Верно писал Мандельштам в «Шуме времени»: «Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье». Насчет мирозданья он, возможно, перехватил, но что «книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь» — абсолютно верно. Правда, он говорил это не в прямом смысле, — как известно, Мандельштам был скиталец, кочевник, шкафов с собой не возил, ну, а мне посчастливилось: некоторые уцелевшие от пожара книги из отцовской библиотеки перебрались потом из провинции ко мне в Ленинград, и, скажем, Гоголь, Чехов с отцовскими инициалами на кожаных корешках стоят теперь на моих полках.



УЕЗДНАЯ МОЗАИКА

Две учительницы

В 1917 году, в начале марта по старому стилю, я послал отцу письмо, которое начиналось словами: «Милый папа, царя больше нет! Ура!!»

Разумеется, я не смог подробно описать революционные события в школе и в городе, девятилетнему автору это было трудновато, а произошло на моих глазах следующее.

Перед началом уроков, когда в обычные дни все три класса, собравшись вместе, пели хором «Спаси, господи, люди твоя», старшекласники вдруг сорвали со стены царский портрет и с криком «Долой Николашку!» засунули его за шкаф. Возмущенная таким небывалым поступком, наша учительница сказала, что государь сам пожелал отречься и теперь на престол взойдет цесаревич Алексей. Выслушав это, ученики весело разорвали на мелкие кусочки изображение всего семейства — царя, царицы, четырех дочерей и мальчику в матросском костюмчике; портрет царя был извлечен из-за шкафа и брошен в уборную. Тогда учительница заперлась в своей комнате (она жила при школе) и громко плакала до конца урока и всю первую перемену.

— Слышите, какая она монархистка! — переговаривались ученики. Впрочем, для нас это не было новостью, — мы могли также назвать ее шовинисткой, если бы знали такое слово: она часто читала нам о немецких

зверствах, о православном русском воинстве, непрерывно одерживавшем победы одна за другой под верховным командованием самого государя.

Но ход истории ни в школе, ни в городе нашей учительнице остановить не удалось. Городские оркестры — военный (местного гарнизона), пожарный и гимназический — всюду играли «Отречемся от старого мира», «Смело, товарищи, в ногу» и «Варшавянку». Непонятно, когда музыканты успели без нот разучить эти позавчера еще запрещенные песни. Горожане ходили с красными бантами на груди и поздравляли друг друга с низвержением самодержавия. Рассказывали, что кто-то поздравил полицейского надзирателя Киселева, изящного, моложавого, очень похожего в серо-голубой шинели на своих красивых сыновей-гимназистов (с младшим я через год попал в один класс). Звякнув шпорами, Киселев четко ответил:

— Воистину воскрес!

Ответ явно дерзкий, ибо шла всего третья неделя поста и до пасхи было далеко. Горожане вообще удивлялись, как это надзиратель решается в форме ходить по улицам, когда в газетах пишут, что в Петрограде полицейских бьют или топят.

А в семье учительницы произошла беда. Чтобы не видеть, не слышать манифестации (так называли тогда демонстрацию), которая с красными флагами и оркестром пройдет мимо школы на Верхнюю площадь, учительница закрыла свою комнату на замок и убежала куда глаза глядят; в комнате осталась глухая парализованная мать. Старуха вздумала поставить самовар, неосторожно заронила огонь и сгорела заживо, прежде чем успели заметить и потушить пожар. Должен сказать, что котельничане, независимо от своих взглядов и убеждений, жалели учительницу, а мы, школьники, были просто потрясены. Какое-то время учительница была не в себе, но вскоре выздоровела и стала обычным, даже примерным педагогом. . .

И все же меня перевели осенью в другое училище, так называемое городское начальное. Там я сразу же простудился и всю зиму учился уже на дому — на дому у Катерины Николаевны, которая стала самой любимой моей учительницей за все школьные годы. С увлечением я ходил на ее уроки, и мне давались легко самые скуч-

ные вещи, вроде десятичных дробей или процентов. Спокойная, добрая, красивая, крупная, с густыми длинными волосами — когда она их расчесывала, они падали чуть не до пят,— Калерия Николаевна меня словно околдовала. В годы войны она приехала с пятилетним сыном Юрой из Петрограда,— почему именно в Котельнич, не знаю, но что они петроградцы, мне очень нравилось. Ее муж, высокий сухопарый учитель, однажды при мне навестил семью, и я с ним познакомился,— это, по правде сказать, не доставило мне ни малейшего удовольствия. Я даже не радовался внезапно объявленным по случаю его приезда недельным каникулам. Уж не ревновал ли я к нему Калерию Николаевну?! Трудно сейчас разобраться в тогдашних ребячьих чувствах.

Жила Калерия Николаевна в нагорной части города, как раз против дома моих старых тетушек; ходил я к ней вечером, днем она преподавала в училище. Путь пролегал сперва по центральным кварталам, но я быстро сворачивал на заштатную Третью улицу — без гостиного двора, магазинов и почти без встречных прохожих. Там мне было вольготней подпирать перед собой в гору, а обратно — с горы замерзшее конское яблоко, — дело происходило, как я сказал, зимой.

Странновато, конечно, сочетание этой вполне нормальной для уездного мальчишки забавы с замечаемыми мной переменами на улицах. Город как-то притих, освещенные прежде по вечерам окна магазинов погасли, хозяева их редко показывались из своих домов. Зато вдруг появились в столь сухопутном, далеком от всех морских границ городке военные моряки. В заправских бушлатах, в бескозырках с ленточками, они не маршировали, не ходили отрядом, с винтовками за плечами, но порядок сразу же навели. Прекратились грабежи, воровство,— говорят, что их командир (по фамилии Журба) приказал собрать на Верхней площади, на берегу Вятки, выловленных громил и воров и расстрелять их через одного, остальных выгнал из города. Может, это был слух, сотворенная обывателями легенда, но я на этих матросов глядел с острым любопытством и удивился, когда у одного из них блеснул золотой зуб. Я и сейчас не знаю, был это анархистский или большевистский отряд,— знаю только, что уком РКП(б) организован в Котельниче позднее, уже весной.

Вообще, в отличие от Февральской, Октябрьская революция к нам пришла не громко и не парадно: незаметно оказались в другой эре! Вот первую годовщину Октября, помню, отпраздновали уже приметно: митинг на Верхней площади, знамена и лозунги; класс мы украсили гирляндами из еловых и пихтовых ветвей. Но все это еще лишь предстояло, равно как и долгие годы гражданской войны, вплотную подступавшей к Котельничу, хотя так до него и не дошедшей.

Зима 1917—1918 года была уже скудной, особенно для приезжих людей, не имевших собственных огородов. Впрочем, сахару не было ни у кого, если не считать, разумеется, запасливых купцов. Однажды, пока я решал сложную арифметическую задачу, Калерия Николаевна успела сварить Юре кисель, где кроме клейстера из картофельной муки, подкрашенного клюквой, ничего не было. Юра отказался его есть. Калерия Николаевна огорчилась, смутилась и словно бы извинялась перед сыном за неудавшееся кушанье. . . Мне стало за нее так обидно, что я хотел с жадностью накинуться на этот кисель, чтобы показать Юре пример: «Ах, как вкусно!» Но испугался, что Калерия Николаевна примет это за глупую шутку.

Кстати, при всей своей доброте Калерия Николаевна иногда поступала очень решительно. Так неожиданно оборвались ее занятия с Васей Ш., тихим, воспитанным мальчиком, хорошеньким, как девочка. Она еще до меня начала репетировать этого сына владельца большого, красивого дома, где помещался Волжско-Камский банк. Тогда редко кто из детей имел часы, а вот Вася то и дело среди урока отогнет обшлаг рукава и взглянет — который час? Возможно, он делал это машинально, без всякого умысла, но Калерию Николаевну это так раздражало, что она, несмотря на бедность, отказалась от выгодного урока, а мне сказала не то всерьез, не то в шутку:

— Когда станешь взрослым, тоже никогда не смотри на часы. . . при гостях!

Вася Ш. учился потом со мной в школе 2-й ступени, в параллельной группе, а затем, окончив счетоводные курсы Тупицына, долгие годы работал бухгалтером в Гужтрансе. Я его иногда встречал, приезжая в Котель-

нич; он был все таким же хорошеньким, но уже как девушка, а не девочка.

А Калерию Николаевну я последний раз видел летом 1919 года. Она к нам зашла попрощаться, печально сказала, что мечтает скорее вернуться домой, в Петроград, но там так голодно... Куда едет сейчас — не сказала или я не запомнил. На окне у нас росли высаженные в глиняные горшки цветы, и я был благодарен маме, когда она срезала для Калерии Николаевны большую желтую розу — такие розы назывались чайными.

Не могу понять, как это я, приехав в 1925 году в Ленинград и проживши здесь всю свою жизнь, не попробовал разыскать любимую учительницу. Слишком поздно у нас возникает потребность повидать человека из твоего детского прошлого.

Лето 1917-го

Тысяча девятьсот семнадцатый год. Начало лета. За нами приехал папа, и мы втроем — папа, мама и я — едем в Ижевск. Поезд, Пермь, Кама, пристань Гальяны — завод и город Ижевск... Дорога почему-то промелькнула так быстро, что о путевых впечатлениях попробую вспомнить потом, при случае, или когда поедем обратно.

Мы поселились на тихой улице, во втором этаже двухэтажного деревянного дома, выкрашенного белой краской, как многие дома в городе. Внизу хозяева — полная добродушная женщина с двумя дочерьми; у старшей двое детей, муж на фронте; младшая, Нина, приветливая, чуть глуховатая, недавно окончила гимназию. С той поры прошло шесть десятков лет, насыщенных всяческими событиями, но у меня сохранилась фотография с надписью: «Милой Ксении Ивановне и Ленечке от Ольги Федоровны и Нины Селюковых».

У нас просторная трехконная комната с телефоном, по которому мне некуда звонить, кроме как папе на службу; для этого надо долго крутить ручку деревянного ящика, похожего на скворечник. Две другие комнаты занимает помощник лесничего Василий Федорович Соколов с сыном Сережей, мальчиком моих лет; еще в одной комнате живет пожилая женщина, мать капитана Камского пароходства. При нас капитан ни разу не при-

езжал к матери — находился на военном положении после чрезвычайного происшествия: загорелось и взорвалось нефтеналивное судно (слова «танкер» в русском употреблении тогда еще не было). Это произошло накануне нашего приезда в Пермь, на пермском рейде; обгоревшие останки судна мы видели, когда рассвело и наш пароход отчалил от пристани. Ночь провели мы на пароходе, спали в каюте, которую заняли еще с вечера, вознаградив себя за бессонную ночь в коридоре переполненного вагона. (Я-то, конечно, ухитрился поспать и в вагоне, притулившись на багаже.)

Итак, мы в Ижевске. Дружу с Сережей. Мастерим деревянные пропеллеры, запускаем их в воздух при помощи накрученной на палку бечевки: это наши аэропланы. (Самолетами тогда аэропланы еще не называли, это слово встречалось лишь в сказках — ковер-самолет; кроме того, существовало пароходное общество «Самолет».) Часто бываем в превосходном тенистом саду, точнее — парке, окружающем Артиллерийское лесничество, где работают наши отцы. Вечерами читаем, обмениваемся книгами. Особенно запомнились мне две книжки: привезенный с собой «Дон Кихот» — изящно изданный, напечатанный на тонкой прочной бумаге, в мягком клеенчатом переплете красного цвета и необычайно узкого формата (курьез в том, что этот «Дон Кихот» был приложением к большой плитке шоколада!), и «Юра в мире животных» Александры Бостром (как я после узнал, матери А. Н. Толстого), — книжка эта принадлежала Сереже и нигде мне после не попадалась, — жаль, хотел бы перечитать. «Дон Кихота» же за то лето прочел много раз; куда исчезло потом это «шоколадное» издание — неизвестно.

По заросшим травой длинным улицам хожу через весь город к родственникам: папина сестра Мария Николаевна замужем за заводским мастером Алексеем Ивановичем Бердниковым, у них четверо детей. Близко сдружиться мы не успели, но несколько раз у них побывал. Запомнился стоявший в их дворе грузовик; в Котельничке автомобилей тогда еще не было, и я на этот грузовик с удовольствием лазал, «управлял» рулем. Годы спустя, когда слышал и читал об Октябре в Петрограде, о революционных грузовиках, ошетилившихся вооруженными солдатами и матросами, всегда представ-

лял себе именно этот ижевский грузовик. Почему он стоял во дворе у Бердниковых, не знаю.

Гораздо туманнее помню берег пруда и вдали, у плотины, завод, дымящие трубы. Через семнадцать лет побывал на таком же старинном, но уже уральском заводе, в Нижнем Тагиле.

Обратный путь — из Ижевска в Котельнич — принес больше впечатлений, чем из Котельнича в Ижевск, может быть потому, что я научился уже наблюдать, замечать, чуть повзрослел за лето. Время было военное, шумливое, многолюдное, поезда и вокзалы набиты битком, но из Перми домой мы ехали несравнимо удобнее: сидя на скамьях в вагоне 3-го класса, а не стоя в коридоре 2-го класса. С продуктами было уже неважно, но, помню, я все же удивился, когда какой-то офицер угостил меня ломтем черного, очень черствого хлеба, намазанного медом: как видно, он считал это редким лакомством, тогда как и дома и в Ижевске еще не начали подголаживать.

Но ярче всего мне запомнилось начало пути — от Ижевска до Гальян. Нас провожал папин молодой сослуживец, очень славный, с которым за это лето мы подружились. Он подарил мне несколько книг, которые, как ни странно, тоже у меня сохранились: «Король и инфант» Алтаева, «Из жизни великих и славных людей» Соловьева-Несмелова, «Путешествия по воздуху» Тиссандье и Фламариона и «Путевые очерки о Волге» Вас. Ив. Немировича-Данченко.

В Гальянах — пристань на Каме — нам предстояло сесть на пароход и совершить приятное, но короткое путешествие по этой красивой, мрачноватой реке до Перми, обмениваясь гудками со встречными пароходами, принадлежащими фирмам «Кавказ и Меркурий», «Самолет» и «Товарищество Любимовых». Наш пароход принадлежал «Братьям Любимовым», название его я забыл, его заслонило название одного из встречных пароходов: «Анна Федоровна Любимова», — меня поразила эта семейственность!

Но еще больше запомнился сухопутный железнодорожный путь до Гальян. Он был совсем короткий, всего сорок верст, но, что самое удивительное, узкоколейный. Это во время большой-то войны, на которую работал Ижевский артиллерийский и ружейный завод! На этом

сорокаверстном участке все время происходили какие-нибудь железнодорожные неприятности, не обошлось без них и тогда. Наш вагон оказался первым от паровоза, площадка была открыта прямо на тендер, там загорелись дрова, и пламя сразу же перекинулось в наш вагон. Вдоль вагонов снаружи тянулась на паровоз веревка к сигнальному колоколу (как у американских поездов, уже знакомых мне по журналу «Вокруг света»), пассажиры принялись иступленно за нее дергать, поезд остановился, пожар быстро потушили, но испуг, говорят, был большой. Почему — «говорят»? Потому что я не успел испугаться — было интересно и только. А вообще, и эта узкоколейка, и подвижной состав — все держалось на честном слове.

Ехали мы не слишком резко, и можно было из окна хорошо рассмотреть почерневшие от времени и непогод скирды хлеба, стоявшие на межах между полями. Папа мне объяснил, что у местных крестьян, вотяков, существует обычай — хранить необмолоченный хлеб в поле, в скирдах, поставленных на большие камни, — мыши боятся холодных камней и не трогают зерно. Так и стоят эти заветные скирды: сын наследует их от отца, отец унаследовал от деда — берегут на черный день.

В Ижевске, нынешнем центре Удмуртской республики, папа жил и работал еще полтора года. Папин молодой сослуживец, подаривший мне книги, вскоре после отъезда папы погиб: был застрелен случайно в уличной перестрелке, когда власть в этих местах часто переходила от одних к другим. Эсеры-максималисты пытались устроить бунт еще при папе. Он рассказывал с юмором, как однажды мылся в маленькой бревенчатой баньке, принадлежавшей нашим хозяевам и стоявшей в их огороде; вдруг за стенкой затрещал пулемет, послышалась ответная стрельба, — значит, уже по баньке... Отец только что намылился и с минуту сидел с закрытыми глазами, чтоб не попало мыло, — не мог решить: продолжать ли мыться или, наскоро одевшись, убраться пододбру-поздорову? Но тут пулемет перетащили на другую позицию, и мытье кончилось благополучно.

Сейчас изумляешься, как могли параллельно происходить такие разновеликие события. Я беспечно гощу у папы, на Ижевском заводе, производящем и поставляющем оружие для изнурительной четырехлетней вой-

ны; в Питере близится Октябрьская революция, происходят трагические июльские события; мало кому известный тогда поэт Борис Пастернак пишет в Москве книгу стихов «Сестра моя жизнь» (с подзаголовком «Лето 1917 года»), которой я увлекусь через десять лет; миллионы людей живут в России, ничего не зная ни о том, ни о другом, ни о третьем событии; а я... я знаю лишь то, что происходит дома, в семье, непосредственно перед моими глазами. И вот сейчас, через шестьдесят лет, я дерзко называю все это — летом 1917 года!

Но оно было и моим летом, оно прошло — и я опять оказался в тихом, удаленном пока от всяких внешних событий Котельниче.

Татариновы

До революции учусь в земском училище. Рядом со мной сидит Володя Татаринов. Руки у него в борсдавках, он щиплется, но я прощаю ему это за хромоту. Он сын богатого купца и приезжает в школу осенью и весной в коляске, зимой в нарядных санях. Раз или два, помню, я прокатился с ним, но это вдруг оказалось неприятно для моего самолюбия. На переменах Володя много и жадно ест — никуда не идет из класса, сидит и ест привезенные с собой, в шикарном ранце из телячьей кожи мехом наружу, пирожные, бутерброды с ветчиной, еще и еще что-то. Дома его очень балуют мать, тетки (две сестры матери, живущие с ними в доме).

И вдруг все изменилось. Мать умерла, а отец, испросив разрешения у архиерея, женился на одной из своячениц. Родился ребенок, теперь все внимание теток уделено малютке, а Володя и Бориска (глухонемой брат Володи) стали париями в семье. Тетка-мачеха его ненавидит, другая тетка, из подхалимства к сестре, — тоже, обе жалуются на него отцу. Тот порет его нещадно, а Володя, хотя ни в чем не виноват, кричит: «Не буду, папочка! Не буду, папочка!»

Теперь, когда Володя попал в беду, он стал для меня симпатичнее. К тому же умеет мастерить из дерева и старых патронов так называемые «самodelки» — самодельные патроны, из которых можно стрелять настоящим порохом и дробью. Володя бывает у меня, я иногда

бываю у него в доме. Отец Володи со мной вежлив, любезен, как со взрослым, но я замечаю, что все слова его обращены к тому, чтобы унижить сына, ставя ему в пример меня, сравнивая его со мной. Чувствую, как я ненавижу этого страшного, непонятного мне человека. А Володя? Неужели можно любить такого отца? В городе его зовут Лаврентий Татаринов, почему-то без отчества — Ксенофонович. Когда в 1918 году, после покушения на Ленина, стали заключать в тюрьму заложников из буржуазии, Лаврентий скрылся из города. Когда же острота момента прошла, вернулся с нашитыми на пальто, на пиджак, на брюки многочисленными заплатами. Многие из горожан знали, что заплаты фальшивые, догадывались ли об этом уездные власти — неизвестно. Во всяком случае, Лаврентий продолжал жить в своем красивом белоснежном доме, похожем на загородную виллу. Дом муниципализировали, но Лаврентию оставили весь первый этаж.

Из осторожности, граничащей с каким-то звериным чутьем опасности, Лаврентий во время нэпа не соблазнился частной торговлей, а скромно служил в государственной организации по закупке льна. Не знаю, производил ли он какие-либо махинации при закупке или потихоньку реализовал старые сбережения — золото, мануфактуру, — но жили они, как прежде, на господскую ногу, хотя одевался Лаврентий в самое затрапезное и скорее походил на ночного сторожа при этом богатом доме и отменно крепких амбарах, в которых как раз и помещались государственные склады льна. Тетки же выглядели и одевались прекрасно, целыми днями ничего не делали, если не считать возни с кухаркой, с портнихой. Володю и добродушно мычавшего Бориску они держали буквально в черном теле, и от мальчиков постоянно пахло мочой, что так не вязалось с сияющей чистотой дома, блеском пола, добротной утварью. На меня тетки смотрели с вежливой неприязнью и вслух удивлялись, как родители позволяют мне читать романы Жюль Верна и Майн Рида, ибо свято верили: если роман — значит, про любовь, а детям про нее читать рано. Вот когда я впервые начал соображать, что холеные нарядные дамы могут быть невежественными мещанками, и меня это немало удивило. Я тогда еще не знал, что в быту широко распространен синоним слова «лю-

бовь» — «роман»: «У него с ней роман», — а тетки не подозревали, что это название литературного жанра...

Многое в этой семье для меня было странно, может быть потому я ее и запомнил, несмотря на то что старался бывать там как можно реже. Например, я узнал, что где-то в дальней комнате, в недрах дома, живет чахоточный брат хозяина, Ананий Ксенофонтович, которого я ни разу не видел и который является как бы его политическим противником. Рассказывали, что в 1905 году, еще будучи учеником реального училища в Вятке, Ананий Татаринов состоял в революционном кружке, изучал «Капитал» Карла Маркса, печатал на гектографе прокламации и карикатуры, распространял листовки в местном театре и других общественных местах, а главное — в декабре принял участие в вооруженном восстании, засев вместе с несколькими молодыми людьми на городской водокачке. После отбытия тюремного заключения Ананий Ксенофонтович вернулся в Котельнич. Не знаю, повлияло ли его прошлое на сравнительно мягкое отношение революционных властей к его брату в двадцатые годы.

Что касается самого Лаврентия, то, почуввав в конце двадцатых годов новые перемены, сулившие ему новую опасность, он уехал, на сей раз со всей семьей; никогда больше я не встречал ни его, ни хромого Володю, ни глухонемого Бориску. А дом цел, не сгорел в 1926 году, только, как многие старые дома, посерел, обветшал, заметно стал ниже, особенно рядом с поднятым, выровненным и заасфальтированным шоссе, по которому катят, грохочут, пылят сотни машин, грузовых, легковых, и все мимо бывшей татариновской виллы. На стенах ее нашиты заплаты, как когда-то на пиджаке Татаринова, но они не фальшивые — дом свое отжил, ему не податься.

Дураки

Я никогда не мог понять, почему в нашем маленьком городе было так много городских сумасшедших. Правда, никто их не называл сумасшедшими, говорили ласково — дурачок, дурочка.

Двое из них, дурачок и дурочка, были просто излишне старательны. Городок расположен в котловине меж-

ду горами, деревянные мостки (их уважительно именовали тротуарами) изобиловали ступеньками, и перед каждой ступенькой, спускаясь с горы или поднимаясь на гору, дурачок, сухопарый, молчаливый, серьезный, останавливался, отходил на три-четыре шага, и только тогда, с разбегу, решался преодолеть препятствие.

Дурочка, повязанная платком по самые брови, деловито неслась по середине дороги и, поминутно нагибаясь, откидывала к обочине все встретившиеся ей по пути камни, комки засохшей грязи и палки. На обратном пути она складывала их снова на середину. Работы хватало.

Третьего дурачка звали Егор Лазаревич. Он был услужлив и хлопотлив. Его призванием было носить на похоронах крышку гроба. Он нес ее на голове, чинно выступая перед процессией, и дребезжащим тенорком приговаривал:

— Ай-яй-яй, Егой Язиевиць! Одногo пелезиль, длюгoгo пелезиль, тлетьего пелезивёсь!

Мысль была далеко не глупой. Действительно, он пережил много народу, особенно в голодный, тифозный год. Лютой зимой, знойным летом, в кромешную осеннюю грязь он носил и носил гробовые крышки, и без него невозможно было представить себе сколько-нибудь стоящих похорон. Шапку при этом он держал за пазухой, а белобрысую голову с красным морщинистым личиком повязывал грязным вязаным шарфом.

Четвертый дурак был профессиональным бродягой и пьяницей. Идя мимо нашего дома, он считал обязательным провести палкой по ребристому палисаднику, чтобы извлечь подобие пулеметной очереди и тем побудить нас кинуться к окнам. Затем садился на тротуар, спустив ноги в канаву, и, приложившись к шкалику, начинал чувствительно выводить:

Помер, помер наш Антошка,
Заказали гроб на ножках,
Хоронили — не сучал,
Закопали — осерчал.

Каждый из городских сумасшедших имел почтенных и уважаемых родственников. Например, «альпинист», что так сложно преодолевал горы, был родным братом инспектора городского училища, известного в городе

тем, что во время германской войны он завел в классах военизированную гимнастику со штыковым боем и прочими устрашающими приемами, из-за чего, собственно, папа и отдал меня учиться в мирную земскую школу, более демократическую по составу и направлению: большинство учеников были крестьянские дети.

У Егора Лазаревича тоже имелся брат, жестяных дел мастер, чинивший, паявший, лудивший всю металлическую посуду в городе. Мне не раз поручали доставить к нему для ремонта тот или иной сосуд. Однажды я тащил большой бак, обладавший особой притягательной силой: каждый встречный мальчишка непременно бахал кулаком или палкой в железное днище, некоторые даже перебежали для этого через дорогу. А так как нести этот объемистый бак было мне не с руки — не обхватить, не удержать за края, — я надел его на голову, как Егор Лазаревич гробовую крышку; можно легко представить, как гудела моя голова, когда раздавался очередной удар по железу!

..Несправедливо, подумалось мне сейчас, явно несправедливо, что этот привычный всем Егой Язиевиць, проводивший в последний путь столько своих сограждан, сам отправился в тот же путь совершенно незаметно, исчез — и все; никто о нем и не вспомнит... Не знаю, дожил ли он до пожара, если дожил, то помогал ли брату спасти имущество, понимал ли масштаб несчастья; вообще, что чувствовали, как вели себя городские юродивые в этот безумный день, когда и нормальные-то люди порой психовали?

Лыжи

Первые мои лыжи были самодельными. Разумеется, делал их не я, — одиннадцатилетнему это, пожалуй, не под силу; и вообще, проще, казалось бы, купить, — но где? В 1919 году в Котельниче не только спортивных магазинов — самых обыкновенных мелочных лавок не было. Попросить у знакомых, у соседей? Но у всех дети, а дети хотят бегать, кататься, несмотря на любые социальные катаклизмы и житейские трудности, — никто добровольно не расстается с коньками и лыжами. Словом, отец взялся сам смастерить лыжи — он любил решать такие заманчивые задачи.

Сперва потребовалось подыскать подходящий материал — в буквальном смысле без сучка, без задоринки. Две ровные березовые доски были найдены, надлежащим образом обработаны, гладко выстроганы; длина, ширина, толщина будущих лыж — все заранее предусмотрено, обговорено со мной. Труднее всего оказалось загнуть острые концы так, чтобы после они не разогнулись. Папа отмачивал и отпаривал эти концы в кипятке, а затем отгибал, вставлял между ними распорки и в таком виде просушивал несколько суток. Помню, он рано утром вставал и сразу шел проверять, как обстоят дела.

В результате я получил превосходные лыжи, гибкие, легкие и послушные, несмотря на отсутствие снизу желобка (желобок при всем желании не удалось сделать). Они были шире, короче и тоньше тогдашних фабричных беговых лыж, и по рыхлому снегу ходить на них было легче. Я совершал дальние походы в лес, до усталости катаясь с гор и на первое время даже забросил коньки.

Котельнич и его окрестности изобилуют горами, но не все эти горы годятся для лыж: одни из них — городские улицы и проезды, другие — гористый берег реки, настолько крутой и обрывистый, что местами снег на нем не задерживается, всю зиму на виду остаются глинистые красноватые лысины. Правда, на Вятке, повыше пристани, находится овраг Семиглазов, где скат к реке между редкими соснами привлекателен для лыжников, но однажды там произошла трагедия. Четырнадцатилетний школьник съехал на лыжах с обрыва и попал в западню: под снежным настом к весне образовались пустоты, мальчика завалило осевшим снегом, лыжи были прикреплены к ногам наглухо, — как ни бился, не мог вылезть наружу; тело отыскали через несколько дней — из-под снега торчала лыжная палка.

Первое время я бегал и катаясь с мальчишками на Солдатском пруду, где берега сравнительно низкие и отлогие. Но скоро мне это прискучило, и я со своим ближайшим приятелем Володей Бутыриным нашел местечко поинтереснее — так называемую Нижнюю линию. Эта железнодорожная ветка вела к реке, к летней стоянке нефтеналивных барж, ее проложили в специально открытом глубоком карьере. Так как зимой по Нижней линии поезда не ходили, то нам ничто не мешало. Откос

был довольно крутой, под сорок пять градусов, как многие железнодорожные насыпи, и нас выносило с разгона на противоположный откос, основательно тряхнув на своеобразном трамплине — присыпанных снегом рельсах.

Но что это по сравнению с тем, что мы испытывали, съезжая с заречной, куда более высокой насыпи! Насыпь вела к большому пятипролетному мосту через Вятку, о котором я уже не раз говорил, которым горжусь и восхищаюсь и нынче. Вихрем с нее слетев, катишь по дамбе или по равнине еще метров сто — полтора ста... Конечно, теперь, когда мы насмотрелись в кино на головокружительные спуски с кавказских или альпийских горных хребтов или воочию на прыжки с кавголовских трамплинов (кстати, под Котельничем, в колхозе «Искра», тоже имеется теперь такой трамплин), наши заречные подвиги кажутся пустяком, но тогда дух захватывало! Кто из ребят не испытал такого счастливого, на грани восторга и ужаса, ощущения?

Но прогулки на лыжах за Вятку, особенно ближе к весне, таили в себе и другие очарования. Сверкавший под февральским, под мартовским солнцем снег, недвижно застывшие на прибрежных холмах дубы, еще совсем зимние, не проснувшиеся от декабрьского и январского сна, а рядом уже залиловевшие ивовые кусты, кое-где, на открытых солнцу местах, даже с сережками; оживившиеся, бойко перепархивающие с ветки на ветку птицы, — они доклеывали остатки прошлогодних ягод рябины, калины, шиповника... и вдруг раздается уже откровенно весенняя, призывная дробь дятла!

А какие неожиданные встречи! С противоположных сторон одновременно выбежали на поляну два очень разных, совершенно непохожих друг на друга существа: пятнадцатилетний подросток на лыжах — и белый как снег, с черным кончиком хвоста горноста́й. В первый момент мы оба приостановились, выжидательно замерли, а затем я продолжал стоять, не спуская глаз со зверька, а он деловито возобновил свой путь, разве что чуть свернув вбок, чтобы не повстречаться нос к носу с незванным пришельцем. Я долго потом разглядывал его мелкие, слегка заметенные пушистым хвостом следы.

Да, хорошо у нас за рекой и зимой и летом! Даже не знаю, когда и лучше, — пожалуй, все же зимой, когда

там безлюдье и тишина. Правда, зимой там без лыж пройдешь только по дороге, которая как раз не пустыня: то и дело попадаются возы с сеном, что тоже имеет свою приятность (чего стоит один запах сена!), — самая-самая же тайная прелесть заречных роц и лугов пешему недоступна. Вот почему в моей жизни, как детской, так и взрослой, лыжи так много значили и до сих пор значат.

Закончу свое восторженное слово о лыжах таким эпизодом.

В одном из многочисленных котельнических амбаров еще со времен гражданской войны лежали навалом сотни лыж, тяжелых, грубых, с давно разогнувшимися концами. Их изготовили примерно в тот же год, что и мои, но для иной цели. К Котельничу приближалась война: Колчак занял Пермь, бои шли уже на востоке Вятской губернии; больше того, по слухам, отдельные белые отряды подбирались на лыжах совсем близко к нашим местам. Был отдан приказ: заготовить для городского гарнизона лыжи. Крестьяне, как умели, выполнили приказ, сдали в военкомат несколько сотен лыж; но вскоре Колчака отогнали далеко за Урал, и лыжи остались не у дел, — без ремней, наспех вытесанные, они уже никого не интересовали.

Не знаю, кому пришла в голову мысль: поскольку забор, ограждавший городской сад, за годы войны обветшал, заменить его новым... из лыж! Что им зря валяться в амбаре?

Сказано — сделано. Вкопали новые столбы с поперечинами, набили на поперечины лыжи (острыми, как клинки, как сабли, концами вверх), покрасили в яр-медянку, и стали они верой и правдой служить мирному городу — охранять сад от нахальных коз. Ограда эта уцелела от пожара, и сменили ее лишь в середине тридцатых годов, когда строили в саду стадион. Хотя лыжи имеют самое непосредственное отношение к спорту, они, видимо, показались чересчур скромными рядом с новеньким стадионом. Да, наверно, они в самом деле состарились, отжили свой век, если помнят о них теперь всего двое-трое котельничан: скажем, я, да землемер Олег Федорович Захаров, который всю жизнь живет рядом с этим городским садом, да врач Николай Николаевич Карлов, который хотя и родился в Петрограде, но

с восьми лет укоренился в Котельниче и любит его не меньше, если не больше, чем я... С ним мы и колесили на лыжах по заречным местам.

Бревна

«Где Леня?» — «Леня на бревнах...» — «Я пошел на бревна...» — «Мы с Володей будем на бревнах...» — «Какое самое лучшее место у нас на дворе?» — «Какой может быть разговор — конечно, бревна!...»

Что же такое бревна? Откуда они взялись? Как выглядят? Почему в их «сфере» возможны и действия, то есть самые разнообразные игры, и чтение, и раздумья, и чистое созерцательство, и многое-многое другое?

Я уже говорил, что старый дом тети Ани постепенно ломали. То, что помельче и что успело подгнить, шло на дрова, а то, что покрупнее, крепче, складывали в дальнем от нашего флигеля углу. Так получилась складница в полтора взрослых роста, вровень с забором, отделявшим ее от улицы. Она состояла из самых разнообразных бревен, балок, половых досок, дверных косяков и была накрыта старыми отслужившими дверьми. Мы, мальчишки, легко преодолевали с улицы дощатый забор: нащупывали в нем пальцами босых ног горизонтальные щели, цеплялись за эти щели, а затем за верхнюю доску забора руками и перекидывали правую или левую ногу, а затем и всего себя на заветную площадку из бревен. Так попадали мы на нее, чтобы не идти нормальным путем, в калитку у ворот, через двор, — так было интереснее, чем привычно подниматься наверх, как по лестнице, по ступенчато сложенным бревнам же со стороны двора.

Эта лестница была рассчитана на взрослых: зимой они вместе с нами, детьми, катались на санках, на лубках, на рогожах с ледяной горы, которую отец устроил из наклонно положенных длинных половых досок. Горку ограждали с боков такие же доски, и, как только начинались морозы, папа заливал ее водой, которую терпеливо носил ведрами из колодца, отстоявшего сажень на сорок от бревен. А ведь надо было залить и дорожку, по которой, скатившись с горки, катились

как можно дальше... Так или иначе, все это устройство являлось довольно хлопотным предприятием.

Правда, когда бревен во дворе еще не было, все равно к масленнице сооружалась большая гора из снега, тоже поливалась водой, за одну морозную ночь становилась ледяной горой, и с нее молодая наша семья — папа, мама, тетя Саника, я, тогда совсем маленький, — с увлечением катались. (Порой даже вечером, в темноте, что прибавляло веселья.) Приходили кататься и наши знакомые, родственники, разумеется те, что помоложе; исключение составляла сама хозяйка двора, дома и огорода: несмотря на свой бойкий, живой характер, тетя Аня избегала кататься.

Бревна в нашем дворе были настолько обжитым местом, что представлялись мне раньше и представляются нынче, в памяти, как нечто живое, почти одушевленное и одухотворенное. На них было столько прожито, пережито, прочувствовано, прочитано (например, весь Вальтер Скотт, — Диккенса я любил читать почему-то дома, зимой) и так хорошо мечталось; с их высоты можно было наблюдать и жизнь улицы, и встречать взглядом и приветственным возгласом папу, идущего домой со службы или с рыбалки, и просто глядеть в небо, чувствуя себя не на два-три метра ближе к нему, а на много световых лет.

Но существовали и другие бревна — считанные месяцы назад они еще жили, росли, цвели, зеленели, словом были деревьями, а к деревьям я всегда относился как к родным братьям. Сотни и тысячи их зимой спилили, свалили, срубили с них ветви, ранней весной спустили на воду и в виде плотов отправили вниз по реке. Подле нашего города плоты эти остановились, «стали на якорь», и это был их последний речной приют. В жаркие летние месяцы вода из-под них уходила, плоты постепенно оказывались лежащими на песке; до осени их успеют разобрать снова на отдельные бревна и увезут по железным дорогам в разные стороны, в дальние сухопутные города, или распилят на доски на местной лесопилке.

Во всю первую половину лета, до наступления мелководья, эти растянувшиеся в длину версты на две, а в ширину — до середины реки караваны плотов, состоявших из еловых, сосновых бревен, скрепленных каната-

ми, тросами, не то просто гибкими, прочными ивовыми ветвями, служили для нас, мальчишек (да и для взрослых), чудным пристанищем. С плотов купались, удили рыбу, по ним ходили, бегали, прыгали через «окна» — широкие и узкие водные промежутки, забирались в крытые корой шалаши, на дне которых была постлана солома, положены еловые и пихтовые ветки, — здесь недавно спали и укрывались от дождя плотогоны, те, кто привел к нам эти плоты с верховьев Вятки и с берегов Моломы. (Кстати, какое счастье, что тогда еще не портили реку молевым сплавом, — ведь это затонувшие топляки помогли ей потом обмелеть, так что нынче лишь в разгар половодья она напоминает прежнюю красавицу Вятку.)

После всего, что значили в моем детстве и отрочестве речные и домашние бревна, могу ли я, желая заклеить чью-либо тупость, глупость, назвать или сравнить этого человека с бревном? Никогда! Для этого я слишком люблю и уважаю бревна, всякие, в том числе и кривые и сучковатые — от них-то больше всего и пахнет смолой. . .

Денежки

Мамины родственники, все эти мелкие купцы и уездные домовладельцы, имели обыкновение дарить мне в день моих именин энное количество серебряных пяточков или гривенников, новеньких, чистеньких, сложенных столбиком и аккуратнo обернутых нарядной бумажкой. Не помню, что это были за суммы, — наверное, рубля два-три, не больше.

А не помню, потому что не пересчитывал: получил, поблагодарил — и ссыпал в копилку в виде румяной глиняной свинки. Это не означало, что я был скуп, берег копейку на черный день, — просто я не считал подаренные денежки деньгами, то есть чем-то таким, на что можно купить сласти, книжки, игрушки. Вообще, в нашей небогатой семье почти никогда не вели при мне речь о деньгах: купил. . . купила. . . сколько стоит. . . Был это воспитательный принцип или происходило случайно — не знаю.

Так и стояла свинка на мамином комодe, рядом с корзинкой для шитья, не возбуждая у меня никаких

эмоций и вместе с тем год от года становясь все увереннее, пока не достояла до революции. Вот тут эти денежки действительно потеряли свойство денег. На них ровно ничего нельзя стало купить — ни книг, ни игрушек, ни даже кусочка хлеба. Так неожиданно обернулось мое «бессребреничество».

Иная судьба постигла золотой пятирублевик, тоже кем-то давно подаренный (кажется, в год и в честь моего рождения). Он хранился не в копилке с разменной мелочью, а в заветной маминой шкатулке вместе с обручальными кольцами (которых родители никогда не носили), парой сережек (сперва тетя Аня, а потом папа не позволяли маме вдевать их в уши) и одной брошью. Я уже говорил, что в 1922 году, когда жизнь начала налаживаться, нас обокрали, унеся из дома все маломальски ценное. В том числе и мой золотой, который и видел-то я раза два за свои четырнадцать лет, опять же не придавая ему материальной ценности. Впрочем, детство мое прошло в эпоху инфляций чуть не всего на свете. . . —

Но к золотому я относился куда почтительнее, чем к серебряшкам, проявлял к нему научную любознательность. Например, справлялся в энциклопедическом словаре — империял это или полуимпериял, отличается ли он своей ценностью от наполеондора, о котором где-то читал,— с полной точностью разницу выяснить не удалось.

Так или иначе, золотой пропал. Свинушка же с серебряной мелочью осталась стоять на комодe, воры на нее не позарились. Исчезла она четыре года спустя, на пожаре: потерялась, разбилась — неизвестно. Жертва стихии!

Как ни странно, в пожарной кутерьме уцелели старинные медные деньги, которые я с увлечением собирал в школьные годы. Вот их я действительно уважал. Правда, большинство монет было не бог весть какой древности — середины, начала девятнадцатого века, — но имелись павловские, екатерининские, даже аннинские пятаки и алтыны, тяжелые, грубые, с зазубренными краями; они сохранились у меня доселе. Вот и сейчас красуется передо мной полушка, отчеканенная в 1734 году, в самый разгар бироновщины, итальянское сольдо 1811 года с портретом и именем Наполеона, дат-

ский шиллинг 1801 года с двумя перекрещенными стрелами, германский пфеннинг 1826 года... Но больше всего я гордился в детстве копеекой, точнее — «денгой» 1569 года, времен Иоанна Грозного, — уж ей-то, считал я, мог позавидовать любой нумизмат. Самое удивительное, что я и понятия не имел, откуда она у меня взялась!

Хранил я свою коллекцию в довольно-таки смешном, во всяком случае, несерьезном месте: в деревянном грибе, стоявшем за маминим туалетным зеркалом. Никто, кроме меня, в этот гриб не лазил, не открывал его тугую, красную, как у подосиновика, шляпку; да и кто мог подумать, что там, внутри, находится что-нибудь ценное. Я и сам-то потом, наезжая из Ленинграда к родителям, не заглядывал в гриб годами; случалось, возьмешь, встряхнешь — все в порядке, бренчат монеты! — и поставишь на место.

Но однажды меня словно что-то кольнуло: дай взгляну на коллекцию. Высыпал монеты на стол, разложил по годам, по векам, по странам... стойте, а где денга? Денги-то и нет! Сгнула! Что скрывать, огорчился я не на шутку. Раздосадовало в основном то, что я даже самому себе не мог доказать, что владел такой редкостью... А вдруг я глупейшим образом ошибался? Вдруг на этой изрядно помятой и почерневшей денге значилась вовсе другая дата — не 1569, а 1659? Тем самым монета сразу молодела на сотню лет, становилась ровесницей не Ивана Грозного, а «тишайшего» Алексея Михайловича...

М-да, обидно. Но — теперь не проверишь, поздно хватился. Придется утешиться тем, что иной миф дороже были. По крайней мере, он разбудил фантазию, интерес к истории, а что толку было в серебряной шелухе, в подаренных к очередным именинам блестящих, ноеньких пяточках и гривенниках!

Электричество

Вопрос: как тринадцатилетнему парню хватало времени и на уроки, и на жадное чтение, и на коньки, и на переплетение книг, и на музыку, и на лыжи, и на домашнюю трудовую повинность в виде еже-

дневной очистки двора и мостков от льда и снега — одним словом, на все плюс самое непредвиденное. При чем отдавались этому не какие-нибудь минутные крохи, а полновесные часы, дни, недели зимней школьной поры. Ответ, по существу, один: значит, детство и отрочество — поразительно емкий период, это какая-то расширяющаяся вовне и внутрь себя вселенная!

Но был год, точнее — зима, когда одно увлечение подавило все остальные, стало монопольным, главенствующим, словно ради него я и жил на свете. Эту зиму можно назвать электрической. Мою жизнь заполнили электрофоры, лейденские банки, конденсаторы, электрическая машина, разнообразные электрические опыты, производимые как в сосредоточенном одиночестве, так и эффектно демонстрируемые напоказ. Вольно или невольно во все это затягивались мои друзья, одноклассники, родные, знакомые. Сейчас странно и приятно вспоминать, как солидные, взрослые люди, послушно взявшись за руки, образовывали электрическую цепь. Как охотно становились по очереди на «уединяющую скамейку», отчего их наэлектризованные волосы вставали дыбом. Как радушно позволяли с треском извлекать из кончиков их носов фиолетовую полторасантиметровую искру, терпя при этом весьма ощутимый укол. Любопытство, забава, уважение к всемогущей, таинственной (хотя на первый взгляд и игрушечной) науке, а главное — симпатия к молодому электрику, — все смешалось в этом участливом отношении к моим незамысловатым экспериментам.

А началось все с того, что я прочитал в учебнике физики Краевича такую, казалось бы, неприметную фразу (правда, она сопровождалась рисунком): «Круг А электризуют, ударяя по нему лисьим хвостом». Боже, как нестерпимо мне захотелось иметь лисий хвост, чтобы ударять и тем самым электризовать этот круг! Эбонитовым кругом А с успехом могла служить граммофонная пластинка, которой я обладал; хвоста, увы, в доме не было, и взять его оказалось неоткуда — легче соорудить электрическую машину. Сказано — сделано. Я соорудил ее из бутылки, вращавшейся на оси и трущейся о кожаные подушечки, которые я покрыл амальгамой, — ртуть у папы, к счастью, нашлась.

С этой минуты началась новая эра. Сколько счастья она доставила — пусть это нынче смешно звучит! Долгие зимние вечера пропахли чудесным, свежим, бодрящим запахом озона, исходившего от моей безупречно действовавшей электрической машины. Незабываемый запах! Как ни разновелики масштабы, о нем мне напоминают теперь летние грозы. . .

Но все это пока относилось к явлениям так называемого (в то время) статического электричества. От него вскоре я перешел к электричеству гальваническому, добываемому из электрических батарей — элементов Лекланше, Даниеля, Грене и многих других. Меня пленяли эти далекие, звучные имена: чего стоил один Лекланше! Позже я прочел в «Зависти» Юрия Олеси, как он был очарован «сквозным» именем Лилленталя — первоизобретателя летательного аппарата; примерно так звучал для меня и Лекланше.

Разочарований тоже было немало. Во-первых, опыты часто не удавались; я утешал себя тем, что таков удел всех изобретателей. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, в нашем городке было невозможно достать те или иные материалы. Я зачитывался журналом «Физик-любитель», который меня подстрекал к устройству новых и новых приборов; к сожалению, большинство их было для меня неосуществимо. Скажем, я мечтал создать термоэлектрическую батарею, а для нее нужны были такие металлы, как сурьма и висмут, о которых в Котельнице никто и не слышал! Нельзя забывать, что расцвет моего увлечения приходился как раз на самые бестоварные двадцатые годы.

Безумно огорчало меня и то, что превосходный физический кабинет, которым когда-то располагала мужская гимназия, за годы разрухи и сам разрушился: одни приборы поломаны, другие растащены. Да и не такие у меня были отношения с учителем физики, скопидомом, неряхой и крикуном, чтобы к нему обращаться с просьбой или вместе что-нибудь делать. Сам он, кстати, не мог сделать толком ни одного опыта: вечно что-нибудь разольет, разобьет, испортит; все валялось у него из рук, и Скляренко срывал злость на нас, выгоняя за дверь протестантов и бунтовщиков. Он был полной противоположностью учительнице биологии Матанцевой, с удоволь-

ствием поощрявшей наши самостоятельные занятия в биологическом кабинете.

Полностью я мог рассчитывать лишь на заинтересованное содействие самых близких своих друзей, братьев Карловых; помню, как был огорчен и смущен младший Карлов, когда, идя ко мне на очередной электросеанс, нечаянно раздавил в кармане изготовленную им лейденскую банку. Легко представить мою радость, когда дядька-машинист привез мне в подарок водоналивные батареи: ну, думаю, теперь заживем! Но батареи были на выдохе и почти сразу отказались работать.

Ничего, думал я, все впереди, ибо твердо решил после окончания школы учиться на инженера-электрика. Этого решения придерживался я сравнительно долго: наэлектризованность моя выдержала трехгодичное испытание, — хотя решить было проще, чем выполнить. Для начала я в 1925 году отправился в Ленинград и поступил учеником монтера на линию электропередачи Волховстрой, о чем уже говорилось и что было неслыханной, невероятной удачей. А через год сдал конкурсные экзамены и стал студентом Электротехнического института: это был пик, Эльбрус, Эверест моего электрического счастья!

Прошло еще полтора, от силы два года; электротехнике я изменил, стал литератором, но это уже совсем другая история, которой во многом посвящена вторая часть этой книги.

Но должен признаться: когда мне исполнилось пятьдесят и Алексей Иванович Пантелеев, автор многих известных, более того — знаменитых книг, подарил мне универсальный набор электромонтерских инструментов, я был горд и тронут таким подарком. Я и теперь с наслаждением орудую этими превосходными инструментами, когда в домашнем электрохозяйстве что-нибудь портится. Впрочем, это уже не увлечение, а нечто вроде игры. Вроде электрической железной дороги, принадлежащей моему внуку, который, зная, что мне это доставит гораздо большее удовольствие, чем ему, по доброте душевной иногда предлагал мне вместе поиграть. Случалось это нечасто, а теперь внук вырос, дорога заброшена, — что поделаешь: любовь к электричеству — ее либо нет, либо она на всю жизнь.

Сергей Петрович

Говоря о гостях-одиночках, я не упомянул о Сергее Петровиче: он стал бывать в нашем доме позже, после пожара, когда родители переехали в нагорную часть города, где жил и он. Приходил Сергей Петрович всегда неожиданно, что называется, невзначай, но при этом умел попасть вовремя, никому и ничему не помешать. Зайдет на огонек после нашего раннего ужина, поговорит с отцом о политике, о рыбалке, покурит, подсев к печке и выпуская дым в приоткрытую вьюшку — «чтобы староверы не заругались», — староверами он окрестил нашу некурящую семью.

Мы любили этого доброго чудака с коротко стриженной седой головой и такой же седой, колючей щетиной на щеках и на подбородке. Говорил он тоже колюче, ворчливо, но мы знали, что это так, в шутку. Шутил он тоже по-своему, звал чуть не всех, независимо от пола и возраста: «парень».

— Ты гляди, парень, лишку запрашиваешь, — говаривал он на базаре бабе, торгующей яйцами или твсрогом. — Надо, парень, сбавлять.

Такая манера удивительно подходила к его внешности и одежде. Одевался Сергей Петрович очень демократично даже для тех трудных лет и вообще для райцентра, сливающегося с окрестными деревнями. Не помню, чтобы когда-нибудь он нацеплял галстук: летом ходил в толстовке или косоворотке, зимой в старом френче, не то сером, не то выгоревшего защитного цвета.

Характер у Сергея Петровича, несмотря на его доброту, был азартный. Чем бы он ни увлекался — рыбалкой, охотой, сбором грибов, — он вкладывал в это занятие темперамент и душу. Он сам рассказывал, как в давнее время, в молодости, пристрастился к картам. Обычно это происходило у городских знакомых или в городском клубе, а жил он там, где работал — на спичечной фабрике, версты за три с лишком от города, к тому же расположенной внизу, у реки, под глинистым обрывом (непонятно, зачем хозяева построили ее в таком неудобном месте). После карт, поздней ночью, приходилось добираться домой в кромешной тьме, осенью

увязая в грязи, зимой— в сугробах, которые поземка успела наместить поперек дороги. Как-то в конце октября Сергей Петрович проигрался в пух и прах и раньше обычного вернулся на фабрику. Сидевший у ворот старик сторож сразу заметил, что тот не в духе.

— Что-то сегодня раненько, Сергей Петрович. Как дела?

— Как сажа бела,— мрачно отвечивал постоялец.— До гроша продулся.

— Да ну? А ты возьми у меня полтинник,— посочувствовал сторож.— Авось отыграешься.

Заядлого картежника не надо было долго упрашивать: он взял полтинник, насколько мог резво побежал в город и — отыгрался. Туда да обратно семь, и еще раз туда да обратно семь — верст пятнадцать в тот вечер намесил глины. Зато полтинник оказался счастливым!

Будучи сам азартным, Сергей Петрович сочувствовал и чужим страстям и увлечениям, равно как и чужому невезенью. Известно, что рыбаки склонны прихвастнуть и преувеличить: мол, сегодня у меня сорвался с крючка вот такой сазан!.. Сергей Петрович не только не хвалился удачей, добычей, рыбацкими доблестями,— наоборот, старался не задеть в другом рыбацкое самолюбие, не возбудить в коллеге ревнивое чувство. Бывало, возвращается с Вятки с добрым уловом и, встретив мою жену (с ней он особенно подружился, когда она провела в Котельниче два эвакуационных года), заботливо предупреждает:

— Вы уж Николая Николаевича не расстраивайте. . . не говорите, что встретили меня с рыбой.

Впрочем, он знал, что отец не завистлив, и это, скорее, была шутка. Они оба безгранично любили природу, реку, лес, вятские родные места, и это их очень сближало. Никогда не оставлял Сергея Петровича и юмор, помогавший ему легче переносить тяготы жизни скудного военного времени. Один-единственный раз, уже после войны, родители видели на его глазах слезы: Сергей Петрович пришел к ним прощаться — уезжал к сыну, в другой, дальний город. Не хотелось ему покидать Котельнич, но приближалась старость, он жил одиноко (его жена уехала еще раньше к дочери),— пришлось двинуться и ему.

Больше Сергей Петрович не бывал в Котельниче. Жаль: еще одним примечательным человеком и дорогим нам гостем стало там меньше.

Зрелища

Зрелища... Не так-то уж много было их в моем детстве: отец недолго любил развлечения. Правда, цирк приезжал почти каждый год, к Алексеевской ярмарке, и мы непременно его посещали. Уже в середине марта я мог лицезреть, как по соседству с нами, на Нижней площади, воздвигают высокое бревенчатое строение, проще говоря — балаган, — цирк-шапито с брезентовым куполом для наших прохладных краев не годился. Кроме наездников, акробатов, жонглеров, фокусников, на работу которых мы с удовольствием смотрели, в представлениях участвовали борцы, обычно в конце программы, но с их грубой, потной борьбы мы всегда уходили. Году в 1915-м Котельничу повезло: Дуров привез свою «Железную дорогу». Через много лет я прочел, что в этом номере у него были заняты самые разные животные — от дикобраза до журавля, но мне запомнились лишь пассажиры-мыши и крупный усатый кот в должности старшего кондуктора, — поразило, что ли, такое мирное сотрудничество?

О кино, о первых увиденных фильмах я уже говорил; добавлю, что в годы германской войны в котельнических кинотеатрах шли краткие документальные выпуски, иллюстрируемые за экраном ружейной и пулеметной стрельбой, — так рассказывали, по крайней мере, те, кто их видел и слышал. Мне удалось посмотреть военную ленту иного характера — «Царица Нила». Повествовала она о временах Клеопатры: армии, растянувшиеся на ширину версты, угрожающе медленно двигались навстречу друг другу, двигались, двигались... только это и запало в память, а как они встретились и что было показано кроме армий — совершенно не помню.

Зато хорошо помню набранные жирным шрифтом заголовки газетных телеграмм: «С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ». Так слово «театр» я впервые прочел в этом зловещем его значении; постоянного театра в Котельниче не было, ставились время от

времени любительские спектакли. Первый спектакль, который я, шестилетний, увидел, был «Бедность не порок»,— его сыграли гимназисты и гимназистки старших классов. Нельзя сказать, чтобы спектакль произвел на меня сильное впечатление; не увлек и главный герой, который громко кричал, размахивая руками: «Шире дороге — Любим Торцов идет!» Вольше заинтересовала суфлерская будка: актеров я видел, декорации видел, а вот кто и что делает в этой будке? Когда узнал, стал суфлеру завидовать: он ближе всех к сцене, от него все зависит, и вообще, он напоминает колдуна.

Взаправдашний интерес к театру пришел позднее, уже в двадцатые годы, когда я стал бывать на гастрольных спектаклях,— их привозил летом вятский губернский театр. Я пересмотрел добрый десяток пьес, от «Тайны Нельской башни» Дюма, где то и дело звенели шпаги, где кавалеры в шляпах с перьями высоко поднимали картонные бокалы, до «Потонувшего колокола» Гауптмана, с его щемящей душу песней Раутенделейн и немецким лешим, квакающим наподобие жабы: «Бре-ке-ке-кекс!»

Хотя все спектакли я смотрел из самых дальних, задних рядов, я без бинокля отлично видел выражение лиц актеров, замечал мельчайшие черточки их сценической жизни. Так повторилось и в Ленинграде, в годы студенчества, когда с верхотурья, из пятого яруса Александринки я вглядывался в обожаемого мной Иллариона Певцова. Приписать это хищной молодой дальновзоркости? Полагаю, не только: наверно, мы в юности азартно доигрываем в воображении то, что нас увлекает.

Впрочем, не стоит преувеличивать свою творческую фантазию. В том же Котельниче я смотрел на далекого от духовности знаменитого силача Ивана Поддубного, смотрел опять же из самых задних рядов, и от внимания тоже не ускользала ни одна подробность. До осязаемости рельефно вздувались передо мной шары чудовищных бицепсов, когда Поддубный поднимал штанги или рвал цепи, отчетливо вырисовывался его искривленный рот и мокрый от пота лоб, когда он перекусывал толстенный царский пятак.

— Музыка, маленький кусочек вальса! — просительно нагибается к оркестру распорядитель.

Иван Максимович расставил ноги, лицо его багровеет, рука с пятаком судорожно прижата ко рту; челюсти мощно сжаты, а музыка все звучит, звучит, повторяя один и тот же такт... затем вдруг смолкла...

— Хек! — удовлетворенно хекнув, как мясник, разрубивший тушу, богатырь делает шаг вперед и победно показывает зрителям две половинки раскушенного пятака. Гром оваций. Не скрою, я хлопал вместе со всеми, хотя в то же время думал: а что Поддубный испытывает, демонстрируя свою силу чужим людям в чужом месте? И мне было его немножечко жалко.

Для контраста закончу воспоминанием о самом глубоком впечатлении, полученном мною в нашем летнем театре, пусть и похожем на сарай, но со строгой биле-тершей у входа, с бодро звучащими звонками перед началом действия, с духовым оркестром в антракте.

В 1924 году, уже после окончания мною школы, в Котельнич приехал театр Гайдебурова, так называемый Передвижной общедоступный театр, хорошо знакомый мне позже по Ленинграду (Литейный, 51). В Котельниче он показал три пьесы: «Колокола» Диккенса, «Зимний сон» Дрейера и «Вишневый сад». Гайдебуров приехал уже в конце сезона, и когда я с моими друзьями перед последним актом чеховской пьесы вышел в сад, деревья, мне показалось, шумят обреченно. Это тесно соединилось для меня с пьесой, где продают сад, скоро вырубят сад, где люди так грустно-веселы, чего-то возбужденно ждут, отмахиваясь от всего, что реально их ожидает завтра... Гайдебуров, как я теперь понимаю, не хуже прежнего МХАТа умел создать поэтическое настроение. Когда спектакль кончился, было уже совсем темно, августовская ночь; мы вышли на улицу и увидели за рекой тусклое зарево, пахло дымом,— это горел дальний лес. Тоже очень запомнившееся впечатление.

Мне кажется, что с тех пор я и полюбил театр, особенно театр чеховский, с его поэзией обыденной жизни.

А с Павлом Павловичем Гайдебуровым, талантливейшим режиссером и актером (в «Вишневом саде» он играл Петю Трофимова), я неожиданно встретился через двадцать лет, когда Московский театр драмы, единственный в первые годы Отечественной войны театр в Москве, поставив «Беспокойную старость», с разбегу собирался поставить другую мою пьесу — «Великодушная

война, или *Добрый даунский отшельник*», и Гайдебуров намеревался играть Дарвина. Но это было далеко впереди, да и вообще не состоялось.

Соль

Это была любопытная семья. Отец — самый обычный мелкий хозяйственник, заведующий соляными амбарами. Он занимался оптовой торговлей солью и до революции, только в частном порядке. Котельнич был перевалочным пунктом: прибывавшие по реке баржи здесь разгружали, дальше соль следовала по железной дороге.

На реке и произошел тот несчастный случай, который доставил Василию Степановичу столь неприятные переживания, а мог кончиться для него полным крахом. Механизация таких работ в те годы отсутствовала, с баржи на берег к амбарам вели деревянные сходни, по которым грузчики и таскали на своих спинах мешки. Соль, как известно, вещество тяжелое, весьма тяжелое, и сходни однажды обрушились. Страшно не то, что мешки с солью затонули, — их можно вытащить, высушить, — но при этом погибло несколько грузчиков, казанских татар. Почему они не могли выплыть, выбраться на берег, если мешки сразу сбросили с плеч? Помехой оказалась та же злосчастная соль, которой они набивали себе карманы, пазухи, — она-то и потянула их на дно.

Бутырина арестовали, но вскоре выпустили, неисправные сходни принадлежали пароходству, и он благополучно вернулся на свое место. Я вспомнил об этом случае уже в Ленинграде, совсем по другому поводу; а сейчас пока о семье.

Я назвал семью Бутыриных любопытной. В каком отношении? Прежде всего тем, что четверо из шести детей этого рядового котельчанина уже в начале двадцатых годов получили (или еще получали) высшее образование. Сам Василий Степанович был молчаливый, серьезный, пожалуй даже суровый на вид человек. Он давно овдовел, младший его сын был мой ровесник, школьный товарищ; три сына учились в Свердловске, в Горном институте; старшая дочь, архитектор, жила и работала в Ленинграде. Я видел Анну Васильевну мельком: она приехала на неделю к отцу и, когда я

пришел, снисходительно меня спросила, мирно ли мы играем с Володей и читаем ли какие-нибудь книжки. Она курила, лихо, по-мужски выпуская дым кольцами, и мне очень хотелось ее спросить, не подражает ли она нигилистам, о которых писали в XIX веке.

Сыновья-студенты, также приехавшие домой на каникулы, заинтересовали меня тем, что все трое играли на скрипке. Я был рад убедиться на их примере, что как ни трудно, но выучиться этому все-таки можно, — это морально меня поддержало в самый кризисный месяц моих скрипичных уроков! Кстати, в Котельнице тогда гастролировал вятский гортеатр, и братьев Бутыриных пригласили участвовать в качестве музыкантов в спектакле «Потонувший колокол» Гауптмана. Играли они хорошо; меня только немного удивило, что одну из драматических сцен этой немецкой сказки братья сопровождали за сценой... полонезом Огинского, который я, впрочем, любил и тоже пытался играть в это лето.

От своего учителя музыки я узнал, что самый способный из братьев-скрипачей — Сергей, что он в свое время страстно хотел поступить в консерваторию, но практичный и волевой отец настоял на техническом вузе.

Эти слова недаром запали в мою память. Осенью 1926 года в Ленинград неожиданно приехал Василий Степанович и привез Сергея с тяжелым душевным заболеванием. Как смог старик Бутырин показать сына самому Бехтереву, не знаю, но результаты обследования были печальны: Бехтерев нашел у Сергея шизофрению, пришлось поместить его в психолечебницу. Помню, это произвело на меня тягчайшее впечатление.

Возможно, я фантазировал и преувеличивал отцовские переживания, но я необыкновенно ясно воображал эту встречу с Бехтеревым. Как, будучи сам уже старым человеком, знаменитый психиатр внимательно, сверхвнимательно расспрашивает отца и сына (обоих вместе и каждого в отдельности) и, скрупулезно выяснив все обстоятельства, их последовательность, приходит к выводу: изначальной причиной болезни Сергея мог явиться резкий разлад между его настоящим призванием и навязанным отцом горным делом. Я мысленно видел в этот момент растерянного, осунувшегося отца и угнетенного, жалкого в своей депрессии или, наоборот, бе-

шено возбужденного и обозленного сына! Даже не знаю, кого мне было больнее жаль. . . Не мог, не может, говорил я себе, не терзаться сейчас Василий Степанович своей виной!

Вот тут-то я вспомнил и наново оценил трагический случай у соляного склада. Пускай Бутырина и не сочли виноватым, но пережил он в те дни наверняка немало: как мог он, опытный, старый работник, не видеть, не замечать, что сходни пришли в негодность?! А теперь. . . теперь ему невольно будет казаться, что Сережина болезнь — это как бы двойное возмездие: и за то, что небрежно отнесся к служебным обязанностям, в результате чего погибли трое людей, и за то, что не понимал, притеснял сына! Состояние Василия Степановича, сочувственно думал я, можно сейчас сравнить с тем, что ощущает человек, посыпая свои раны солью. А ведь сердечные, душевные раны еще чувствительнее. . .

Но если уж договаривать до конца — не растравлял ли я, хотя бы отчасти, самого себя? (Мы же порой без нужды примеряем к себе чужие заботы и боли.) Правда, меня никто не заставлял заниматься техникой, я искренне ею увлекся, но прежняя моя тяга к литературе, влюбленность в литературу, в искусство, вера в их всемогущество — оставались. Что же, думалось мне, переборет? Или удастся все совместить, сочетать, так что техника и литература (скрипка не в счет, я ее уже бросил) не помешают друг другу? Удастся ли? Вот в чем соль!

Как я не стал смолокуром

Еще об одном коротеньком путешествии. . . Среднюю школу я окончил рано, в шестнадцать лет, пытаться нынче же поступить в московский или ленинградский вуз было явной фантастикой, и папа решил, что я могу пока поучиться в учебном заведении рангом пониже, зато всего в нескольких десятках верст от Котельнича — в дегтярном, иначе смолокуренном, техникуме. Правда, мысль эта пришла папе в голову уже осенью, в конце сентября, — то ли он с опозданием вспомнил собственное обучение в лесной школе, то ли хотел, чтобы я проявил самостоятельность и чтобы зря не пропала зима.

Словом, как-то под вечер я очутился на палубе буксирного колесного парохода; никто меня не провожал, багажа у меня тоже не было: краюшка хлеба и пяток крутых яиц в узелке — вот и все. Когда пароход двинулся вниз по реке и нас начал обвевать ветерок, я сразу почувствовал, что оделся не по сезону: вечер и очень скоро наступившая ночь оказались чертовски прохладными. Внутренних помещений, если не считать двух служебных кают, на буксире не было, в машинное отделение и в тесную рубку для рулевого я, конечно, не пошел сунуться; пришлось самосильно греться на палубе, прижавшись спиной к паровой трубе. Монотонное шлепанье колесных плит, темные берега, мгlistая пустыня реки, беззвездное небо — все настраивало на сон (пусть стоя, как лошадь!), но речной холодок и ожидавшая меня завтра неизвестность поневоле бодрили.

Не помню, за сколько часов наш тихход одолел сорокаверстное расстояние — полагаю, часов за пять-шесть. Пристани вблизи техникума не было, он находился, сказали мне, где-то на той стороне реки, в глубине леса, — утром как-нибудь доберусь; а сейчас пароход причалил к помосту у дровяного склада, чтобы заправиться топливом. Живший рядом со складом бакенщик — пожилой мужик не слишком трезвого вида — согласился пустить меня переночевать, и я до утра промаялся на узкой лавке под пьяную болтовню хозяина и его гостей.

Утром я упросил одного из этих парней перевезти меня через реку; за рубль он взялся даже доставить меня к тому месту, откуда идет дорога в техникум (версты три от бакенщика). Парень меня ни о чем не спрашивал, зато не переставая ругал уключину:

— Визжишь, сука! Визжишь, сука!

Словечко было другое, покрепче, но произносил он его без малейшего гнева и раздражения, — видно, по привычке. Мне очень хотелось посоветовать ему смазать скрипевшую уключину жиром, но я промолчал: погода располагала к добру и миру — тихо, солнечно, настоящее бабье лето.

И вдруг произошла неожиданная встреча: наперерез нам двигалась другая лодка, в которой я увидел братьев Захаровых — Володю, постарше меня, и своего ровесника Тюшу. Оказывается, они уже побывали в техникуме

(папа нарочно мне не сказал, что Захаровы отправились туда за день до меня!) и разузнали: прием учащихся на нынешний год закончен, двадцать человек набрано и занятия начались... Что оставалось мне делать? Добраться до техникума и выслушать такой же ответ или удволетвориться захаровским сообщением и поворачивать оглобли? С минуту я колебался, испытывая противоречивые чувства, проще сказать, неловкость... неловкость перед папой и перед собой: быть совсем рядом и не только ничего не добиться, но и ни черта не увидеть — что это за лесной техникум, как учат там гнать смолу, деготь, вар... Братья не скрывали своего удивления: что я, не верю им? Приема нет — все! Поехали домой! Чего прохладиться?

С облегчением подчинился я этой простейшей логике. И лишь успел расплатиться с парнем, пересечь в захаровскую лодку, как подоспела новая неожиданность: навстречу нам, стало быть из Котельничча, бодро шел вниз по реке небольшой, чистенький (не чета вчерашнему буксиру) пассажирский пароход. Людей на палубе не видно — не сезон, — но мне вдруг захотелось каким-нибудь чудом стать пусть единственным его пассажиром! А что, если, — дерзко подумал я, — что, если махнуть в Сорвижи? Повидаться с моей любимой тетей Саникой (о ней речь еще впереди, в главе об отце), обновить впечатления об этом живописнейшем месте, где не был с детства? Все-таки моя поездка чем-то завершится, не будет противного ощущения неудовлетворенности таким скоропалительным возвращением домой.

Я поделился своей идеей с Захаровыми, мы принялись отчаянно сигнализировать руками, веслами, курткой, и — о, чудо! — пароход послушно застопорил; братья помогли мне взобраться на его сравнительно низкую корму, мы наскоро попрощались, и я отбыл в Сорвижи, проявив таким образом свободу воли и продлив свою самостоятельность.

Меня, разумеется, не ждали, но встретили радостно, особенно тетя Саника, и я провел в гостях несколько дней. Первое время погода была прекрасная, я часами гулял по окрестностям или сидел на поросшем густым сосняком и елями высоченном обрыве и любовался рекой, заречьем, — что-что, а созерцать я умел...

Подумывал я и о своем будущем, подумывал не без тревоги: что предпринять, чем заняться до будущей весны? Может, отправиться все же в Москву? Знакомый папе инженер недавно рассказывал, что в столице открылось своеобразное учебное заведение получастного типа — электротехнический институт Каган-Шабшай: студенты не только учатся, они круглый год работают на заводе и по окончании курса становятся инженерами-практиками. Чего же больше? Прекрасно! Остается проверить — если такой завод-вуз не легенда, то как в него можно попасть? Кстати, годы спустя я услышал, что специалист со странной фамилией Каган-Шабшай действительно существовал, но был ли такой институт и что случилось с ним дальше — так и не знаю.

Из Сорвижей я вернулся уже не водой, а сухой: поехал по делам в город муж тети Саники и взял меня с собой. Не обошлось без смешных приключений. За последние дни погода испортилась, дороги от дождей развезло, а ехали мы не только в светлое, краткое, но и в темное время осенних суток, и на каждом ухабе и кособочине крепко спавший Григорий Фомич судорожно хватался за край тарантаса или облучок и кричал: — Той, той, той, той!!

Очевидно, ему представлялось, что мы валимся под откос, в овраг, бог знает куда.

В селе Вишкиль, верстах в двадцати от города, мы отдохнули, позавтракали, и к вечеру я был уже дома. Папа еще раньше узнал от Захаровых о результате нашей поездки и ни о чем меня не расспрашивал. Незаметно пришла зима, я стал давать уроки по математике двум малоуспевающим ученикам, старался не запускать и своих учебных занятий, играл на скрипке, читал, — жизнь пошла своим ходом. Честно скажу: это сейчас мне немножко досадно, что я не добрался в ту осень до цели, не познакомился с молодыми и старыми смолокурами, а тогда я об этой поездке быстро забыл. Меня все по-прежнему манило, влекло электричество, я с нетерпением ждал весны, когда мне исполнится наконец семнадцать и я отправлюсь в Москву, в Ленинград!

Г



ОТЕЦ

Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утрата прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Баратынский

Все детство прошло у меня под знаком большой чертежной доски. Сверкающий белизной ватман, мернодвигающаяся вдоль него рейсшина, разнообразные флакончики с черной и цветной тушью, блестящая сталь рейсфедера, циркуля, кронциркуля, еще каких-то заманчивых инструментов, в иное время покоившихся в бархатных ложах роскошной швейцарской готовальни (привыкнув экономить на всем, считая и наш ежедневный рацион, отец не скупился в своем профессиональном хозяйстве), и, наконец, возникавшие постепенно на ватмане изображения мостов, дамб, плотин — все это восхищало меня и притягивало. Разумеется, мне строгонастроено запрещалось что-либо брать с доски или трогать, но ведь можно было просто смотреть, встав поодаль, чтобы, сохрани бог, не толкнуть, не пролить, ничего не напортить. . .

До сих пор мне чудится запах туши. Пока флакон открывали, пока воткнутым в пробку гусиным перышком тушь набирали в рейсфедер, пока флакон вновь закупоривали, — за эту четверть минуты комната успевала наполниться дивным ароматом, — сейчас я такого не знаю, и его не с чем сравнить: чтобы тушь не заплесневела, ее дезинфицировали марганцовокислым калием, смешанным с чем-то удивительно вкусным. Слышится мне порой и сухой, резкий треск разрываемой кальки, не бумажной, а коленкоровой, нежно-голубоватого цве-

та. Такой кальки сейчас никто не помнит, не знает, а когда-то отец копировал на ней все свои чертежи, предварительно натерев ее мелом, чтобы лучше приставала тушь; отдельные драгоценные полоски доставались и мне, а теперь целый рулон, оставшийся от отца, стоит у меня за шкафом — он никому не нужен, светокопии заменили кальку.

Летом, когда долго светло, отец проводил за чертежной доской всю вторую, послеслужебную половину дня; в осенние же и зимние темные месяцы сидел за ней в воскресенье и в так называемые табельные, неприсутственные дни (к радости школьников их было много). По вечерам и до поздней ночи, когда я уже спал, отец занимался самообразованием, о чем речь впереди и для чего ему служил маленький, почти дамский письменный стол, — для другого не хватало места в нашей, как говорят сейчас, малогабаритной квартире. На зеленом сукне, освещенном керосиновой лампой под зеленым же абжуром, лежали учебники математики, французского языка, немецкого языка, латыни, теории русской словесности и единственно интересовавшая меня книга — «Физика» Краевича, на каждой странице которой были изображены приборы и опыты.

За этим столом и произошел эпизод, о котором почему-то любили рассказывать в нашей семье, — сам я помню его довольно смутно.

.. Мне пятый год. Стою у стола и смотрю, как папа пишет всего два слова; пишет крупно, четко, печатными буквами, деля каждое слово по слогам: «ЛЕНЬ-КА ДУ-РЕНЬ».

— Прочти, что я написал. Вслух! — весело говорит папа.

Я послушно читаю. Читаю так, как написано, по слогам, произнося их серым, невыразительным голосом:

— Лень-ка ду-рень.

Прочел. Поднял недоумевающий взгляд на отца.

— Прочти еще раз, — говорит он. — Вслух! Громче!

Читаю еще раз. Громко. Все тем же деревянным голосом. Не испытываю ровно ничего. Теперь папина очередь недоумевать. Он хмурится, готов рассердиться: еще бы — сын действительно глуп, ничего не соображает, очевидно никогда не станет вникать в смысл написанного. Вдруг отца осенило:

— Прочти про себя! Тихонько.

Прочел. Дошло. Хохочу. Папа хохочет вместе со мной. Зовет домашних. Хохочем все. Сколько раз потом ни вспоминали — всегда смеялись. И я громче всех. Почему я не обижался? Наверное, чувствовал, что на моих глазах сотворяется миф, которому жить и жить: мифология — дело серьезное.

Впрочем, я знал, что у папы не было намерения меня обидеть: просто добрая, пусть немножечко грубоватая шутка. Я умел ценить такие минуты, мой громовержец-отец не часто со мной шутил. Чаще ему было некогда или его что-нибудь раздражало, и тогда берегись: вся семья тотчас пряталась в воображаемое бомбоубежище, пока не погаснет вспышка.

Бесконечно заботлив и добр бывал папа во время моих болезней, а на них господь бог не скупился: два крупозных воспаления легких; испанка, поделенная с мамой, — папа за нами обоими ухаживал; особенно изнурившая меня в голодном двадцатом году желтуха; не считаю уж мелких простуд. Я и сейчас ощущаю кожей груди жестокий, но радикальный способ, каким в 1915 году земский врач расправился с моим двусторонним воспалением легких. Антибиотики появились лишь через тридцать лет, а горчичники мне уже не помогали, и вместо них Лев Григорьевич наклеил мне на грудь пластырь из шпанской мушки. Пластырь зверски обжег меня — кожа сошла двумя большими квадратными лоскутами, обнажив красное, мокрое мясо, которое чем-то присыпали, чтобы не прилипла рубашка, но пневмония была побеждена.

Легко понять, почему отец так глубоко переживал мои хвори: потеря старшего сына, умершего в самое мирное, тихое время, когда меня еще не было на свете, напугала молодого отца на всю жизнь.

Ласков, нежен был папа в письмах, например в первую мировую войну, когда на два года разлучился с семьей. Из Ижевска, где он служил лесничим в артиллерийском ведомстве, он дважды в неделю писал нам с мамой — письмо ей, письмо мне. Как ни странно, письма ко мне сохранились; письма к маме, равно как ее и мои письма к папе, сгорели в 1926 году. Я уже говорил, что запомнил всего одну строчку: «Милый папа,

царя больше нет! Ура!», на что папа ответил мне очень серьезным, проникновенным письмом:

«11 марта 1917 года — ночью.

Милый мой мальчик! Я тоже очень рад тому, что у нас теперь новое правительство из народа. Бог даст, тебе уже не придется видеть того, что видели наши отцы и мы. Настанет время, когда сын каменщика может стать министром, лишь бы у него был ум.

Как бы мне хотелось погладить тебя по головке, милый Ленок! Поцелуй, дорогой мой, маму от меня, а потом и за себя. А я целую тебя хоть в письме. Будь здоров, мой хороший, будь здоров, будь здоров!.. Кланяйся тете Ане, дедке, Сане, Муську погладь. Спокойной ночи, мой голубанчик!

Твой папа».

Какой же он был, мой папа? Очень разный. Когда я решил написать о нем, я сразу себя спросил: труднее это мне или легче, чем писать о других? И не задумываясь ответил: труднее. Почему? Разве у отца был такой уж загадочный, закрытый характер? Ведь он был натурой горячий, часто несдержан, иногда даже груб,— при всем том, что в какие-то важные, ключевые моменты своей и моей жизни оказывался необыкновенно деликатен, проявлял нерешительность, даже робость... Например, когда я оставил Электротехнический институт, в который в свое время так энергично, неудержимо стремился, и целиком предался литературе, я, несомненно, причинил этим отцу глубокую боль; тем не менее отец не только не побранил меня, ни словом не упрекнул, но и после никогда не напоминал о моей непоследовательности.

Прежде всего,— и это все знают,— рассказывать о человеке, кровно родном тебе, гораздо труднее, чем о друге или просто хорошем знакомом. Главное же, при всей своей искренности и прямоте, я бы сказал — врожденной неспособности лгать и лукавить, во многом отец был скрытен: большинство мыслей и чувств, касавшихся его самого, сбывшихся и несбывшихся надежд он до конца дней таил от меня и от мамы,— можно только догадываться, что думал он о себе, об удаче или неудаче прожитой жизни. Не исключено, что он старательно подавлял, глушил в себе эти мысли,— дело от этого не

меняется: внутренняя, как можно глубже запрятанная самооценка все равно остается.

Быт, быт, быт, порой даже пошлый быт,— вот с чем сталкивала судьба этого всесторонне одаренного, умного и душевно тонкого человека; отсюда его драма.

Коснусь я отчасти и наших с отцом взрослых отношений, в том числе (и не в последнюю голову) отношения папы к моим литературным занятиям. Неприятие модернизма первых двух повестей, затем интерес к «Базиллю» и к написанным мною позже историко-биографическим сценариям и пьесам. Мои стародавние попытки заинтересовать папу Блоком, Пастернаком, Мандельштамом, Цветаевой. Осечки! Срабатывал только Бунин, и то его стихи казались папе холодноватыми (справедливо!), а проза слишком торжественной («Чаша жизни», «Господин из Сан-Франциско»). Остро помню, как в середине тридцатых годов прочел папе вслух Пастернака:

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Папа простодушно (или иронично?) спросил:

— У него что, такая большая квартира?

Сначала меня пронзила обида за Пастернака и боль за папу: как он мог это сказать, с его врожденным чувством прекрасного, с его нежной любовью к Чехову (а значит, и ощущением подтекста)! Но потом я подсадовал на себя: глупо навязывать людям Пастернака, если их миновала почти вся поэзия XX века. . .

Да и что тут долго объяснять: папа был раз и навсегда очарован Чеховым и дальше не пошел. Даже за Чеховым-драматургом, боюсь, не пошел бы, хотя заочно преклонялся перед Художественным театром. Правда, в 1927 году, побывав в командировке в Москве, смотрел «Горячее сердце» в МХАТе, и спектакль не понравился своей «лихостью»: в его представлениях Художественный театр был другим, совсем другим. (Да это и вер-

но,— Островский не Чехов, а чеховские спектакли в эти дни не шли на мхатовской сцене.)

Впрочем, после голодных, трудных лет (с 1918-го по 1922-й) папа почти перестал посещать театр: например, я не мог уговорить его посмотреть привезенные в 1924 году Гайдебуровым в Котельнич три хороших спектакля, в том числе «Вишневый сад» Чехова. Он вообще стал «отказчиком» от большинства удовольствий и развлечений, исключая чтение и рыбалку. Поразительно резко разделил папа свои «две жизни»: в одной все свободные от работы дни и часы отдавал самообразованию и эстетическому самовоспитанию, в другой, гораздо более протяженной по времени, отказался от всего, что выходило за рамки труда и насущных забот...

Я забежал далеко вперед, но мне хотелось, чтобы читатель сразу увидел, с кем придется ему иметь дело: читать о человеке негромкой судьбы, человеку долга (даже в каком-то смысле жертве долга), человеку надломленном и одновременно цельном, увлекающемся и вместе с тем постоянно сдерживавшем себя, о человеке, который сделал на своем скромном пути много, а мог бы сделать неизмеримо больше и, я убежден, в совершенно иных масштабах.

С чего начну? Передо мной тетрадь в четвертушку листа, сшитая из нелинованной бумаги; на пожелтевшей обложке читаю: «Афоризмы, изречения, пословицы, поговорки и проч.» Внизу: «Котельнич. 1902 г.»

1902-й. Значит, владельцу тетради двадцать лет (родился в декабре 1881-го); еще не женат (женится через три года); в Котельнице человек новый, только что прибыл, увеличив население городка на одну душу (в 1897 году по данным всеобщей переписи здесь было 4236 жителей, но с началом строительства железной дороги народу стало прибывать — уже близилось к пяти тысячам).

Кто в прежние времена не выписывал из прочитанных в юности книг заинтересовавшие его строчки, особенно стихотворные? Иной попросту переписывал афоризмы из отрывного календаря, где они помещались рядом с именами святых и рекомендованным на сегодняшний день меню. Среди истин и наставлений типа «Выше лба уши не растут» или «Пей, да дело разумея» попадались строки действительно мудрые — из творений вели-

ких писателей и философов древности, правда тоже успевшие стать расхожими. Их ценили в основном те, кого К. И. Чуковский в 1911 году в книге «Лица и маски» назвал полуинтеллигентами, — сельские учителя, земские фельдшеры, волостные писари (в тех губерниях, что либеральнее, — например, в Вятской). Это они усердно читали популярно-научные общеобразовательные журналы и переписывались с редакцией и друг с другом. Это они поднимали, как свое знамя, стихи Семена Надсона:

Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой. . .

и восклицали с надеждой:

Верь, настанет пора и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!

Вероятно, к этим полуинтеллигентам можно бы приобщить и обладателя тетрадки. В ней тоже видна тяга к добру, тяга к знанию, желание послужить народу, простодушная вера в прогресс, в то, что все образуется, лишь бы народ получил возможность учиться. Но, вчитавшись внимательнее, невольно ощутишь, как бьется живая мысль записывавшего чужие мысли, как страстно ищет он в противоречивых высказываниях (от Евангелия до Ницше и от Марка Аврелия до Щедрина) свою правду. И эта неистребимая жажда знать, знать, знать — сколько в этом молодой силы! Чем дальше читаешь эти странички, исписанные торопливым, но четким почерком, рукой, привыкшей красиво чертить и красиво надписывать свои чертежи, тем больше убеждаешься, что имеешь дело с человеком, для которого мир, люди и сам он всегда тесно связаны, что все внешнее для него в то же время и внутреннее, боль мира — это и его боль, и, если с годами душа не остынет, не ожиреет, не переродится, жить ему будет нелегко и непросто.

Вместе с тем записи говорят о том, что юношеский идеализм не мешал ему ценить остроуму ума, резкость мнений, гиперболичность, а то и горькую мизантропичность образов: «Видал ли кто, чтобы какой-нибудь собаке подчинялись тысячи собак? Человек же позволяет другому человеку бить себя, тысячи людей терпят это

и вертят при этом хвостами»; «Неизвестно, животное ли было отцом первого человека, но достоверно, что от людей родились страшные звери». Ценил он и шутку: «Англичанин любит свободу, как свою жену; француз — как любовницу; немец — как свою старую бабушку». Но больше всего записей о том, что и тогда, и долгие годы спустя его особенно волновало: «Образование равносильно оружию, раздача которого всему населению считается делом опасным»; «Я не верю в зло, я верю в невежество». Характерно, что в записной книжке, с которой он в 1913 году ездил в Москву — сделать еще одну попытку поступить в высшее учебное заведение (будучи уже тридцатилетним семейным человеком), я нашел выписку из популярной в свое время книги Вильгельма Оствальда «Великие люди»: «Мания наших высших школ закрывать свои двери перед всеми жаждущими учиться, но не прошедшими программного курса образования (кстати, весьма неподходящего) вплоть до получения аттестата зрелости, лишает их же, высшие школы, и вместе с ними и народ, такой группы рекрутов, из которой вышло бы, наверное, относительно гораздо более генералов, чем из рядов нормальных учеников».

Да, жизнь так сложилась, что он не смог получить полного среднего, а значит, и высшего образования. Что помешало в детстве и юности? В основном бедность и безотцовщина. Николай Иванович Рахманов, столяр Шурминского завода на юге Вятской губернии, умер, когда моему отцу не было еще десяти лет. Детей у Анны Автономовны Рахмановой было трое, да еще старая «бабенька» (так звал папа бабушку, мать отца, которая в юности была крепостной), поэтому Коле с самых ранних лет пришлось помогать семье: учился и работал. Начальное училище в Шурме, городское училище в Уржуме (где несколькими годами позднее учился Киров) и, наконец, Суводская лесная школа, — везде Николай Рахманов шел первым, был гордостью школы (у меня сохранились его похвальные листы и аттестаты). А дальше... дальше служба. Из своего мизерного жалованья двадцатилетний лесной кондуктор посылал деньги матери, остававшейся в Шурме, и младшей сестре, учившейся в Уржумской гимназии, помогал многолетней старшей сестре, которая была замужем за рабочим, а когда окончательно основался в Котельниче и женил-

ся (что говорить, рановато, но об этом особо), то выпи-сал к себе младшую сестру, чтобы она жила и служила неподалеку (мать к тому времени уже умерла). Не мно-го ли на себя взял для начала? А что делать, если т а к н а д о!

Скоро отец оставил место лесного кондуктора и пе-решел в земство на должность чертежника, потом до-рожного техника,— жалованье стало несколько больше, работа разнообразнее. В 1905 году родился сын, Анато-лий, в 1907-м умер; в 1908-м родился второй, и это уже был я. В том же 1908 году семья отправилась в Уфим-скую губернию,— сманил дорожный инженер Булыгин, живший в Котельниче на положении ссыльного и затем переехавший в Стерлитамак. Родителям там не понра-вилось, и мы вернулись в Котельнич; не помогли остасть-ся и любовь отца к Аксакову, интерес к аксаковским местам; правда, Стерлитамак — это еще не совсем акса-ковские места, те ближе к Волге.

В Котельниче начались усиленные занятия отца ма-тематикой, историей, языками — всем, что было необхо-димо для получения экстерном аттестата зрелости.

Русским языком, литературой, историей отец зани-мался под руководством учителя Бурова, с которым я встретился, сам уже будучи взрослым: он жил тогда в Горьком, переучившись в сорокалетнем возрасте из педагога в инженера-механика. У меня осталось о нем впечатление как о болезненном, суховатом и даже желч-ном человеке, но вот, прочитав оставшиеся от отца несколько ученических сочинений (1912—1913 годы!) с пометками Бурова и письмо от него к отцу (1930 год), я понял, какую радость испытывал этот суховатый чело-век, занимаясь с отцом и его друзьями литературой, об-щественными науками, и с какой болью оставил учи-тельство и занялся техникой (1923 год): материальная необеспеченность, веяние эпохи — и прирожденного гу-манитара не стало, появился еще один итээр.

Я сказал: занимался с отцом и его друзьями. Да, мой отец вовлек в эту великовозрастную учебу двух-трех своих котельнических приятелей. Как же не по-мнить, не ценить Бурову своего ученика Н. Н. Рахма-нова — тридцатилетний мужчина вечерами, ночами тру-дился над сочинениями: «Личность Бориса Годунова в истории и в художественном изображении Пушкина»,

«Элементы национальности и самобытности в произведениях Пушкина», «Теория чистого искусства у наших поэтов», «Власть тьмы», «Влияние байронизма на Пушкина и Лермонтова»...

Передо мной копии документов, полученных отцом перед первой мировой войной для сдачи экстерном экзаменов на аттестат зрелости и поступления в высшую школу. Что толку в том, что по всем предметам у него круглые пятерки! В 1913 году, когда отец ездил в Москву, чтобы окончательно выбрать высшее учебное заведение, у него, как ни странно, было большое желание резко переменить профессию и учиться на врача! Из своих более чем скромных средств он накопил денег на учение и на содержание семьи в эти годы; все зря: в 1914 году началась война, спутав все его планы.

Разумеется, я тогда не знал этих планов, помню только, как мы с мамой провожали его и встречали. Гораздо больше запомнилось в предвоенный год другое событие. Я очень любил младшую его сестру, Александру, тетю Санику, как я ее называл, знал, что и папа любит ее; знаю (уже по рассказам мамы), как однажды, еще гимназисткой, — приехав к нам в гости в Котельнич, — она подожгла себе платье от спиртовки (разлился горящий спирт), как, обезумев от страха, выскочила во двор и пламя сразу охватило ее всю, и как папа, который, по счастью, был дома, выскочил вслед за ней, голыми руками сорвал горящее платье и спас ее.

Окончив гимназию, тетя Саника поехала учительницей в деревню Криуши, недалеко от села Сорвижи, верст за восемьдесят от Котельнича; лето иногда проводила у нас или мы с мамой ездили к ней. И вдруг, совсем молоденькой, вышла там замуж за Григория Фомича Сысолетина, местного жителя, служившего волостным писарем, молодого, пожалуй даже красивого, только со следами оспы на лице. Она написала о замужестве (или о твердом своем решении) неожиданно, не советуясь ранее с братом. Это для него было страшным ударом. Во-первых, обидело, даже оскорбило: все-таки он был ее опекуном, обучил, воспитал ее (ни отца, ни матери уже не было в живых). Во-вторых, он считал это чудовищным «мезальянсом»: волостные писари были у него на плохом счету, слыли вольными или невольными помощниками царских властей.

Письмо получили в то время, когда я играл на другом конце нашего большого двора, на галерейке у погреба. Кажется, я играл в кинематограф, потому что, помню, развешивал на столбах галерейки цветы тыквы, изображавшие электрические лампы с желтыми абжурчиками в виде рожков, которые я видел в местном кинематографе.

Я был увлечен игрой, но издалека слышал доносившийся из дому громовой голос отца — это он бушевал, получив письмо тети Саники... Я пришел домой, когда главная буря кончилась, оставалась подавленность, мрачность. Конечно, мне ничего тогда не рассказывали, ни во что не посвящали, но постепенно из разговоров домашних я узнал о случившемся.

Не знаю, что папа ответил своей любимой сестре и когда ответил, сразу или через какое-то время. При всей пугавшей меня в те годы вспыльчивости, он был отходчив, тетю Санику он скоро простил, примирился и с неожиданным зятем, который оказался неплохим человеком, притом очень юным. Григория Фомича вскоре взяли на войну, а родившаяся у тети Саники дочь Миля окончательно примирила папу с этим браком — он очень любил маленьких детей. Прежняя нежность к младшей сестре не только возобновилась, но и усилилась: Миля умерла, горе тети Саники и ее тревога за мужа на фронте не могли не влиять на папу. Но некоторый холодок к Григорию Фомичу, который в 1917 году вернулся с войны, и досада на то, что сестра — такая красивая, такая способная — поторопилась с замужеством, навсегда остались.

В чем-то судьба тети Саники была схожа с папиной: эта женщина несомненно заслуживала лучшей доли. В молодости она была не только красива — ее отличали ум, юмор, вкус, наблюдательность, соединенные с даром рассказчицы. Мы заслушивались ее устными рассказами о деревне, о бабах, о мужиках, о детях; к сожалению, на бумаге, в письмах весь юмор, колорит, живость бесследно исчезали — письма были обычными. Кто знает, если бы тетя Саника поупражнялась, может, ей удалось бы в конце концов переносить на бумагу очарование своих устных баек. Не то вышел бы из нее второй Горбунов или «Первоандроников». Как часто люди не находят свой путь, зарывают в землю талант. Но бывает, что

молодые способности и обманывают, сами уходят в песок.

Почему я поставил эпиграфом к этой главе слова Баратынского? В каком-то смысле они подходят к судьбе моего отца. Энергия, стремившая его вперед в ранней молодости, вдруг в какой-то момент застыла: отец проектировал и строил мосты и дома, причем с полной самоотдачей, но движения вперед не было. Что было главным препятствием? Почему дальше сперва лесовода, потом дорожного и строительного техника (пусть фактически инженера и архитектора) он не пошел? Собственно, я уже назвал две причины: первая — ранняя женитьба, постоянно испытываемое чувство долга перед семьей — матерью, сестрами, женой, сыном; вторая — барьер на пути к высшему образованию для бедняка из народа. Мне иронически скажут: а Ломоносов, о котором ты сам писал? Приведут другие, более новые, убедительные примеры. Ну что ж, отвечу я с горечью, значит, отец не был достаточно волевой натурой, чтобы сделать крутой поворот и поломать все преграды, может быть, раньше всего — свою граничившую с робостью скромность, — да, да, ту самую, что так украшает человека. . . Об этом надо рассказать, хотя рассказать будет, знаю, нелегко.

Что произошло в 1900 году, когда воспитанник Суводской лесной школы приехал в Котельнич? Он поселился у Анны Ивановны Лебедевой, в доме, который я описал в главе «Старый дом и его хозяйка». Племянница Анны Ивановны, удочеренная ею после смерти матери, училась в Орловской гимназии, куда она поступила по настоянию нового жильца, — ей было четырнадцать лет, и он сам отвозил девочку в Орлов. Девочка была миленькая, хорошенькая, и Николай Рахманов явно готовил ее себе в невесты. Мама сама рассказывала, что гимназистки бросались к окнам, когда приехавший в Орлов Рахманов шел по улице:

— Ксеничка, Ксеничка! — кричали они. — Твой кондуктор идет!

Высокий, стройный, румяный двадцатилетний юноша в форменной тужурке лесного кондуктора и верно стоял того, чтобы на него поглазеть. Зарились на него в Котельниче и богатые невесты, которых там было немало

(одна из них даже училась в одном классе с мамой).

Николай Рахманов не стал дожидаться, когда Ксения Пикова закончит гимназический курс в семь классов, хотя сам же ее туда определил, и в 1904 году, в июне, когда Ксеничка перешла в 7-й класс, он последний раз отвез ее из Орлова домой, в Котельнич. В октябре состоялась свадьба. Так как невесте еще не исполнилось семнадцати лет, пришлось испрашивать разрешение в Вятке у архиерея. Молодые поселились в новопостроенном флигеле (две маленькие комнаты и кухня), и первая ночь чуть не кончилась трагически. На дворе уже было холодно, печь натопили жарко и рано закрыли вьюшки — новобрачные угорели. Угорели так сильно, что папа едва смог добраться до дверей и открыть их настежь, а затем вытащил маму в холодные сени. Так начался их брак, продолжавшийся пятьдесят шесть лет.

Был ли их брак счастливым? Когда мама, пережившая папу на тринадцать лет, рассказывала в старости знакомым (и малознакомым) людям о своей жизни с папой (такая потребность бывает у стариков), она заключала свой рассказ так: «Мы не только не ссорились, но даже ни разу не поспорили...» Мама искренне верила, что было именно так, и в чем-то она была права: спорить с папой она, действительно, не спорила, а папа не спорил с ней. В первые годы власть папы была настолько неоспорима, слово его было настолько законом, а мама была в него так влюблена, видела в нем (справедливо) настолько превосходящее ее духовным развитием существо, что ей и в голову не могло прийти спорить, сомневаться в каком-либо его слове и поступке.

Постепенно что-то менялось,— менялась жизнь, обстановка, менялись с возрастом и они сами. С годами папа сделался мягче, стал относиться ко многому философски, особенно в последние два-три десятилетия, то есть к старости. Но и раньше власть и влияние его невольно ограничивались: быт, дом, домашнее хозяйство были почти исключительно маминой сферой, она в ней пребывала всегда, постоянно (особенно после тети Аниной смерти, когда пришлось стать хозяйкой),— у папы же было много иных интересов. Какую-то их часть одно время разделяла и мама: они читали одни и те же книги

(я имею в виду художественную литературу, а не учебники), но служба, домашняя сверхурочная работа, многочисленные поездки в уезд, а во все остальное время неустанные занятия самообразованием — все это целиком занимало папу.

Потом на два с лишним года отец расстался с Котельничем, а так как он был однолюбом, страстно привязан к маме, ко мне, то его постоянным желанием было скорее вернуться домой. Уже через много лет после папиной смерти я нашел далеко запрятанный им двойной портрет — мамы и меня: это он скопировал чертежным пером на ватмане, увеличив во много раз (40×60 см), нашу фотографию, посланную ему в 1917 году в Ижевск. Он так скучал о нас, что ему доставила, очевидно, радость работа над этим портретом. Но вот свойство его характера: из скромности, или стесняясь, или еще по какой-то глубоко личной причине он никогда не показывал мне (ни ребенку, ни взрослому, и не уверен, что показывал маме) эту искусную копию, и она пятьдесят с лишним лет пролежала на самом дне ящика со старыми чертежами вместе с несколькими карандашными набросками с мамы, когда она была еще гимназисткой. Отец отлично рисовал, что видно и по его ранним ученическим работам, но способности эти он применял потом только как прикладные, в помощь своим техническим и чертежным занятиям.

В раннем детстве, еще до этой почти трехлетней разлуки с папой, я очень любил домашние зимние сумерки. Рано темнеет, сразу же после обеда, но лампу еще зажигать не хочется, папа с мамой усаживаются рядышком против быстро синееющего, в морозных узорах или сверху донизу заледеневшего окна — и поют. Что поют? Как ни странно для столь далекого от грядущей революции семейного дома, они часто пели революционные, каторжные, тюремные песни: «Варшавянку», «Старого капрала», «Ночь темна, лови минуты», «За озером диким, Байкалом». Особенно любили петь песни на слова Некрасова — «Средь высоких хлебов затерялося», «Что ты жадно глядишь на дорогу», «Машу»:

Белый день занялся над столицей,
Крепко спит молодая жена,
Только труженик муж бледнолицый
Не ложится — ему не до сна.

Смешно, что, слушая «Машу», я почему-то думал о них, о родителях, хотя что, казалось бы, общего! Правда, бывало, мы с мамой давно уже спим, а папа сидит и сидит за чертежной доской или за учебниками, но бледнолицым и чахлым его уж никак не назовешь: крепкий, широкогрудый, с обветренным загорелым лицом, с темно-каштановыми кудрями и чуть посветлее усами и бородой. . . Да и мама, если ложилась раньше, то спала очень чутко, а уж когда я болел, то, стоило мне шевельнуться, — она моментально вскакивала, давала питье или лекарство. В такие ночи и папа с тревогой прислушивался — ровно ли дышит Ленья, не хрипит ли у него в горле, в груди.

Мама любила вспоминать еще более молодые их годы. В морозный крещенский вечер, когда они с папой пошли прогуляться, к ним подбежали две девушки и попросили папу назвать свое имя. Он ответил:

— Навуходоносор.

Не зная, смеяться или сердиться на такое небывалое для будущего жениха имя, девушки убежали. Мама много лет спустя, когда папы на свете уже давно не было, не уставала удивляться, как это ему могло прийти на ум столь древнее имя.

Да, отец бывал веселым, и эта веселость всегда была искренней, а не деланной, не наигранной. Охотно смеялся он и чужим шуткам, но только тогда, когда они были тоже искренними; если же замечал, что его собеседник нарочно старается рассмешить или в шутках сквозит цинизм (уж не говоря о похабщине), отец мрачнел, хмурился, у него явно портилось настроение.

Что касается вечерних прогулок рука об руку с мамой, то весной, летом, осенью они чаще всего ходили на берег Вятки, на Верхнюю площадь с ее необъятным кругозором, с лесными далями или спускались к самой реке, на пристань, где иногда случалось встретить или проводить белый нарядный пароход с толпившимися у бортов пассажирами. Когда я подрос, мы ходили втроем, и мне это нравилось — совсем не скучно было созерцать вместе с ними реку, заречные рощи. . . В моем детстве Вятка была полноводной, всю первую половину лета, до сильной жары, по ней ходили большие двухъярусные белоснежные пароходы: «Москва», «Булычев» (фамилия вятского пароходчика) и до глубокой осе-

ни — пассажирские одноярусные: «Сын», «Дед», «Наследник».

Прогулки родителей стали менее регулярными в годное время, когда каждый день надо было думать о том, как бы прокормиться. А в благополучные годы папа часто отсутствовал — ездил в уезд, где по его проектам строились или перестраивались мосты, дамбы, бетонные трубы. Много лет это было его главным занятием.

В уезд отец ездил в любую погоду — летом, зимой, в весеннюю и осеннюю распутицу. Летом всегда надевал в поездку старый брезентовый плащ с капюшоном от дождя и пыли, зимой — старую шубу и брал с собой большое меховое одеяло; это одеяло долго потом лежало без употребления, пока его не съела моль. Кроме старого, вытертого, потрескавшегося на сгибах кожаного саквояжа отец также брал с собой различные инструменты — астролябию, нивелир, уровень, рулетку, а то и стальную мерную цепь. Оружия отец не имел, хотя оно было бы иногда не лишним: на геодезические инструменты никто бы не покусился, но ведь отец возил с собой часто и деньги, порой немалые, для расплаты с рабочими и подрядчиками.

Кстати, отец не раз ночевал на том самом постоялом дворе, хозяин которого оказался впоследствии настоящим бандитом, грабившим и убивавшим проезжих. Я с пристрастием выпытывал у папы, о чем и с каким выражением лица беседовал с ним этот разбойник, ставя для него самовар или желая спокойной ночи. И всякий раз папа меня разочаровывал, уверяя, что ничего, кроме хозяйственной озабоченности и добросердечной услужливости, он не мог разглядеть на лице преступника.

Да, чего не было, того не было, — сочинять, придумать отец органически не мог; все, что похоже на хвастовство, тоже не выносил. Поэтому с трудом вытянули мы с мамой подробности приключения, которое он претерпел в одну из поездок: вешней водой прорвало плотину, и отец с возницей, их лошадь, сани, багаж вдруг оказались в круговерти. Правда, отец тогда был еще молод, силен, прекрасно плавал, но возница плавать не умел, — значит, первым долгом пришлось вытащить на берег его, перепуганного, в тяжелом, намокшем полушубке; затем отец постепенно доставил на сушу

все, что было с собой, в том числе шубное одеяло и кожаную дорожную подушку. Слава богу, эти заплывы в ледяной воде от затонувших саней к плотине и обратно обошлись без простуды.

Папины поездки в уезд были для нас одно время особенно чувствительны... Зима 1919-го: голод, тиф, грабежи. В долгие темные вечера вдруг звякает щеколда. Это вошел неизвестно кто в калитку. Бродит по двору, вокруг дома, заглядывая в окна. А в доме две женщины и мальчик. И хотя он читает Густава Эмара и журнал «Вокруг света» и привык к всевозможным приключениям и злодействам, но, когда в окна комнаты кто-то снаружи смотрит с тайными и зловещими намерениями, а они здесь против него (или, может быть, против целой банды) так беззащитны, на душе поневоле делается очень беспокойно. И вот они томительно ждут, когда снова звякнет щеколда: значит, неизвестный ушел.

Однажды они просыпаются от ощущения, что что-то неладно, вероятно сквозь сон услышали стук или шорох у двери. Они — в том числе и ночующий сегодня в доме знакомый мужик, который привез на базар свиную тушу и положил ее до утра в амбар рядом с домом. Вне себя от тревоги за судьбу этой туши, ценность которой теперь не сравнима ни с чем на свете, мужик кидается в сени, в темноте на ощупь открывает засов, дергает за скобу — дверь не открывается: снаружи завязана веревкой. Он яростно рвет дверь, ему удается ослабить веревку настолько, что образуется щель.

— Нож! — кричит он нутряным, страшным голосом. — Дайте нож!

Притаскивают нож, сквозь щель он судорожно кромсает веревку и выскакивает за дверь. У порога валяется железный ломик — это стоял кто-то на стреме, вдали слышится топот убегающих ног, амбар распахнут настежь, а драгоценная туша валяется в десятке шагов от амбара. Убедившие воры бросили ее, испугавшись, как видно, ужасного крика: «Нож! Нож!»

Конечно, никто не спит до утра, а днем я сооружаю сигнализацию: стоит лишь приоткрыть дверь амбара, как бечевка натягивается, в сенях падает на гремучий железный противень десятифунтовая гиря и будит всех в доме. Ну а дальше что? Что дальше, когда мужик уедет? Как мы сможем одни бороться с бандитами?

А дальше происходит вот что. Гиря падает в эту зиму дважды, и оба раза переполошенные взломщики безропотно убегают. С тех пор в доме укрепляется дух бесстрашия. По крайней мере, его обитатели уже не испытывают этого унижительного чувства полной беспомощности по вечерам и ночью, прислушиваясь, не бродит ли кто-нибудь подле окон, не заберется ли сейчас внутрь, не зарежет ли их. Оказывается, вору, бандиту, налетчику тоже чего-то боятся, хотя здесь-то им уж как раз лафа грабить: дом стоит на отшибе и никто не придет на помощь двум женщинам и одиннадцатилетнему мальчику. И все-таки бандиты чего-то боятся, и это очень отраднo знать. . .

С начала двадцатых годов отец стал работать не только для уезда, но и для города. Я не знаю причин, по которым проводилась нивелировка и точный обмер всех пустующих в городе земельных участков, зато хорошо помню сами эти обмеры. Дело происходило зимой, в учебное время, но учились мы в эту зиму все еще мало и плохо, часто уроков совсем не было, и я полностью был в папином распоряжении. Моя обязанность заключалась в том, чтобы, крепко держа конец рулетки, идти с ним туда, куда меня папа направит. Папа записывал результаты обмера в толстую записную книжку, она сохранилась, я с интересом сейчас в нее заглянул и увидел набросанные карандашом планчики участков в виде прямоугольников и трапеций, их размеры, проставленные еще в саженях и аршинах (рулетка была старая), прочел фамилии бывших владельцев и их соседей. Наша работа требовала преодоления типично зимних препятствий. Мы бродили по колено, по пояс в снегу, погружались и глубже (тем более я, подросток), проваливались в какие-то ямы, вплоть до помойных. Больше всего мы остерегались заброшенных колодцев, и опять же бог милостив, не провалились.

Мне особенно дороги в этих воспоминаниях два обстоятельства: во-первых, то, что я чем-то помог отцу, а во-вторых — дружная, даже дружеская атмосфера этих занятий. Мой вспыльчивый, требовательный отец в наших зимних походах был всегда терпелив, добродушен, весел; не помню случая, чтобы он на меня рассердился, даже если я что-нибудь сделал не так или выпустил из озябших рук конец рулетки. Уж не говорю

о том, как заботливо заставлял он меня вытряхивать из валенок снег, когда я выберусь из сугроба, а то и проптапывал для меня в глубоком снегу дорожку. Думаю, что ему тоже нравилось своеобразное товарищество на вольном воздухе, на окраине, среди снегов и оснеженных деревьев,— природу папа любил samozабвенно. Добавлю, что при моей склонности к хворям я ни разу за эту зиму не простудился! Уверен, что отцовская забота и доброта сыграли здесь не последнюю роль.

Забота, терпение, доброта. . . Вот чего не хватало в наших занятиях математикой! Идеальный педагог с чужими людьми, с чужими детьми (он вел занятия в школе взрослых, на строительных курсах, в дополнительном старшем классе в нашей средней школе преподавал черчение), отец был никакой педагог с родным сыном: Может быть, в этом повинен я? Неспособный, ленивый, дурной ученик? Нет, я был довольно способным, во всяком случае усердным учеником. Более того, алгебру я любил и со спортивным азартом решал уравнения, выносил множитель за скобки, извлекал квадратный и кубический корень. Но количество задаваемых отцом упражнений мне казалось излишним, они докучали не трудностями, а числом, объемом работы. И все-таки я выполнял эту работу до конца. Но бывали случаи, когда я слишком надолго задумывался. . . Возможно, если бы у меня не отняли время десятки сравнительно простых, но кропотливых примеров, если бы внимание не было ими утомлено, я бы нашел решение трудной задачи и без подсказки.

Вот тут-то и была закавыка. В книжном шкафу, во втором ряду слева, стояли пять или шесть томиков решений алгебраических задач,— они остались у папы от тех времен, когда он экстерном проходил курс математики. Не знаю, часто ли пользовался он этими сборниками: страницы были разрезаны, некоторые томики даже слегка растрепаны (при всей папиной аккуратности) — значит, пользовался, заглядывал в затруднительных случаях. Это вполне объяснимо: папа был самоучка, никто не мог ему помочь, посоветовать, а тут он мог на примере одной задачи научиться решать другие. У меня же был опытный руководитель,— отец давно одолел эти математические секреты и всегда мог дать мне совет.

Но в том-то и дело, что этот мудрый, терпеливый учитель, когда это касалось других, был нетерпелив и нетерпим со мной. Он невероятно расстроился бы: как, его единственный сын, которому он со страстью передает свои знания, не мог решить уравнение с двумя неизвестными! Сын обязан, не может не решить!

И, боясь, не желая этой неизбежной вспышки, я трепетно доставал из заднего ряда книг том решений алгебраических задач Шапошникова и Вальцева и только мельком, в продолжение буквально одной секунды, взглядывал на решение, на первый его прием, на главный принцип — и ставил книгу на место. Затем садился за стол и честно продолжал уже разработку принципа. Через несколько минут дело было завершено. Не часто, но, увы, так бывало.

Обманывал я этим папу? Конечно, обманывал. Но обман спасал нас обоих от нервотрепки. Казалось странным, что папа не вспомнил об этих сборниках решений, не подумал, что я могу ими воспользоваться. Это теперь, анализируя его жизнь и характер, зная, что для него был всегда наслаждением сам процесс приобретения знаний, овладения навыками, я могу себе объяснить это максимальное доверие. И вообще, доверять для него было совершенно естественно. Когда этот рыцарь правды напрямую сталкивался с обманом, с нечестным выполнением долга, это казалось ему вне нормы, каким-то извращением. Например, я был свидетелем, когда вдруг выяснилось, что десятник или подрядчик его обманул, не исполнил того, что был обязан исполнить, а сказал, что исполнил... Папа не только гневался — он страдал.

Впрочем, папины вспышки внутри семьи чаще заканчивались тем, что он сожалел о них, если не прямо, не вслух, то косвенно. Ему хотелось поднять настроение «пострадавших», а заодно и свое, и вот, после бурно проведенных со мной вечерних занятий математикой, после прошедшего в молчании ужина (молчание означало борьбу с самим собой), он вставал, подходил к шкафу и доставал из него томик Чехова. Значит, буря прошла, она сменится сейчас лучезарной погодой! отец прочтет вслух рассказ Чехова!

Неприятные лжи, самой маленькой и невинной, неприязнь к вралям и обманщикам не мешали ему хорошо относиться к мужу маминой двоюродной сестры Саи

шеньки. Сутулый, кашляющий, но веселый и разговорчивый, Флегонт Васильевич вечно рассказывал разные небылицы, якобы случившиеся с ним или с его близким знакомым. Истории были явно выдуманными, но отец не сердился и не порицал автора — очевидно, считал его выдумки своеобразным художественным творчеством. Да и невозможно было сердиться на доброго и веселого Флегонта, как у нас его сокращенно звали. Я любил его и за легкий нрав, и за рассказы, и за то, что он был паровозным машинистом, а все, что связано с железной дорогой, меня зачаровывало. Под старость Флегонт Васильевич работал машинистом уже не на паровозе, а на железнодорожной водокачке на станции Свеча, но я его помню на «маневрушках», неустанно сновавших по станционным путям. Бывало, что «маневрушки» отправлялись и на соседние станции, и Флегонт Васильевич не только катал меня на своем паровозе, показывал, объяснял все устройство, но даже позволял нажимать тот или иной рычаг или крутить рукоятку, когда это было можно и нужно.

Единственно, когда отец был раздосадован, это когда Флегонт Васильевич приходил на плоты, где летом отец рыбачил, и принимался курить, говорить и надсадно кашлять, чем, по мнению отца, распугивал рыбу. Вообще, отец не любил нарушать эти святые для него часы, и тут пришло время сказать о его коронной страсти, которой он отдавался с детства и до трагического конца своей жизни.

Я не стану описывать рыбную ловлю: она изображена во множестве литературных произведений. Расскажу о нескольких запомнившихся мне случаях и о том, как отец относился к моей «рыбьей холодности». Несомненно, он огорчался, что сын не унаследовал его страсти, но никак не выказывал своего разочарования и даже с добродушным смехом любил рассказывать, как однажды мы вместе пошли рыбачить. Мне не было еще семи лет — дошкольный возраст, — но папа сделал для меня заправскую рыболовную снасть: легкое, гибкое удилище из калины, леска, крючок, поплавок — все настоящее, отменного качества. Мы стояли в нескольких саженьях друг от дружки, и спустя какое-то время отец заметил, что я не забрасываю в воду удочку — просто стою и стою.

— Леня, ты что? Не ловится или тебе надоело? — спросил меня папа. Ох, как мне не хотелось ему объяснить! Дело в том, что я размахнулся, чтобы забросить удочку, и зацепил себя крючком за штаны в таком месте, что никак не мог сам отцепить, — вот я и делал вид, что продолжаю рыбачить...

Не удалось отцу и научить меня плавать: сколько раз, шутя и смеясь, ни бросал меня в воду, я либо шел ко дну и он вынужден был извлекать меня на поверхность, либо я просто цеплялся за его плечи, прижимался к его могучей литой груди. Не помогали ни бережные поддержки, ни разведение моих рук и ног в стороны — словом, никакие учебные и принудительные приемы. Вот уж тут отец был разочарован и по праву сердился: жить у реки и не уметь плавать! Кстати, плавать вскоре я научился весьма парадоксальным путем.

— Смотри, — сказал я другому мальчику, — смотри, надо так...

Показал — и поплыл! Отцовские уроки пошли впрок отраженным образом: учить — участь. Сыграло роль и мальчишеское тщеславие.

Зато позже отцу без труда удалось обучить меня владеть лодкой и веслами, причем в любую погоду, не страшась ни ветра, ни волн. Лодку он мне доверял летом на все дневное время (вечером или на рассвете пользовался ею сам для рыбалки), и я гонял на ней вверх и вниз по реке, один или с моими друзьями Карловыми; а то по узкому извилистому ручью перегонял лодку на озеро Старица (бывшее старое русло Вятки). Лодка эта была маленьким вертким челном, трех мальчишек она еще держала, не черпала бортами воду, но помню, как я перевозил за реку знакомого мужичка, и хлестнувшей волной (дул сильный ветер) замочило у него папиросы в кармане пиджака. Я увидел, что Алексей порядком перетрухнул, да и я почувствовал свою ответственность за такую рискованную переправу. К счастью, все обошлось благополучно.

В другой раз я испугался по-настоящему, перевоза через бурную реку маму (мы ездили с ней поздней осенью собирать плоды шиповника). Самое удивительное, что сама она, не умея плавать и панически боясь воды, на этот раз несколько не испугалась грозных мутных валов, которые успел нагнать низовой ветер. Мама

полностью доверилась мне, как в любом случае доверилась бы отцу. Это, может быть, лестно, но в те минуты мне было не до тщеславия: я испытал огромное облегчение, высадив наконец маму на городской берег.

Во вторую половину жизни отец увлекся зимним подледным ловом, который сейчас вошел в моду повсеместно, а тогда, в двадцатые годы, был еще на любителя. Сперва отец брал с собой брезентовую палатку, в палатке разводил костерок, но потом стал переходить с места на место, греясь тем, что пешней прорубал новую лунку во льду. Он ловил окуней на блесну — блестящую металлическую рыбку. Блесны теперь продаются в любом охотничьем и рыбацком магазине, а папа их тогда делал сам — выковывал медные и серебряные, оловянные отливал в формочке из мягкого местного известняка. Рыбачил он в устье Белой, впадавшей в Вятку напротив города и служившей зимой затоном для пароходов, где их ремонтировали и красили.

С нетерпением ожидал отец ледостава. На заречных озерах — Старице, Карьере, Репейнике — лед устанавливался раньше, и, чтобы попасть туда, приходилось на лодке переезжать Вятку, часто уже покрытую мелким движущимся льдом — шугой. Лед на озерах бывал еще тонок, непрочен, можно легко провалиться, но куда опасней, коварней была река. Не забуду случай, когда уже наступала ночь, а папа все еще не вернулся домой. Дело в том, что за этот день резко похолодало и шуга на реке начала смерзаться. Пройти по этому льду, разумеется, было еще нельзя, и отец и его два товарища пробивались на лодке от берега к берегу часов шесть. Мы не раз ходили к реке, с тревогой глядели в крошечную тьму, слышали вдали голоса, неясный шум, скрежет, удары пешни или топора; на крик наш никто не отзывался, в отчаянии мы уходили домой, через час возвращались, слышали опять то же... Наконец, донельзя усталый, потный, с прилипшей к потной голове шапкой, отец явился домой. Вид у него был виноватый: еще бы, мама и так всякий раз волновалась, когда он уходил на рыбалку, а тут рыбаки действительно чудом не попали в беду — в любой момент их железная лодка могла пойти ко дну. Они затрачивали невероятные усилия, чтобы в темноте пробивать, пробивать перед собой лед и по

вершку-продвигаться к берегу: в осеннее половодье река была чуть не в километр шириной.

В морозные декабрьские и январские дни отец возвращался домой весь заиндеветый («закуржавевший», говоря по-вятски), с обмерзшей льдом бородой и усами, с красным, обветренным лицом, но счастливый. Все мы радостно его приветствовали, особенно наша маленькая, очень любящая и любимая нами собака Бобик. Однажды, не зная, что от восторга предпринять, она лизнула поставленную у двери пешню и оставила на ее ледяной грани всю тонкую верхнюю кожушку длинного язычка,— боже, как папа огорчился! В другой раз Бобик увязался на рыбалку; как ни отгонял его папа, Бобик тайком, стараясь быть незамеченным, протрусил за ним до заречной стороны. Что делать? Тельце Бобика было голеньким, с короткой, особенно на животе, шерсткой,— замерзнет! Отец засунул Бобика за пазуху и пошел домой — тут уж не до рыбалки. . . Говорит, что ругал-ругал его, но Бобик был счастлив, угревшись за пазухой.

Отец трогательно любил все живое и беззащитное — птиц, животных, но случилось, что с трудом отбился от затонских собак, напавших на него уже к вечеру, когда собаки до крайности подозрительны, к тому же подогреты компанейской злостью (недаром говорится — свора собак!). Отбиться было не так-то легко, потому что отец в тот раз был без пешни: он ходил за дубовой корой от цинги, которой мы мучились с мамой после испанки,— зубы у нас шатались, десны кровоточили, и папа варил настой из дубовой коры, которым надо было полоскать рот.

Перескочу через сорок лет, когда я в последний раз видел папу живым. Живым — и мертвым. Октябрь 1959 года. Декабрь того же года. Два моих приезда в Котельнич.

Еще в предыдущие встречи я с удивлением заметил, что в папе произошел новый сдвиг: главенство в семье он определенно уступил маме. Почему? Что случилось? По-видимому, философское отношение к жизни (или разочарование в ней? скептическая ревизия своей личности?) зашло так далеко, что легче стало во всем уступать, чем проявлять прежний характер, горячность,

строптивость, а тем более власть. Во многом также эта уступчивость объяснялась папиным опасением за здоровье мамы. Он считал, что здоровье ее на опасной грани, и был готов к самому худшему. Когда мы с женой, приехав осенью в Котельнич, говорили с папой о самом ближайшем будущем, его и нашем, он грустно промолвил:

— Боюсь, что мама от нас скоро уйдет. . .

И верно: мама худела, слабела, иной раз без всякой, казалось, внешней причины теряла сознание. Папу это не могло не тревожить.

Мама пережила его на тринадцать лет, будучи моложе всего на пять и имея плохую наследственность: мать ее умерла молодой от чахотки.

Папа умер 10 декабря 1959 года, в день своего 78-летия, в шесть часов вечера. Дыхание оборвалось ровно с последним сигналом радиоточки в котельнической районной больнице. Мы были с ним в этот момент в палате одни, мама и моя жена пошли ненадолго домой по хозяйству. Я держал папу за руку. Он последние сутки лежал без сознания, только крепко зажмурив глаза и втрое чаще дыша,— мой друг доктор Карлов сказал, что это бывает перед концом.

Как все это случилось? 26 ноября папа пошел на реку, за три километра от города, пошел довольный, веселый, предвкушая встречу с окунями. А привезли его вечером прямо в больницу полузамерзшего, с отнявшейся правой половиной тела, не владевшего речью: произошло кровоизлияние в мозг, он пролежал на льду в двадцатиградусный мороз несколько часов, пока его не нашел другой рыбак, возвращавшийся в город. Когда в больнице отца отогрели, кто-то спросил:

— Поймали хоть сколько-нибудь окуней-то, Николай Николаевич?

Отец слабо улыбнулся и на пальцах здоровой руки показал: трех. . .

Дальше все ясно: двустороннее воспаление легких, да еще при парализованном легком и общей тяжелой простуде. И все-таки он боролся со смертью целых две недели. Мукой было смотреть на его страдания, но вместе с тем восхищала его мужественная борьба. Он был в полном сознании, в первое время даже писал здоровой левой рукой записки. Первая записка была: «Не

ждал вас так скоро. . .» (Он удивился, что мы с женой приехали уже на третий день несчастья: поезда из Ленинграда на восток ходили через день, но нам удалось сразу, как нас известили, поехать через Москву.) Скоро отцом овладела полнейшая слабость, не мог глотать, ничего не ел, но руку мою ощутимо сжимал до дня смерти. Еще накануне ночью, когда я дежурил подле него, а он был уже в забытьи, на каждое мое легкое пожатие его руки он отвечал таким же пожатием, может быть чуть слабее. Говорят, это уже только рефлекс. Возможно. Для меня это был знак понимания, привет, ласка.

Когда папа был еще в сознании и молча смотрел на меня, в углах его глаз я иногда видел слезы. Я не знал и не хотел дознаваться (он мог ответить хотя бы чуть заметным кивком или просто моргнуть) — отчего эти слезы: от боли? От мысли о близкой смерти? О не так, как хотелось бы, прожитой жизни? Или просто растроганность, столь нечаянная прежде в наших отношениях, когда мы оба были здоровы? Кто может знать, о чем такой человек мог плакать? . .

Плакал не он один. И не только мы, родные ему люди. Плакала молодая женщина-врач, почти не знавшая прежде папу и привыкшая в больнице к смертям: за эти две больничные недели она успела его оценить. Плакала на похоронах Вера Афанасьевна Дернова, отличная учительница литературы, но черствый, как мне казалось всегда, человек, — они встречались на учительских советах, очень давно, когда отец преподавал в школе черчение и геодезию в дополнительном классе. За два месяца до папиной болезни и смерти, встретив меня, пятидесятидвухлетнего, на улице, Дернова растерянно сказала:

— Леня. . . совсем большой стал. . .

Мне это наивное восклицание напоминает другой эпизод, происшедший тогда же. Я усердно работал в маленькой комнате, за письменным столом, которым мне, как обычно, служила папина чертежная доска, когда вошла мама и сказала, что на меня хочет поглядеть Лена Баруткина, что она видела меня только маленьким, поэтому ей интересно. . . Я вышел, мы поздоровались (Лена была дочь знакомого крестьянина из

недальней деревни), немного поговорили, а когда она ушла, я смеясь сказал маме:

— Любопытно, как она могла видеть меня маленьким, когда она лет на пятнадцать моложе меня?

Мама смутилась, а слышавший меня папа мягко заметил:

— Для мамы ты навсегда останешься маленьким.

Я невольно подумал: «А для тебя мама всегда остается девочкой, потому что она выросла на твоих глазах. Не в этом ли разгадка твоей доброты? А если ты иной раз и сердился, то ведь сердятся и на детей...» Кстати, папа, который звал маму Ксенюшей, при посторонних (и даже при мне) стеснялся, произнося это имя: должно быть, смущала интимность, ласковость этого обращения, — наверно он так называл маму, когда она была еще совсем девочкой.

...И вот прошло после этих курьезных маленьких эпизодов два месяца — и надо было выбирать место на кладбище. Горсовет, для которого отец так много и долго трудился, предложил мне выбрать любое место. И мы похоронили отца на высоком берегу реки, которую он так любил и которая его погубила; над обрывом, откуда открывался чудесный вид вдоль излучины Вятки, на десяток верст влево и вправо, и на тридцать верст, до горизонта, вперед.

Увозя маму с собой в Ленинград, мы заперли котельническую квартиру, где осталось все, как при папе; только отключили водопровод, чтобы не замерз, электричество, поставили папину фотографию за стекло в книжный шкаф, прислонив ее к томикам Чехова, к которому за свою жизнь он привык, как к близкому человеку, и, случалось, всерьез досадовал, зачем тот женился не на Лике Мизиновой, а когда в 1956 году я ему рассказал, что очень старая О. Л. Книппер-Чехова была на премьере моей пьесы в МХАТе и меня ей представили, он отнесся к этому факту крайне сдержанно!..

За окнами был белый морозный день, в них засматривали синицы, били клювиками в стекло и недоумевали, почему им на полочку не насыпают подсолнечных семечек и крошек сыра. В остальном, повторяю, все было по-прежнему, ибо в этих двух светлых комнатах оставалась папина честная, чистая, деятельная душа. И уехав, я его видел мысленно — вижу и теперь — все

разного: живого, здорового, быстрого, сильного, на прогулке в лесу, на плотках, на лодке; склонившегося над чертежной доской; что-нибудь мастеращего, пилящего, колющего дрова; нагнувшегося над огородной грядкой; тяжело дышащего, борющегося со смертью в больнице; мертвого, исхудавшего и все равно красивого; совсем молодого, пышноволосого, громкого, сердито ругающего царя, войну; и нежно-заботливого ко мне во время моих бесчисленных детских болезней. . .

Говорят, пожилой человек все еще чувствует себя юнцом, пока жив отец. Не знаю. Меня, наоборот, папина смерть приблизила к моему давнему детству, и мне захотелось тогда же написать о детстве, об отце. Тогда не написал. Пишу, с опозданием, сейчас.



МОСТЫ

Так получилось, что оба моих родных города — и тот, в котором я родился и вырос, и тот, в котором я прожил более полувека, — изобилуют мостами... Смешно сравнивать эти мосты и эти города, но факт остается фактом: в Котельниче много мостов — деревянных, через овраги и речки, и железных — на каменных и бетонных быках, — пересекающих городские улицы и реку Вятку. О том, как я гордился в детстве железнодорожным мостом через Вятку, я писал в первой главе, — понятно, что меня больно задело, когда приехавший однажды в Котельнич мой ленинградский внук, издали увидев расхваленный мною мост почти в километр длиной, холодно проронил:

— Ну и что? Обыкновенный железный мост.

Зато я вполне был удовлетворен, когда тот же Алеша, проезжая под тем же мостом на моторке и задрав голову на высящиеся над нами могучие железные фермы, сказал уважительно:

— Да-а!

Как и я в свои девять лет, он не знал строк Маяковского: «Бруклинский мост — да, это вещь!» Правда, в мои девять лет эти строки еще не были написаны.

Помню, какими крохотными по сравнению с громадой моста выглядели подвешенные к нему то там, то здесь люльки с малярами, обновлявшими его стальной серый цвет. Ходили маляры и по верхним граням гигант-

ских арок, чистили их от ржавчины, мыли и красили, не боясь сорокаметровой высоты. Нынче охрана труда позаботилась: вдоль краев арок тянутся железные перильца.

Признаюсь, всегдашней моей мечтой было пройти по этому мосту с одного берега на другой, но всегда этому мешала война, то одна, то другая: мост имел оборонное значение, его охраняли часовые; редко-редко случались годы, когда по нему можно было пройти со специальным пропуском,— мой отец одно лето такой пропуск имел, и я ему очень завидовал. Мог ли он взять с собой меня, мальчика? Думаю, что не мог, не то бы, наверно, взял. Помню, рассказывали, как на мост забежало несколько лошадей, одна из них провалилась передними ногами сквозь решетку настила, и ее задавил не успевший затормозить поезд; меня огорчила эта жестокость моста, и на какое-то время я к нему охладел, но скоро любовь вернулась. Даже уезжая в Ленинград, я взял с собой еще дореволюционную открытку — фотографию своего любимца,— она у меня и сейчас цела.

Что и говорить, по сравнению с этим индустриальным щеголем деревянные мосты через городские овраги и котловины выглядят не просто скромно, а, я бы сказал, уродливо, если бы мы к ним не привыкли и если бы с середины их не видели вдаль реку, еще дальше — заречный берег, весь в купах кудрявых дубов, а зимой — внизу, в овраге — каток, ярко освещенный по вечерам лампами, в давние времена керосинокалильными, потом электрическими. Да, хорошая вещь мосты, даже если они соединяют не два противоположных берега широкой реки, а ведут лишь из одного жилого квартала в другой, с одной улицы на другую, и под ними не гладь реки, не стремнина, не пропасть, а заросший бузиной и кустистой травой овраг.

Все это о городских мостах, а теперь несколько слов о мостах деревенских. В главе «Отец», самой главной в повести, я не раз говорил, что недюжинные способности позволяли отцу заняться наукой, может быть стать ученым,— я убежден в этом. Но, сказав, что вместо этого он строил в уезде мосты, я тем самым как бы умалил его дело, которому он служил столько лет. Нет, этого я не хотел сказать. Он строил мосты, и я видел, с каким прилежанием и с какой голячностью он

это делал; в сочетании этих противоречивых свойств был весь отцовский характер: педантизм, аккуратность, старание и терпение — и взрывчатый темперамент. Да и как не взрываться, когда помощники отнюдь не радовали таким вкусом к работе, таким чувством долга, чувством ответственности, какие отличали его самого. Помню десятника Жаворонкова, пожилого, благообразного, хитренького, на словах соглашающегося с отцом, обещающего все выполнить, а на деле ко всему равнодушного, озабоченного своими личными, семейными хлопотами — выдать дочь замуж, крестины, заболела жена. Наверно, ссылающийся на эти заботы и хлопоты Жаворонков был прав. Нельзя, невозможно полные сутки и семь суток в неделю не забывать о служебных обязанностях, о казенном деле... Но для отца это дело не было казенным. Я хорошо помню, каким оскорбленным, подавленным он вернулся однажды из уезда: ехал по новому, лишь месяц назад построенному мосту и вдруг увидел, что перила уже изрублены, — значит, шел человек через мост, нес топор, а руки так и чесались: «Дай порублю перила! Вишь какие они гладкие!» — и порубил.

И сейчас чувствую обиду за отца. Обижен и за мосты. Что скрывать, люблю не только эффектные, грандиозные мостовые сооружения, видные далеко окрест, но с нежностью отношусь и к маленьким мостикам, даже к доскам, перекинутым через ручьи и весенние потоки, сбегаящие со всех круч и горок, которыми так богат Котельнич.

Да и как не ценить мосты и дороги в стране бездорожья, какой была и сейчас еще в ряде мест остается Россия? Несколько лет назад прочитал в «Известиях» репортаж из Тюмени — «Парящие вездеходы» — и вспомнил свой разговор с отцом за два месяца до его смерти. Он, старый дорожник, интересовался извечным вопросом: как можно освоить огромные пространства той же Сибири, когда прокладка дорог — это самое трудоемкое и дорогое предприятие? И вот, читая о вездеходах на воздушных подушках, испытывающихся в Западной Сибири, я пожалел, что отец о них уже не прочтет. Шеститонная машина развивает по трясине с метровыми кочками 80 километров в час и в ходе испытаний пробежала

уже больше 1000 километров по болотам, над зыбкой черной пропастью. Здорово, очень здорово...

Мосты, дороги,— разумеется, это кровное дело моего отца. А как объяснить мое к ним пристрастие? Если прибегнуть к метафорам (столь несвойственным этой повести), мосты для меня символизируют связь между прошлым и настоящим, неразрывную связь, всегда существующую в моем воображении. Когда я приезжаю в Котельнич, связь эта материализуется, ибо я хожу по тем самым мостам, лишь отчасти обновленным и перестроенным. Людей моего детства нет — мосты моего детства остались.

Сколько же мостиков и мостов соединяет меня с моим прошлым, с близкими и далекими людьми моего детства? Много. Но самый генеральный мост — это все-таки благодарная память, память о впечатлениях, наблюдениях, отстоявшихся за прошедшие годы, пусть крайне неравноценных. Перечитывая сейчас свою повесть, вижу, что больше интересовался тогда историей, уходящей на моих глазах, чем историей, происходящей, творимой также на моих глазах. Почему? Потому ли, что последней только еще предстояло стать историей, причем несравнимо более значительной, чем уходящей, а я этого не знал? Нет, это сегодняшнее объяснение, это придумано. Все обстоит проще, как я уже говорил в начале воспоминаний. Уходящее уходило от меня медленно, я его видел, осязал каждый день, несмотря на динамичное революционное время. Нельзя забывать, что я десять лет прожил до революции, а в первые пореволюционные годы в пределах дома меня окружал почти прежний быт — пусть скудный, голодно-ватый, когда кусок сахара, ложка постного масла, бутылка керосина значили куда больше, чем запекаемые прежде окорока к пасхе и к рождеству. Несмотря на войну, лишения и болезни, семейный очаг поддерживался: намывались полы, начищался самовар, отмечались дни именин, хотя тиф косил родных и знакомых... Странно, что все это воспринималось мною подряд: и революционные праздники, и выданная нам, школьникам, к 1 Мая копченая курица (почему копченая? — чтобы не чувствовалось, что курица подпортилась раньше, чем ее закоптили: кто знает, откуда этих куриц привезли), и

буржуи-заложники, очищавшие улицы от снега и грязи,
и первая любовь, и стихи Василия Князева:

Отец мой был солдатом-коммунаром
В великом восемнадцатом году...

Все смешивалось, перемешивалось — лишь время
могло отделить главное от второстепенного, серьезное от
пустяков, но, если бы я попытался сделать это задним
числом, воспоминания мои оказались бы неправдой.
Пусть лучше все останется так, как оно рассказало,
как прошло оно чередой по мосту моей памяти.

1972—1977

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 П росто
в з р о с л ы е



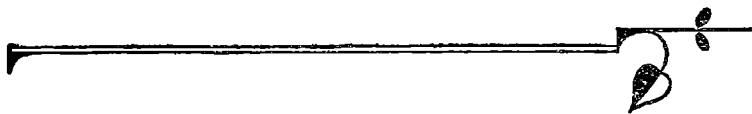
ЕЩЕ ОТ АВТОРА

Если первую часть автобиографической повести я написал сравнительно быстро и часть эта выглядит более или менее цельной, то главы второй части появлялись на свет постепенно — в разные годы и по разным поводам: круглая дата в жизни близкого мне писателя, заказанный редакцией литературный портрет, желание вспомнить о давно или только что потерянном друге... Может быть, потому и написаны главы по-разному: одни — весело, другие — грустно, третьи — с попыткой психологического или литературного анализа. Объединяя эти очерки, я не решился их выравнивать, опасаясь в чем-то их обеднить, ущемить живой нерв, — пусть остаются такими, какими появились на свет.

Главы эти определенно биографичны, то есть в каждой из них рассказано о том или ином человеке, о его жизни, его характере, — почему же я их назвал автобиографическими? Да потому, что все эти люди прошли через мою жизнь, много для меня значили: одни были моими учителями, другие — товарищами, третьи участвовали в моей работе в театре, в кино, — словом, без этих людей я не мыслю себя и свой труд. В сущности, эту вторую часть, как продолжение первой, следовало бы назвать — «Взрослые моей юности и зрелого возраста», но такое заглавие показалось мне длинным и неуклюжим, и я назвал ее — «Просто взрослые».

Конечно, я вспомнил и рассказал не обо всех, о ком хотел, более того — о ком должен был рассказать: что

поделаешь, не успел, оставил до следующего раза... Кстати, надо бы вернуться и к самому началу моей литературной работы, к моим товарищам той поры, к тем, кто в конце двадцатых — начале тридцатых годов входил вместе со мной и Юрием Германом в молодую ленинградскую литературу. Так восполнилась бы некая «пустота», точнее обрисовались годы, когда я писал свои первые повести — «Полнеба», «Племенной бог», «Базиль», «Умный мальчик». Говорю об этом сейчас, чтобы у читателя моей сегодняшней книги не создалось впечатления, что после работы учеником монтера на Волховстрое в 1925—1926 годах я сразу перескочил к работе над сценарием и пьесой о Тимирязеве-Полежаеве в 1935 и 1936 годах!



СТРЕЛА ПРОВЕСА

Однажды я прочел заметку в «Известиях», называвшуюся «От Волховской до Саяно-Шушенской». Главный инженер проекта крупнейшей среди действующих и строящихся гидроэлектростанций — Саяно-Шушенской — рассказал о том, что сделано и делается на ее строительстве.

В интервью названа цифра мощности этой будущей станции: 6,4 миллиона киловатт. Там не названа мощность Волховской гидроэлектростанции в год ее пуска; для сравнения я ее назову: 58 тысяч киловатт. Это значит — в сто с лишним раз меньше мощности будущего гиганта... Меньше в сто раз! И все-таки мы по праву гордились и гордимся первенцем нашей электрификации — Волховской гидроэлектростанцией, носящей имя Владимира Ильича Ленина. Не следует забывать, что строилась она после небывалой разрухи и голода, в сложное, трудное, противоречивое время — в первые наши годы без Ленина. О том, чему был я не только свидетелем, но и в какой-то мере участником, я и хочу рассказать.

Начну по порядку. Осенью 1925 года я поступил работать на Волховстрой. Должность, обязанности у меня были не ахти какие — ученик по монтажу высоковольтной линии электропередачи, но, думаю, ни к чему объяснять, как воодушевляла семнадцатилетнего юношу, приехавшего из уездного вятского городка, любая, пусть самая малая причастность к такому передовому строи-

тельству. Да тогда и не просто было стать волховстроевцем. В стране безработица, на биржах труда — толпы жаждущих заработка людей. . . Правда, заработок ученика невелик: двадцать семь рублей в месяц, — но если учесть, что, приехав в 1925 году в Ленинград, я жил на пятнадцать рублей, что доказывает сохранившаяся чудом приходо-расходная тетрадка, то можно считать четвертную, да еще с гаком, настоящим достатком.

К тому же, как сказано, я гнался не за длинным рублем: меня увлекала идея! Кстати, уже на второй месяц работы мое материальное положение изменилось, но об этом после. Сперва о том, что это была за работа и кто были мои товарищи. Весь 120-километровый путь от Волхова до Ленинграда разделили на три равных участка; нашей партии (тогда строительные бригады еще назывались партиями) достался участок от разъезда Горы близ станции Мга, получившей потом, во время Великой Отечественной войны, особенную известность, до станции Назня, с которой начинаются назийские торфяные болота, снабжающие дешевым топливом ленинградские тепловые электростанции. Трасса линии электропередачи шла параллельно Мурманской железной дороге, то совсем рядом, в нескольких десятках метров от полотна, то отступая — около железнодорожных станций, платформ, разъездов — на километр-полтора. Во всяком случае, на работу мы ходили по шпалам.

Было нас человек двенадцать, не считая техника и десятника. Четверо русских, один татарин, остальные — подгородные финны, по-ученому — ингерманландцы; когда-то, при Александре Невском, они звались ижорцами и помогли Ярославичу победить и прогнать вторгшихся в Неву шведов.

Имена и фамилии большинства рабочих я позабыл, но характеры и внешность запомнились. Были среди них веселые, шуточные, разговорчивые, были угрюмые и немногословные, но плохих людей, по-моему, не было. Татарин, с которым на первых порах я больше всего общался, крутя с ним вдвоем лебедку, натягивая с ее помощью трос и кабель, был вспыльчив, но отходчив, смешно кипятился и тотчас же с юмором отступал. Ко мне он был неизменно добр, почти месяц мы с ним трудились душа в душу. Не исключено, что он считал и меня татаринном, судя по моей фамилии, но имел такт

и выдержку не спросить... Через месяц меня от него забрали на повышение квалификации, и я стал работать в подвесной люльке на железных опорах, так называемых анкерных (теперь часто их называют мачтами), и на простых деревянных, П-образной формы, лазая по ним на когтях. А на лебедку, под начало моего друга татарина, поставили одного из Лебедевых — у нас было их двое: старший и младший.

Уравновешенный, неторопливо передвигавшийся на кривоватых ногах Лебедев-старший, несмотря на свою птичью фамилию, непреодолимо боялся высоты и потому не годился для верховой работы. Чаще всего он спокойно стоял под опорой, держа конец веревки в руках, и, попыхивая сигаркой, страховал верхолаза. На лебедке ему пришлось потруднее: татарин крутил свою рукоятку с азартом, в темпе, требуя таких же усилий и от партнера, что, естественно, вызывало у того недовольство и горячее желание перекурить. Лебедев-старший, чуть не единственный во всей партии, если не считать десятника, любил матерщинку — выругается и непременно добавит, аристократично грассируя: «сказала королева». Впрочем, он ругался беззлобно, скорее из чистого искусства. Что касается финнов, то они бранились вообще крайне редко, только в случаях серьезной аварии или крупной помехи в работе. Когда я любопытствовал, почему они ругаются по-русски, а не по-своему, хотя обычно говорили между собой по-фински, они объяснили так: «По-нашему очень страшно выходит...»

Мне трудно сейчас с полной ясностью представить себе возраст моих тогдашних товарищей. Самому мне лишь в феврале исполнилось восемнадцать, и ближе всех по летам подходил мне Степанов, умелый, бесстрашный, лихой монтер, которому я невольно старался подражать во всем, даже в походке, даже в привычке облизывать свои обветренные, потрескавшиеся на морозе губы. Разумеется, я норовил, как Степанов, забравшись на деревянную опору, небрежно сбросить с ног когти и, закончив крепление медного провода толщиной в палец, по-молодецки, с опасной легкостью скользнуть вниз по столбу, обхватив его ногами. Сломать шею или хребет можно было в два счета, но что делать, если мне адски нравилось, как работал Степанов! Каждое его движение, манера держать гаечный

ключ, плоскогубцы, управляться с любым инструментом казались небрежными, а на деле были уверены и точны. Он был самолюбив, этот Степанов, он везде и во всем хотел быть первым и лучшим, во всяком случае не хуже тех, кого справедливо считали у нас самыми лучшими, самыми квалифицированными.

Один из этих образцовых монтеров был пожилой финн, казавшийся мне тогда чуть не дедушкой и относившийся ко мне ласково и заботливо. Другой — молодой финн с плотно сжатыми губами, молчаливый и замкнутый, — наоборот, не обращал на меня никакого внимания, что, не скрою, меня обижало. Он недавно женился и каждую субботу уезжал на выходной день домой. Помню, как меня поразила его сдержанная, но твердая отповедь шутнику, острившему что-то насчет того, что, мол, поторапливайся, сегодня суббота, жена ждет тебя уже в бане. «Я никогда не пойду с женой в баню, мне было бы стыдно», — сказал он и снова плотно сжал губы. С восхищением я смотрел на него, забыв о своих обидах. Впрочем, мы вскоре работали вместе и дружно как с ним, так и с Лебедевым-младшим.

Лебедев-младший был самым интеллигентным и в чем-то даже утонченным, во всяком случае чрезвычайно чутким к несправедливости, грубости, фальши: все отражалось на его болезненном, худощавом лице с бьющейся на виске жилкой. Лебедев-младший был такого же невысокого роста, как Лебедев-старший, тоже нетороплив и, пожалуй, не очень силен; заметная сутуловатость делала его особенно хрупким. Но, в противоположность своему однофамильцу, не ленившемуся лишь поминать королеву, Лебедев-младший был замечательно усердным и умелым работником. Повторяю: он, пожилой финн, молодой финн и Степанов были лучшие наши монтеры.

Каково же было мое изумление, когда этот довольно пестрый и, можно сказать, многонациональный коллектив вдруг объявил начальству, что они решили зачислить меня в свой пай, на сдельщину. Тут я должен кое-что объяснить. Я считался учеником, прислало меня Управление Волховстроя, и Управление же платило мне — от казны — вышеупомянутые двадцать семь целковых. Но прошел месяц, некий тайный для меня испытательный срок, и сами рабочие, без чьей-либо подсказ-

жи, сговорились доплачивать мне из артельной суммы, то есть из своих личных заработков, до той сдельной оплаты, какую я, в соответствии со своим разрядом (а он каждые два месяца повышался, поскольку я постепенно овладевал монтерскими навыками), мог бы получать, состоя в этой рабочей артели.

Таким образом, моя зарплата удвоилась, а вскоре утроилась. Но суть даже не в этом. Прежде всего, я гордился тем, что стал полноправным членом рабочего коллектива; во-вторых, что мою работу и старание оценили; а главное — меня поразило великодушие моих старших товарищей. При всем добром отношении ко мне, они могли ограничиться просто похвалой, и я этим вполне бы удовлетворился. Зачем бы им отрывать от себя нелегко достававшиеся рубли? Но они «оторвали», не желая и слушать мои робкие протесты. . . Уверен, что инициаторами этого «сговора» явились Лебедев-младший и пожилой финн.

Я не случайно остановился на этом маленьком эпизоде. Он имеет отношение не столько ко мне, сколько к моим товарищам. Следует помнить, что все это происходило во время нэпа, когда дух барыша витал всюду, развращая порой хороших и честных людей. Более того, этот случай, как кажется мне, кое-что объясняет в финале нашей трудовой эпопеи, о чем речь еще впереди.

А пока следует сказать, что первые полтора месяца были для всех невыгодными. Дело новое, незнакомое, такие высоковольтные линии сооружались в Советском Союзе впервые; приехавший на несколько дней инженер из Управления Волховстроя и наш постоянный техник Селицкий не могли нам сразу помочь: они тоже никогда не имели дела с монтажом подобного рода; до всего пришлось доходить как бы ощупью, по десять раз начиная и переделывая, натягивая и перетягивая, без конца совершая ошибки, терпя неудачи и срывы.

Для примера скажу, что изоляторы, рассчитанные на высокое напряжение, закупились в Швеции на столь ценную для нашего небогатого в те времена государства валюту. Каждая изоляторная гирлянда состояла из семи сцепленных одна с другой глазурированных черных фарфоровых тарелок; на каждой анкерной опоре таких гирлянд было шесть пар — значит, восемьдесят четыре тарелки, а стоили эти тарелки чуть ли не по семь золо-

тых рублей штука. Так, по крайней мере, нам говорили, желая предостеречь, чтобы мы зря не били эти драгоценные изоляторы. Зря мы не били, но неприятности все же случались, как случаются они при любом, тем более новом деле. В предыдущее лето приключилось и не такое: когда ставили опоры, одна из них повалилась и, говорят, чуть не придавила самого Графтино, создателя Волховской ГЭС, посетившего в этот день трассу.

Словом, первый километр линии электропередачи мы прошли примерно за месяц, а остальные тридцать девять километров предстояло пройти за... три месяца! Такие жесткие сроки были обусловлены не только планом, но и природным календарем — стихией. И вот здесь, здесь сыграло решающую роль то, ради чего я вспомнил эту стародавнюю историю.

Как я уже сказал раньше, весь путь от Волховстроя до Ленинграда был разделен на трое. Три партии, три бригады монтировали эти участки. Я не бывал на других участках трассы, не встречался с теми и рабочими, теми и техниками; лишь однажды, в выходной день, в воскресенье, случайно встретился в гостях в Ленинграде с таким же учеником, как и я, может быть немного постарше и понаряднее одетым: в синем шевинотовом костюме, в модных, с утиными носами «шимми», в которых удобно не столько ходить, сколько танцевать чарльстон. Мы осторожно пытались выведать друг у друга, как идут дела в «чужой» бригаде, надеется ли она кончить свой монтаж к сроку, следовательно получить новый, особый заказ...

Дело в том, что кроме трех сорокакิโลметровых участков существовал и четвертый, чуть не в сорок раз менее длинный, но зато неизмеримо более «высокий»: это переход через Неву почти в черте города, за Уткиной заводью. Четыре высоченные металлические мачты сложной конструкции стояли на невских берегах и ждали, когда придет их час: явятся верхолазы и перебросят шесть скрученных из девятнадцати медных жил проводов с одного берега на другой, с левого на правый, присоединив их — через понижающую трансформаторную подстанцию — к городской энергетической сети; после этого Ленинград к приему волховского тока будет готов — дело за самой Волховской ГЭС!

Начальство в середине зимы объявило: невский переход поручат той бригаде, которая раньше закончит работу на своем участке. И закипело негласное соревнование. Негласное? В сущности, да. Никто его не организовывал, не подводил каждодневных или хотя бы еженедельных итогов: мы работали и не знали, как обстоят дела у соседей; техперсонал, может, и знал, да помалкивал,— скончательно выяснилось все только к весне.

Зима стояла холодная, болота промерзли, и там, где летом ставили опоры на зыбкую почву, укрепляя ее сваями, всюду можно было спокойно ходить. Каждые десять километров пути я отмечал переездом на новое местожительство, меняя квартиру, чтобы быть поближе к месту работы. Самое дальнее, что можно было еще преодолеть пешком по шпалам,— это четыре-пять километров утром и столько же вечером, вперед или назад, смотря по тому, отставало или опережало место работы мой временный дом. Запомнились ранние утра со встающим из морозной мглы красным солнцем и оранжевые закаты, с неумолимой точностью прекращавшие нашу работу,— домой я возвращался уже в поздние сумерки, шел и кричал:

В черных сучьях деревьев обнаженных
Желтый зимний закат за окном.
К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком. . .

Меня ничуть не смущало разительное несоответствие: стихи мрачные, даже трагические, а настроение у меня превосходное,— строчки Блока звучат для меня как зажигательный марш! Иногда солнца вообще не было, вместо этого задувала метель, из густой снежной мглы вдруг вырывался луч паровоза-снегоочистителя, и мне приходилось, уступая ему дорогу, прыгать с насыпи в канаву, погружаясь в пушистый снег до подмышек, а сверху вращающиеся мощные щетки накрывали меня с головой снежной тучей, поднятой с железнодорожного полотна.

Когда место работы приблизилось к Мге, свободного времени по вечерам стало больше, и я ходил к вечернему поезду за газетой: на этой станции останавливались пассажирские и почтовые поезда и имелся газетный киоск. Шел тропой между деревьями, между сугробами,

мимо пустой, сложенной из старых шпал сторожки: рассказывали, что подле нее расстреляли трех бандитов; почему именно здесь и что за бандиты — так и осталось для меня жутковатой тайной.

Однажды, в конце декабря, в один из самых темных и длинных вечеров года, прийдя на станцию и купив «Красную вечернюю газету», я почему-то сразу ее развернул (обычно я оставлял это удовольствие на потом, когда вернусь домой и разденусь: я жил у линейного волховстроевского сторожа, единственной книгой в доме которого оказалось «Путешествие к центру Земли» Жюль Верна), — развернул и прочел траурное известие о смерти Сергея Есенина. Есенина я никогда не видел, только читал, кое-что знал наизусть, но сообщение это меня потрясло, и, когда я шел лесом обратно, в глухой темноте, я явственно ощущал зловещесть этой сгустившейся тьмы, сгустившейся вокруг тайны есенинской смерти. . .

Я отвлекся от главного, отвлекся сознательно: хочется хоть немного обрисовать свое тогдашнее житье-бытье. Правда, в нем абсолютно отсутствовали какие-либо личные события: слишком мало у меня оставалось времени от ходьбы и работы. Возвращаясь, усталый, с мороза, в теплое жилье, я едва успевал пообедать, чуточку почитать, написать письмо, потолковать минут десять с хозяевами, перед сном пройтись вокруг дома или на станцию под торжественно-звездным небом, в заговорщически молчаливом лесу, и погрузиться в крепкий молодой сон до утра, сон без тревог и забот. Почти все мои интересы были сосредоточены на работе — настолько она была для меня нова и увлекательна. Юношеское самолюбие с первого дня потребовало не отставать от других.

В эти зимние месяцы, по мере продвижения трассы, я четыре раза сменил квартиру. Дважды жил у линейных сторожей, охранявших трассу, месяц прожил у финна, возившего на своей крупной и сильной лошади рабочий инвентарь нашей бригады — лебедки, полутораметрового диаметра катушки с кабелем (грузовой автомашины в нашем распоряжении не было, да и не могло тогда быть); и три недели — у латыша-хуторянина, семья которого состояла из жены, бывшей адмиральши, тотчас же после исчезновения царского адмирала вы-

шедшей замуж за своего дачного хозяина, ее дочери, учившейся в Ленинградской консерватории (о ней я только без конца слышал от адмиральши), и ее двадцатилетнего сына, здоровенного бездельника, который каждое утро, к моему ужасу, пил чуть ли не литровыми кружками растопленное свиное сало с горячим молоком. Сама адмиральша деятельно занималась хutorским хозяйством. Убедившись, что я сравнительно «приличный мальчик», она разрешила мне спать в гостинной — так, по крайней мере, именовалось это изрядно холодное помещение, сплошь уставленное крынками и горшками с отстаивавшимися сливками: молочное хозяйство у Карла Ивановича было поставлено на широкую ногу.

Любопытно, что в этом доме я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь взял в руки книгу или газету, тогда как у финна, простого возчика, веселого, краснощекого здоровяка, вечерами в семье читали вслух. Что читали? В бытность мою у них — «Анну Каренину» на финском языке.

Таким образом, проводя дни с моими товарищами на работе, жил я зимой на отшибе, отдельно от всех. Почему? Просто так получилось, что на первую квартиру меня устроил десятник, сам проживавший на станции Мга, вблизи от которой находился домик линейного сторожа, а потом меня передавали как эстафету из рук в руки разным хозяевам.

Но вот пришел март и ознаменовался феноменальным событием: наша бригада одержала победу над остальными — первой пришла к финишу и награде. В чем состояла награда, я сказал раньше: переход через Неву, монтаж линии передачи на сверхвысоких — для того времени и того уровня электротехники — каркасных мачтах. Восемьдесят, даже, кажется, восемьдесят пять метров — не шутка! Кроме почти отвесной железной лесенки с перилами и крохотной промежуточной площадкой, мачты были даже оборудованы специальным лифтом для подъема тяжестей — людей, изоляторов, инструментов. Лифты действовали опять же через посредство лебедки, но уже не ручной, а от привода к локомотиву, стоявшему рядом с мачтой. Не помню, чтобы я хоть однажды воспользовался этим лифтом: наверх я поднимался по лестнице, даже без отдыха на средней площадке (за зиму, на открытом воздухе, нако-

пил сил), а обратно скользил по перилам на животе или скатывался тем же манером по раскосам и стойкам, в точности так, как проделывал это Степанов.

Поселились на этот раз мы все вместе, в деревне Усть-Славянке на Шлиссельбургском тракте, не дальше чем в километре от места работы. (Помню, через пятнадцать лет в этой деревне разместился второй эшелон 55-й армии, оборонявшей Ленинград от немцев.) Месяц этот оказался «медовым» в моих отношениях с бригадой. Мы вместе завтракали, обедали, ужинали, хлебали из большой миски наваристые, с накрошенным мясом щи, которые готовила нам хозяйка, а вечером, перед сном, беседовали. Как-то раз или два я читал вслух Есенина и Асеева. Есенина одобрили, Асеева — не очень... Потом ложились вповалку на пол, на свои дубленые полушубки, овчиной вверх, и крепко засыпали до утра.

Утром начиналась наша сложная, полная всевозможных превратностей монтерская жизнь. Сейчас объясню, что за превратности. Первое время, когда нам поручили такое ответственное, интересное дело, мы были счастливы и горды. Ведь еще никогда и нигде в Советском Союзе не перекидывали через широкую реку высоковольтную линию электропередачи, нам первым выпала эта честь. Но как же трудно зато нам пришлось! Я уже упоминал о лифтах. Они оказались такими не скоростными, такими капризными, так не просто было с их помощью доставлять наверх необходимое оборудование! Зато наверху здесь были уже не только мощные траверсы для подвешивания и крепления к ним проводов, но под ними еще и просторные, огороженные перилами площадки, с которых удобно производить монтаж; лишь вокруг оконечностей мачт, вонзавшихся в небо чуть не на высоту Исаакиевского собора, зияли ничем не огражденные провалы, простирающиеся вниз до самой земли. Вдоль одного такого провала как раз и ходил наш лифт, который мы яростно возненавидели за медлительность и склонность застревать между «этажами».

Возникли и другие трудности и сомнения. Конечно, специалисты проектировали и знали заранее, с какой силой будет давить и тянуть медный кабель, который повиснет над Невой, а вот выдержат ли эту многопудовую тяжесть гирлянды фарфоровых изоляторов, никто не

мог гарантировать, хотя теоретически, говорю, все это высчитали, с максимальным запасом усилили и умножили изоляторные гирлянды. На деле в одну секунду все могло полететь к чертям.

Тем, кто теперь имеет дело с тысячекิโลметровыми трассами, протянувшимися по необъятным просторам нашей страны, объединенными в единую энергетическую систему, всем инженерам, техникам, верхолазам, перебрасывающим воздушные электролинии через могучие сибирские реки, наши трудности покажутся пустяком: подумаешь тоже, проблема! Существуют руководства, инструкции, специалисты всему научат. Но тогда-то мы этого ничего не имели, ни о чем толком не знали. Положение порой было таково, что на пронзительном мартовском ветру нас то прохватывало насквозь, то бросало в горячий пот... И немудрено: лед посинел, Нева вот-вот тронется, уже появились забережьи, проступила наледь, кое-где на быстрине лед так истончился, сделался настолько хрупким, что можно легко провалиться. А кабель, протянутый от берега к берегу, все лежал и лежал поперек реки, засыпанный снегом, заметенный ночной поземкой, местами вмерз в лед, местами свернулся баранками — при подъеме это грозит бедой: туго скрутится, перехлестнется — и лопнет!

Катастрофически быстро, неотвратно надвигалось вскрытие реки, ледоход, а мы всё готовили да готовили свое генеральное сражение — подъем и натяжение кабеля над Невой. Что, если не успеем? Тогда надо, не медля ни дня, убрать кабель, намотать его на катушки (это обмерзший-то, да с баранками!), а когда ледоход кончится, опять размотать, осторожно опустить на дно и только потом, уже со дна, поднимать на высоту, натягивать, закреплять... Канитель невероятная. При этом непременно возникнут новые сложности: сразу же после ледохода откроется навигация, пойдут по Неве суда, баржи, плоты... Нет, это невозможно, надо успеть, во что бы то ни стало успеть до!

Зимой, пока шла нормальная работа на нормальных участках, Управление Волховстроя не баловало нас вниманием: навестило, помню, всего один раз. А тут началась суматоха: что ни день наезжают из Ленинграда инженеры, специалисты; правда, и место нашей работы было теперь не за сорок и не за шестьдесят километ-

ров,—до Мурзинки можно доехать на трамвае, а там уж рукой подать и до Усть-Славянки. Кстати, легковых машин одна-две на все Управление,— сам Графтио ездил на Волховстрой на поезде или на дрезине.

Когда нависла реальная угроза срыва всех сроков, мы стали работать не считаясь с нормальным восьмичасовым днем, благо календарная долгота дня прибавилась: светало раньше, темнело позже, как-никак март, на носу апрель... Мы приходили на квартиру лишь ночевать; перед сном ужинали и обедали — все разом; днем обеденного перерыва не соблюдали, пожеем чего-нибудь на ходу — и ладно. Охрана труда, слава богу, не вмешивалась, да мы бы ее и шугнули.

В скобках добавлю, что наш заработок на сей раз трещал по всем швам, не выручали и сверхурочные — что они значат при сдельщине, когда работа так затянулась? Но об этом, точно все сговорились, молчок, никто ни слова; что ж, и без того ясно, что здорово сели, теперь лишь бы успеть... Начальство, возможно, кусало локти: действительно, стоило ждать, пока одна из бригад закончит свой линейный участок, чтобы отдать ей переход через Неву! Набрали бы монтеров со стороны, составили из них четвертую, дополнительную бригаду, и она бы спокойненько, в продолжение зимы, обтяпала это дело. А что теперь?

А теперь вот что: мы успели!

День, когда все шесть проводов поднялись ввысь и повисли в небесной синеве над Невой, был настоящий весенний, веселый, солнечный. Задрвав кверху свои загорелые, медно-красные лица, мы видели высоко над собой четко рисующиеся, отблескивающие под солнцем золотистые нити,—снизу они казались нитями, трудно и подозревать, с какой силой стремились они разорвать изоляторные гирлянды: откровенно говоря, мы все еще за них тревожились.

Конечно, за один день подъем и монтаж всех шести проводов никак не произвести, это заняло не меньше недели,—но запомнился именно последний денек, когда все было кончено, кончено еще засветло, до заката, а с улицы, вернее с Невы, уходить не хотелось. Всякой мелкой и черной работы в ближайшие дни предстояло достаточно: еще раз проверить зажимы, подвинтить все гайки, выправить рога громоотводов, очистить строи-

тельные и монтажные площадки от мусора, но все это уже чепуха, главное сделано.

А делалось это так. На посиневшем, местами уже почерневшем, набухшем водою льду расставлены были «запасные игроки», не участвовавшие в главном действии. Их обязанность — расправлять коварные баранки, а еще первее — не допускать баранок. Признаюсь, эта довольно муторная обязанность выпала и на мою долю. Мне не пришлось принять участия в окончательном монтаже, я лишь снизу с волнением наблюдал, как провода постепенно отделялись ото льда — мы усиленно им помогали там, где они вмерзли в лед и наст, — затем понимались, натягивались и повисали над рекой, образуя ту высчитанную заранее кривую, не короче и не длиннее, которая обеспечит линию от обрыва и от короткого замыкания; в случае, если провод висит слишком низко, слишком свободно, ветер может столкнуть болтающиеся из стороны в сторону гигантские петли. Кроме того, надо помнить, что летом под проводами станут проходить суда с высокими мачтами и путь для них должен быть беспрепятствен.

Шесть проводов, две трехфазные высоковольтные линии напряжением более ста тысяч вольт, по которым осенью 1926 года, к девятой годовщине Октября, потекло электричество в Ленинград и течет до сих пор (с перерывом в несколько месяцев осени и зимы 1941—1942 года), — эти шесть проводов висят над Невой и сейчас, висят уже более полувека; за это время миллионы пассажиров железной дороги, подъезжая к Ленинграду и с нетерпением глядя в окно, невольно обращали внимание на решетчатые, ажурные мачты, высящиеся на берегу Невы; даже издали можно понять, что это мачты-великаны.

Сначала эти мачты и провода служили лишь Волховской ГЭС, потом их обязанности расширились. В 1928 году было начато строительство гидростанции на Свири, быстрой, порожистой реке. Станцию проектировал тот же неутомимый Графтио, и немало старых волховстроевцев пришло на новостройку. Наверное, среди них были и наши монтеры.

Между прочим, меня могут не без ехидства спросить: спрыснули ли мы окончание работы? Водился ли в то время такой обычай? Охотно отвечу. Да, всем гомо-

зом мы собрались за Невской заставой в чайной, неподалеку от странного вида церквушки под названием «Кулич и пасха» (верно, очень похожа). Там, в обществе легковых и ломовых извозчиков, истово распивавших чай с калачами, мы тоже осушили не один огромный чайник, расписанный по круглым бокам воспетыми Маяковским цветами:

Влюбляйтесь под небом харчевен
В фаянсовых чайников маки...

Чайная эта отнюдь не была похожа на артистический или литературный кабачок вроде известного мне понаслышке «Привала комедиантов», и стихов здесь моим друзьям я читать не пытался. Зато каждый из них на прощание сказал мне что-то хорошее, а вот что именно — я забыл. К сожалению, наша память нередко теряет самые лучшие, самые добрые обращенные к нам слова, а хранит случайные и пустые. Отлично помню только, как Лебедев-старший похлопал меня по плечу и добросердечно напутствовал очередным изречением королевы...

Собственно, вот и все, что я собирался написать об этой зиме и об этой весне. Почему я собирался так долго? Ведь не раз думал: «Сяду-ка я на 7-й или 24-й номер трамвая, поеду я в Усть-Славянку, названную по имени речки, впадающей в Неву, подойду к высотной опоре (если она не обнесена забором с устрашающим черепом и костями) и сделаю вид, что намерен полезть по знакомой железной лесенке вверх. На меня закричат, погонят прочь, а я гордо выну из бумажника древний, выцветший документ, свидетельствующий о том, что я энное число лет назад здесь трудился, присовокуплю новенькую справку о том, что собираю материал для романа или сценария, заврюсь окончательно и... проснусь. Проснусь потому, что наяву смешно собирать материал о том, чему, как теперь говорят, вышла давность, о том, что на фоне Братской, Камской, Красноярской, Саяно-Шушенской и других гидроэлектрическихстроек выглядит чуть ли не игрушечным».

Это так. Давность вышла. И все же я рад, что написал свой запоздалый очерк. «Стрела провеса» — не правда ли, в сочетании двух этих слов чудится нечто метафорическое, исполненное поэтического смысла?... Меж-

ду тем это просто технический термин, обозначающий величину отклонения от прямой, в данном случае — естественный прогиб провода, висящего между мачтами. Разве мало я их измерил, проверяя через месяц-другой после монтажа, не сдали ли зажимы на анкерных и простых опорах, не опустился ли провод ниже назначенного ему предела, нет ли других нарушений? Посылал меня в эти командировки Селицкий, он доверял моей технической грамотности (весьма средней) и мальчишескому усердию (выше среднего). С краснощеким возчиком-финном, читателем «Анны Карениной», исправно таскавшим на пару со мной инструменты, мы объездили и облазали, проваливаясь по брюхо в снег, все сорок пройденных за три месяца километров, аккуратно замерив стрелы провеса на каждом двухсотметровом пролете.

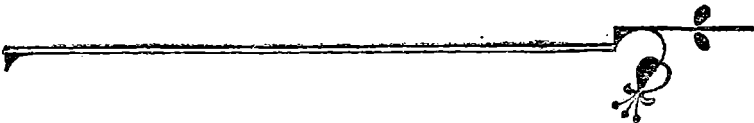
Практически этот прогиб неизбежен, он не может не существовать. Но если применить его к людям, с их людской прямоотой, темпераментом, чувством долга и чести, можно смело сказать, что наша бригада испытание на прогиб выдержала с минимальнейшим отклонением. Правда, в душу каждого я не влезал, никого не допытывал, но это же факт, что когда мы взялись за желанный (и лестный поначалу для всех) переход через Неву, а он подкузьмил, неожиданно оказался убыточным, то даже заядлые ворчуны не ворчали, а работали с увлечением, с тем самым энтузиазмом, о котором так часто и невнимательно мы читаем в газетах... Что делать — привыкли. Инфляция слов. Перестали вникать. А вот вспомнил о тех, с кем полвека назад съел пуд соли, вываренной из нашего общего трудового пота, и сразу подумал: они не подкачали бы и теперь, на сибирских таежных трассах!

Все прошло, все проходит; сменилось и сменится еще не одно и не десять поколений рабочего класса — всех специальностей, всех профессий, в том числе, может, нам пока и неизвестных (техника мчится, опережая нашу фантазию), — но я убежден, что такие характеры, как Степанов, как Лебедев-младший, есть и будут. Мне и теперь не смешно, что когда-то мальчишкой я хотел быть похожим на монтера Степанова, с его походкой вразвалочку, с уверенными движениями ловких и сильных рук, с нахмуренными густыми бровями, с по-

трескавшимися от мороза, обкусанными от самолюбия (если что-нибудь не получалось) крепкими юношескими губами.

Наверное, есть и нынче на свете такой верхолаз-монтажник, он вкалывает на Братской или на Красноярской, лихо орудует на крутизне и на высоте, ни черта не боится, и даже фамилия у него та же: Степанов. Почему нет? Степановых у нас много.

1969



ТИМИРЯЗЕВ. ПОЛЕЖАЕВ.
ПИОТРОВСКИЙ

Как-то в мае или июне 1935 года мне позвонила по телефону Раиса Давыдовна Мессер, сказав, что говорит по поручению Адриана Ивановича Пиотровского. Не хочу ли я попробовать написать для «Ленфильма» сценарий о Тимирязеве?

— О Тимирязеве? — удивился я. — О биологе?

— Да, но главным образом о том периоде в его жизни, когда он понял, что и он и его наука нужны новой революционной России, и пошел работать с большевиками, и как почти весь старый ученый мир подверг его за этот смелый шаг ostrакизму, а Тимирязеву было уже семьдесят пять лет, и он...

Раиса Давыдовна говорила долго и горячо, — ни говорить, ни писать так связно и убедительно я не умел. Зато я умел внимательно слушать, и, когда она кончила, я спросил:

— Рая, скажите честно, кому вы предлагали эту тему до того, как позвонить мне?

С Раисой Мессер мы были знакомы лет семь или восемь, еще со времен литгруппы «Смена», где начинало свою литературную жизнь большинство моих сверстников — ленинградских прозаиков, поэтов и критиков, и мне казалось, что я имею право на обоюдную откровенность.

Раиса Давыдовна на секунду замялась, но затем быстро и исчерпывающе объяснила:

— Мы говорили с Ольгой Форш. Ольга Дмитриевна сказала, что сейчас пишет сценарий о Пугачеве, все внимание ее давно сосредоточено на той эпохе, в ином случае ее, безусловно, увлекла бы предложенная тема...

Тут последовала долгая пауза. Я стоял в коридоре большой коммунальной квартиры, держа трубку прижатой к уху и видя, как мимо недовольно ходят жильцы, тоже жаждающие звонить по телефону. Ждала на том конце провода и Мессер, наверно недоумевавшая, почему я не выражаю восторженного согласия.

— Ну что ж,— сказал я как можно непринужденнее, хотя на душе у меня скребли кошки (сейчас объясню, почему).— Надо подумать. Почитать. Давайте отложим разговор на несколько дней. Хорошо?

Подумать было о чем. Как ни заманчиво для молодого прозаика, никогда не писавшего ничего, кроме повестей и рассказов, испытать свои силы в кинематографе, на «Ленфильме», где в прошлом году был поставлен «Чапаев», но, с другой стороны, не смахивает ли эта попытка на авантюру? Во-первых, я почти ничего не знаю о Тимирязеве и немногим больше — об Октябрьских днях в Москве, когда мне было девять лет и жил я не в Москве и не в Петрограде, а в уездной глуши. Во-вторых, сейчас я усердно корплю над повестью о танкистах, с которыми познакомился на осенних маневрах. Зря, что ли, я набивал себе синяки и шишки, трясясь в башне танка, и мерз зимой в плохо протопленной комнате в военном городке, довершая начатое осенью знакомство? Повесть уже анонсировалась в журнале «Знамя», отрывок из нее на днях напечатан в газете «Литературный Ленинград», — шутка ли прервать такую работу!

И, наконец, я включен в писательскую бригаду, которая скоро должна выехать в Казахстан: Н. Чуковский, Л. Соболев, Ю. Берзин, А. Гитович, Вс. Рождественский, П. Лукницкий и я... Завидная компания! Неужели отказаться от столь заманчивой поездки? Ради чего? Ради такого неверного, абсолютно нового для меня дела, как кино! Друзья уговаривали меня плюнуть на кинособлазны и собираться в дорогу: Алма-Ата, Чимкент, Балхашстрой, Караганда... Медные рудники и угольные шахты, хлопок и овцы, Турксиб и пустыни, свинец и роскошные фруктовые сады! Променять все, что там меня ожидает, все грядущие дорожные приключения и

впечатления, которых может хватить на остаток жизни (мне было тогда двадцать семь лет), на какие-то кислые неприятности, происходившие с каким-то ученым педантом, наверняка скучным-прескучным человеком. . .

— Ну, это уж ерунда! — говорил я себе (потому что главный спор вел с собой). — Тимирязев, даже по тому немногому, что я о нем слышал, даже если судить только по портрету, который я помню еще с двадцатых школьных годов напечатанным не то в учебнике, не то в календаре, был симпатичнейшим человеком: одухотворенная лицо, мягкая улыбка, узкая, редкая, просвечивающая борода, широкий суконный берет, надетый изящно-кокетливо набок. . .

Ближайшие дни прошли не столько в раздумьях и колебаниях (для них у меня просто не хватало времени), сколько в лихорадочных поисках того, что написал сам Тимирязев и что написано о нем. Ясно, что с бухты-баряхты, ничего не зная о человеке, нельзя ни отказываться, ни — тем более — соглашаться о нем писать.

Уже из первого, самого общего и по необходимости краткого телефонного разговора я понял, вернее почувствовал, что в случае с Тимирязевым коренится что-то очень свежее, необычное, не похожее на привычные по литературе, кино и театру взаимоотношения интеллигенции и революции. В большинстве произведений дело сводилось к тому, что герой долго и мучительно думал, признать ему советскую власть или пока еще рано, и только в последней главе, в заключительной сцене торжественно признавал. Если отбросить излишнюю шаржировку, в какую неволью впадаешь, говоря сейчас об этих произведениях, то справедливо будет отметить, что появление их было оправдано жизнью — большинство интеллигенции не сразу пришло к приятию социалистической революции. Для многих — по разным причинам — это был сложный и болезненный процесс. Литература и искусство чаще всего исходят из массовости, типичности того или иного явления. Колеблющихся и сомневающихся интеллигентов, которые перестраивались лишь в результате каких-то сложных перипетий или в итоге долгих лет, постепенно их приучивших к мысли о неизбежности новой исторической полосы, были тысячи, а Тимирязевых, Маяковских, Блоков — единицы, поэтому они и не попали в «типичные», не стали прообраза-

ми литературных героев. И все же: сколько можно изображать «типичных», то есть колеблющихся, и обходить «нетипичных», то есть принявших трудную, незнакомую и опасную революцию без колебаний? Не пора ли переключить внимание с тех на этих? Ввести в литературу, в театр, в кино образ соратника революции, а не пассивного свидетеля?

Но что я спрашиваю себя? Ведь об этом, очевидно, и думал художественный руководитель «Ленфильма» Адриан Пиотровский, предлагая мне странную на первый взгляд тему — «Тимирязев»! Между прочим, Мессер сказала, что они не связывают меня обязательно этим именем — мой герой может быть и вымышленным лицом, если мне так удобнее, и пусть Тимирязев явится лишь точкой опоры.

В связи с этим несколько слов об организационной стороне кинодела. Порой и сейчас еще спорят, можно ли планировать и заказывать художественные произведения. Спорят, но редко. Считается, что нельзя. Уж слишком скомпрометированы так называемые темпланы театров и киностудий. Даже сами эти организации стали стесняться спрашивать у писателя, у драматурга, не интересует ли его такая-то тема. «Оказенивание творческого процесса», «подмена авторской инициативы», «стирание индивидуальности художника» и еще более страшные слова витают над обеими сторонами. А ведь было время, когда таким путем появилось на свет немало известных произведений советской драматургии и кинематографии. Об этом как-то напомнил кинорежиссер Лев Кулиджанов. Он только забыл упомянуть имя человека, с которым связано большинство успехов кинематографа тридцатых годов, по крайней мере тех лент, которые выпускал «Ленфильм».

Но сначала существенная оговорка. Если автору предлагается только тема и ничего больше, так сказать, чистая номенклатура без малейшего проблеска художественного, драматического решения, пусть брезжущего где-то далеко впереди, если ни автор, ни «заказчик» (я имею в виду редактора, завлита, худрука) не ощущают заложенных в этой теме, в этом материале эмоциональных ресурсов, можно с уверенностью предсказать крах. Затея окончится возвратом аванса или списанием

взаимных убытков — взаимных, ибо автор зря терял время и силы на бесплодную работу.

Мне скажут: а что делать? Риск неизбежен. Кто может заранее гарантировать победу и указывать для нее пути? Никто, это верно. Искать художественные решения, писать так, чтобы произведение волновало, а не просто сообщало какие-то факты, — это целиком дело автора. Но все же и в этом тончайшем деле возможен советчик, человек, который раньше автора, каким-то шестым или седьмым чувством почувствовал — что же скрыто в предлагаемой теме, существует ли тот, иногда единственный, драматический поворот, который вдохнет в нее жизнь.

Таким советчиком был Адриан Пиотровский. О нем, о его роли в советском кинематографе, несомненно, напишут много, подробно. Здесь же я хочу просто сказать: не будь Пиотровского, не было бы ни фильма «Депутат Балтики» (кстати, название это дал фильму также Адриан Иванович), ни пьесы «Беспокойная старость» (первое, авторское заглавие сценария). Вот почему в моей памяти они — Тимирязев и Пиотровский — навсегда связаны вместе, хотя Тимирязева ко времени начала работы пятнадцать лет как не было в живых, а вскоре после выхода картины на экран не стало и Пиотровского, и я так и не узнал, как ему пришло в голову: «Тимирязев и Октябрьская революция — это же прекрасно для фильма!» Дар предвидения часто и прежде позволял Пиотровскому в зерне темы угадать ростки образов, идей, событий. Произошло это и на сей раз.

Забегая вперед, скажу, что Пиотровский не внушал мне, какой Тимирязев хороший, какой он великий, как много значил его пример для русской интеллигенции, сколько в этом подвиге ума, мужества, сердца. Дело Пиотровского было подсказать тему, в которой все это заключалось и могло быть обнаружено автором. Автору он доверял: сам будет виноват, если ни черта не увидит, — значит, нечего с ним и связываться. И я в сентябре пришел к Пиотровскому уже с написанным либретто сценария, ни разу до этого с ним не встретившись, даже не побывав на кинофабрике.

Но об этом, повторяю, как и о самом Пиотровском, главная речь впереди, а пока... пока я «привык» к подсказанной теме раньше, чем сколько-нибудь детально

ознакомился с материалом. Впрочем, знакомство проходило тоже в ускоренных, как бы подхлестнутых темпах. В библиотеке ОГИЗа, помещавшейся в четвертом этаже Дома книги на Невском, я быстро и к немалому своему изумлению выяснил, что не существует не только собрания сочинений Климента Аркадьевича Тимирязева (оно начало выходить в 1937 году, уже после рождения фильма), не только серьезных исследовательских работ о нем, но хотя бы краткого биографического очерка. Правда, к пятнадцатилетию со дня его смерти, в апреле 1935 года, в «Известиях» была напечатана талантливая публицистическая статья В. Сафонова с великолепным эпиграфом из Гёте: «Гений — это идея молодости, развитая зрелым возрастом», — подозреваю, что она-то и надоумила Пиотровского.

Что касается сочинений самого Тимирязева, то к тому времени было издано (до революции и после) пять или шесть его книг: «Солнце, жизнь и хлорофилл», «Жизнь растения», «Чарлз Дарвин и его учение», «Земледелие и физиология растений» и сборник статей «Наука и демократия». Все эти книги, особенно последняя, вышедшая за месяц до смерти ученого, оказались написанными с таким блеском, что, еще не решив, братья ли мне за сценарий, я захотел иметь их в своей личной библиотеке. Сборник «Наука и демократия» поразительно точно передавал атмосферу тех лет (разных лет, но, что важнее всего для меня, — и революционных), когда составляющие его статьи писались. У меня не было никаких надежд приобрести эту книгу, изданную — по условиям времени — крохотным тиражом, но все-таки я предпринял обход букинистов.

Выйдя из дому (я жил на Васильевском острове) и дойдя до угла 7-й линии и Среднего проспекта (там теперь станция метро), я в раздумье остановился: в полуподвальном низке помещался небольшой магазин «Старой книги». Стоит ли заходить? Ведь главные букинисты находятся на Литейном и на Петроградской стороне, туда и следует, не теряя времени, отправляться. На всякий случай я все же спустился в прохладный низок и привычно-хищным взглядом окинул теснившиеся вдоль стен стеллажи.

Клянусь, я не суеверен, но найти нужную, редкую книгу сразу же по соседству с домом, войти в магазин

и увидеть искомый корешок на уровне глаз против двери — как хотите, но всякий книголюб и книгочей согласится со мной: это вещей признак! Я заплатил букинисту два с полтиной и благоговейно унес домой пухлую книгу в выгоревшей, побуревшей обложке, на которой помимо заглавия и имени автора — «Действительного Члена Социалистической Академии Общественных Наук» (что было указано не случайно, ибо подчеркивало, что К. А. Тимирязев не состоял членом Императорской Академии наук) — имелась рамка в духе графической моды тех лет и своеобразный герб, состоящий из изображения спектроскопа на трехногом деревянном столике, перекрещенного серпом и молотом и окруженного колосьями, цветами и ягодами.

Я подробно описал этот малозначительный эпизод, потому что он-то для меня и явился настоящим, твердым началом последовавшей затем двухгодичной работы. С этой минуты я «вполз» в продолжающуюся до сих пор дружбу с кинематографом, прерывавшуюся иногда свирепыми ссорами, которые побудили меня однажды написать о своей работе в кино статью, озаглавленную «Дневник сумасшедшего» и начинавшуюся следующей мрачной метафорой:

«Большинство помешанных с пеной на губах утверждает, что они здоровы. Действительно выздоровевшие с ужасом вспоминают о днях безумия. И лишь хроникеры, заживо похороненные в стенах желтого дома, в те редкие часы и минуты, когда у них являются проблески сознания, говорят с тихой, безнадежной улыбкой, что, видно, уж они до конца своих дней останутся здесь, с ними нельзя ничего поделать... Если следовать этой странной на первый взгляд аналогии, говоря о писателях, работающих в кино, то я буду вынужден отнести себя к последней категории. По-видимому, я хроник...»

Но в тот первый «медовый» год я с легким сердцем забросил повесть, решительно отказался от поездки в Среднюю Азию и с головой погрузился в общение со своим героем, который сперва так и назывался бесхитростно — Тимирязев, потом стал Изборским (как в рассказе «С двух сторон» назвал Тимирязева В. Г. Короленко) и наконец превратился в Полежаева.

За летние месяцы работа над сценарием успела претерпеть немало этапов. Были прочитаны все доступные для меня в то время сочинения Тимирязева, а также биографии других ученых, его друзей и сверстников; с огромным интересом читались работы Ленина, относящиеся к годам действия будущего фильма. Выходившее в тридцатые годы третье издание сочинений В. И. Ленина было ценно, кроме всего, обильными комментариями и различными материалами, приложенными к каждому тому. Так, например, правительственные приказы и постановления 1917—1918 годов позволили ввести в сценарий точно документированные эпизоды борьбы с саботажем и мародерством, характерные для первых месяцев существования советского государства,— в свое время они не могли не впечатлить (впечатлить по-разному!) Тимирязева и его коллег.

Настала пора, не прекращая знакомства с новыми материалами, садиться за сценарий. Как ни странно, раньше чем вплотную заняться главным героем, я начал думать о другом человеке, о котором я пока ничего не знал, но с которым мой герой непременно должен столкнуться. Будет ли это совсем посторонний, чужой ему человек или, напротив, человек близкий, даже любимый и любящий, но чуждых взглядов, пытающийся помешать Тимирязеву, активно с ним борющийся? Что сильнее, что лучше? Конечно, сильнее и эффективнее в этом смысле в сценарии будет человек близкий — так вышло и по законам эстетики Аристотеля!

Многие причины продиктовали перенос действия из Москвы в Петроград, кстати, гораздо более мне знакомый и близкий. Тем более что время действия уплотнилось, и звонок Ленина (заменивший и в фильме и в пьесе известное его письмо Тимирязеву) был естественнее в Петрограде, откуда правительство переехало в Москву только в марте 1918 года.

Постепенно сделалась неизбежной замена и самого Тимирязева вымышленным лицом. Сыграли тут роль и некоторые физические особенности Климента Аркадьевича, обойти которые было невозможно, если сохранить его подлинное имя,— например, заметная хромота, затруднявшая ходьбу и оставшаяся от паралича, разбившего Тимирязева в 1911 году, когда действия министра Кассо вынудили его покинуть университет.

Но независимо от того, назвал бы я своего героя Тимирязевым или нет, мне нужно было решить один важный вопрос: что привело человека самых мирных на свете занятий к признанию и поддержке пролетарской диктатуры? Вопрос этот не столь уж наивен. Я не раз задавал его себе и другим, когда еще были живы многие современники Тимирязева, живы его жена и сын, и почти никто не мог ясно и вразумительно ответить. Иные пожимали плечами: «Ну, это произошло само собой», другие туманно намекали: «Видите ли, Климент Аркадьевич был такой увлекающийся человек...» Очевидно, характеры, убеждения и склонности людей даже одной профессии настолько различны, что многие коллеги Климента Аркадьевича так и не могли его до конца разгадать.

Между тем, хотя деятельность Тимирязева необычайно разнообразна, вся она подчинена одной руководящей идее, не проследив которую от истоков, нельзя понять и должным образом оценить финал его жизни. Попробуем вспомнить самое характерное.

Страстная пропаганда дарвинизма; блестящие лекции по ботанике с выразительными и оригинальными опытами (Андрей Белый вспоминает, как влетал Тимирязев в аудиторию с арбузом под мышкой: это была демонстрация клеточки, редкий пример, что ее можно видеть невооруженным глазом,— профессор резал арбуз на кусочки, пускал их для обозрения по рядам, а потом студенты съедали их); знаменитые чтения в Политехническом музее; интерес к проблемам будущего социалистического земледелия — задолго до социалистической революции; деятельное сочувствие студенческим волнениям в годы царизма и демонстративный, в пику начальству, уход из университета; борьба с идеалистической реакцией в естествознании, навлекшая на него упреки в «консерватизме»; пристальное внимание к каждому новому слову в науке, в частности к электронной теории в физике; увлекательные очерки о самых животрепещущих вопросах современного знания, десятки статей и заметок о биологии и биологах в редактируемом им Энциклопедическом словаре Бр. Гранат; трогательная любовь к литературе, к яркому и понятному всем художественному слову (любимым поэтом Тимирязева был Некрасов, а декадентство он называл «искусст-

вом позолоченного мешанства»); дружеская переписка с Горьким и близкое участие в руководимом Горьким журнале «Летопись»...

Даже свои исследования хлорофилла и фотосинтеза он старался облечь в наглядные, общедоступные формы и тоже сделать народным достоянием. Интересно, что результат своих чисто научных наблюдений в области спектрального анализа углеродистых веществ он с успехом применил позже для художественного агитационного образа в статье «Красное знамя». Старый шестидесятник и поэт науки увидел особый смысл в том, что трудовые массы избрали символом своей творческой силы красный цвет: он давно и упорно доказывал, что именно красные волны лучистой энергии солнца производят ту химическую работу в растении, благодаря которой возникает возможность жизни на земле.

В отдельности каждое из занятий и пристрастий Тимирязева, быть может, не столь уж необычно и мало чем отличается от занятий и увлечений других естественников. Но все это вместе выросло в последовательную и принципиальную систему, что и давало повод ревнителям «чистой науки» заявлять: «Какой Тимирязев ученый! Он популяризатор... Будь он настоящим ученым, он сидел бы в своем кабинете, а не выступал на подмостках». (Подмостками они презрительно именовали кафедру Политехнического музея, собиравшую вокруг себя в дни тимирязевских чтений огромную аудиторию.)

Но Тимирязев по-своему понимал ответственность науки перед обществом. «Представители науки,— говорил он,— если они желают, чтобы она пользовалась сочувствием и поддержкой общества, не должны забывать, что они — слуги этого общества, что они должны от времени до времени выступать перед ним, как перед доверителем, которому они обязаны отчетом».

Кроме сознания гражданского долга Тимирязевым владело еще то чувство, которое движет художником и поэтом. Он органически не мог оставаться один на один с тем, что его переполняло. Ему непременно нужно было бескорыстно делиться радостью, получаемой им от науки,— делиться со всеми. Его демократизм был врожденный, так же как демократизм народного поэта. Недаром он с юности любил повторять некрасовские

слова: «Эх, эх, придет ли времечко, когда (приди, желанное!) . . . когда мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет? . . .»

Как же мог Тимирязев не принять, не приветствовать новую власть, видя, что она с первого дня старается осуществить то, что он называл прежде «мечтой старого идеалиста», а теперь называлось — «знание в массы»! В этом-то, на мой взгляд, и был «секрет» его прихода к большевикам, — именно эта красная нить привела его в красный лагерь.

Возможно, что я преувеличиваю значение для Тимирязева этой стороны революции. Мне могут возразить: а как же сотни других культуртрегеров — ученых, писателей, тоже преданных просветительным идеям? Почему они оказались по ту сторону баррикады или отсиживались в тоске и сомнениях? Ну что ж, скажу я, значит, Климент Тимирязев оказался последовательнее их, прозорливей, а кроме того — что тоже немаловажно, — сумел пренебречь неудобствами и лишениями, которые принесла революция для него и для большинства городской интеллигенции.

Правда, сегодня молодежи, наверно, труднее представить себе, как это и почему человек мог отвергнуть Октябрьскую революцию! Причем не буржуй, не сановник, не черносотенец, а вполне прогрессивный интеллигент, либерал, радикал, нередко помогавший, чем мог, революционерам. Но вот грянул большевистский переворот — и куда исчезли передовые симпатии прекрасногодушного либерала и бесшабашного радикала!

Александр Блок писал в дневнике: «О, сволочь, родимая сволочь!.. Если бы это — банкиры, чиновники, буржуа? А ведь это интеллигенция! Или и д у х о в н ы е ценности буржуазны? Ваши — да».

Блок хорошо знал свою духовную среду. Вскоре, в том же 1918 году, когда он написал поэму «Двенадцать», с ним порвали почти все недавние друзья, — что уж тут говорить о недругах. Его называли «предателем», «рenegатом», «словоблудом» . . .

До чего это похоже на то, что произошло с Тимирязевым! Новоявленные его враги прозвали его «Ванькой-Каином». Больше оскорбление трудно было нанести. Напомню: Ванька-Каин был знаменитый в XVIII веке разбойник и душегуб, добровольно отдавшийся в руки

полиции и ставший сыщиком и доносчиком. У кого-то в ученom мире хватило подлости сказать такое о Тимирязеве, натуре необыкновенно искренней, о ком правдивейший и честнейший Короленко, когда-то студент Петровско-Разумовской академии, писал сорок лет спустя: «Я вынес воспоминание о Вас, как один из самых дорогих и светлых образов моей юности». И дальше в том же письме: «Для меня Вы и теперь учитель в лучшем смысле слова».

Далекий от всякой политики поэт-символист Андрей Белый, тоже слушавший в молодости лекции Тимирязева, признавался потом, после смерти Климента Аркадьевича, что анатомия и физиология растений были ему чужды и ходил он на эти лекции с единственной целью — увидеть «прекрасного, одушевленного человека». И в другом месте своих воспоминаний: «Поражала в Клименте Аркадьевиче очень яркая сердечность порыва, соединенная с огромной культурой».

Должен сказать, что эти слова Белого служили мне камертоном для всего поведения моего героя. Мне казалось, что я нарушил бы его цельный характер, если хотя бы в одном эпизоде, даже самом трагическом, не проявились бы отмеченные Белым душевные свойства. Так, в день рождения, когда друзья демонстративно не пришли, Полежаев с женой садятся за рояль, чтобы прогнать обиду, тоску, обмануть себя и друг друга: они, мол, спокойны и счастливы. У жены околели от холода пальцы, он бежит принести ей шаль. Воспользовавшись секундной разлукой, чтобы украдкой вытереть слезы, Полежаев возвращается оживленный и улыбающийся; но этого мало: он успел накинуть на себя мантию доктора Кембриджского университета, ту, что во время обыска приняли за архиерейскую, и надеть кокетливо, набок широкий суконный берет... Цель достигнута, жена повеселела; но Полежаеву и этого мало: через минуту он наденет валенки, ватник, подпоясается веревкой, вооружится топором и бодро, под звуки рояля, пойдет в подвал за дровами. И это не наигрыш, это все та же «яркая сердечность порыва».

Кстати, лирическая окраска этого эпизода родилась из очень любимого мною стихотворения Блока «Мы забыты, одни на земле». Его строки звучали для меня

непрестанно, пока я писал одиночество Полежаевых, особенно место, когда Полежаев, желая помочь жене, которой мешают слезы, сам берется вдеть нитку в иголку:

Но когда ты моложе была,
И шелка ты поярче брала,
И ходила игла побыстрей.
Так возьми ж и теперь попестрей,
Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу,
Побеждал пестротой эту мглу...

Кажется, никому, в том числе и режиссерам, я тогда не рассказывал об истоках этой маленькой сценки. Но нам было не до выяснения корней тех или иных подробностей своей работы. Было слишком много других, более насущных задач.

Одна из трудностей заключалась в том, что действие в фильме охватывало всего несколько дней 1917 и 1918 годов,— как при этом дать понять зрителю об остальных семидесяти годах жизни Тимирязева? Неважно, что наш герой именовался теперь Полежаевым: основа в нем обязана быть тимирязевская, иначе грош цена всем надстройкам и домыслам... Где его неподкупное прошлое? Где его любимая наука? Где дружба с Сеченовым, Мечниковым, Лебедевым? Где встреча с великим старцем Дарвином? Где собственный триумф на международных конгрессах? Где сражения с царскими чиновниками и министрами? Где чтения для народа? Ничего этого в фильме не покажешь, и это порой приводило меня в отчаяние. С трудом находились приемы для того, чтобы, не выходя из рамок сюжета и единства времени, показать ученого в человеке и человека в ученом. Приведу два примера.

В своей речи в финале Полежаев напутствует идущих на бой с Юденичем делегатов Петросовета: «До свидания, красные воины! А ведь красный цвет непобедим — это не только цвет крови, это единственный животворящий цвет в природе, наполняющий жизнью побеги растений, согревающий всё... До свидания!» Так в гражданскую, почти митинговую речь вдруг вошла заветная мысль ученого о том, что красный цвет — самый активный цвет спектра; так неожиданно завершился стародавний спор с учеными оппонентами...

Другой пример. Матрос Куприянов, находясь под

впечатлением лекции Полежаева на корабле и заметив, что, поднимаясь по лестнице, тот тяжело дышит, сочувственно спрашивает:

— А что, деревья тоже дышат?

— Дышат листьями,— отвечает профессор, забывая в этот момент о своей одышке.

Мне хотелось, чтобы в этих двух фразах, кроме человеческой теплоты и заботы, была видна еще и любовь к природе, какую умел внушать своим слушателям Тимирязев в любой аудитории.

Не все, далеко не все шло гладко, умильно-сладостно, на сплошном вдохновении. Так не бывает, тем более что кинематограф не литература, где автор сражается в основном с самим собой: кино — дело коллективное, требующее индивидуальных жертв и соборных споров. Настал момент, — такой момент настаивал потом не однажды! — когда сценарий попал на кинофабрику. И кто знает, что с ним стало бы, повторяю, если бы на «Ленфильме» не было Пиотровского.

Да, «Ленфильм» назывался тогда еще кинофабрикой, а не киностудией. Кабинет худрука тоже не был похож на сегодняшние студийные апартаменты, обставленные в модерновом стиле... Огромная мрачноватая комната. Всего два окна, почти всегда горят лампочки под потолком и на стенах. Стены темные, стулья старые, канцелярские. Нет крытого щегольским сукном или полированного стола для заседаний, каждый ставит свой стул где хочет. Все придвигаются ближе к хозяину, который с непринужденной, я бы сказал, античной простотой (в «миру» он прирожденный филолог, переводчик Катулла и Аристофана) возвышается над письменным столом монументальной формы и старомодного вида. Стол не завален бумагами, не загроможден телефонами, лишь перед Адрианом Ивановичем лежит листок, где он кратко, одним-двумя словами что-то иногда отмечает, пока говорят другие.

Худрук кинофабрики меньше всего напоминал кинематографического босса, продюсера, инженера живых теней, в нем не было решительно ничего от индустрии. И все же именно здесь, в этом безличном и неудобном кабинете, сидя в скрипучем кресле, он почему-то ассоциировался для меня с генератором: внешне спокоен, статичен, а внутри вырабатывается гигантская энергия. Ве-

роятно, теперь пришло бы на ум сравнение с атомным реактором!

Пиотровский сидел и молчал, сидел и слушал, а от него исходили токи, которые сразу передавались присутствующим, всех возбуждали, заставляли усиленно напрягать свои умственные способности. Атмосфера была так наэлектризована, что в воздухе пахло, казалось, не табаком, как на большинстве заседаний, а озоном, как это бывает в помещениях, где работают электрические машины!

Вместе с тем эта комната была полностью раскрепована от диктата, от всякого проявления власти или гнетущего авторитета, хотя каждый отлично понимал, что имеет дело с хозяином мысли. Конечно, последнее решение было всегда за Пиотровским, но нас подкупало, что он удивительно умел слушать, когда вокруг него говорили и спорили. Слушал не осуждающе, не снисходительно, наоборот — поощряюще, но странная вещь: самоупоенной болтовни, часто свойственной заседаниям подобного рода, при нем тоже не было. Говорили свободно, откровенно, но даже профессиональные краснобаи не растекались в словоизвержениях, были максимально собранны. Все с нетерпением ждали, что скажет наконец этот терпеливо молчащий человек с крупно вылепленной красивой головой, с темными, слегка косящими глазами. Никто не сомневался, что его слово будет и новым, и неожиданным, и вберет в себя все, что до него было сказано ценного, и отбросит чепуху, бредни, вообще поднимет разговор на высший уровень.

Хотя многих спорщиков и проектантов в итоге постигал разгром, ни у кого не опускались руки, не появлялось ощущение, что он подавлен, раздавлен, обижен, оскорблен,— известно, до чего мнительны и самолюбивы работники художественного фронта, как легко их ввергнуть в уныние. В словесных битвах нередко участвовали самобытные, оригинальные художники, но и они почему-то не испытывали горького чувства, когда Адриан Иванович чуть ли не до основания разрушал столь милую им постройку и предлагал возвести на ее месте новую, относилось ли это к отдельному эпизоду или ко всей композиции в целом, к одному образу или к стилю всей вещи. Покоряло художественное бескорыстие Пиотров-

ского и напор его артистического темперамента. Если надо, не останавливаясь перед самыми дерзкими переделками, радикальными изменениями в замысле, которых обычно страшатся все авторы, он уверенно шел вперед, отчетливо видя перед собой идеальный результат (которого мы пока еще не видели), и эта превосходная убежденность, граничившая с визионерством, действовала безотказно.

В первоначальных набросках сценария были лишние персонажи, побочные сюжетные линии, стремившиеся порой вылезть на первый план, занять много места. Так, долгое время по страницам сценария мыкалась профессорская дочка. Появилась она отчасти из-за того, что автор боялся оставить зрителей будущего фильма без молодой женской роли (своеобразный «хвостизм» начинающего кинематографиста!), отчасти же — и это, пожалуй, главное — из-за авторского желания как можно больше драматизировать положение, в котором оказался Полежаев, сделать его одиночество еще более полным и горьким: от него уходит не только близкий ученик, но и родная дочь. Передовую курсистку отшатнул от отца тот же самый октябрьский ветер, который его увлек за собой; сыграло роль и влияние Воробьева, которого она любит или воображает, что любит. Но с приездом Бочарова в ее настроении совершается перелом, и по первому снегу, по декабрьскому Питеру Бочаров привозит ее на салазках (едва оправившуюся после простуды) в родительский дом... Все это было складно и довольно поэтично, как мне казалось, изложено, но на деле отдавало нестерпимой традицией и лирико-драматическим штампом. Удивительно, как это Адриан Иванович долго терпел мою Зою — лишь весной 1936 года она, как Снегурка, бесследно растаяла. Сперва я еще намеревался восстановить ее в пьесе, и в первой картине, действие которой происходит еще до событий фильма, в 1916 году, Зоя присутствовала, но затем улетучилась и отсюда.

Второй случай был в ином роде: персонаж не исчез, а трансформировался. Когда в ту же весну мы с И. Хейфицем и А. Зябки трудились над завершением сценария, в какой-то момент работа застопорилась, даже пошла вспять: многое становилось мельче, обыденнее (бытовала всю вещь и существовавшая еще Зоя),

важные мысли не получали пластического решения. Что делать? Возвращаться к первооснове, восстанавливать вычеркнутое, в чем-то наивное, а в чем-то дразнившее воображение? Пиотровский решил по-иному, по-революционному.

В первых вариантах сценария эксцентричный и аполитичный ученый Бочаров приезжал из Казани в Петроград в разгар октябрьских событий и мирно засыпал перед дверью профессора Полежаева, постеснявшись стучать в дверь, поскольку электричества не было и звонок не звонил. И вот такого-то чудака Пиотровский рекомендовал в партию! Пусть будет большевиком и пусть явится к профессору не из Казани, а прямо с фронта, куда его, предположим, год назад отправили царские власти за участие в студенческих беспорядках и агитацию среди матросов. Но при этом по-прежнему останется учеником Полежаева. . .

Поразительное действие произвел в моем камерном сценарии этот новый «фермент», внесенный, казалось, весьма произвольно. Сценарий сразу стал набирать необходимую для изображения той бурной эпохи взрывную силу и масштабность. Родились новые эпизоды — в Смольном, в Петросовете; у Бочарова завязались близкие отношения с Лениным и с матросом Куприяновым, а сам Бочаров, отлично сыгранный в фильме Борисом Ливановым, настолько «забыл» о своей былой беспартийности, что в первой же картине пьесы легко и естественно шагнул в 1916 год: его арестовали как раз на той лестнице, перед полежаевской дверью, «чтобы не беспокоить профессора». . .

И тут я хочу немного отвлечься от Тимирязева и Полежаева и рассказать о другой работе, которую мне поручил Пиотровский в те месяцы, когда снимался «Депутат Балтики».

Начну с того, что однажды летом, придя со службы домой, моя жена в изумлении застыла на пороге: комната была полна незнакомых людей. На стульях, частично занятых у соседей, на диване, на подоконниках сидело человек двадцать пять, у каждого в руках была кружка пива, почти все были уже немолоды, большинство обладало порядочными усами, но главное, что объединяло всех и больше всего поразило мою жену, это их единообразная форма. Все в черных тужурках с синими

кантами и с молоточками на петлицах — двадцать пять железнодорожников! Так как на улице и в комнате было тепло, то некоторые из гостей позволили себе расстегнуть форменные тужурки. Все усердно дымили папиросами и трубками и неспешно прихлебывали пиво.

Дело объяснялось просто. «Ленфильм» заказал мне сценарий железнодорожной комедии и организовал у меня на дому, в обстановке как можно более далекой от служебной казенщины, встречу-беседу со старыми железнодорожниками — машинистами, кондукторами, диспетчерами, дежурными по станции. Потом я встречался с этими людьми на их работе, ездил на паровозе, сидел рядом с ними на дневных и ночных дежурствах, нервничал в часы перегрузок, когда прибывают и уходят десятки дальних и дачных поездов и не хватает путей или когда нужно товарный тяжелогрузный состав пропустить вперед, не задерживая вместе с тем пассажирский.

Откуда возникла мысль о сценарии на таком далеком от «Депутата Балтики» материале, да еще к тому же в комедийном жанре? Как-то я рассказал Адриану Ивановичу, что провел детство не в Ленинграде, а в маленьком уездном городке, где единственным признаком урбанизма была железная дорога и любимой прогулкой горожан было посещение станции. Даже коза, наша кормилица-поилица в 1919 году, привычно бегала каждый день на вокзал и шныряла под вагонами, потому, что мы купили козу у станционного сторожа. Немало я покатался на тормозных площадках маневрирующих «товарняков», и меня нещадно сгоняли с них точно такие же усатые кондуктора, каких через полтора десятка лет я угощал на встрече-беседе «жигулевским» пивом.

Рассеянно выслушав мой беглый рассказ, Пиотровский не подал и виду, что заинтересовался, как вдруг через месяц вызвал меня на кинофабрику: «Пишите сценарий о железнодорожниках. Разумеется, не о детстве, а о сегодняшнем дне. Идет?» Тут же намечены были режиссеры будущей картины — Э. П. Гарин и Х. А. Локшина — и исполнитель главной роли — Эраст Гарин. Вот с этой-то ролью и произошел непредвиденный казус.

Мне казалось, что я придумал для характера машиниста великолепное противоречие: медлительного, за-

думчивого, меланхолического Антошу Цветкова гонят с транспорта за лихачество! Правда, меня немножко огорчало, что я не нашел в истории транспорта ни намека на подобный случай: уж лихач, так лихач, ничуть не похож на Бестера Китона. Но с другой стороны, успокаивал я себя, я пишу эксцентрическую комедию, мне позволены любые отступления от ползучей эмпирики...

Зато я нашел нечто общее у двух женщин, с которыми познакомился в это лето: у молодого диспетчера Соколовой, работающей на линии Ленинград—Москва, и актрисы Зои Федоровой, намеченной режиссерами для исполнения этой роли. Что ж, думал я, если кипучая Зоя однажды выпала (слава богу, благополучно) из плохо закрытой дверцы автомобиля, то пусть она же и прыгнет на всем ходу поезда на последнюю тормозную площадку, как это происходит в сценарии. Это вполне в ее характере.

Настал день обсуждения сценария. Читая его вслух, я старательно подчеркивал соответствующими интонациями наиболее удавшиеся (как я полагал) места, где действует и говорит мой герой Антоша Цветков. Я даже пытался свой голос сделать похожим на гаринский,— сомневаюсь, удалось ли мне это хоть на йоту... Когда выразительное чтение закончилось, редакторы принялись обсуждать сценарий, как обычно вяло ища в нем достоинства и пылко находя недостатки. Адриан Пиотровский, как всегда не вступая в спор, терпеливо молчал.

Наконец все выговорились, устали, умолкли, и Пиотровский взял слово. Оно было кратким. Адриан Иванович пропустил мимо ушей все, о чем до него тут рассуждали и спорили,— он сказал лишь о том, что я считал основной, пусть единственной, удачей сценария.

— Похож,— сказал Пиотровский.— Очень похож. Говорит, смотрит, движется — вылитый Эраст Павлович! — Он повернулся ко мне.— Вам это очень нравится. Вы этим гордитесь. Так это же недоразумение. Неужели вы не догадались, списывая этот характер с Гарина, что Эраст Павлович просто еще не вышел из-под влияния последней сыгранной роли? Он все еще чувствует себя в меловом круге, который он очертил, исполняя Подколесина в гоголевской «Женитьбе»... Это бывает с актерами,— Адриан Иванович бросил косвенный

взгляд на Гарина, и тот, как ни странно, кивнул, хотя роль Антоши ему до этого нравилась. Потом он мне клялся, что не кивал.

— Это надо разрушить,— продолжал Пиотровский,— разрушить контрастом, а не подпадать под тот же гипноз. В роли вашего сомнамбулического Антоши Гарину не в кого перевоплощаться, нечего играть — какой же смысл ему братья за такую роль?

Конечно, я не помню точных слов, но смысл был такой, и главное — таков был окончательный приговор. Что скрывать, этот остроумный и беспощадный разбор было нелегко пережить. Хотелось опустить голову, тихо выйти и тихо исчезнуть. Надолго. Навсегда. Гарин и Локшина тоже впали в удрученное состояние: подумать только, опять все начинать сначала... да и, наверное, Пиотровский прав — чаще всего он бывает прав! Выйдя из ворот кинофабрики, мы поплелись в разные стороны, они — к себе на Пушкарскую, я — на Васильевский остров.

Но двадцать восемь лет — не возраст для пессимизма. Пока я брел, спотыкаясь, по Большому проспекту Петроградской стороны, через Тучков мост и далее, в голове уже начали пошевеливаться кое-какие живые мыслишки. В самом деле, какого черта мне показался соблазнительным парадокс — делать моего машиниста каким-то лунатиком вместо динамичного и активного существа?

— Встряхните его так, чтобы в голове зазвенело,— сказал еще Пиотровский.— Пусть прыгает с парашютом. Пусть стремится быть летчиком. Нынче тысяча девятьсот тридцать шестой год. Скорость — влечение века. И все-таки он останется паровозным машинистом, это у него в крови...

— А что делать с диспетчером Верой? — нерешительно спросил я.— Ведь ее озорной характер тоже не очень подходит для...

— А диспетчерка пусть такая, как есть,— отрезал Пиотровский.— Это же не стилизация, не манерничанье. Просто у человека такой нрав. Ладно, действуйте.

И Ненстовый Адриан (как звали его друзья) отвернулся, его уже занимали другие дела и вопросы. Впрочем, этот наш разговор вообще состоялся позднее, когда я начал сам постепенно пробиваться к верным решени-

ям. Но судьба сценария зависела уже не от нас — не от Пиотровского и не от меня. Судьба служила в большом кабинете, в Москве, в Наркомате путей сообщения. Мы возили туда злосчастный сценарий не раз и не два, и он с каждым разом становился все меньше комедией, а все больше гибридом тяжелого грузной производственной драмы и передовицы газеты «Гудок»: по страницам его принимались гулять всезнающие резонеры-начальники и зловещие инженеры-предельщики. Какое уж тут веселье! До эксцентризма ли!

Помню, если вначале, читая с эстрады крохотную сценку о том, как диспетчера на его посту обследуют психотехники, Эраст Гарин исторг из слушателей шестнадцать (!) реакций смеха — таково волшебство его чтения, — то последний раз нам довелось смеяться в приемной замнаркома, когда Гарин в расстройстве чувств надел по ошибке чужое пальто. Боже, как искренне мы веселились, когда он, сунув руку в карман, обнаружил там незнакомые папиросы! Оказалось, что и папиросы и пальто принадлежали известному композитору, который тоже ждал своей очереди в приемной, чтобы пропеть заместителю наркома путей сообщения свою новую железнодорожную песню и получить указания.

Через несколько дней я, смеясь, рассказал Пиотровскому об этом юмористическом эпизоде. Он воспринял мой рассказ безразлично, — не рассеянно даже, как это нередко бывало, когда его мысли были заняты чем-то другим, более интересным или неотложным, а именно безразлично, словно я говорю о чем-то абсолютно его не касающемся. Скоро я уяснил, что это равнодушие означало.

Я не часто встречался с Адрианом Ивановичем, но и тех незначительных наблюдений, какими я располагал, было достаточно для того, чтобы понять, что это человек сложный и страстный, отнюдь не благодушный дядюшка, склонный дарить свои художественные идеи и свое благоволение. Про него ходило множество изустных рассказов. Любили рассказывать о его рассеянности, приводили в пример анекдотические случаи. Не исключено, что большинство этих рассказов были плодом фантазии их авторов. Но, с другой стороны, легенды никогда не слагаются по поводу людей «средних», незначительных, малоинтересных. Адриан Пиотровский

во всем, во всех своих проявлениях, человеческих и художнических, был настолько личностью, человеком, ни на кого не похожим, что легенды и мифы роились вокруг него, как пчелы. . .

Бывал он и вспыльчив, и нетерпим. Во время одного из наших рабочих разговоров дверь в кабинет приоткрылась (как-то не доглядела секретарша, добрейшая, среброкудрая, всеми нами любимая Люси́ Ивановна) и в щель просунулось нахальное личико (точнее говоря, «нюхало») только еще начавшего подавать надежды, но уже развращенного похвалами, до крайности бойкого и циничного молодого артиста.

Я впервые увидел на лице Пиотровского гнев. Куда исчез его юмор, олимпийское спокойствие! Дрожа от негодования, он закричал:

— Ступайте прочь! Я вам сказал, что никогда не приму! Не показывайтесь мне на глаза!

«Нюхало» мгновенно исчезло, дверь закрылась. В кабинете на минуту воцарилось молчание. Вероятно, многие, как и я, подумали: «Какую же подлость должно было совершить это юное дарование, чтобы Пиотровский его так отшил?»

В этот год у Адриана Ивановича имелись причины мрачнеть, терять выдержку — он чувствовал, что над ним, над «Ленфильмом» сдвигаются тучи. Помню, в конце апреля я был у Адриана Ивановича дома. Мы ужинали, на столе стояла бутылка шампанского, но Пиотровский был невесел. Хозяйка дома, завлит театра, для которого я писал пьесу, предложила выпить за успешное ее окончание. Мы молча выпили, и я поехал домой. Настроение было неважное, несмотря на шампанское, но оно было бы еще хуже, если бы я знал, что это последняя встреча. Скоро Пиотровского не стало, а столь обязательный ему «Депутат Балтики» начал свой путь и той же весной был показан бойцам республиканской Испании и делегатам Конгресса мира в Лондоне.

В своей тогдашней статье для газеты я отдал должное всем участникам работы над фильмом: актеру Черкасову, оправдавшему, как я писал, «и самые робкие и самые смелые мои надежды», режиссерам Зархи и Хейфицу, как и Черкасов, сразу шагнувшим в творческую зрелость, опытному драматургу Дэлю (он же — прекрасный актер Нового ТЮЗа Любашевский), немало

помогшему нашему общему делу на одном из трудных его этапов — в реализации советов Пиотровского. Не мог я только поблагодарить самого Пиотровского, и с особым чувством сердечной признательности делаю это теперь.

...Но главная моя благодарность — все-таки Тимирязеву. Я писал тогда (пусть не покажутся мои слова выпренными): «Что главное, что поддерживало нас в работе? Увлечение героем. Мы полюбили его так, что нельзя было прожить один час без мысли о нем. Проснешься в середине ночи и сразу подумаешь с нежностью и беспокойством: «А Полежаев-то сейчас, наверно, не спит...» Конечно, это смешно и наивно, но так должно быть обязательно. Нужна молодая, запальчивая увлеченность своим героем (это не самообольщенность, не авторское самолюбование — ничего общего!), чтобы его полюбили читатель и зритель. Здесь торжествует прямая пропорциональность, и щадить себя в этой любви не приходится...»

Строками из своей давней статьи я и закончу:

«У меня было и до сих пор остается сыновнее чувство к профессору Полежаеву. Я переживал его горе и радости, с трепетом следил за каждым его шагом. Когда я писал ссору с Воробьевым, я внутренне убил этого мерзавца, бросившего рукопись в лицо моему отцу. Мне хотелось, чтобы у зрителей, особенно у молодежи, возникло похожее чувство... Можно себе представить, какую степень благодарности — не знаю, как иначе назвать это чувство, — испытываю я к Тимирязеву. Стоит произнести это имя, и сразу со мной счастливые дни, проведенные с Тимирязевым-Полежаевым. Эти дни дали мне ощущение личной встречи с Климентом Аркадьевичем, и мне иногда хочется повторить слова, сказанные Тимирязевым после посещения Дарвина: «Во всяком случае, я неповинен в том, что величайший ученый оказался в то же время и самым приветливым из людей».

Скромность Климента Аркадьевича, называвшего себя лишь одним из последователей и учеников Чарлза Дарвина, не позволила бы оставить в применении к нему самому слово «величайший», но в духе этой почти-тальной мысли я, думаю, не погрешил.



ЧЕРКАСОВ

А почти через тридцать лет после выхода фильма, в сентябре 1966 года, мне позвонили из «Литературной газеты» и попросили как можно скорее, не более чем через два часа, написать о Николае Черкасове. Я не газетчик, не журналист, быстро писать не умею, но тут я собрал все силы и написал. Не мог не написать: потому что в этот день Черкасов умер... Я знал, что он болен, очень болен, еще с весны, но смерть его меня потрясла. Потрясла вдвойне, может быть даже больше, чем если бы я был его близким другом,— всем известно, сколько у Черкасова было друзей во всех концах мира.

Так вот, считать нас близкими друзьями, приятелями — было бы преувеличением. Знакомы мы были ровно тридцать лет, оба жили в Ленинграде, довольно часто встречались — в театрах, на киностудии, на собраниях художественной интеллигенции, оживленно здоровались, обменивались приветливыми словами, шутили, иной раз беседовали,— но общались по-настоящему все-таки очень мало: буквально считанные часы за все годы... Не знаю, происходило ли это из-за моего характера, заставлявшего меня сторониться «слишком» прославившихся, знаменитых людей, или по обстоятельствам, речь о которых дальше, или просто случайно. Как ни странно, в конце его жизни мы виделись и разговаривали чаще, чем в ту четверть века, что пролегла с нашей первой встречи и изменила его и мою жизнь: он

стал великим актером, а я из прозаика сделался, кроме того, киносценаристом и драматургом.

Я сказал, что смерть Черкасова потрясла меня вдвойне. Что это значит? Прежде всего меня больно ударило именно то, о чем я только что говорил. Как же так? Умер человек, духовно мне близкий, воплотивший в кино любимый мой образ, о чем я не раз писал с благодарностью, с восхищением; с другой стороны, он тоже благодарил меня, говорил и писал о моей работе искренние, хорошие слова,— как же я мог пропустить это все мимо сердца, можно сказать, чуть не чуждался столь одаренного, интересного и расположенного ко мне человека?

Но это скорее сугубо личное, для других это не имеет никакого значения,— главное же, что я остро почувствовал наравне со всеми: свершилась большая, роковая несправедливость — ушел из жизни один из самых жизнелюбивых людей и актеров на свете. Повторяю — самых жизнелюбивых, хотя в кино и в театре ему чаще всего приходилось играть драматические и трагические роли. Правда, счастье киноактера в том, что сотни миллионов зрителей запомнили и запомнят его живым, на экране, и, если актер талантлив, очень талантлив, он имеет шанс стать бессмертным, разумеется в наших, отведенных нам мерах и сроках.

Сперва я расскажу о том, что на несколько месяцев творчески нас спаяло — меня как писателя, его как актера, вдохновенного исполнителя и творца нашего Полежаева. Подумать, как давно это было и как спрессовалось действительно в несколько месяцев, в сто напряженных рабочих дней и ночей,— сгусток объединенной воли сценаристов, режиссеров, актеров! В результате появился фильм «Депутат Балтики». Никто тогда не предполагал, что название окажется пророческим, что исполнитель заглавной роли в дальнейшем станет депутатом Верховного Совета от Ленинграда, города на Балтике.

Да, конечно же, удивителен дар Черкасова, позволивший тридцатидвухлетнему актеру с такой органической силой перевоплотиться в семидесятипятилетнего ученого. Но это было выказано уже после, в процессе работы, на съемках,— в начале же на виду было лишь маниакальное желание Черкасова сыграть эту роль и —

что скрывать — показавшаяся иным безрассудной смелостью Хейфица и Зархи, которые вдруг решились отдать ее актеру, недавно снимавшемуся у них в «Горячих дачках» в роли глуповатого дылды Кольки Лошака.

...Лето 1936 года. Самое начало лета — май. Мы с Черкасовым только что познакомились на кинофабрике и идем по Ленинграду. Прошли Кировский мост, Марсово поле, вышли на Невский. Кто кого провожает, трудно понять — такого накала наш разговор, вернее монолог моего спутника. Монолог напорист и целеустремлен: Черкасов доказывает мне и себе, что он должен играть Полежаева. Должен, обязан, может, способен! Размахивая длинными руками (которыми он так легко обнимал, точнее говоря, обвивал себя на эстраде и в кинотрюках), он доказывает это на все лады, утверждает со всей силой своего темперамента, хотя ему отлично известно, что от меня, начинающего сценариста, ровно ничего не зависит.

Впрочем, Черкасову, вероятно, всё равно, кто с ним рядом — автор или посторонний человек: такой монолог он произносил не однажды, убеждал всех, начиная с режиссеров, худрука, директора до помощника осветителя включительно. Он сам потом писал: «Когда я прочитал первую редакцию сценария «Беспокойная старость» (так назывался сценарий первоначально), то сразу же почувствовал: хочу, могу и должен играть эту роль... Я не скрывал своего желания, не дипломатничал, прямо говорил об этом. Казалось, будь я старше — я просто потребовал бы дать мне эту роль. Судом добился бы — лишь бы играть!»

До суда не дошло — Черкасов доказал свое право на деле. Что помогло ему победить? Талант? Большой талант? Несомненно. Но сказать это — значит ничего не сказать. Режиссеры пробовали на роль профессора Полежаева крупных, опытных, высокоодаренных актеров, но победа осталась за тем, кто, по его словам, «не имел заслуг». Заслуга у него была одна — талант особой природы, который можно назвать сверхспособностью к перевоплощению. Это позволило молодому актеру сыграть семидесятипятилетнего старика так, что мы ни минуты не сомневались в его возрасте, и вместе с тем каждый его жест, выражение лица, улыбка, блеск глаз, модуляция голоса — все убеждало: у этого старика душа юно-

ши. Разве не этот парадокс заключал в себе секрет победы? Будь Черкасову тогда не тридцать два года, а пятьдесят лет, возможно, одержанная победа была бы более ординарной, не восхищала, мы не увидели бы столь неожиданного очарования богато одаренной натуры профессора Полежаева, не подчинившейся душевному старению, не знающей не только умственной дряхлости, но и так называемого благоразумия, часто приходящего с возрастом.

В своей жизни Черкасов играл потом очень разных, иногда полярно не схожих людей. Достаточно назвать рассеянного добряка Паганеля — и жесточайшего из тиранов Ивана Грозного, безвольного, слабого, злобного царица Алексея — и благородного Рыцаря Печального Образа Дон Кихота, беспечного ветреника в комедии Гольдони «Лгун» — и кающегося белогвардейца, садиста и вешателя в «Беге» Булгакова, Осипа в «Ревизоре» — и Владимира Маяковского, осетинского бедняка Бету — и воспитателя нахимовцев морского офицера Левашова... Разве это не чудеса перевоплощения?

Но Черкасов обладал и великолепным умением делать разным одного и того же человека. Грусть, радость, гнев, уничтожающий сарказм, сердечная доброта, великодушие, презрение, прямота, резкость, нежность — краски могли меняться с каждой секундой емкого театрального и еще более емкого экранного времени, а зритель верил, что перед ним живой человек, которому ничто человеческое не чуждо.

Среди многих чувств и качеств артиста и создаваемых им характеров хочется особо выделить юмор. Все, кто знал Черкасова дома, среди друзей или на веселом капустнике, хорошо помнят его уморительные, молниеносно рождавшиеся импровизации. Человек играет на бильярде, играет с таким увлечением, что не замечает, как постепенно теряет руки, ноги, — все ему нипочем, он с треском забивает шары. Громовой хохот неизменно сопровождал эти эксцентрические этюды.

И в большом искусстве Черкасов виртуозно владел этим редким секретом, делающим героя близким и дорогим для миллионов зрителей. Юмор искрился в каждом слове, жесте, движении его отнюдь не комического и не легкомысленного героя. Черкасов не боялся смеха, он знал, что большой человек тем более должен обла-

дать чувством юмора, чтобы нам с ним было легко и свободно. Возможно, в этом и есть проявление того неподдельного демократизма, который пронизывал все существо Полежаева.

Наверно, не будет преувеличением сказать, что это во многом Черкасов помог превратить моего героя в полнокровного оптимиста. В сценарии Полежаев выглядел малость скучнее... А оживши на экране, Полежаев перенес свою улыбку и в пьесу: автор расхрабрился и ободрился и тем самым предоставил другим актерам возможность занять у Черкасова хотя бы часть его жизнерадостности, юношеского задора, стариковского лукавства, заразной ребячливости — всего, что у молодого Черкасова было в избытке: Играя Полежаева в спектакле, актеры часто даже не сознавали, кому они обязаны примером, а зритель... зритель, если он когда-либо видел на экране Полежаева — Черкасова, он всегда помнил и узнавал неповторимо черкасовское, и радовался, и был ему благодарен.

Что касается меня, я жалел об одном: Черкасов упорно не соглашался сыграть Полежаева в театре, хотя и Малый театр в Москве, и Пушкинский театр в Ленинграде не раз ему это предлагали. Что ж, возможно он был прав: трудно превзойти самого себя, а повторения настоящий талант не терпит.

Был прав... И все же это не могло не внести некую горечь в наши отношения. Эта горечь знакома многим драматургам, когда любимый актер, принесший им творческую радость участием в одном их произведении, вдруг отказывается играть в другом... Мой случай одновременно и более простой и более сложный: пьеса «Беспокойная старость», несмотря на все текстовые и композиционные отличия от сценария (да и действие в ней начинается еще до революции) — в каком-то смысле все же его театральный вариант. Недоумение мое росло еще и потому, что пьеса имела успех: ее играли сотни театров, сотни Полежаевых появились на сценах, но среди них не было одного, самого для меня желанного — Черкасова. Это уже потом я все понял, и принял, и психологически объяснил, а тогда обида не могла не родиться.

Усугубилась она и еще одним происшествием, хотя тут я быстро нашел виновника. В 1939 году я напи-

сал пьесу из современной жизни, имевшую несколько заглавий: «Рождение полководца», «Военная косточка», «Учитель Краев». Поскольку я был автором популярной тогда «Беспокойной старости», новая моя пьеса привлекла внимание наших крупных театров — МХАТа и Ленинградского академического театра драмы, в просторечии — Александринки, где и служил Черкасов. Пьеса эта не получила театральной судьбы, проще говоря, не была поставлена. Отчасти это произошло по причинам внешнего порядка: скоро начались две войны — финская и Великая Отечественная, которые сразу же показали наивность и искусственность основной сюжетной коллизии пьесы. Но главная причина неудачи была примитивно проста: в пьесе не было положительного персонажа, который хотя бы в подметки годился Полежаеву, — слишком уж был заметен этот контраст.

Тем более что среди второстепенных действующих лиц оказалось несколько более или менее удавшихся, живо написанных персонажей. Помню, как после чтения пьесы труппе меня обняла и поцеловала Екатерина Павловна Корчагина-Александровская (прославившаяся в 1934 году исполнением роли Клары в пьесе Афиногенова «Страх»). Для нее предназначалась роль старшей сестры моего главного героя, заменившей ему в свое время мать, старой учительницы начальных классов; о ней на учительском совете кто-то злорадно сказал: «На матушку, на матушку училась!», желая подчеркнуть, что та училась в епархиальном училище, окончив которое, ученицы по большей части выходили замуж за священников. Агния Сергеевна простодушно отвечала: «Верно, Игнат Петрович, верно: на попадью обучалась. Только вот почему-то ни один поп замуж не взял. То ли приданым не угодила, то ли красой не вышла... Так в учительницы и пошла. Надо вам сказать, теперь не жалею. Бог с ним, с попом!..» И дальше следовал монолог, из которого становилась ясна судьба всей многочисленной семьи бедного сельского дьячка.

Что говорить, Черкасову целовать меня было не за что... Рядом с Агнией роль ее брата, учителя истории и классного руководителя школьников-выпускников, выглядела весьма незавидной — резонерской и худосочной. Я только потом оценил черкасовское молчание на обсуждении пьесы. Пьесу тогда не брали, нет, ее да-

же хвалили, как это иногда тоже случается на художественных советах,— но Черкасов молчал, молчал как рыба (это при его-то темпераменте!), молчал не только на обсуждении, но не сказал мне ни слова и после. Он сразу понял, что в главном меня постигла в пьесе жестокая неудача: ему было обидно и досадно за меня и за себя, но обижать меня он не хотел.

В начале Великой Отечественной войны Черкасов читал в воинских частях Ленинградского фронта монолог Полежаева («Грудью держите, не отдавайте немцам Красный Петроград!»), заново отредактированный и отчасти дописанный Симоном Дрейденем. Я был в это время в Заполярье, на Северном фронте, и встретились мы с Черкасовым уже после войны, встретились опять в том же театре: один из нас был на сцене, другой в зрительном зале. Шел спектакль «Жизнь в цвету», в котором Черкасов играл роль Мичурина. Это был второй подступ Черкасова к теме: ученый — человек — гражданин. (Третьим была роль Жолио-Кюри, четвертым и последним — профессор Дронов.)

Я написал о спектакле «Жизнь в цвету» статью. По существу, это тоже была наша встреча, но на этот раз не его, а мой монолог, обращенный к Черкасову. Мне было и трудно и легко писать о Черкасове в этой роли. Мичурин — это не Тимирязев, хотя имена эти часто ставили рядом. Мичурин, талантливый самоучка, живущий в глубокой провинции, еще в глухие девяностые годы бросил дерзкий вызов суровой природе, задумав превратить всю страну в цветущий фруктовый сад. Если в первую — большую — часть своей жизни Мичурину приходилось бороться с житейской нуждой, суеверием, косностью, чиновничьим равнодушием, со всем тем уродливым и бесчеловечным, что отнимало лучшие силы души и молодости, то закат его жизни стал для него не вечерней, а утренней зарей: его мечты и деяния признала революция. Отсюда и перемена в его характере: жесткий и нетерпимый прежде, Мичурин начал приобретать к старости душевную мягкость и жизнерадостность.

Задача актера была трудна. Ему предстояло показать своего героя в драматической борьбе с людьми, с природой и собственным возрастом и характером, причем не в один сравнительно короткий кульминационный

момент, заранее выбранный и подготовленный автором, как это бывает обычно в пьесах, а на протяжении сорока лет, когда менялось все вокруг Мичурина и во многом менялся он сам, оставаясь лишь в главном таким, каким мы его впервые увидели. Годы, события, потери близких накладывали на него тяжкий груз, но нравственно он был негибким, и это прибавляло ему сил, чтобы жить и бороться.

Был труден для исполнения и характер Мичурина, особенно в начале пьесы. Да, он издерганный жизнью человек, но трудно поверить, чтобы раздражение и нервозность были постоянным состоянием его духа. Разве само общение с природой уже не противостоит грубости и пошлости окружавшего его мира? Актерское обаяние и юмор Черкасова заметно смягчали этот чересчур резкий и нетерпимый характер, то в нем излишне «брандовское» (из пьесы Ибсена «Бранд»), чем наделил Мичурина автор, А. П. Довженко.

Почему я так подробно здесь об этом пишу? Повторяю: это и были мои встречи с Черкасовым — не житейские, не бытовые, а творческие — в театре, в кино, в литературе. Да, и в литературе. Со временем Черкасов стал литератором: кроме «Записок актера», он написал о своих многочисленных путешествиях, а изъездил он в полном смысле весь мир. Я писал о его путевых очерках 1952 года, когда мало кто из советских людей регулярно бывал за границей. Очерки эти еще до опубликования в печати привлекли к себе внимание аудитории: в форме беседы-лекции, устных рассказов Черкасов знакомил слушателей с путевыми наблюдениями, сделанными им во время поездки в Индию, куда он был делегирован вместе с Всеволодом Пудовкиным для встречи с индийскими кинематографистами и кинозрителями.

Очерки и беседы Черкасова были привлекательны своей непосредственностью. Автор непринужденно рассказывал нам о такой далекой стране, нищей и одновременно богатой, полной социальных, национальных и политических противоречий, стране, населенной талантливым народом. Индия велика и многообразна, — ясно, что за пять недель путешествия Черкасов мог побывать лишь в небольшой ее части и повидать лишь немного из того, что хотелось узнать и увидеть, но мы, повторяю, не были тогда избалованы зарубежными впечатлениями соотече-

ственников, и то, что нам поведал Черкасов, нас живо интересовало.

Его впечатления; разумеется, не сводились к области только искусства. Куда бы он ни поехал, в каком бы городе или сельском местечке ни побывал, все, что он видел, пусть даже мельком, из окна автомобиля, на коротких привалах, прогулках по улицам, само по себе было необычным, наводило на размышления. Бездомные люди спали прямо на улице, у дороги, в садах и парках, под открытым небом. Им нечем укрыться в холодные ночи, они всегда голодны, у них нет никаких надежд на будущее. Во сколько раз больше прав и привилегий, с горьким юмором замечал Черкасов, у «священных» коров, которым все обязаны оказывать покровительство, которых не выгонят даже из оптического магазина, когда животному вздумается зайти туда и покурлесить. Жуткое впечатление производили описанные автором грифы, расклевывавшие тела мертвецов, — они как бы символизировали тех, кто клюет и терзает живое тело страны.

Не знаю, не спрашивал, как отнесся Черкасов к моему отзыву на его рукопись, ставшую потом книгой. Там были и конкретные замечания и придирки, как в любой внутрииздательской рецензии. Думаю, что не обиделся и не рассердился, поскольку вскоре позвал меня послушать наброски своих воспоминаний о Шаляпине. Можно, конечно, это объяснить так: авторское самолюбие молчало, поскольку он не был профессиональным писателем. А как обстояло дело с самолюбием актерским, говорят, еще более уязвимым?

Недавно я заглянул в книгу, которую написал о Черкасове в годы его наивысших успехов Симон Дрейден. Боже, какие там приведены хлесткие примеры того, как газетные рецензенты наперебой хвалили Черкасова даже за явные неудачи: «убедительно», «ярко», «незабываемо», «прекрасно», «с исключительным мастерством». . . Иронически подытоживая эти похвалы, Дрейден пишет: «В подавляющем большинстве печатных отзывов читателя оглушает малиновый колокольный звон, пестрит в глазах от частого восторженных восклицательных знаков». Кстати, Дрейден критически разобрал работу Черкасова над одной из прославивших его кинолент — Александра Невского в фильме С. М. Эйзен-

штейна, отметил, что здесь, по его мнению, от богатейших, но не до конца использованных возможностей актера и что от режиссерского локального замысла. Помешал ли этот объективный, трезвый анализ дружбе критика и артиста? Тут уже я свидетель: до конца жизни Черкасова они оставались близкими друзьями. Мне кажется, это хороший пример для всех нас: как надо выслушивать критику, отделять в ней «добро» от «зла», благожелательный совет от льстивой, поверхностной, сводящей в заблуждение похвалы, какой и сейчас с избытком хватает в книгах и статьях об актерах.

И еще. Иногда казалось, что режиссеры злоупотребляют творческой щедростью и зрительской популярностью Черкасова. Когда в одном историко-биографическом фильме появлялся Горький, в черном пальто, в широкополой шляпе, и играл его Черкасов, а в другом выступал вперед Стасов в поддевке и его исполнял тоже Черкасов, в какой-то момент могло почудиться, что они появлялись вместе, чуть ли не под руку, и обоих сразу исполнял Черкасов. . . Смешно? Нет, не смешно. Зритель так полюбил Черкасова, так хотел видеть его на экране, что поневоле довольствовался этими полувстречами. Что поделаешь, если драматурги и сценаристы не писали для него больших оригинальных ролей,— в этом повинен и я, если не считать моего дебюта.

Впрочем, точки пересечения наших жизней и нашей работы порой бывали самые неожиданные. Так, например, в 1952 году в самых высоких сферах решили создать шесть-семь художественных цветных фильмов о великих русских военачальниках, начиная с Александра Невского и Дмитрия Донского до Кутузова включительно. На мою долю выпало написать сценарий об Александре Невском. И я написал его, на время словно забыв о том, что четырнадцать лет назад Эйзенштейн поставил фильм об Александре Невском с Черкасовым в главной роли. Должен признаться, что в моем сценарии, опубликованном под заглавием «Кто с мечом войдет. . .», Александр Ярославич выглядел чаще дипломатом и государственным деятелем, чем полководцем, и выпущенный ранее фильм Эйзенштейна гораздо больше соответствовал задуманному позже военному циклу. Но заканчивался новый сценарий все той же древней исторической фразой: «Кто к нам с мечом войдет, от меча

и погибнет. . .» Она-то и послужила мишенью для остроумной пародии в театральном капустнике, где Черкасова изображал артист Татосов (примерно в два раза меньше его ростом), в роли не то капитана футбольной команды, не то спортивного комментатора, точно не помню, и произносил эту фразу так: «Кто к нам с мячом войдет, от мяча и погибнет! . . .» Черкасов любил и ценил остроумие, и если он не читал моего сценария (об этом я его тоже никогда не спрашивал), то уж фразу Татосова, несомненно, знал и оценил по достоинству.

Повторяю, юмор вообще никогда не покидал Черкасова. Даже во сне! Мне рассказывал один инженер, увлекавшийся рыбной ловлей, как на маленькой железнодорожной станции неподалеку от Ладожского озера глухой ночью спал на скамье охотник, одетый так, как оделся бы нынче для охоты Стива Облонский, то есть как можно хуже. Во времена Льва Толстого не было слова «гопник», но выглядел этот охотник именно так: в рваном засаленном ватнике, в надвинутой на глаза от света мятой кепке блином. К подозрительной личности подошел милиционер, потряс за плечо и внушительно произнес: «Гражданин, в станционном помещении спать нельзя». Собственно, почему нельзя — непонятно. Что и делать ночью на станции в ожидании первого утреннего поезда, как не спать? Но гражданин не стал спорить. Он молча, не открывая глаз, сунул руку под свой выдававший виды ватник и покорно протянул милиционеру. . . охотничий билет. Удивительное впечатление произвели обозначенные там фамилия и имя! Милиционер на шаг отступил, козырнул, щегольски повернулся кругом — и на цыпочках вышел из зала ожидания. А личность, засунув удостоверение за пазуху, возобновила мирный сон. Кстати, Черкасов тогда был не только депутатом Верховного Совета СССР, но еще и влиятельным и активным членом Всемирного Комитета защиты мира. . .

Кажется, в то же самое время, может быть немного раньше, ленинградские писатели встречали Новый год в новостроенной столовой Дома творчества в Комарове. Среди нас был известный театральный режиссер Илья Шлепянов с младенькими сыновьями, народный артист Вениамин Зускин, десятка два литераторов с женами и служащие и работники Дома творчества. Годы были не слишком сытные, на столах красовались в основ-

гом овощные салаты, щедро посыпанные рублеными яйцами. И вдруг, незадолго до полуночи, в зал вошли высокие, статные Евгений Мравинский и Николай Черкасов. Окинув орлиным взором столы с закусками и увидев доминирующий яичный цвет, Черкасов изрек: «Желтая жизнь!» — а затем удовлетворенно уселся на предназначенное ему место, чтобы поднять бокал за новогодье и новоселье.

Я сказал, что в последние годы его жизни мы виделись чаще, — вероятно, потому, что дача его в Комарове находилась напротив писательского Дома творчества. Он иногда стоял у своих ворот с протянутой, дрожащей рукой, изображая юродивого: ему запретили курить и он стрелял папироску у кого-нибудь из проходивших мимо курящих литераторов. Помню, он поразил меня тем, что, заставив сойти с велосипеда, свободно прошел над ним, как Гулливер, — не помешали ему ни седло, ни руль, хотя я отнюдь не маленького роста. . .

Однажды вечером, когда мы с женой и дочерью ужинали в столовой, прибежала взволнованная сестра-хозяйка и сообщила, что нас дожидается народный артист Николай Константинович Черкасов, — для нее он во всех смыслах слова был высокий гость. Когда мы пришли в свою комнату, Черкасов сидел уже там. . .

Это, пожалуй, была наша последняя встреча. Помню, он с юмором и вместе с тем с увлечением рассказывал, как его попросили выступить у художников. Хотя он и привык к выступлениям и речам, но тут призадумался: все же люди другого искусства, — что им сказать? Придумал. Вернее, вспомнил один подходящий случай. Кажется, недурно. Такого наверняка им никто еще не говорил.

— Товарищи художники! — сказал им Черкасов. — Был я на Дрезденской выставке. . . очевидно, как были и вы. Не знаю, как вам, а мне посчастливилось наблюдать такой эпизод: у знаменитой картины Рафаэля «Сикстинская мадонна» толпилось, как всегда, много людей, но среди них я заметил — группу слепых. . . Да, да, это были слепые, но на их лицах я увидел отблеск восторга. Они так много знали и слышали об этой прекрасной картине, что, стоя подле нее, испытывали те же чувства, что и мы, зрячие. . . Не скрою, меня это взволновало до слез! — Рассказывая это нам, Черкасов на

секунду замолчал и нахмурился; должно быть, подумал, что мы можем принять его слова за риторiku или за преувеличение.

— Словом, закончил я свое выступление так,— отрывисто сказал Черкасов:— Пишите же, товарищи художники, свои картины так, чтобы даже слепые, будучи слышаны о них от зрячих, могли интуитивно, в своем воображении, ощутить силу вашего искусства! . .

В комнате наступила тишина. Я понял, почему она наступила: моя жена и дочь, зная меня, боялись, что я не удержусь от иронического замечания. И я действительно не удержался. До сих пор не могу себе простить, что в такой момент я сказал:

— Знаешь, Коля, а ведь это идея! На выставки современной живописи водить слепых, на концерты новой музыки приглашать глухих. . . а на собрания звать глухонемых! . .

Черкасов вежливо улыбнулся моей не слишком уместной шутке, но нить беседы, ее естественность, откровенность, непринужденность были безвозвратно утеряны.

После этого мы очень долго не виделись. И вдруг в моей городской квартире раздался телефонный звонок. Звонил Черкасов. Он сказал, что сегодня вечером едет в Москву—пробоваться на роль Каренина в фильме нашего старого товарища Александра Зархи. Голос его звенел, в нем чувствовалось волнение: сыграть Каренина—после Хмелева! . . Я поздравил его, пожелал успеха, был тронут его звонком, но про себя подумал, подсчитав годы, что, конечно же, тридцатилетнему Черкасову было во много раз легче сыграть семидесятилетнему Полежаеву, чем ему же в шестьдесят лет сыграть сорокалетнему Каренину,—кино в этом отношении жестоко. Так и произошло: Каренина Черкасову сыграть не пришлось.

...Жизнь любит шутить. Иногда это шутки веселые, иногда мрачные, иногда исполнены символического, философского смысла. Разве не удивительно, что перед самым финалом своей жизни Черкасов сыграл академика Дронова в пьесе и фильме, которые назывались «Все остается людям»? Совпадение настолько многозначительно и эффектно, что никто из критиков, театроведов,

биографов Черкасова не утерпел, чтобы это обстоятельство не подчеркнуть.

Я не исключение из общего правила, тем более что рождение кинокартины происходило у меня на глазах, на «Ленфильме», куда я пришел тридцать пять лет назад, через год познакомился с Черкасовым, полюбил его и любил всегда, сквозь все то парадное, все те доспехи, которые на него порой надевало время и люди. Подчас ему приходилось рядиться в чуждые его человеческому, полнокровному, душевно-прелестному искусству пышные бармы и хладные латы, но и они не могли закрыть наглухо его чуткого сердца артиста. Это чуткое, доброе, пылкое, без устали бившееся до конца сердце он и оставил людям в своих лучших ролях.

1966



ВЕЧЕР В «МОСКВЕ»

В 1946 году, в конце февраля, мы с женой приехали в Москву. Художественный театр собирался ставить инсценировку «Униженных и оскорбленных». Первые дни были насыщены деловыми переговорами с завлитом МХАТа В. Я. Виленкиным, с режиссерами будущего спектакля В. Я. Станицыным и Г. Г. Конским (кстати, по не зависящим от меня и от театра причинам спектакль не осуществился, и пьеса увидела свет лишь в 1956 году, в других театрах).

На третий или четвертый день, ровно в девять утра, в номере гостиницы зазвонил телефон. Я не был уверен, что в такой час кому-то всерьез понадобился, но телефон звонил и звонил, и сонной рукой я снял трубку.

— Слушаю,— сказал я не очень приветливо.

— Леонид Николаевич? — услышал я чей-то знакомый и незнакомый голос.— Здравствуйте... С вами говорит Игорь Владимирович Ильинский. Я вас не разбудил?

— Нет, нет, что вы!..— Мой бодрый голос не лгал: сна не было и в помине.— Здравствуйте, Игорь Владимирович!

— Я боялся, что не застаю, и позвонил пораньше...

Дальше мой собеседник пояснил, что живет близко, в той же гостинице... («В гостинице? Коренной москвич? Странно». Хотя во время войны многие коренные

москвичи жили в гостиницах.) и у него есть предложение — встретиться.

— Хотите — у меня, хотите — у вас. . .

Словом, мы сговорились, и вечером Игорь Владимирович пришел к нам в номер.

А теперь довольно длинное отступление. Прежде всего я никогда раньше не встречался с Ильинским. Из бывших мейерхольдовцев я был знаком лишь с Эрастом Гариным и Х. А. Локшиной — в 1936 году мы, как я уже говорил, всю зиму работали вместе над киносценарием, — а в 1939 году познакомился и с самим Мейерхольдом, на репетиции которого в Ленинградском театре Акдрамы, возобновлявшем лермонтовский «Маскарад», мы ходили с женой каждый день, как на службу и как на праздник. Что касается Игоря Ильинского, то со студенческих лет он был для меня не просто любимым, а нежно любимым, пожалуй, любимейшим актером. Начиная с «Закройщика из Торжка» и «Великодушного рогоносца» (пусть простят мне театроведы неравновеликость этих названных рядом произведений) я не пропускал ни одного спектакля и фильма с его участием, а позднее — и его литературных концертов.

Об Ильинском-актере, об Ильинском-чтеце написаны тысячи страниц, и мне не надо рассказывать, какое неотразимое впечатление он неизменно производит на слушателей и зрителей, но об одном давнем случае хочу упомянуть. Перед войной в ленинградском Доме писателя Игорь Ильинский читал «Старосветских помещиков». Кто не слышал в его исполнении этой повести, хотя бы по радио? Даже скрип дверей в доме Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, который Ильинский передает голосом, действует гипнотически и заставляет затаить дыхание. Сколько бы раз ни слушал, волшебство это безотказно. А пронзающий сердце конец, где сразу состарившийся после смерти жены Афанасий Иванович, с его безжизненным голосом и потухшим взглядом, вдруг, когда подали на стол любимое кушанье Пульхерии Ивановны, мнишки со сметаной, сылитса выговорить имя покойницы! Помню, я тогда ненароком повернул голову и увидел, что сидевший неподалеку от меня Юрий Николаевич Тынянов — плачет. . . Вот когда стало мне до конца ясно, что значит выражение «очистительные слезы»: после таких слез, вызванных высоким

искусством, действительно чувствуешь, что стал капельку лучше.

Случай этот произошел в 1938 или 1939 году; с той поры пролегла война, убиты десятки моих товарищей, слушавших Игоря Ильинского в Доме писателя, умер в 1943 году от тяжелой болезни Юрий Тынянов, все мы стали не на шесть, не на семь календарных лет, а на много старше — столько бед принесли эти годы. И вот передо мной на пороге тот самый Ильинский. Описывать ли его внешность? Ильинского знают миллионы... Говорить ли, как я был рад этой встрече? Меня всегда поражало и раздражало, что публика, так сказать, зрители «в чистом виде» шалеют при виде любимого артиста, встретив его в магазине или в трамвае. «Черт знает что! — возмущался я, слушая чей-нибудь захлебывающийся рассказ о такой встрече. — Слово актер не такой же человек, словно он пришелец из космоса!»

Можно ожидать, что я сейчас честно признаюсь, как я сам ошалел, обалдел, растерялся, открыв дверь Ильинскому. Нет, этого не произошло. То ли я напрог всю свою волю, то ли уже был раньше испорчен общением с актерами, хотя бы и не столь обожаемыми. Произошло нечто другое, чему я долго потом искал объяснения и терялся в догадках.

Когда я видел и слышал Ильинского в театре, в кино, на эстраде, он, больше чем кто-либо из известных мне актеров, внушал впечатление полной естественности, органического сращения с исполняемой ролью. Больше того, было видно, что актер с ней не только сроднился, но и испытывает наслаждение от этой сродненности. Ильинский, как редко кто, умеет прорвать, начисто уничтожить ту невидимую, но весьма ощутимую пелену из своеобразного душевного пластика, не пропускающего живого тепла, то средостение, которое часто до конца остается между зрителями и актером, независимо от его темперамента и мастерства. В этих случаях обыкновенно ни на минуту не забываешь, что он актер, а ты зритель, что вас разделяет пространство зала, и ни на секунду не возникает желание встретиться ближе, пожать руку, сказать, как ты рад знакомству. А видя на сцене Ильинского, это всегда хотелось сделать, даже если он исполнял не слишком-то симпатичную роль, скажем, Расплюева или Присыпкина. Домаш-

ность — сейчас не подберу более подходящего слова, — домашность в его исполнении почти всех довоенных ролей — вот что меня (не знаю, как других) больше всего завораживало. Домашность и чистосердечная, откровенная увлеченность.

Может быть, потому мне всегда казалось, что и за пределами сцены он такой же и что общаться с ним необычайно легко! Но когда я открыл дверь, передо мной стоял явно смущенный, застенчивый человек, не уверенный, что попал куда надо, и, должно быть, не слишком легкий в общении. . . Скажу откровенно: к такому Ильинскому не подготовил меня и наш утренний телефонный разговор (хотя по себе знаю, что по телефону подчас разговаривать легче, чем лицом к лицу). Правда, застенчивость Ильинского была не угрюмая, как у закоренелых мизантропов, не угловатая, как у очень молодых людей, но все же она была, присутствовала, или я ничего не понимаю в людях; в ходе беседы она постепенно растаяла, а во вторую нашу встречу опять усилилась, о чем позже.

Я не раз потом думал: что это — органически присущее ему свойство или игра? (В чем, собственно, тоже нет ничего дурного: это либо самозащита, либо просто привычка. Я знаю честнейших, искреннейших людей, у которых застенчивость стала той самой привычкой, которую называют второй натурой.) Но неужели я принял «театр для себя» (или для меня) за природу? Может, что-то объяснят слова Мейерхольда об Ильинском-актере: «Он в работе всегда такой же. . . Он как будто чем-то ошарашен». Слово «ошарашен» весьма выразительно передает характер и степень удивления человека и художника перед миром, перед явлением, перед образом. С другой стороны, заслужил ли я его «ошарашенность», стоило ли при виде меня так удивляться?!

Так или иначе, поскольку я тоже не отличаюсь бойкостью и находчивостью, наш разговор, когда мы уселись в кресла, пошел не слишком складно, но все же сравнительно скоро выяснилось, что привело ко мне Ильинского. Причина была для меня самая лестная, но вместе с тем и досадная: Игорь Владимирович узнал, что Малый театр затеял со мной переговоры о новой пьесе на современную тему, и решил сам спросить — о чем она, уж не комедия ли. . . Увы, задуманная пьеса

была далека от комедии, и в ней не предвиделось ни одного смешного персонажа: маленький районный городок у обмелевшей реки, оставшийся в стороне от индустриальных перемен, дела и дни нового секретаря райкома, бывшего учителя местной школы, недавно вернувшегося с войны, и председателя горсовета, старого опытного капитана, неожиданно посадившего на мель свой пароход, чем и кончилась его речная карьера,— такова была ее тема и предмет для коллизий. В послевоенное время не я один заинтересовался судьбой таких городков и их сильных преобразователей.

Выслушав меня, Игорь Владимирович откровенно вздохнул и сказал, что он хотел бы комедию,—неважно, грустную или веселую, но комедию... Я столь же прямодушно признался, что не умею, не знаю, как их писать,— не пробовал, если не считать единственного в моей жизни комедийного сценария о железнодорожниках, который так и не был поставлен. Ильинский оживился.

— Это очень хорошо. Это прекрасно! К комедиографу я бы не обращался. Не умеете — значит, вам будет интересно...

Не помню, что я ему ответил и как он меня убеждал, и вообще убеждал ли; мой интерес к Ильинскому был столь велик, что внутренне, про себя, я вдруг решил: а чем черт не шутит, попробую! В памяти моей возникла фигура, которую я, приезжая в родной городок, часто встречал то на улице, то на реке, то в лесу; на природе этот человек был всегда один, задумчивый, меланхоличный, словно размышлял о чем-то печальном, и меня невольно интриговало, что же его постоянно грызет даже на рыбалке; на улице же он иногда помогал нести покупки женщине вульгарноватого вида в необычном для нашего городка шелковом мантио... Шире, дальше — я понемногу начал воображать его жизнь, до меня дошли слухи о его неудачных семейных делах, потом я узнал, что в промежутке между нашими встречами он успел повоевать на фронте, а потом... потом я дал волю некоей фантастической, но вполне бытовой эксцентриаде.

В первый вечер я ничего Ильинскому не рассказывал, тем более что ворошиться в голове и укладываться во что-то «пьесное» мои мысли начали уже после его

ухода. В тот вечер мы говорили о другом. Объяснив, что за странный случай заставил его на время поселиться в гостинице (в квартиру проникал неприятный и, как ему показалось, опасный запах), Игорь Владимирович сказал, что все его книги остались дома, и вдруг спросил — не посоветую ли я ему, что читать с эстрады. Пожалуй, этот вопрос был не менее неожидан, чем его основная просьба. Игорь Ильинский, с его тонким вкусом, начитанностью, огромным опытом чтеца и актера, спрашивает совета! Но тут мой взгляд упал на томик Чехова, который у нас был с собой, и я загорелся. Я стал с жаром убеждать Игоря Владимировича, что он должен читать «Душечку», что рассказ словно специально для него написан, что, читая, он станет перевоплощаться во всех тех людей — театрального антрепренера, лесоторговца, ветеринара, маленького гимназистика, — к которым прилепляется душой героиня рассказа, чьими интересами она живет, чьими мыслями думает, чьими словами говорит: «Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду», приходите... Прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен ездить за лесом в Могилевскую губернию... У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора... Островом называется часть суши...»

Ильинский внимательно меня выслушал, попросил разрешения взять Чехова с собой, и мы расстались. До вечера следующего дня. День этот, точнее его первую половину, я провел за письменным столом, набрасывая контуры будущей комедии, — что называется, не терял времени! А после обеда с нами самими успел произойти комический эпизод.

Как я уже говорил, шел февраль, близились первые послевоенные выборы, Москва украшалась. Украшалась и гостиница «Москва», где мы жили. Вернувшись часа в четыре в свой номер (обедали мы в театре — это была не привилегия, а один из зигзагов карточной системы), мы удивились, что в комнате холодно и темно. Мы не сразу поняли, что произошло, но, приглядевшись, обнаружили: в наше отсутствие через комнату выходили на балкон и укрепляли на фасаде транспарант; мы видели его с улицы, только не думали, что будем иметь к нему отношение. Очевидно, дверь на балкон долго оставалась открытой, отсюда почти отрицательная температура. Ра-

зумеется, комната скоро нагреется, но сумрак... Я позвонил в театр, и — о, чудо! — уже через час всеильный МХАТ перевел нас в другой номер. Когда мы, уходя, оглянулись, сквозь оконный переплет просвечивал большой восклицательный знак, — как видно, он знаменовал для меня новые встречи, новые знакомства!

Правда, меня беспокоило, как Ильинский нас найдет: номера его комнаты и телефона, чтобы предупредить, я не знал, а у администрации не хотел спрашивать, чтобы меня не приняли за назойливого поклонника. Но все обошлось, очевидно дежурная на этаже сама его предупредила: Игорь Владимирович пришел, как и обещал, в восемь вечера, с томиком Чехова под мышкой. Как ни странно, вид у него был сокрушенный. Он сразу же объявил:

— Перечитал «Душечку». Дважды перечитал. Но вслух читать не могу!

— Почему? — огорчился я. — Почему, Игорь Владимирович?

Ильинский объяснил, что, когда он читал, вернее уже дочитывал «Душечку», он почувствовал, что у него стоит комок в горле и на глаза навертываются слезы.

— Мне стало стыдно, и я послал жену в коридор ставить чайник... — Он помолчал и после секундной паузы повторил: — Нет, не могу.

— Жаль, — сказал я. — Очень жаль.

И на этом наш разговор о «Душечке» кончился. Мне действительно было жалко, что сватовство не удалось. А про себя я опять удивился: такой профессионал, как Ильинский, умевший, любивший вызывать у слушателей не только смех, но и слезы, вдруг устранился «чувствительности» чеховского рассказа... Что это — искренность или игра? Не хотелось бы считать игрой, уж очень искренний это актер. Да, но актер! Абсолютная искренность как высшая ступень артистизма? Удивительная вещь искусство; — как отличить в нем правду от ее видимости!

Через много лет я узнал из афиши, что Игорь Ильинский читает «Душечку» Чехова. Я так обрадовался, словно это был мой рассказ! Ага, с удовлетворением думал я, через столько лет, но все-таки совет принял. Скорей же всего, про наш разговор он давно забыл и сделал открытие сам: надо читать этот рассказ. На-

до! Нельзя не читать! Ведь самое главное, чтобы желание читать вслух, то есть делиться с другими своей радостью от художественного произведения, стало внутренней потребностью. И вот оно ею стало. Собственно, для того артист и живет на свете, а все прочее — от лукавого. . .

Но тогда второй вечер с Ильинским меня огорчил: его отказ читать «Душечку» как бы порвал едва лишь начавшую накануне завязываться ниточку взаимопонимания и доверия; а затем. . . Затем, не успев я в кратких словах поведать Ильинскому о тех робких зачатках комедии, которые проклюнулись днем, как в дверь постучали.

Подобное стечение обстоятельств бывает и дома. Неделями никто не приходит, ни с кем не видишься, словно о тебе все забыли, а когда ты наконец стоворился с приятелем, и он придет, и вы начнете важную, интересную для вас обоих беседу, вдруг звонят в дверь — и является сначала один, потом еще один, потом третий гость, затем супружеская пара, наконец, знакомая бабушка с двумя внуками, причем все они тебе милы и приятны, только. . . что бы им прийти не всем вместе и не сегодня!

Так случилось в тот вечер в номере «Москвы». В дверь постучали, и появился один из самых для меня дорогих москвичей, встречей с которым я никак не мог пренебречь — грыз бы себя за это до конца жизни. . .

— Ура! Молодец! Как я рад! . .

Мы обнялись, я познакомил его с Ильинским — и тут произошло то, чего я боялся: оба этих высокоинтеллигентных, идеально воспитанных человека сразу зажались. Мне не удалось вовлечь их ни в какой общий разговор — оба сидели и молчали как рыбы. Даже чай не хотели пить!

Но этого мало: в дверь опять постучали — пришла чудесная наша приятельница, которую в другое время я бы готов был озолотить. . . Температура в комнате упала еще на несколько градусов, живо напомнив ту, что была днем в выстуженном номере. Казалось, и свет померк, по крайней мере в моих глазах.

Как же кончился этот вечер? Сперва незаметно исчез Ильинский, потом. . . потом уже неважно. Главное, что это была вторая и последняя наша встреча. Правда,

она меня дополнительно убедила, что стеснительность его не наигранная, а естественная, как ни странно ее видеть в актере, ежедневно предстающем на сцене перед сотнями внимательных, требовательных, взыскующих глаз.

Неделю спустя, уже дома, я изложил свой замысел на бумаге, послал в Москву, Малый театр заинтересовался, был заключен договор. К сожалению, обстоятельства сложились так, что скоро мне стало не до комедии. Не написал я ее и позже: для этого нужна была молодость, соответствующее настроение, некая первозданная туманность в мыслях... А может, и хорошо, что не написал! Чтобы не быть голословным — вот примерно ее содержание (как я его тогда записал):

...В маленьком городе жил доверчивый, мнительный, скучноватый и мечтательный человек, наделенный не очень сильным характером. Он слыл старательным и культурным работником, а в остальном был в плену неважных знакомств, невыполненных обещаний, неудачных любовных связей, которыми тяготился. Он был искренне недоволен собой, завидовал тем, кто лучше его и живет правильнее, но опасливо их сторонился.

Жизнь эту разрубила война. Он ушел на фронт и четыре года не принадлежал самому себе. А иногда ему, напротив, казалось, что у него выросли крылья, что дисциплина, товарищество, военные подвиги вдохнули в него силы стать после войны совсем другим человеком.

С этой чистосердечной надеждой он вернулся домой. Но, как это часто бывает, с ним вместе вернулось и прошлое. Восстановились прежние связи, потянулись старые хвостики, и скоро он ясно почувствовал: нет, он не станет новым, другим, лучшим, если... если ему не поможет случай.

И случай помог. Смешной, но всесильный случай. Постылая любовница легонько, в шутку, стукнула его по голове своей сумочкой — и он все вдруг забыл! Потерял память.

Увы, примененная им наивная хитрость скоро ввергает его в пучину злоключений и бедствий. Он беспомощен, он принужден верить всему, в чем его убеждают, что стараются ему напомнить. Приятель, который был должен ему пятьдесят рублей, говорит, что, наоборот, он должен ему эту сумму, и надо покорно отдавать.

Стукнувшая его сумочкой страховидная женщина уверяет, что только вчера он клялся ей в неизменной любви, и ему нечего ей возразить. Он сам выдумал себе ад.

Больше того, ему становится нестерпимо жаль своего «забытого» прошлого. Далеко не все было плохим и неудачным. А жизненный опыт, а юношеская непосредственность чувств, а друзья молодости, а фронтовая доблесть и фронтовые товарищи? Ведь если быть последовательным, надо со всем этим навсегда проститься.

В довершение всего он встретил женщину, которую любил много лет назад. Тогда они были почти детьми, теперь они постарели, прожили сложную жизнь,— но как пронзительна память! Как приятно бы вспомнить все драгоценные мелочи этой первой любви!.. Он видит, что и сейчас она очень добра к нему, добра без всякой корысти. Ах, если бы! Нет, он увяз, увяз, он должен и перед ней ломать комедию: «Я все забыл!..»

Кончается этот смутный период действительно освобождающей и окрыляющей его любовью. В этом чувстве слилась вся его жизнь. Он с замиранием сердца чувствует, что его несет мощный поток, где ему нельзя потерять ни частицы себя, но зато жизнь его получает единое и цельное назначение. И как мелки ему показались все бывшие препятствия! Он тот же, но он и новый, он счастлив, он уверен, что будет жить в полном, большом смысле этого слова — помнить прошлое, творить настоящее, бороться за будущее. Его полюбила хорошая женщина, полюбила, когда он был смешон и нелеп,— значит, его счастье прочно. . .

Вот и все. Человека с похожим характером я, повторяю, знал: он был не то землемером, не то агрономом,— я хотел сделать его еще менее романтичным службистом, счетоводом или плановиком, фамилию дать — Незлобин. Нечего и говорить, что роль Незлобина предназначалась для Игоря Ильинского. Как ясно я себе его представлял в роли этого симпатичного, но далеко не идеального героя! Нравилось мне в Незлобине сочетание несмелого, даже робкого характера с сидевшей где-то внутри чертовщинкой, которая вдруг выиграла на время. Не скрою, отчасти меня навело на мысль как раз первое впечатление от встречи с Ильинским, то изумление, какое я испытал, неожиданно увидав перед собой замкнутого, застенчивого, не слишком охотно и не часто

смеющегося человека. Поэтому то, что я прочел много позже в воспоминаниях Игоря Владимировича, напечатанных в журнале «Театр», меня удивило не меньше: Ильинский пишет о себе как о напористом, чуть ли не агрессивном, полном сил молодце, нетерпеливо добивающемся всего, чего хочет... Не «клеветает» ли на себя Ильинский? Впрочем, ему виднее. Во-первых, он говорил это о себе молодом, во-вторых, все мы знаем, что почти в каждом человеке, тем более в незаурядном, талантливом, живут противоречия, спорят противоположности.

...Прошло четверть века. Я так и не встретился больше с Ильинским, но любовь к нему осталась со мной — она только обогатилась новыми впечатлениями от его новых и разносторонних успехов в театре, в кино, на эстраде.

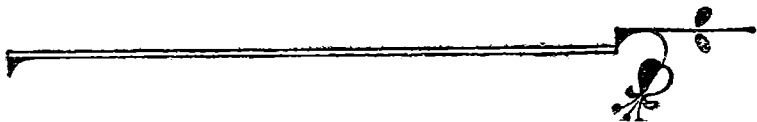
Недавно я видел по телевизору «Старосветских помещиков». С нетерпением и опаской я ждал, как станут их исполнять Ильинский. Дело в том, что в своих воспоминаниях он писал, что, читая «Старосветских помещиков» до войны, он слишком умилялся своим героям: «Я начал убирать эти... неверные краски, которые уводили меня в сантимент...» Не знаю, в каком-то своем смысле Игорь Ильинский, наверно, прав, но все же я и побаивался — как бы он не засушил Гоголя. Вышло иначе: я услышал поистине великое исполнение этой великой повести. Каждое слово произносилось именно так, с такой интонацией, какая была единственно верной. Пожалуй, это одно могло сколько-нибудь меня утешить, когда я стал вспоминать, как я не написал комедию... Комедия должна была называться «Я все забыл», и я действительно в ней кое-что забыл — повороты сюжета, многие детали, — но вот оказалось, что все, что тогда послужило причиной, поводом для ее сочинения, я отлично помню. И это естественно: разве можно забыть о встрече с любимым актером, хотя бы и столь мимолетной?

А теперь небольшое послесловие. Напечатав «Вечер в «Москве» в журнале, я послал этот номер журнала И. В. Ильинскому и получил в ответ нежное, трогательное письмо с благодарностью — и с неожиданной прось-

бсей: попытаться сейчас написать эту задуманную тридцать лет назад пьесу, но, конечно, «состарив» ее героя до такого примерно возраста, чтобы Игорь Владимирович мог в ней сыграть Незлобина. Я ответил, что предложение его меня очень тронуло, что «забыть» свою прошлую жизнь человеку действительно иногда хочется, а потом вдруг оказывается, что забывать нельзя и не надо, что такой поворот сюжета возможен и в семьдесят лет, но — увы! — я тоже старею и молодого задора для столь эксцентричной комедии у меня нынче, пожалуй, не хватит. . .

Мы перекинулись еще несколькими, уже более краткими, письмами, и на этом наша «творческая» переписка прервалась. Но я никогда не упускаю случая посмотреть Игоря Владимировича по телевидению, послушать по радио и очень ему благодарен за прекрасные его выступления в связи с 80-летием М. М. Зощенко, которого он так любил и продолжает любить и о котором через несколько глав я еще расскажу в своей повести.

1972—1977



Н. П. АКИМОВ В ТЕАТРЕ И ДОМА

Акимов... Если взять за начальную точку 1926 год, когда я впервые услышал это имя, знакомство наше произошло лишь через двадцать лет, и то скорее по мановению свыше, о чем будет рассказано ниже, чем по инициативе одного из нас. Казалось, за это время не раз представлялся случай встретиться: общие знакомые, общие для обоих круги театрального ада ирая, да мало ли еще что. Например, в середине двадцатых годов Акимов приятельствовал с художником Петром Снопковым, двоюродным братом моей жены, с которым мы жили в одном доме и ходили по одной лестнице. Снопков и Акимов вместе работали, оформляли спектакли в театре «Балаганчик», в «Свободном театре», в Мюзик-холле, часто встречались, но для меня Акимов оставался невидимкой. Ни разу не видела его и моя жена, бывавшая у Снопковых.

Чем любопытно это обстоятельство? Да тем, что и в молодости Акимов предпочитал сидеть дома и работать, чем ходить по гостям. Когда мы наконец познакомились, я сразу же уяснил, что Акимов — человек дела, любимого, мастерски освоенного и точно в срок исполняемого дела. Вот уж кто не ждал, когда к нему на незримых, неслышных, нездешних крыльях слетит вдохновение! Он всегда и всюду работал, не теряя ни часу: в театре, дома, в гостинице, в поезде, в паровой каюте, возможно даже в самолете — единственно, где мне

не пришлось его наблюдать. Порою не верилось, что он, как все люди, в какие-то часы должен спать или может позволить себе перед сном почитать для души или для развлечения, настолько он был целеустремлен и сверхработоспособен. Но об этом речь еще впереди, и, узнав Николая Павловича поближе, я понял, что в некоторых оценках ошибался. Но только не в главном: в главном Николай Павлович был и до конца своих дней остался высокоорганизованным человеком.

С чего началось мое знакомство с Акимовым-художником? В конце двадцатых годов в Ленинграде, в популярном среди книголюбов издательстве «Academia», выходили небольшого формата, изящные книжечки — собрания сочинений Анри де Ренье и Жюля Ромена. Анри де Ренье я не любил, считал его холодным эстетом и стилизатором и потому не заинтересовался иллюстрациями к его сочинениям; Жюль Ромена же очень любил, и несколько этих книжек у меня сохранилось: «Чья-то смерть», «Белое вино ля Виллет», «Ив ле Труадек», «Доногоо-Тонка», «Приятели», «Кнок, или Триумф медицины». В середине каждого переплета бледно-оранжевого цвета наклеен миниатюрный рисунок, изображающий человеческую фигурку или целую сценку. Перед титульным листом — рисунок страничного формата. В зависимости от содержания книги рисунки гротескны или лиричны, изображают то юношу томно-спортивного вида, то волосатых, звероподобных людей, то обыкновенную домашнюю муху над аэрофотоснимком местности, то курьезного человечка в цилиндре, в черных перчатках и с забинтованной от носка до бедра ногой.

Таковы иллюстрации Акимова, художника острых, резких, четко прочерченных линий и контуров, Акимова-графика; масла его я тогда не знал, как вообще не знал, что мне напоминает его манера. А напоминала она, как я потом понял, отчасти его учителей — Яковлева, Шухаева, Добужинского, отчасти немецких экспрессионистов (только без их размашистости и как бы нарочитой небрежности): косые марши висящих в пространстве лестниц с черными фигурками людей, которые в тревоге перегнулись через перила и слушают («Чья-то смерть»). Кое-что от этой манеры осталось у Акимова навсегда. Однажды, уже в поздние годы, он меня разыграл: показал две работы маслом, выполненные в его обычной

жестковатой манере, выслушал мои сбивчивые суждения (Акимов во всем был настолько личность, что гораздо более самоуверенные люди, чем я, в общении с ним подчас пасовали), а затем сообщил:

— Это Анята рисовала.— И добавил, довольный моим смущением: — Не огорчайтесь. Глинка тоже попался.

Анята — это была его дочь; Владислав Михайлович Глинка — близкий приятель, опытный искусствовед из Эрмитажа.

Если придерживаться хронологии в моем незнакомстве с Акимовым, надо еще раз вернуться в тридцатые годы. Театральных его работ я тогда не видел или, может быть, не запомнил, во всяком случае — до спектакля «Страх» в театре Акдрамы (б. Александринка) в 1931 году. Зато в этой строго реалистической постановке Николая Петрова, грешившего иногда и экстравагантными выдумками, вроде аэростата в «Тартюфе», зрителей поразил огромный наклонный стол для заседаний ученого совета, с расставленными вдоль него зелеными лампами, уходящий куда-то в глубину сцены, вверх, в левый дальний угол кулис. Поразил, привлек, восхитил, несмотря на то, что в этом спектакле было чем восхищаться помимо акимовских декораций: играли Илларион Певцов и Е. П. Корчагина-Александровская.

В то время я не читал и не слышал о дерзком режиссерском дебюте самого Н. П. Акимова: «Гамлет» в Театре имени Вахтангова с жизнерадостным сангвиником Горюновым в главной роли (Горюнова мы полюбили потом в роли веселого здоровяка Селестена в «Интервенции» Льва Славина). Увидел и узнал я Акимова-режиссера уже в Театре комедии, созданном им в 1935 году и помещавшемся там же, на Невском, 56, где и сейчас. В Ленинграде в ту пору у нас было два любимых театра — Новый ТЮЗ и Театр комедии. Мы не пропускали ни одного спектакля в этих театрах. «Красная шапочка» и «Снежная королева» Е. Шварца, «Музыкантская команда» Д. Дзеля и «Сказки Пушкина» в Новом ТЮЗе, а в Театре комедии — «Собака на сене», «Школа злословия», «Двенадцатая ночь», «Валенсианская вдова» и, наконец, «Тень» Е. Шварца с незабываемой Аннунциатой в исполнении Ирины Гошевой, голос которой доселе звучит в ушах. . . Разумеется, ко всему этому надо при-

бавить молодость — молодость нашу и молодость театра!

Но вот пришел 1941 год, началась война, театры стали эвакуировать из Ленинграда. В середине августа, идя мимо Театра имени Пушкина, я увидел его художественного руководителя Л. С. Вивьена. Он стоял на мостовой и, подняв голову, смотрел на фронтон великолепного здания России. Я только что вернулся с Мурманна, где уже успел повидать убитых, наслушаться стонов раненых, которых везли по тряским каменистым дорогам, потомиться у горных речек, не зная, что наступит раньше — наша очередь на переправу или воздушный налет противника, и потому с несколько большей, чем следовало бы, лихостью спросил:

— Хотели бы увезти с собой эти колонны, Леонид Сергеевич?

Вивьен неторопливо перевел взгляд на меня и серьезно, без улыбки, ответил:

— Хотел бы.

Мы молча пожали друг другу руки, и я пошел дальше, а Вивьен остался смотреть на театр, в котором провел всю свою артистическую жизнь: окончив Политехнический институт, готовился строить дамбы, молы, мосты из железобетона — техническая новинка в те годы, — а вместо этого стал актером. Это произошло ровно тридцать лет назад; завтра он отправится во главе труппы старейшего ленинградского театра в Новосибирск, — хотелось бы пожелать ему доброго пути. Вивьен был легкий, словно рожденный для счастья, и вместе с тем умный и доброжелательный человек (я проверил это не раз на личных взаимоотношениях с ним и с его театром: как известно, иметь дело с театром, да еще с таким маститым, — всегда не просто). Как актер он был превосходен, особенно в ролях бонвиванского склада: блестяще исполнял роль газенклеверовского дельца, профессионального донжуана, кабинет которого, остроумно и изобретательно оформленный Акимовым, представлял собой сплошную двухэтажную картотеку, державшую самые исчерпывающие сведения о тысячах кандидаток в любовницы и жены. . .

Выйдя на Невский, я понял, что Театр комедии и не думает эвакуироваться. На висевших у входа афишах значилось кроме довоенного репертуара новое название:

пьеса М. Зощенко и Е. Шварца «Под липами Берлина». Оказывается, премьера состоялась 12 августа, как раз в день моего возвращения в Ленинград. Жаль, не видел. Не удалось мне посмотреть и следующую постановку театра, также осуществленную еще в Ленинграде, — «Питомцы славы» А. Гладкова. Уехал, вернее, улетел театр из осажденного города лишь в декабре, сначала в Сочи, затем в Сталинабад, и встретился я с ним уже в Москве, весной 1944 года.

Театр привез и показал в Москве замечательный спектакль — «Дракон» Е. Шварца. Я был на двух генеральных репетициях, а на спектакль не пошел: меня позвали в этот вечер на обсуждение в Комитете по делам искусств новой пьесы А. Крона, написанной им в Ленинграде и о Ленинграде, — «Офицер флота».

К началу сезона 1945—1946 года Театр комедии вернулся в Ленинград, но первый поставленный уже в Ленинграде спектакль, «Путешествие Перришона» Лаббиша, выпустили лишь весной 1946 года, — увидел я этот спектакль уже в следующем сезоне, знакомясь с репертуаром театра по долгу службы. Как это произошло?

Однажды меня вызвали телеграммой в Москву, в Комитет по делам искусств, к Михаилу Борисовичу Храпченко. Зачем? До прибытия в Москву я бы так ничего и не узнал, но в тот же день, когда я получил телеграмму, дома раздался телефонный звонок:

— Леонид Николаевич? Здравствуйтe. Говорит Николай Павлович Акимов. Вы не могли бы сегодня зайти в наш театр?

— С удовольствием. А когда?

— Если можете, в два часа. Хорошо? Мы вас ждем.

Если учесть, что мы говорили друг с другом первый раз в жизни, то следует считать этот телефонный разговор сверхлапидарным. Но я очень скоро узнал, что Николай Павлович только так и общается по телефону: голая и сухая, как скелет, суть дела — и ничего больше. Полная противоположность тягучей жвачке или трескучей болтовне. Четко выговариваемые, четко отделенные одно от другого, самые необходимые для уяснения вопроса несколько слов, бодрый, бодрящий собеседника тон — таков был его стиль. Как в поэзии: лучшие слова в лучшем порядке!

Беседа в театре протекала чуть в другом темпе и ритме, но тоже не затянулась. Происходила она в кабинете директора, с которым меня познакомил Николай Павлович. Сам же он встретил меня с такой деловитой естественностью, словно мы с ним были всегда знакомы и только вчера расстались, привычно закончив или прервав до сегодня какие-то общие очередные дела.

В самых кратких, исчерпывающе ясных словах Акимов мне все объяснил. Оказывается, в нескольких крупных московских и ленинградских театрах учреждена должность заместителя художественного руководителя по репертуару (помимо завлита) и Храпченко намерен мне предложить стать заместителем Акимова. Театр просит меня согласиться.

— Надеюсь, наш театр вам не противен?

Честное слово, не помню, что и как я ответил, но именно в этот день наши пути скрестились. Я сейчас не знаю, как вышло, что автора единственной пьесы, прошедшей, правда, к тому времени во многих театрах, и «Даунского отшельника», поставленного всего в двух, а также раскритикованного и снятого с репертуара «Окна в лесу» Комитет направил в акимовский театр. Это было столь неправдоподобно, что я не спросил ни у Храпченко, ни тогда, ни потом у Акимова, чей это выбор. Возможно, на моей кандидатуре остановились по принципу противоположности: Акимов — Рахманов, комедия — драма, склонность к гротеску, к острому эксцентрическому рисунку — и мхатовский психологизм? Хотя Акимов не раз оформлял мхатовские спектакли, в том числе упомянутого выше «Офицера флота», он никогда не упускал случая уязвить мхатовскую медлительность, любовь к многозначительным паузам как в спектаклях, так и между спектаклями. Например, между первым, вполне одобрительным, заинтересованным ознакомлением МХАТа с «Беспокойной старостью» и осуществлением ее постановки на своей сцене прошло без малого два десятка лет: 1937—1956 год. . .

Словом, так или иначе, началось мое близкое знакомство с Театром комедии и с Н. П. Акимовым. Можно ли назвать это дружбой? Не знаю. Все относительно, и характер Акимова был таков, что я, вообще, не очень-то представляю себе его загадочную дружбу с кем-либо, дружбу или приятельство, допускающие амикошон-

ство и панибратство. Из всех, с кем Николай Павлович уже на моих глазах приятельствовал, он был на «ты» лишь с Владиславом Михайловичем Глинкой, писателем и искусствоведом, автором известного исторического романа «Старосольская повесть», и с Андреем Андреевичем Бартошевичем, завлитом Театра комедии и директором Театрального музея. (Ровно за двадцать лет до этого А. А. Бартошевич уже писал об Акимове как о талантливом театральном художнике в книге «Театрально-декорационное искусство в СССР».)

Любил и глубоко уважал Акимов Михаила Леонидовича Лозинского, который переводил для Театра комедии Лопе де Вега, Шекспира и Шеридана. Помню, Николай Павлович не раз торжественно объявлял: «Сегодня иду на пельмени к Лозинским!» Или подчеркнуто буднично сообщал: «Вчера был на пельменях у Лозинских». Это он меня дразнил. Дело в том, что, когда моя служба в театре вошла в обыденные, каждодневные рамки, мы с Николаем Павловичем нередко одновременно завтракали в его кабинете-мастерской. Время было не слишком щедрое в кулинарном смысле, еще не были отменены продовольственные карточки, мы приносили из дому более чем скромные бутерброды и для разнообразия по-братски ими делились. Этот двадцатиминутный антракт был лучшим временем для беседы, чаще всего не связанной со служебными делами. Очевидно, тогда я ему и сказал, что больше всего на свете люблю домашние пельмени.

Редкий худрук или главреж присутствует в театре на каждом вечернем и дневном спектакле. Акимов бывал всегда. Первые спектакли смотрел из зала, сидя у средней двери, в нише, полуоткрытый портьерой (как и сейчас, в зрительный зал вели три входа, все расположенные с одной стороны, если стать лицом к сцене). В остальное время работал у себя на четвертом этаже, в большой комнате, выходившей окнами на Невский и на Екатерининский сквер. Здесь он рисовал эскизы костюмов и декораций, показывал и объяснял старому бутафору, чего он от него хочет. Здесь принимал посетителей и знакомился с дебютантами, молодыми актерами и актрисами, желающими работать в Театре комедии. Здесь рисовал портреты, стараясь как можно точнее выполнить так сформулированную им задачу: «Портрет должен быть

более похожим, чем данный человек похож сам на себя в каждый отдельный момент».

Как Акимов этого достигал? Прежде всего — не чураясь шаржа, гротеска, всего, что свойственно было ему как художнику. Поражало не только качество — поражало количество этих портретов, галерея схваченных глазом художника людей. Достаточно сказать, что, когда в 1947 году Акимов нарисовал мой портрет, я был сорок четвертым по счету объектом! Каждый следующий год все ширил и ширил эту галерею, а ведь это было вовсе не главное дело: руководитель театра, режиссер-постановщик, театральный художник и декоратор — вот главное, чем Акимов был занят, все остальное — как бы между делом.

Репетиции проводил он обычно с утра или часов с двенадцати. Те два года, что я работал в театре, ознаменовались сугубым, на время как бы исключавшим все остальные грани репертуара, вниманием Акимова к советской пьесе. Я пришел в театр в разгар репетиций «Старых друзей» Л. Малюгина, еще не перенесенных на сцену. Было необычайно интересно наблюдать за работой Акимова над этой бытовой и вместе с тем поэтичной пьесой, где многообразные чувства и настроения ее юных героев, от бездумной радости школьного выпускного бала до первых потерь на войне и драматических испытаний характера, требовали соответствующего режиссерского подхода.

Большой зрительский успех имела комедия-обозрение «О друзьях-товарищах», еще вся пронизанная отзвуками недавней войны, фронтовой дружбы. Для меня наиболее интересной работой Акимова явилась постановка пьесы Евгения Петрова «Остров мира». Это был, по существу, эскиз пьесы, последний акт автор успел перед самой войной только вчерне набросать, тем не менее эту острую политическую комедию Акимов поставил блестяще, с массой режиссерских находок и актерских удач. Наслаждением было видеть, как Акимов оттачивал этот театральный памфлет, как были увлечены актеры — И. П. Зарубина, Е. В. Юнгер, Л. А. Кровицкий, А. М. Бонди, весь коллектив театра, работавший над спектаклем. За полгода до этого я писал в газете: «Большой радостью было прочесть эту превосходную современную пьесу, не меньшая радость для театра —

поставить ее на сцене. Такое разящее оружие, как памфлет, давно что-то не вынималось из писательских ножей. Принято думать, что оно действует только раз и, нанеся удар, отбрасывается за ненужностью. Памфлет Евгения Петрова убеждает нас в ином». И верно: восьмилетней давности пьеса была словно написана в 1946 году, после речи Черчилля в Фултоне, или в 1947-м, в момент провозглашения Трумэном своей экспансионистской доктрины, — словом, в любой из годов «необъявленной» холодной войны. Мы как бы присутствовали при ходе истории, только в убыстренных, кинематографических темпах.

Были поставлены также «Русский вопрос» К. Симонова, «Встреча с юностью» А. Арбузова, «Смех и слезы» С. Михалкова. Странное положение возникло в связи с комедией А. Софронова «Карьера Бекетова». Она что-то туго, со скрипом проходила в инстанциях, и театр начал ее репетировать, когда разрешения из Москвы еще не поступило. Более того, репетиции уже подходили к концу, а разрешения все еще не было. Я никакой не ходок, не ходатай, пробивных способностей у меня нет ни на грош, но так как, кроме меня, ехать хлопотать тогда было некому, я, сцепив зубы, отправился в Москву, в Комитет.

Как ни странно, за один день, без труда, получил необходимую визу и с легким сердцем поехал обратно. В Ленинграде, прямо с вокзала, не заезжая домой, прибыл в театр, где шла репетиция софроновской пьесы.

— Ну как? — нетерпеливо спросил Акимов, прервав репетицию.

Я не очень люблю и совсем не умею производить в жизни театральные эффекты, но тут молча прошествовал по центральному проходу, молча поднялся на сцену и молча отдал Акимову литованный экземпляр пьесы. Не удержался от театрального эффекта и Акимов: он молча обнял и расцеловал меня при всей труппе. Редчайший случай нежной благодарности и единственный поцелуй, полученный от Акимова за все два с лишним десятка лет нашего знакомства!..

Всем понятно, что на моей обязанности было читать поступающие в театр пьесы и беседовать с авторами. Ясно также, что дело это иногда не из слишком приятных, иначе худрук и директор с удовольствием занима-

лись бы им сами. Однажды, приехав в Москву, я прослушал в авторском чтении пьесу, которую один довольно известный комедиограф и режиссер предлагал Театру комедии. Сложность оказалась в том, что чтение происходило у него на дому, в присутствии его жены, которая вела себя крайне активно, хохотала, оглушительно аплодировала. Когда чтение закончилось, у меня был единственный способ без помех высказать свои личные впечатления — попросить драматурга проводить меня до метро. . . Когда я потом рассказал Николаю Павловичу об этом случае, он подумал ровно одну секунду и серьезно сказал:

— Ошибка супругов в том, что жена досидела до конца чтения. Надо было за десять минут до финала незаметно уйти и в тот самый момент, когда драматург произнес слово «занавес», вернуться с чаем и бутербродами.

— Я бы все равно встал и попросил меня проводить.

— А это было бы уже невежливо по отношению к хозяйке.

Когда я ознакомил его с другой, на этот раз понравившейся мне пьесой, где молодой прогрессивный врач лечит своих больных сном, Акимов невинно спросил:

— Вы не думаете, что такой спектакль будет с успехом лечить сном наших зрителей?

Я любил слушать «тронные» речи Акимова перед актерами в начале каждой работы над новым спектаклем, а также перед началом сезона. Речи краткие, деловые, но увлеченные, увлекающие, всегда остроумные. Слушая его, я думал: в чем дело, почему его ирония позитивна? Почему она не съедает положительной сути его веселого выступления? Секрет не в том, что Акимов умело чередовал иронию и пафос, минус и плюс, «за» и «против», — ироничность, насмешливость пронизывали все, что он говорил, а в итоге перед слушателями возникала заманчивая программа действий. В чем же дело? Как видно, в том, что, выдвинув какую-либо идею, Акимов постепенно отсекал все вероятные «против», заранее издеваясь над возможными возражениями, — в результате выдвинутая им идея высылась как утес. Разумеется, я огрубляю, но в общем картина примерно была такая, и этот способ убеждения был отнюдь не хуже, а лучше, надежнее, чем сооружать вокруг выдвинутой идеи кучу

подпорок — для слушателей всегда есть соблазн их обрушить, не то они могут обрушиться сами.

Так бывало и на читках пьесы, которая нравилась Акимову, которую ему хотелось ставить. Уже в кратком вступительном слове он предвосхищал своими ироническими предположениями возможные возражения против пьесы, заранее выбивая почву из-под ног противников. Но бывало и другое, и однажды я на этом попался. Мне нравилась пьеса, которую по моему предложению писал для театра поэт, никогда ранее не писавший пьес, а тем более комедий. Акимов, казалось, тоже был в ней заинтересован, да и талантливый этот поэт ему нравился. Пьеса была великовата, но местами очень остра и смешна, гротеск порой переходил в фарс и гиньоль, но еще немного терпеливой работы — и все будет в ажуре; во всяком случае, я был убежден, что пьеса незаурядна, такими вещами не бросаются. Акимов предложил прочесть ее труппе:

— Послушаем. Может быть, услышим дельные советы.

Не подозревая подвоха, мы с автором согласились. Уже когда автор прочел первое действие, я почувствовал, что пьеса заваливается: гиньоль слишком гиперболичен, слишком образен, чтобы пугать и смешить, действия маловато — во втором и третьем акте это особенно ощущалось, — пьеса все длилась и длилась, а уже было ясно, что слушатели устали, томятся, и автор, человек впечатлительный, сам это чувствовал. Когда кончилась читка, аплодисментов не прозвучало! В этих случаях актеры народ беспощадный, они не станут стесняться, проявлять вежливость или жалость, а рубят сплеча. Защитник может найтись лишь среди тех, кто почувет в прочитанном роль для себя. Тут этого не случилось. Зря пытался я разъяснить в своем выступлении нравящиеся мне яркие образы и детали, не замеченные, как мне думалось, слушателями.

С пьесой покончили. А что же Акимов? Он вежливо, даже изысканно вежливо поблагодарил автора, любезно согласившегося вслух прочитать пьесу, но о самой пьесе не сказал ни слова. Смысл акимовского умолчания был явно таков: «Глас труппы — глас божий». Я испытывал неловкость перед автором, которого очень любил, и долго внутренне не прощал Акимову его «веро-

ломства»... Пока не понял, что театр дороже ему любого, самого талантливого автора, и если в темном переулке перед ним вырастет бандит и предложит на выбор: «Театр или жизнь?!» — Акимов, конечно же, предпочтет театр.

Потому, быть может, я не столь уж повинен, назвав эту главу — «Н. П. Акимов в театре и дома». Дело в том, что читатель почти не увидит здесь Акимова дома и уж совсем не увидит его в халате и туфлях. Во-первых, для Акимова настоящим домом всегда был театр, где он проводил большую часть суток; во-вторых, он и дома никогда не выглядел «неглиже», наоборот, был неизменно подтянут, подобран, справедливо считая, что ничто так не мешает работе, как внутренняя и внешняя распушенность и разболтанность. Не знаю, читал ли он стихотворение Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться...», но смысл этого совета был стилем его жизни. Убежден, что такой выразительный пример самодисциплины, какой являл труппе театра его руководитель, как нельзя лучше способствовал объединению столь разных людей, из каких неизбежно состоит любой коллектив.

При мне труппу театра составляли шестьдесят девять актрис и актеров — я сохранил этот список. Почти всех я хорошо помню, да многие из них остались в театре и по сию пору, а те, что исчезли, ушли не только из театра, но и из жизни. Так, театр потерял чудесную, талантливую актрису, красивую женщину Людмилу Люлюко, сыгравшую в первом же своем сезоне главную роль в «Старых друзьях» и впоследствии ставшую настоящей премьершей театра; превосходную комедийную актрису Н. Н. Нурм; актера и комедиографа, остроумнейшего А. М. Бонди, написавшего новый текст к «Льву Гурычу Синичкину»; актера и драматурга Г. А. Флоринского, автора двух пьес, шедших на сцене Театра комедии, — «Воскресный визит» (1947—1948) и «Каменный остров» (еще во время войны); Л. А. Кровицкого, великолепно сыгравшего главную роль в «Острове мира» (я всегда жалел, что Театр комедии не поставил «Пиквикский клуб», где Кровицкий был бы идеальным исполнителем Пиквика); сочного бытового актера В. Г. Киселева; изысканного, загадочно-молчаливого Ж. Н. Лецкого и некоторых других. На моей памяти

переехали в Москву только О. А. Аросева (теперь она в Театре сатиры) и Б. А. Смирнов (теперь он во МХАТе). Не знаю, где сейчас А. С. Король, исполнявший в спектакле «На бойком месте» две роли — дворника и... собаки, в качестве которой прекрасно лаял (пожалуй, лучше его лаяли только эстрадный артист Юрий Хржановский, часто имитировавший в кино и по радио голоса самых разных животных, и Евгений Львович Шварц, лай которого наша собака всегда сверхвнимательно слушала и, мне кажется, понимала от слова до слова).

После того как умер завлит театра Андрей Андреевич Бартошевич, я рекомендовал в завлиты Ю. И. Реста. Выбор оказался удачным — Юлий Исаакович пришлось необычайно ко двору. Он остался в театре, когда ликвидировали должность заместителя худрука по репертуару, то есть мою. Сошелся он и с актерами. Правда, они его знали и раньше, еще до войны: Ю. И. Рест организовал в Доме писателя представление «Давайте не будем» с участием актеров Театра комедии — он там был и директором, и худруком, и режиссером, и рабочим сцены. Став завлитом Театра комедии, он продолжал эти представления, имевшие большой успех, возил их в Москву, где они шли в Центральном доме литераторов, в Центральном доме работников искусств. Непременными участниками этих спектаклей, или, если хотите, капустников, с начала и до конца были И. Лурье, И. Поляков, В. Труханов, А. Подгур, А. Сергеева, Т. Сезеневская, К. Землеглядова и, конечно, уже тогда популярнейший С. Филиппов. Что греха таить, Н. П. Акимов, как патриот своего театра, относился ревниво к чужим начинаниям, но к «Давайте не будем» благоволил: ведь в них участвовали его питомцы и ученики. Еще и теперь, когда в Театре комедии устраиваются капустники, в них наряду с молодыми, пришедшими в театр за последние годы, непременно участвуют многие из тех, кто играл, пел и танцевал в «Давайте не будем».

Я уже сказал, что в первый год своего пребывания в театре пересмотрел все старые спектакли и все актерские составы спектаклей, если они дублировались. Часто бывал на репетициях, особенно тех спектаклей, от которых мы много ждали, считали их в той или иной мере

этапными для театра. Первый прогон спектакля «О друзьях-товарищах» тянулся даже не допоздна, а до раннего утра: мы с Акимовым уехали из театра в шестом часу, когда уже пошли трамваи. Перед этим произошло маленькое смешное событие: театральная фотография, снимавшая отдельные сцены для рекламы, которая вывешивалась у входа в театр, всерьез попросил у директора справку для представления жене — о том, что он был при деле, на службе, а не где-нибудь в другом месте. Другое происшествие случилось со мной на одном из первых спектаклей.

В Доме писателя было какое-то совещание, на которое прибыли из Москвы А. Фадеев и К. Симонов. Они захотели посмотреть «О друзьях-товарищах»; я привез их в театр с небольшим опозданием, так что мы поднялись по служебной лестнице и разделлись в кабинете директора. Спектакль им понравился; оживленно обсуждая его, гости одевались потом опять же в директорском кабинете, как вдруг, чертыхнувшись, Фадеев начал сердито чистить свою шубу: как видно, он забелил ее о стенку на узкой служебной лестнице.

— Слушайте, да это не моя шуба! — вскричал Александр Александрович, с возмущением сбрасывая ее со своих богатырских плеч.

— Совершенно верно, это моя, — скромно сказал я, надеясь, что генеральный секретарь Союза советских писателей не подумает, что я нарочно подsunул ему свое пальто. Акимов и директор И. В. Яценко с некоторым удивлением глядели на это неожиданное кви про кво.

Иван Васильевич Яценко во многом был полной противоположностью Акимову: крупный, неторопливый, вальяжный, медленно и подробно беседующий. Общего у них были только синие глаза, в тон которым они любили подбирать такого же цвета галстуки. Однажды Иван Васильевич позвонил в театр из Москвы, куда он выехал по срочному и важному делу. Акимов сразу спросил, как обстоят дела, и Иван Васильевич стал спокойно, со всеми подробностями рассказывать, как он нарочно пораньше встал, позавтракал в номере, выпил кофе и отправился в Комитет. Внизу разделся, стал подниматься по лестнице. . .

Акимов нетерпеливо:

— Но вы успели решить вопрос?

— Николай Павлович, вот я и говорю. Поднимаюсь по лестнице, смотрю, на площадке второго этажа... Трык! — и талон кончился, время вышло.

Акимов во всех отношениях был сильным характером и настоящим хозяином театра. Если, назначая меня его заместителем, М. Б. Храпченко полагал, что мы станем хотя бы в чем-то дополнять друг друга, это не оправдалось. Акимов не любил выслушивать замечания и советы (а кто это любит?), хотя всегда считал своим долгом спросить, что я по тому или иному поводу думаю. Когда я старательно выполнял его просьбу и даже иногда говорил, что, по-моему, это лучше сделать не так, а вот так или этак, он никогда меня не обрезал, не вышучивал (что он мог сделать лучше, острее любого другого в мире), — нет, он просто мрачнел и отмалчивался, так что я поневоле увядал и терялся. И все же случалось, что дня через три, не раньше, он выполнял совет, — редко, но случалось.

Однажды на репетиции пьесы присутствовал автор, москвич. В перерыве Акимов отвел меня в сторону и попросил не выступать, очевидно не без основания опасаясь, что я наговорю лишнего, огорчу или рассержу автора или в чем-то в его глазах дискредитирую театр (Николай Павлович знал, что пьеса и спектакль мне не очень нравятся). Я охотно согласился молчать. Но когда дело дошло до обсуждения, Акимов как ни в чем не бывало предложил мне высказаться. Я простодушно поверил, что он изменил решение, и принялся делиться своими соображениями, причем, решив глядеть в корень, говорил больше о пьесе, нуждавшейся, на мой взгляд, в уточнениях. Автор, человек весьма сановитый, самоуверенный, неожиданно согласился с двумя-тремя замечаниями и записал их в блокнот, что само по себе было удивительно. Но меня поразило другое: Акимов, когда мы остались одни, упрекнул меня в том, что я так легко поддаюсь на провокацию.

— Мы же с вами условились? — ехидно заметил Николай Павлович. — Еще хорошо, что так обошлось.

— Вот именно! — горячо сказал я. — Он почти со всем согласился и обещал внести изменения в пьесу. Акимов иронически на меня посмотрел:

— Вы и в это поверили?

Эпизод этот произошел уже не в Театре комедии, а в Театре имени Ленсовета; куда в 1951-м или в 1952 году он меня пригласил членом художественного совета. Увлекательно было наблюдать за тем, как Акимов, придя в чужой, заштатный театр, давно уже потерявший свое лицо, начал сперва ворошить этот вялый, аморфный, разболтавшийся организм, затем встряхивать, электризовать, превращать в нечто живое и творческое и наконец смело, уверенно повел за собой. Надо признать, в положении Акимова, которого всего год назад жестко критиковали, который вынужден был оставить театр, им же созданный, делать это все было не только трудно, но и рискованно. Блестящим результатом его усилий являлся спектакль «Тени». Спектакль, поставленный на основе никому не известной (исключая узких специалистов-литературоведов) пьесы Салтыкова-Щедрина, невероятно растянутой, по существу лишь вчерне набросанной автором... Публика на спектакль ломилась, театр сразу сделался не просто посещаемым, а по-настоящему популярным театром. Неуютный, холодный вестибюль, нелепые декоративные гроты в фойе, оставшиеся от Владимирского игорного клуба, — все, что, казалось, отпугивало, отвращало от этого помещения и из года в год делало напрасными все усилия талантливых актеров, вдруг оказалось неважным, третьестепенным, абсолютно не мешающим главному — искусству актеров и режиссера. Вот почему, когда недруги Акимова говорили, что режиссер он никакой, в лучшем случае изобретательный театральный оформитель, — это сущая чепуха: стоит назвать хотя бы два спектакля с почти одинаковыми заглавиями (курьезное совпадение) — «Тень» Шварца и «Тени» Салтыкова-Щедрина, — это ли не пример блистательной режиссуры!

А Театр комедии надолго осиротел. Акимов не возвращался в театр в общей сложности около шести лет.

Как у каждого талантливого, творческого человека, у Акимова-режиссера было множество замыслов, которые он по разным причинам не смог осуществить. Приведу всего один пример: «Бег» М. Булгакова. Этот спектакль был задуман Акимовым не то в 1953-м, не то в 1954 году, в самый разгар его работы в Театре имени Ленсовета, когда художественный руководитель уже и там успел зарекомендовать себя удачными постановка-

ми. К сожалению, спектакль не осуществился. Теперь, когда «Бег» идет уже в ряде театров, когда мы посылаем на Каннский фестиваль и на Парижскую декаду советского кино двухсерийную ленту, где сохранен и использован почти весь текст этой булгаковской пьесы (редкий случай в истории экранизации!), нам трудно понять, чем в свое время руководствовалось театральное начальство. Помню только, что мне, не такому уж близкому к Акимову человеку, было до слез обидно за него и за Булгакова (с которым я вообще никогда не встречался), когда это название было сердито вычеркнуто из репертуарного плана: «Еще чего — ставить спектакль о белогвардейцах!»

Акимов никогда не изображал из себя начальство и никогда не прибегал к начальственному или авторитетному тону, но спорить с ним было трудно, да и нелепо — скорее всего окажешься в смешном положении. Часто он обезоруживал спорщика неожиданным доводом, одной парадоксальной, но убедительной фразой. Помню, как-то перед войной в Доме писателя Акимов трунил над драматургами, которые, выносив и с трудом родив одну пьесу, впадают в шок и протрацию и замолкают на десятилетия. Я от души смеялся, хотя эти каленные стрелы вонзались и в меня, — правда, я не писал комедий.

Вообще, трудно было оставаться равнодушным, слушая человека, который с поразительной точностью умел сказать то, что хотел, не затратив ни одного лишнего слова. Один зарубежный государственный деятель недавнего времени так определил интеллигента: «Лицо, которое употребляет больше слов, чем необходимо, чтобы сказать больше, чем знает». Вот уж нельзя применить этот афоризм к Акимову, хотя он до мозга костей был интеллигентом. Складом характера, манерой говорить, склонностью строго логически мыслить, тягой к технической целесообразности он больше напоминал математика или представителя другой точной науки, чем человека искусства.

Впрочем, в искусстве, в эстетических вкусах он тем более был верен себе — враждовал со всякой расплывчатостью и так называемым «настроенчеством». Чаще всего расходились мы в оценке некоторых художников, с детства дорогих моему сердцу. Если я кроме великих

и просто симпатичных мне реалистов любил и Матисса, и Модильяни, и вообще «левую» живопись, и в 1956 году, попав в Роттердамский музей, мы с тем же Акимовым долго стояли плечом к плечу перед единственной там картиной Марка Шагала, которого до этого знали (по крайней мере я) лишь по копиям, по репродукциям, то Акимов совершенно не признавал, скажем, раннего Нестерова, говорил о его картинах презрительно, что причиняло мне, скажу откровенно, немалую боль (о чем он не подозревал). Но так как Акимов был очень умен, воспитан, тактичен, то в остальном мы довольно удачно избегали «опасных», «взрывчатых» тем.

Я не часто бывал у Акимова дома. Он жил тогда на углу Кирпичного переулка и улицы Гоголя, в первом восстановленном после войны ленинградском доме. В 1941 году, в сентябре, в этот дом, вернее перед ним, на мостовую, упала бомба замедленного действия; это произошло днем, жильцы успели покинуть свои квартиры, пока она не взорвалась и не вырвала всю переднюю часть фасада, которую потом замаскировали фанерой с изображенными на ней окнами. Через шесть лет, когда Акимов переехал в восстановленный дом, я навестил его и увидел, как он сушит стены каким-то специально изобретенным им химическим составом. Как и кабинет в театре, жилище его выглядело скорее мастерской, убранство было аскетично и строго функционально. На столике у кровати стоял радиоприемник, снятый с подводной лодки, который ему подарили на флоте и которым он очень гордился, хотя приемник был совсем голый — все лампы и прочие радиодетали на виду, сконструированы на одном шасси, без ящика, что, собственно, и пленило Николая Павловича...

У меня в гостях Акимов побывал всего один раз, уже после того, как перестал быть худруком Театра комедии, и еще до того, как стал худруком Театра имени Ленсовета, — в этот полутораговой перерыв у него было свободное время. Характерно, что, придя ко мне, Николай Павлович уже через пять минут предложил ряд усовершенствований — например, окрасить стены моего кабинета не то гуашью, не то темперой, я в этом плохо разбирался. К сожалению, мы не смогли воспользоваться этим соблазнительным предложением: только что пе-

реехали с Васильевского острова на Марсово поле и порядком поиздержались на переезде и первоустройстве.

Акимова заинтересовало в нашей новой квартире, во-первых, то, что она помещается над бывшим «Привалом комедиантов», который был в свое время расписан Судейкиным и Борисом Григорьевым, в простенках в этом полуподвале стояли фигуры двух эфиопов, «куривших сигары», к сигарам был подведен и зажжен газ, и от них можно было прикуривать. Сама же наша квартира представляла собой часть «Салона мадам Добычиной» — частной картинной галереи, которую Акимов тоже знал, а дом принадлежал до революции знаменитому Митьке Рубинштейну, лихому банкиру и другу Распутина.

— Напишите о них комедию, — вдруг предложил Акимов.

— О Распутине? О нем уже написал Алексей Толстой — «Заговор императрицы».

— Во-первых, это не комедия, во-вторых, мало ли что еще можно написать о Распутине кроме того, что его убили. Например, представьте себе, что все действие происходит как раз под вами, в «Привале комедиантов». Митька Рубинштейн и Распутин в компании актеров выпивают и закусывают и совершают неслыханно наглые сделки.

— А такой случай был? Да нет, я не умею писать комедий...

— Хотите, напишем вместе?

Писать вместе с Акимовым! Мы же такие разные, что это предложение нельзя считать иначе как розыгрышем! С другой стороны, я уже достаточно хорошо знал Николая Павловича, чтобы не заметить в его характере одно странное противоречие: при всей его рассудительности, предельно ясном взгляде на вещи, он иногда мог загореться фантастической идеей. Так, например (это произошло много позднее разговора о Митьке и Гришке), он задумал поставить «Дракона» в кино как раз в тот момент, когда эту пьесу в Театре комедии сняли с репертуара, то есть в самое нереальное время для ее экранизации. В его трезвой душе порой (а может, и всегда) звучали явно утопические или, если хотите, легкомысленные нотки. Вот еще пример.

В театре Акимова-режиссера часто подводила примитивная сценическая техника, присущая этому театральному помещению, — а другого в его распоряжении не было. Бывший «Невский фарс» абсолютно не был приспособлен к современному, насыщенному разнообразной техникой театральному действию, равно как не был для него создан и бывший игорный клуб на Владимирском проспекте. Между тем Акимов упорно вводил в спектакли всевозможные трюки и фокусы, — в результате поезда с миниатюрными вагончиками, вместо того чтобы беззвучно промчаться на заднем плане, создав соответствующее настроение у зрителей, валились с насыпи, конвульсивно дергался или в самый неподходящий момент застревал роскошный лимузин с пассажирами и прочее в том же роде. Разумеется, эти мелкие неудачи огорчали Николая Павловича, но он не прекращал своих опытов: может быть, в следующий раз получится! К сожалению, получалось редко и далеко не то, о чем мечталось.

А мечталось о небывалом, ни на какой другой не похожем театре, где можно творить сущие чудеса! В осуществление этой старинной мечты Николай Павлович спроектировал наконец идеальное здание — где-то в новом, далеко от центра районе, куда должен был переехать Театр комедии, оставив старое, привычное публике и актерам помещение на Невском проспекте. Это, конечно, было бы крупной стратегической ошибкой. Правда, их совершают многие театральные деятели, особенно режиссеры-новаторы, по крайней мере совершают в мечтах — на деле проекты эти почти никогда не осуществляются. Так было и у Мейерхольда: перед самым закрытием театра он замыслил построить для него сверхновое здание вроде цирка; так получилось и у Акимова. Я никак не мог взять в толк, зачем ему разрушать принцип сцены-коробки, особенно в последние годы, когда он по большей части ставил незамысловатые бытовые комедии. Конечно, не исключено, что он ставил их потому, что для другого рода спектаклей привычный нам всем театр на Невском, 56, не годился. . .

Так или иначе, если Акимов в душе был мечтателем, главной его мечте не суждено было осуществиться. В остальном, повторяю, он был подчеркнуто трезво деловит и рационалистичен. У меня сохранилась одна его

«рабочая»: записка, текст которой полностью приведу, настолько он характерен для Николая Павловича.

В 1964 году готовился сборник воспоминаний о Евгении Львовиче Шварце. Нечего и говорить, что, когда пришло время думать об оформлении книги, я обратился к Акимову, незадолго перед тем превосходно оформившему сборник пьес Шварца. Я провел у Акимова какой-нибудь час, и за это время мы не только все обсудили, но он успел набросать проект оформления новой книги, который затем и представил в издательство:

«Соображения по книге воспоминаний
о Е. Л. Шварце.

Заглавие: «Мы знали Евгения Шварца» (под этим список авторов). Формат 16—20 см. Формат бумаги 70×86.

Для создания осязаемой атмосферы общества перед каждым воспоминанием — титул, состоящий из заглавия, небольшого фото автора и авторского факсимиле (2 краски).

2—3 печ. листа отдаются под фотоиллюстрации: Е. Л. Шварц в жизни, в групповых снимках, на репетициях, снимки с основных постановок и персонажей его пьес.

Ввиду того, что отдельные статьи могут быть различных размеров — от 30 страниц до 1/2 страницы, — выгодно набирать их разным шрифтом. Самые лаконичные — крупным курсивом, и т. д.

Титул печатается в 2 краски.

Переплет жесткий, гладкий, с небольшой графической эмблемой. Суперобложка с крупной фотографией Шварца на меловой бумаге, в 2 краски (одна — штрих, одна — тон). Желателен лак.

Специальных графических украшений — заставок, виньеток и пр. не надо. (Как типично это примечание для Акимова! — Л. Р.)

Композиции шмуцтитулов перед статьями — разными шрифтами и тип. знаками по эскизу набором.

Возможный срок сдачи графической работы — 15 декабря 1964 г.».

Затем следует дата составления записки: «6 октября 64». Николай Павлович, как всегда, определил точный реальный срок и, как всегда, в него уложился. Другое дело, что издательство тут оказалось не на высоте, да

и замысел художника претерпел упрощение в производстве. В ноябре я писал З. А. Никитиной, принимавшей ближайшее участие в составлении сборника:

«Поведение издательства в отношении Акимова возмутительно. Я все это время не мог заставить себя позвонить ему как автору. Вчера превозмог себя и позвонил. Конечно, мы правильно чувствовали, что он уязвлен,— мне большого труда стоило повернуть разговор с оформления на воспоминания. Но, зная его пунктуальность и работоспособность, мы, думается, можем не беспокоиться: он напишет. 24-го он сдает премьеру («Двенадцатую ночь») и сразу начнет писать очерк о Шварце. Делает он все быстро».

Так и вышло, Николай Павлович написал воспоминания. Помимо всегда присущего ему остроумия, наблюдательности, тонких оценок у автора нашлись нежные и ласковые слова, тем более ценные, если знать нелюбовь Акимова к сантиментам. Но я-то знал раньше, как любил Николай Павлович Шварца. Вообще, я постепенно понял, что многое у Акимова шло от самозащиты — ирония, сухость тона, краткость высказываний. Верно, что он не любил размазывать белую кашу по чистому столу, как говорил Бабель, но в этом не было и примеси мизантропии: кого он любил — тех любил, и нежность к ним подчас прорывалась.

На моей памяти и другая его дружеская привязанность. . .

Зоценко и Акимова, этих сдержанных и во многом скрытных людей, роднили воспитанность и какое-то внутреннее изящество. Внутреннее? Пожалуй, и внешнее: оба не были равнодушны к своей наружности, были всегда элегантны в любых обстоятельствах. Недавно я побывал на даче покойного Зоценко. Меня больно задело, какая ветхая, изношенная пижамка висела на гвоздике подле узкой, студенческой койки — именно койки, а не кровати. На людях же Михаил Михайлович был всегда тщательно, если не щегольски одет, даже очень поношенный костюм он умел изящно носить. То же самое можно сказать о Николае Павловиче: те полтора года, когда он был фактически без театра (1949—1950), никак не отразились на его внешности. Но походка у них была разная: у Зоценко —

неспешная, грациозная, у Акимова — стремительная, деловая.

Еще о тех, с кем дружил Акимов. Уже после его смерти я познакомился с перепиской Акимова и Александра Александровича Кроленко. Бывший директор издательства «Academia», где в молодости Акимов сотрудничал в качестве иллюстратора, Кроленко пережил Николая Павловича всего на два года, но старше его он был лет на десять; до конца жизни они встречались, и по рекомендации Акимова Кроленко читал в Театральном институте лекции о книжном деле. Николай Павлович не был склонен к эпистолярному общению, — у меня, например, всего два его письма, несколько кратких записок и одна телеграмма; и молодых его писем к Кроленко нет, хотя познакомились они в 1923 году, — сравнительно регулярная переписка началась с середины тридцатых годов, да и то по конкретному поводу: Николай Павлович и Александр Александрович собирались вместе путешествовать на надувной резиновой лодке по Псёлу или по Сейму. Любопытно, до чего Акимов и в этом целеустремлен и практичен! Почти все письмо является собой инструкцию: где в Ленинграде купить циновки для сна и отдыха на лоне природы, с приложением набросанного карандашом планчика — как легче найти этот магазин в районе Сенной площади, сразу за церковью (теперь ее нет); где достать байдарочное весло, непременно попросив в магазине распилить его пополам, чтобы легче было везти по железной дороге, а уж Акимов, находившийся с театром на гастролях в Москве (где байдарочных весел не обнаружил), приготовит соединительную медную муфту, чтобы снова составить из двух половинок нормальное, полноценное весло. Непреклонность этих инструкций в конце письма пародийно обыгрывается: «Итак, проникнитесь серьезностью положения и выезжайте немедленно. Трое ждут Вас!»

Л. А. Рождественская, сестра А. А. Кроленко, с которой мы в бытность мою в Театре комедии выпускали иллюстрированные эскизами декораций и костюмов, фотографиями сцен и персонажей книжки «Остров мира», «Лев Гурыч Синичкин», показала мне снимки, запечатлевшие путешествие по украинским рекам, и рассказала о некоторых трагикомических приключениях: надувное судно не раз опрокидывалось и лопалось, и путешест-

винники падали в воду, после чего Акимов энергично принимался за ремонт и усовершенствование своего корабля. Я всегда считал Николая Павловича прирожденным горожанином (собственно, оно так и было), и для меня оказалось сюрпризом его спортивное пристрастие к воде. Кстати, в одном из писем упоминался в связи с вояжем и другой приятель его молодых лет — Петр Снопков. Последнее же письмо Акимова к Кроленко написано через тридцать лет, из Парижа: «...26 окт. делал в Парижском университете доклад о Шварце и Сов. театре! Вот как я уже насобачился по-французски!»

Все мы в пожилом возрасте немножко меняемся, «отмякаем» и нередко стремимся укрепить, оживить старые дружеские связи. Возможно, что при всем своем рационализме Николай Павлович тоже слегка поддавал под этот возрастной закон. Владислав Михайлович Глинка мне рассказывал, как видоизменялось их знакомство и дружба. Познакомились они в 1938 году, а в 1941-м, в начале декабря, то есть перед самой эвакуацией Театра комедии из Ленинграда, Акимов привез на санках к Глинке, жившему в эрмитажном доме, тяжеленную папку с 250 своими лучшими рисунками и театральными эскизами и 24 фарфоровые фигурки — персонажи «Тени» и «Двенадцатой ночи», работы Натальи Яковлевны Данько. Блокаду Глинка провел в Ленинграде и сохранил все доверенное ему Акимовым; в 1944 году, прилетев на несколько дней в Москву, увиделся с Акимовым на генеральной репетиции «Дракона», ночевал у него, и они до утра разговаривали, что для Акимова, да и сдержанного, чем-то похожего на него характером Глинки уже было удивительно. Но этого мало. Еще через шесть лет, в 1951 году, в день рождения Николая Павловича, по его предложению они выпили на «ты», а это уже невероятно много!

Почему я об этом рассказываю? Да все в стремлении разгадать натуру Николая Павловича, натуру, на первый взгляд ясно, четко, определенно, как собственные его рисунки, очерченную, но в которой, как в каждом из нас, таилось немало противоречий. Теперь я уверен, что в этом на вид суховатом, необыкновенно трудолюбивом, высокоорганизованном человеке кипели страсти, жило горячее стремление к тесной дружбе, и вообще ничто человеческое не было ему чуждо. Тут уж я свиде-

тель: когда Акимову чего-нибудь очень не хотелось, он при всей своей выдержке не выдерживал и морщился так, точно съел подряд два лимона без сахара и не под коньяк... (Кстати, к спиртному он был совсем равнодушен. В 1946 году, для первого знакомства, он угостил меня рюмочкой ликера, и видно было, что это предел его выпивки!) Если шла речь о чем-нибудь или о ком-нибудь особенно ему неприятном, лицо его выражало гадливость, страдание, он словно умолял избавить его от этого дела и от этого человека или хотя бы прекратить этот разговор. В обществе малознакомых или чуждых ему по духу людей он не позволял себе так «распускаться», но когда мы оставались вдвоем или втроем (с Е. Л. Шварцем, у которого было нечто общее в этом отношении с Акимовым, но только в этом, — в остальном они были очень разными, если не прямо противоположными натурами), он не стеснялся, и мы воочию убеждались, что внутри у него все кипит от презрения, негодования, возмущения — словом, от внутреннего сопротивления источнику зла, затронутому в беседе. Что касается просто скучной для него темы, он уходил от нее легко — прерывая разговор скучающим выражением лица, что умел делать виртуозно (почти как Г. М. Козинцев).

Боюсь сказать, усложняю я Николая Павловича, идеализирую или, наоборот, упрощаю, недооцениваю, вообще чересчур вольно домысливаю, — знаю только, что мне очень хотелось вникнуть как можно глубже в душу этого сложного человека, объяснить себе, какой же он был. Знаю, что сам Акимов избегал усложнять отношения, не любил психологических завитушек и мог годами работать с людьми, казалось, во многом чуждыми его взглядам и вкусам в искусстве, — были такие и в театре, и в служебных инстанциях, от которых театр зависел, и, как ни странно, худрук Акимов умел без излишних конфликтов защитить свою линию и в конечном счете — победить. Помню, в 1948 году представитель Управления культуры, умная, интеллигентная женщина, сочла один из спектаклей слишком легкомысленным. Я мрачно ее спросил:

— А вы знаете, кто сказал: «К смешному мы относимся серьезно, когда относимся к нему легко»?

Она чуть замаялась:

— Не знаю... но чувствую какой-то подвох...

— Это написал Маркс Энгельсу. Правда, молодой Маркс молодому Энгельсу...

Откровенно говоря, я ждал, что Акимов молчаливо одобрит мою ехидную реплику, но, взглянув на него, я увидел каменное лицо, абсолютно не выражающее одобрения.

Через много лет, когда эта дама давно уже служила завяитом в Театре комедии (такова ирония судьбы!) и была верной помощницей Акимова, я напомнил ей этот эпизод — опять же в его присутствии. Она кисло улыбнулась и сказала, что, кажется, напоминает такой случай. Акимов и к этому вторичному моему уколу отнесся с каменным лицом. Как видно, и в первом и во втором случае он счел это лишним, ненужным, мешающим делу.

Не исключено, что и мы с ним ни разу не поссорились за время совместной работы в театре по той же причине: деловой такт и самообладание художественного руководителя позволяли обходить многие, если не любые препятствия. Но, главное, я всегда знал, что в своих взглядах, оценках, высказываниях Акимов предельно тверд и предельно искренен (при всей необходимости быть иногда дипломатом), и это глубоко покрало.

Я уже говорил, что Акимов не любил выслушивать замечания и советы, но никогда не обрывал, не обрезал советчика (как прошеного, так и непрошенного): он был идеально воспитанным человеком — недаром в конце своей жизни написал несколько отличных статей об умении вести себя в обществе и друг с другом. Он мог быть — и бывал — тонко язвителен, но, подчеркиваю, т о н к о: я никогда не слышал от него ни одного грубого слова, формула вежливости неукоснительно соблюдалась, с кем бы он ни общался.

Вместе с тем он никогда ничего не говорил только из вежливости — пустых фраз он не признавал. Вот почему я не могу считать полученную от него к моему шестидесятилетию телеграмму лишь вежливой отпиской. Текст ее по-акимовски краток: «Поздравляю благодарю за прошлое настоящее будущее. Акимов». За что же он мог благодарить? Увы, за очень небольшое. Если не считать чисто негативного «выигрыша» — в 1946 году

вместо меня в театр могли сунуть совершенно чужого и неприемлемого для него человека и драматурга,— то, пожалуй, могу гордиться одним небольшим и частично использованным им моим советом.

Ровно через десять лет после того, как я расстался с Театром комедии, Николай Павлович прислал мне письмо (я был вне Ленинграда), при обычном акимовском лаконизме — довольно пространное:

«Дорогой Леонид Николаевич! У Ваших родных я узнал адрес Вашего уединения и хочу нарушить Ваш покой по двум поводам. Во-первых, ходят слухи, что Вы кончаете пьесу. Я надеюсь, что бывший завлит не забудет о вверенном ему в свое время театре. Это изложено кратко, потому что здесь все ясно. Второе. У нас предполагается к юбилею Чехова делать спектакль. Поскольку все сестры и сады принадлежат академическим и драматическим театрам, мы хотим в нашем жанре откликнуться на эту дату, а именно сделать спектакль из миниатюр, т. е. из рассказов. Из старого спектакля, который Вы, вероятно, помните, я думаю включить «Юбилей» в качестве последнего акта.

Нет ли у Вас желания и возможности помочь нам в этом деле — в смысле подбора произведений и, м. б., нахождения связующей канвы? Конечно, хотелось бы не брать заграничные самодеятельностью и крупными актерами на халтурах вещи, а поискать нечто неожиданное.

Я думаю, что материал столь обширен, что такой выбор возможен. И мне кажется, что если бы Вы согласились на это, то никто лучше Вас не сделает, что думают у нас все в театре.

Очень прошу Вас мне поскорее ответить на оба вопроса.

Когда Вы приедете, буду рад показать Вам свои американские снимки, которых легион!

Жму Вашу руку и надеюсь на хорошее отношение!

Ваш Н. Акимов

*21 сентября 1959.
Ленинград»*

Я ответил, что пишу не комедию, а драму,— стало быть, с этим вопросом полная ясность, относительно же

чеховского спектакля высказал несколько общих и частных соображений:

«То, что Вы намерены оставить в качестве последнего акта «Юбилей», не затруднит ли Вам всю композицию? Одно дело, если бы Вы решили составить спектакль из трех вещей — каждая вещь на целый акт. Но если использовать совсем маленькие рассказы и сценки, то заключить эту сборную солянку сравнительно увесистым «Юбилеем» будет трудно. Разве что пригласить присутствовать на юбилее всех персонажей предыдущих сенок? Вообще же в спектакле возможны разные принципы. Одни будут объединять его, другие — на первый взгляд подчеркнута разъединять.

1. Скажем, подобрать серию приключений одних и тех же или похожих героев (к примеру Пересолин и Посудин из рассказов «Винт» и «Шило в мешке» и др.).

2. Воспользоваться собственным чеховским названием первого его сборника «Пестрые рассказы» и, обнажив прием, сшить спектакль из действительно пестрых лоскутков. . . Объединять спектакль из чеховских миниатюр должен, мне кажется, чисто театральный, а не литературный прием, режиссерская находка и изобретение, а не драматическая канва. Буду рад, если Вы с этим мнением согласитесь».

Как известно, Акимов назвал свой спектакль — «Пестрые рассказы», не включил туда «Юбилей» и объединил все рассказы и сценки тем, что повесил над порталом сцены большое угловатое пенсне, живо напоминавшее зрителям столь знакомый им по портретам и фотографиям характерный чеховский облик. Успех этого спектакля, живущего вот уже десять с лишним лет, также известен. Словом, Акимов блестяще справился с трудной режиссерской задачей — объединить разъединенное.

Это, возвращаясь к поздравительной телеграмме, о прошлых моих «заслугах» перед театром — другого при всем желании ничего не наскрести. К «настоящему» можно было с большой натяжкой отнести мою газетную рецензию об одном из понравившихся мне последних акимовских спектаклей, — он посейчас продолжает свою сценическую жизнь. Что касается «будущего», тут Николай Павлович жестоко ошибся: в 1968 году он умер.

В годы, когда Акимов вернулся из Театра имени Ленсовета в Театр комедии, мы не часто виделись. В основном это были встречи на премьерах и на капустниках в его театре. Встречались мы иногда и на нейтральной почве — на гастролях Марселя Марсо, «Комеди Франсез», венгерской оперетты и — очень редко — на собраниях драматургов и режиссеров. На одной такой сравнительно многолюдной встрече Акимов говорил сразу после вступительного слова видного театрального деятеля, который с большим чувством рассказал, как он шел по улице и увидел пьяного, лежащего на панели, и как навстречу шел малаец и сделал вид, что не заметил этого пьяного. «Давайте же работать так, — призвал председательствующий, — чтобы никому не пришлось делать вид, что он не замечает наших порой плохих спектаклей!» Акимов встал, огляделся и, перед тем как начать свое полное юмора и сарказма критическое выступление, сказал: «Надеюсь, малайцев здесь нет?» Аудитория среагировала мгновенно, наградив его смехом и аплодисментами.

В 1956 году мы совершили совместное путешествие вокруг Европы. Как известно, большая часть пути пролегла морем. Покинув Одессу, наш теплоход посетил порты Варну, Стамбул, Пирей (оттуда выезжали на автобусах в Афины, Акрополь), Неаполь (из Неаполя на машинах — в Сорренто, на катерах — на Капри, опять в Неаполь, на поезде — в Рим и через двое суток обратно), затем шесть дней по Средиземному морю и Атлантическому океану до Гавра (оттуда поездом — в Париж и через трое суток обратно), затем Роттердам (автобусом — в Амстердам и Гаагу), Кильским каналом и Немецким морем — в Стокгольм, Балтикой — в Ленинград. Только шесть суток мы провели сплошь на суше, ночуя в гостиницах, — все остальное время были в плавании, то есть из 26 дней 16 любовались лишь морем и дальними берегами (разумеется, не считая Босфора и Кильского канала, где берега с их церквями, дворцами и прочими зданиями были рукой подать). Для чего я привел этот подсчет? Из него можно твердо заключить, что уж на что-на что, а на нехватку свободных часов, находясь на теплоходе, мы не могли пожаловаться.

Не было свободного времени только у одного пассажира — у Николая Павловича Акимова. Если он не

спал (а спал он, по-моему, меньше всех нас), не принимал пищу и не уделял максимум полчаса для обозрения встречных судов, чаек, дельфинов и летающих рыб (да и те предпочитали залетать на нижнюю палубу ночью, когда мы спали), то все остальное время Акимов работал в каюте, которую он занимал вдвоем с известным ленинградским ученым Б. А. Порай-Кошицем, ныне тоже уже покойным. Акимов написал множество портретов своих попутчиков, стены и дверь каюты были увешаны этюдами и рисунками. В прогулках и экскурсиях Акимов непрерывно фотографировал, чему специально выучился перед поездкой (тоже типично акимовская черта: то, что делаешь, уметь делать в совершенстве).

В последующие годы, в поездках в Америку, еще и еще куда-то, он также непрерывно фотографировал, преимущественно на цветную диапозитивную пленку. Он даже выступал с лекциями и докладами, иллюстрируя их своими диапозитивами, и однажды сказал, что смотрел на мир исключительно через объектив своего фотоаппарата. Это, конечно, преувеличение, но опять же характерное для Акимова, оно как нельзя лучше выражает увлечение Акимова фотографией, позволившей ему сохранить визуальную запись всех своих зарубежных впечатлений. Быть может, случайно, но это совпало с тем, что его театральные декорации стали все больше уходить от гротеска, появились красивые пейзажные задники, как бы говорившие о потребности художника оттолкнуться от избытка урбанизма, которого он насмотрелся в Америке и в других местах... Впрочем, возможно, что я фантазирую!

Акимов редко болел и никогда не «культивировал» свое нездоровье, умел скрывать и подавлять те неизбежные ленинградские гриппы, которым он, как и все мы, грешные, был подвластен. Не помню, совсем не помню, чтобы он поделился: «болит голова», «неважно себя чувствую», — он справедливо считал эти жалобы дурным тоном. Более того, жизненный тонус, энергия, привычная, ввевшаяся до костей дисциплина труда, не наигранная, а органически присущая ему бодрость духа, подтянутость помогали ему преодолевать хворь и телесную немощь, если они вдруг подступали. Лишь в середине шестидесятых годов до меня стали доходить слухи о том, что Акимов начал прихварывать, что однажды

ему пришлось лечь в больницу. Встречаясь, мы никогда на эти темы не говорили: я знал, что он этого страстно не любит. При встречах он не задавал традиционных вопросов: «как живете?», «как себя чувствуете?», «как здоровье?», не говорил на печальные, постные темы, и я знал, что это не равнодушие, не отсутствие внимания,— просто такой стиль и характер! Недаром на похоронах Лозинского и его жены (никогда не забыть эти два больших гроба, стоявших в Доме писателя, как в «Ромео и Джульетте»!) он был, как обычно, суховат и подтянут, хотя, несомненно, смерть этих близких друзей глубоко его огорчила.

Но вот осенью 1962 года, когда я сравнительно серьезно заболел, Акимов, узнав об этом, прислал мне письмо, только что вышедшую свою книгу «О театре» и фотографию с доброй надписью, что меня очень тронуло, тронуло именно тем, что это было как бы исключением из правила.

Последняя наша встреча, в мае или апреле 1968 года, была мимолетна и состоялась в трамвае, точнее при выходе из вагона, на углу Невского и Садовой (Акимов к этому времени жил уже на Петроградской стороне, в большом новом доме, выходящем фасадом на набережную Невы, на домик Петра Первого).

— В театр? — спросил я его.

— В аптеку, — ответил Акимов. (Так я впервые услышал от него нечто относившееся к здоровью.) — А вы?

— В собес, — так же кратко ответил я. И добавил, словно оправдываясь: — На всякий случай оформить пенсию.

И мы расхохотались, оценив экзотичность для нас обоих того и другого учреждения. . .

Прошло три месяца, кончалось лето, я жил в Комарове, в Доме творчества писателей. В середине сентябрьского, еще жаркого дня туда пришел Юлий Исаакович Рест и сказал:

— Умер Николай Павлович. В Москве. После гастрольного спектакля. В номере гостиницы горел свет. На столике возле кровати лежала разлистнутая книжка журнала «Иностранная литература». . .

Через два дня Акимова хоронили в Ленинграде. В театре состоялась гражданская панихида. Мы с же-

ной едва пробилась через толпу, держа пропуска высоко над головой, чтобы не выхватили. Магазин под театром был закрыт, на прилегающей улице движение перекрыто, в растворенных настежь окнах домов, на крышах — всюду виднелись люди. В театре была духота. Стоя у гроба, я всматривался в лицо Николая Павловича, всматривался так, как всегда мы смотрим в лица дорогих нам покойников, чувствуя резкую пустоту в груди, подступающий к горлу ком. В голове стучали две мысли: почему, почему мы так редко в последние годы встречались? Теперь это уже непоправимо. Вторая мысль была странной и страшной: я словно бы видел то, что творится сейчас в этом мозгу. . .

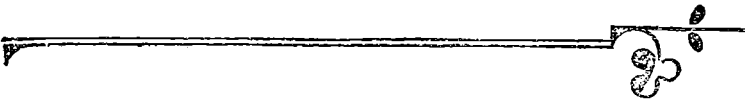
Как и каждый из нас, я терял в жизни близких, умных и даже мудрых людей, испытывал скорбь и боль; случалось, они умирали совсем молодыми, что было еще большее и горше. Но почему-то я никогда так остро не ощущал, что происходит в первые же после смерти дни и часы в их мозгу, какой это несправедливый, необратимый и жуткий процесс. Впервые с такой силой и ясностью я ощутил это, глядя на мертвого Акимова. Мало сказать, что Акимов был исключительно умен и разносторонне талантлив, — он как бы весь был сгустком мозговой энергии, в этом было что-то уэллсовское, что-то космическое. Кто-то когда-то насмешливо сказал про него: «гомункулюс». Нет, неправда, поклеп. Гомункулюсам, наверное, все равно, в добрую или злую сторону работает их мозг, — Акимову это было не все равно: он был сознательно и активно, в самом высоком смысле этого слова, порядочным, а еще точнее — благородным человеком.

В моей комнате висит копия очень талантливого шаржа Б. Малаховского на Акимова. Шарж исполнен как бы в манере старинных карикатуристов: малое туловище подчинено большой голове, хотя Акимов был на редкость пропорционально сложен. Помню, когда Акимов был у меня в гостях, я показал ему этот шарж. Он взглянул на него без малейшего удовольствия, и я пожалел, что обратил его внимание на рисунок. Сперва я подумал, что его неудовольствие объясняется не столь уж редкой у художников ревностью одного мастера к другому. Но вполне возможно, что это было и другим

чувством. Малаховский в своем рисунке как раз сверхточно подчинил все в Акимове его голове, его мозгу.

И вот этот великолепный мозг в свою очередь подчинился таинственному и одновременно такому обычному, рядовому и чудовищно грубому распаду. Конец. Чудо из чудес — человеческий мозг — перестало существовать. Банально? Но факт. В такие минуты его невозможно простить природе.

1972



ПОЗДНЯЯ ДРУЖБА

Летом 1942 года, когда Шварц приехал к нам из областного Кирова в районный Котельнич, мой отец, который видел его впервые, решил, что он всегда был такой тощий. А я и в самом деле помнил Евгения Шварца еще худым, в обмотках, в широком и плоском английском кепи с наушниками, нависавшими над острым, как у Шерлока Холмса, профилем. Но это было давно, в двадцатые годы. С тех пор Шварц постепенно грузнел и внешне солиднел — вплоть до войны и блокады. Впрочем, когда кто-нибудь из друзей тыкал его пальцем в объемистый живот, он уверял, что жира там нет, что там просто воздух.

Шварц приехал в Котельнич, не только перенесся перед этим первые, самые тяжкие месяцы ленинградской блокады, но и переболел в Кирове скарлатиной: подхватил ее у приехавших также из Ленинграда детей поэта Николая Заболоцкого. Сам Заболоцкий был родом из Уржума, то есть прирожденный вятч, дети же его родились и выросли в Ленинграде, под боком и под опекой Евгения Львовича. Они были соседями по дому на канале Грибоедова, Шварц был очень привязан к ним и с радостью приютил их в своей маленькой комнатке в Кирове.

— Да, Ленья, — наставительно говорил он, — чтобы в сорок пять лет суметь захворать скарлатиной, надо быть детским писателем — только для нас существует возрастная льгота. Вы пока ее не заслужили. Скорее начинайте писать для детей!

В Котельниче мы со Шварцем спали на сеновале, где, разумеется, долго перед сном разговаривали, а рано утром будила нас курица, виртуозно певшая петухом. Шварц не раз потом о ней вспоминал, считая такое диво тоже подарком судьбы в этот страшный год. Оба мы нашей встрече невероятно обрадовались, как обрадовались за месяц перед тем, узнав, что нас разделяют всего сто километров по железной дороге. Оба лишь недавно справились с дистрофией (а Шварц еще и с болезнью), оба тосковали по Ленинграду, но главное, что угнетало тогда всех, были черные вести с фронтов. Блокадные испытания уже казались какими-то бесконечно далекими, словно бы потусторонними,— столько военной беды грохотало в стране этим летом.

Знакомы со Шварцем мы были давно, но подружился только во время блокады. И вот встретились здесь, в условиях, далеких от нормальных, но все же не ленинградских. Мы знали, что это как бы бивуак в нашей жизни, и потому особенно ценили эту встречу «на перевале». За короткие дни в Котельниче Шварц успел побывать в детском доме, эвакуированном из Ленинграда, из Кировского района, в Кировскую область и помещавшемся километрах в двадцати от Котельнича. Именно об этом детдоме он написал через несколько месяцев пьесу «Далекий край», которая пошла потом в Московском ТЮЗе и в других детских театрах страны. Увы, число тюзов в военные годы резко сократилось,— большинство их до войны приходилось на западные и южные области.

В Котельниче же Шварц прочел нам вслух другую свою пьесу — «Одна ночь», о ленинградской осаде, о жакте, где он с женой Екатериной Ивановной дежурил на чердаке, на крыше, сражаясь с «зажигалками». В этой пьесе отлично были написаны женщины. В поэтичном образе Марфы мы ощутили столь присущую Шварцу-сказочнику волю к добру, помогающую преодолеть и большую беду, и житейские горести, прибавляющую сил, чтобы жить и работать.

Начался 1943 год. Перед тем как мне переселиться в Москву, мы с женой приехали в Киров. Шварц нам устроил ночевку в местном театре, где он служил завлитом. Еще шел спектакль «Синий платочек», а мы, утомившись за долгий, ненастный мартовский день, уже

завалились спать в директорской аванложе под звуки душещипательного романса, сопровождавшего лейтмотивом этот спектакль. Шварц ушел из нашей «спальни» не раньше, чем убедился, что нам удобно, что промокшие наши пальто висят на спинках кресел, а разбухшие от снежной жижи башмаки аккуратно приставлены к радиаторам, которые, правда, были уже выключены на ночь.

Утром мы со Шварцем отправились на базар — купить картошки и молока: вечером предстоял «кутеж» в честь приезжих гостей. Я редко встречал людей более легкомысленных по части своего материального обеспечения, но тут он счел хозяйским долгом непременно попробовать покупаемое молоко, наливая несколько капель на ладонь (возможно, что таков был местный обычай, который он не считал себя вправе нарушить). Бабы с любопытством и жалостью смотрели на его трясущиеся руки, но цен не сбавляли. Шварц, пересиливая себя, с вымученной улыбкой сказал:

— Наверно, думают, что это у меня от жадности. Или что я кур воровал. Леня, скажите им, что я не украл даже вашей чудо-курицы. . .

Днем, пока я хлопотал о пропуске и железнодорожном билете в Москву, Шварц читал труппе областного театра мою новую пьесу, которая ему, кажется, не очень-то нравилась, но товарищеский долг превозмог личные вкусы. Его поддерживала, пошутил Шварц потом, надежда на то, что директор театра угостит его после читки папиросой «Казбек», как угостил в первый день меня, — увы, надежда не оправдалась. . .

А затем мы простились до встреч в Москве — в 1943 и 1944 году. Москва 1944 года и спектакль Театра комедии «Дракон» — особая тема, скажу лишь, что, на мой взгляд, эта пьеса являет наивысший подъем, лучшее достижение Шварца в драматургии. Через четырнадцать лет, когда поздним январским вечером я узнал о его смерти, первое, что я сделал, чтобы продлить связь с живым Шварцем, я взял стеклографическое издание «Дракона», которое опубликовал в 1944 году ВУАП (Всесоюзное управление по охране авторских прав), — взял и до трех ночи не выпускал из рук, пока опять не прочел всю пьесу. Что говорить о художественной ее силе? Скажу о пророческой силе: сколько фашистских

режимов и путчей она предсказала — в Греции, в Чили, недавние попытки в Италии, да разве все перечислишь! Хорошо, если рано или поздно они кончатся победой добра, олицетворенного в бесстрашном Ланцелоте...

Летом 1943 года, когда Шварц еще только задумывал «Дракона», он ненадолго приехал в Москву, и мы почти каждый день встречались либо у него в гостинице, либо у меня на Трубниковском, благо этот переулок недалеко от центра. Я жил в первом этаже, и если кто-то стучал по железному козырьку наружного подоконника, я не глядя знал — это Шварц. Я впускал его в полуразрушенную квартиру, жильцы которой эвакуировались из Москвы в 1941 году, мы садились в плюшевые плешивые кресла и толковали; затем я его проежал в гостиницу «Москва» и скорее бежал назад, чтобы успеть домой до комендантского часа.

О своих литературных делах мы говорили мало, основной темой была война, события на Орловско-Курской дуге и... Лев Толстой. Впрочем, одни ли мы вспоминали тогда «Войну и мир»? Но у нас нашелся еще один повод говорить о Толстом, повод уже случайный: на столе лежал том «Литературного наследства», посвященный Льву Толстому. Мы обнаружили в нем новые, дополнительные штрихи к известному нам по ранее изданным дневникам Софьи Андреевны Толстой ее увлечению (в весьма немолодом возрасте) композитором Танеевым. Шварц меня удивил. Он никогда не осуждал за любовь, за влюбленность (сам расстался когда-то с первой женой, расстался жестоко, сразу после ее родов, без памяти влюбившись в Екатерину Ивановну), но тут неожиданно «заявил протест».

— Леня, как вы не понимаете, — чуть не сердясь, говорил он, — Толстой всю жизнь не выходил из боев. Истекая кровью, бился с самим собой... Уж это-то Софья Андреевна хорошо знала. Могла она его пощадить? — Он хмурил свои густые, кустистые, почти толстовские брови. — Нет, недаром, недаром он написал «Крейцерову сонату»!

Я не выдержал:

— Написал за пять лет до встреч Софьи Андреевны с Танеевым... И влюбленность ее была платонической. Истеричная и обиженная Софья Андреевна сама ее выдумала.

— Все равно! — упорствовал Шварц. — Она его мучила... а он мучил себя!.. — Он помолчал и вдруг заключил свою необычную для него азартную речь типично шварцёвским оборотом, одновременно лукавым, серьезным, а главное, объяснившим мне — почему, заговорив о Толстом, он употребил столь знакомые нам в то военное лето слова «не выходил из боев», и вообще, что его тут взволновало.

— Интересно знать, — сказал Шварц, — живи этот великий пацифист сейчас, во время такой войны, как отнесся бы он к ней и к стихам «Жди меня» и «Убей его»? Помните вчерашнее собрание?

Еще бы! Вчера в Союзе писателей докладчик упомянул эти два знаменитых стихотворения Симонова подряд одно за другим, отчего возник новый смысл: жди меня и убей его, то есть будь верной мне и убей моего соперника! Как пишут в газетных отчетах, последовало веселое оживление в зале, что в те напряженные дни было как бы разрядкой...

Чаще всего мы встречались в конце сороковых, в начале пятидесятых годов. Я много жил тогда в Комарове, под Ленинградом, а Шварц жил там почти постоянно, лишь изредка наезжая в город. Об этих поездках он написал чудесный рассказ «Пятая зона»; в 1967 году рассказ был опубликован в журнале «Вопросы литературы». При жизни Шварц не печатал своей «взрослой» прозы, все считал ее только «опытами». Он вообще был творчески мнителен, боялся, что чего-то не умеет, чему-то не научился и по-настоящему не нашел себя, тогда как на самом деле был одним из самых оригинальных наших писателей.

Но при всей своей мнительности и неуверенности в себе (а может быть, благодаря им), Шварц постоянно трудился над одним, над другим, над третьим, пробуя все жанры, до цирковой феерии и до балета включительно. Он увлекался тогда русскими сказками (сборники Афанасьева, подаренные Верой Кетлинской, вернее выпрошенные у нее в подарок, всегда лежали у него на столе) и написал прелестную пьесу-сказку «Два клена», лирическую по складу и духу, но с убийственно сатирической бабой-ягой, которая нежно любит себя, называет ласковыми именами и прозвищами: «Я в себе, голубке,

души не чаю. . . Вы, людишки, любите друг дружку, а я, ненаглядная, только себя самое».

1948—1949 были годами, когда много говорили о нашем приоритете во всех областях искусства и техники. Тогда находились и такие, которые, бия себя в грудь, утверждали, что больше никто в мире ничего толкового не открывал и не изобретал. Эти люди были убеждены, что, к примеру, пьесу Шварца «Обыкновенное чудо» не следует ставить, поскольку сюжет ее основан не на русском фольклоре. Перестала идти на сценах «Тень», и лишь для «Снежной королевы» театры делали исключение: приходилось же что-то ставить из того, что любили дети.

Именно тогда мы больше всего нуждались друг в друге — я по крайней мере. Мы с Шварцем встречались в Комарове ежедневно, вернее — по два раза в день. Днем он заходил ко мне и мы гуляли, а вечером я шел к нему. Однажды, помню, была такая метель, что на дороге местами намело сугробы чуть не по пояс, но Шварц все равно провожал меня, и мы, как всегда, говорили и говорили.

О чем же мы разговаривали? Обо всем на свете. Беседы наши нередко были бестолковы, то есть не имели определенной цели, определенного предмета обсуждения, но редко бывали бессодержательны. И это понятно: ум и память Шварца были необычайно активны, мозг его все подвергал живому исследованию и воспроизведению. Обычно считается, что в пожилом возрасте человек хорошо помнит (и любит вспоминать) прошлое: детство, юность, молодые годы. Шварц помнил все: и детство, и то, что он видел или о чем ему рассказали вчера, неделю, месяц назад. Причем это были самые разные области: быт, житейские мелочи, политика, литература. Например, он обстоятельно объяснял мне повадки жуков, о которых рассказывал ему зять, энтомолог. Такие подробности никогда не выглядели в его пересказе отдельным курьезом, а как бы естественно входили в общую картину мироздания, прибавляли к ней какие-то очень живые черточки. Нельзя сказать, чтобы Шварц специально интересовался естественными науками, читал биологические книги, но то, что узнавал хотя бы случайно, навсегда западало в его память, из этих сведений делались своеобразные выводы, и это становилось

интересным для всех, а не только для специалиста или для самого Шварца. Кстати, это не означало, что Шварц обладал научным складом ума — отнюдь нет. Он много раз с доброй завистью говорил мне о способности нашего друга Н. К. Чуковского предельно четко и ясно излагать и, если надо, разъяснять незнакомые нам научные законы и факты.

Ближе всего Шварцу были общественные науки — всемирная и русская история и история искусств и литературы. Чтобы не быть голословным, приведу одну выдержку из его письма, сравнительно позднего (1955 год), когда он уже перенес первый инфаркт и был уложен в постель, хотя чувствовал себя хорошо и называл себя «невинноуложенным» или «невинноосужденным».

«Я пробую писать, но больше читаю. Взаялся за «Илиаду» в гнедичевском переводе — и ужаснулся, в библейском смысле этого слова. В Библии после каждого решения царя Соломона говорится: «и народ ужаснулся». . . Я не представлял, что это такое! Ручаюсь вам, что Гомер был, что бы там ни открывали в 19 веке немцы. Впрочем, утверждать, что «Илиада» гениальное произведение — тоже не открытие. После «Илиады» прочитал я Аристофана. И тоже был близок к тому, чтобы ужаснуться. Надо бы взяться за ихние трагедии, но боюсь, что там отсутствует именно то, что меня столь прельстило в вышеперечисленных произведениях: быт.

Хочу достать «Анабазис» (Ксенофонта.— Л. Р.). В «Литературной газете» вы прочли, вероятно, подвал о том, что вышла в научных записках Московского университета новая книжка о греческих мифах. Эту книжку обещал принести Глинка.

Кроме того, удалось мне прочесть Уоллеса «Сын палача», Уильяма Дж. Локка «Скоморох» и «Великий Пандольфо» и книжку рассказов Фонвизина. Не классика, а бульварного.

Вышел двухтомник «Толстой в воспоминаниях современников». . . Составлен сборник не ахти. Воспоминания подобраны и обструганы произвольно. Вы, например, можете подумать, что Толстой очень любил Островского. Хотя, как вы знаете, высказывался он так и этак. И это еще не самое главное. . . Но тем не менее — интересно. Сколько тут ни стругай — человека подобных масштабов не обстругаешь. И все же «Гоголь в воспо-

минаниях современников» и «Чехов в воспоминаниях» — куда лучше.

Простите, что пишу о книгах, но у нас, невинноуложенных, других новостей мало...

.....
Сейчас принесли анализ крови. Ура! РОЭ всего семнадцать! Походить бы! Невский проспект кажется мне сейчас просто раем!»

В это грустное письмо и в перечисление серьезных книг не случайно вклинились развлекательный Локк и «бульварный» предреволюционный беллетрист Фонвизин. Аристофана и Гомера Шварц читал, а дешевый детектив «Сын палача» ему удалось прочесть... Конечно же, слышишь тут добродушный смешок! Но к этому стоит добавить, что Шварц любил читать второстепенных, а то и третьестепенных писателей, вроде Потапенко, Боборыкина, Авсеенко, Муйжеля, Салова, Чирикова. Он считал, что по ним точнее узнаешь подробности прошлой жизни: не отвлекает гениальность психологических озарений. Это, пожалуй, скорее шутка, но зато его всерьез порадовало намерение Гослитиздата выпустить «Оскудение» Сергея Атавы (Терпигорева), несправедливо забытого писателя, который, по его мнению, в чем-то не уступал Щедрину: без его публицистических обобщений, но и без его желчи. Атава мягче относился к своим героям, пореформенным разорившимся помещикам, и его юмор, гибкий язык, сочность бытовых деталей нравились Шварцу.

Шварц бывал в жизни разным. Я эгоистично любил тихого Шварца, Шварца-собеседника. Знал я и громкого Шварца, каким он бывал в большом обществе, на банкете, когда, встав на стул, осанистый, с римским профилем, он зычно провозглашал остроумные тосты. Многие знали его только таким, особенно до войны. Таким, повторяю, я любил его меньше, но все равно любил, и вряд ли в этом оригинален. Шварца любили все или почти все, кто его знал, и, когда затевался сборник воспоминаний о нем, мне в какой-то момент подумалось: «Если все авторы станут писать о своей любви к Шварцу, не утомит ли это читателя? Не лучше ли вынести эти признания за пределы отдельных очерков, объединить их, скажем, в виде эпитафии к сборнику, или еще проще — так и назвать книгу: «Мы любили Шварца». Но

потом подумал: «Зачем лишать авторов радости — самым выразить свою любовь? Тем более что и я, вероятно, от этого не удержусь».

Это неверно, что Шварц всегда пребывал в хорошем расположении духа, вечно был благодушен и весел. Так могли полагать только те, кто видел его исключительно на людях. Порой настроение у него бывало ужасное, он весь морщился от неприязни к себе и к другим, — на свет смотреть не хотелось. Вот тут он хватался за любую подвернувшуюся шутку. Шутил через силу, улыбался сквозь отвращение к своему острословию.

И шутка вдруг помогала, настроение исправлялось — сразу становилось легко и молчать и разговаривать. Иногда же казалось, что ничто не поможет, лучше разойтись по домам, но мы упрямо продолжали прогулку, и постепенно дурной стих рассеивался: то ли пересиливало благородие, то ли вступали в ход какие-то внутренние резервы душевного оптимизма.

Однажды вечером мы с ним поссорились. По-видимому, я был не прав, а он вспылил, так что я ушел едва попросившись. Утром он пришел ко мне с только что изданным «Тристрамом Шенди» Стерна (не издававшимся с 1892 года), смущенно улыбаясь, протянул мне его, ни слова не говоря о вчерашнем, и мы пошли гулять раньше, чем обычно, сияющие, благорастворенные, как двое Маниловых... Но потом, бывая у меня в городе дома, он иногда подходил к полке, брал эту книгу в руки, ласкал, любовался и всячески делал вид, что ему с ней трудно расстаться, а я притворялся, что хочу отдать подарок обратно, и вместо этого ставил на полку.

— Да,— говорил Шварц со вздохом,— убыточная вещь ссоры!..

На память о его городских «набегах», которые всегда были неожиданны, что называется — «без звонка», у меня остался силуэт из бумаги, запечатлевший Шварца с папиросой. Тогда он еще курил, но скоро должен был бросить.

— Меня огорчает,— сказал он однажды,— что я легко бросил курить. Значит, организм струсил, стал беречь себя. Предпочитает жить на коленях, некурящим, чем умереть стоя, с папиросой во рту!

И все же порой брал у Екатерины Ивановны беломорку — затынется и отдаст обратно.

Все знают, как нежно любил Шварц детей, как доверительно и изобретательно общался с ними и как дети к нему льнули. Но иной раз из-за его доброты происходили и нелепые недоразумения. В Комарове у Шварцев жила женщина, которая хорошо к ним относилась, равно как и они к ней. Шварцы посоветовали ей на зимние каникулы вызвать из деревни двенадцатилетнего сына. Она очень охотно согласилась, мальчик приехал, и тут для него начался сплошной праздник: елка у Шварцев, подарки, елки в городе, снова подарки, билеты в кино, в театр, в цирк. . . Мальчик уехал, очарованный волшебным проведенным временем. А мать. . . Мать стала заметно хуже относиться к Шварцам, подозревая, что они серьезно перед ней провинились, иначе для чего бы им так задаривать мальчика. . . Шварц грустно улыбался, рассказывая эту историю:

— Надо было внимательнее читать сказки, хотя бы свои,— наверно, там найдутся похожие случаи. Но как исправить теперь ошибку?

Шварц любил слушать музыку, и чаще не в Филармонии, не на больших концертах, а на даче у академика Владимира Ивановича Смирнова, где математик-хозяйин и математики-гости музицировали (по воскресеньям или по субботам, не помню), играя квартеты Гайдна. Обычно словоохотливый, любивший, а главное, умевший быть душой общества, Евгений Львович тут безмолвно слушал часами музыку, а затем вел разговоры о старой и новой музыке: уже Бетховен был для этих ценителей старины молодым бунтарем, да, пожалуй, и Бах был на подозрении. . . Шварц с увлечением рассказывал мне об этих беседах, к которым относился с огромным пиететом, как, впрочем, и ко всему, что он узнавал из первых рук, был ли его собеседником Дмитрий Дмитриевич Шостакович или двенадцатилетний нумизмат, показывавший Шварцу свою коллекцию.

Шварц сравнительно мало и редко говорил о своей литературной работе, но и не избегал этой темы, как некоторые писатели. На моих глазах проходила работа над сценарием «Дон Кихота», и Шварц делился тем, что задумал, что делал, что получилось, а что не вышло, от чего пришлось отказаться. Например, от привычной для Шварца сказочности начала сценария его убедил отказаться постановщик фильма Г. М. Козинцев, склоняв-

шийся к тому, чтобы сразу, с первого кадра, показать Испанию подлинную, чесночную, в чем Шварц охотно с ним согласился.

Шварц послушался не только из творческого азарта и любопытства, не только ценя и уважая мнение знаменитого режиссера, но и веря, что Г. М. Козинцев искренне любит его. Недаром, когда Шварц был уже болен, он написал мне: «Козинцев в Ялте. Пишет необыкновенно смешные письма. Одно из них, составленное из вырезок из «Курортной газеты», наклеенных одна за другой, просто гениально...» Шварц отлично понимал, что Козинцев это делал, желая развеселить его, удрученного не только болезнью, но и неопределенностью судьбы сценария «Дон Кихота», который, как сообщал мне сам Шварц, «залег в Москве, и наступил знакомый вам период таинственного молчания».

Но в это время литературные дела у Шварца шли уже лучше, а в конце сороковых годов ему приходилось браться и за такую работу, которая, казалось, ниже его творческого ранга... Вот это как раз никогда его не «шокировало»: он с удовольствием инсценировал для кино книгу одного московского детского писателя и огорчался лишь тогда, когда что-нибудь не получалось у него или неважно получилось у самого автора. Шварца возбуждало сопротивление материала, он любил преодолевать его, хотя бы этот материал был бесконечно далек от его кровных интересов, от его прихотливой фантазии.

Шварц был всегда увлечен своей сегодняшней работой. Он почти никогда не вспоминал (по крайней мере вслух) о своих старых вещах, новые же работы, иной раз и более слабые, занимали его целиком. Из них он читал куски, с интересом обсуждал причины неудач, подходя к этому объективно, как к анализируемой чужой вещи. Так, скажем, он последовательно прочитывал мне очередные варианты финального действия «Обыкновенного чуда» (которое тогда еще называлось «Влюбленным медведем») или «Повести о молодых супругах», к которой он, в нарушение своих правил, вернулся через десять лет после того, как в 1947 году написал первоначальную ее редакцию.

Характерно, что даже такой широко известной театральной вещи, как пьеса «Голый король», я не знал до его

смерти: рукопись непоставленной пьесы, которую Шварц написал в 1933 году, так и лежала в его столе, и ему не хотелось прочесть ее вслух — такую молодую, веселую. А вот с новым вариантом концовки «Повести о молодых супругах», которую в последнюю зиму его жизни я успел посмотреть в Театре комедии (а он так и не видел, как и «Дон Кихота» на экране), он познакомил дней за десять до смерти... Встал с кровати, сел в угол, под елку (это происходило в первые дни нового, 1958 года), придирчиво расспрашивал об актерах, о молодом Кириллове в роли Юры, друга молодых супругов.

Еще реже делился Шварц хотя бы страничкой из своих «ме», как в шутку назвал Пантелеев, по первому слогу, его мемуары, вернее что-то среднее между мемуарами, дневником и записной книжкой. Шварцу понравилось такое условное определение этого неопределенного жанра, комически снизившее солидный литературоведческий термин до овечьего или козьего бляения, и он его узаконил. Шварц почти каждый день писал эту своеобразную прозу, «вырабатывая, — иронически говорил он, — повествовательный слог»; на самом деле это было, по-видимому, гораздо важнее для его внутренней жизни, для его души. Писать «ме» он любил в толстых конторских книгах, — не знаю, кто ему их дарил, — а так как с годами почерк его становился все более дрожащим и неразборчивым, то в итоге получилась многотомная, очень трудная для чтения рукопись, которая находится сейчас в ЦГАЛИ, в Москве. У меня есть лишь часть, малая доля «ме»: это немного разобрала, перепечатала на машинке и подарила мне копию вдова Шварца, Екатерина Ивановна. Однажды вечером я ей позвонил; сняв трубку, она долго молчала, и я с тревогой спросил; здорова ли она, не поздно ли я звоню. Екатерина Ивановна ответила, что она поражена совпадением: я позвонил как раз в тот момент, когда она читала в «ме» слова обо мне. И тут пришла моя очередь растерянно замолчать: Шварц никогда не говорил, что упоминает меня в своем дневнике. Я невольно подумал: сколько же неожиданных, но наверняка метких характеристик и наблюдений разбросано в его записях и какой это клад, какое открытие для будущего читателя и исследователя творчества Евгения Шварца.

Екатерина Ивановна после смерти Шварца еще некоторое время жила в Комарове. Жила в их доме и располневшая Томка, любимая Женина собака, которая была к нему страшно привязана. Спина ее стала похожа на спину цирковой лошади — плотная и широкая. . . Но Томка сделалась нервной, беспокойной и все ждала и ждала хозяина, и каждый раз с надеждой выбегала к приходившей машине. Машину эту Шварц купил незадолго до смерти, когда у него стало больше денег, и, в сущности, не успел на ней поездить — только от Комарова до города и обратно, — но Томка отлично запомнила эти его короткие путешествия, отъезды и приезды. Новая точка зрения — из окна машины — явно занимала Шварца, он с жадностью смотрел на мир, сжавшийся для него до пределов Карельского перешейка: на сосны Приморского шоссе, на залив, на мелькавшие мимо дачные домики. Скоро мир ограничится стенами комнаты и экраном подаренного ему в день юбилея телевизора. Даже для сказочника невыносимы такие ограничения!

Несомненно, будут написаны веселые воспоминания о Шварце, особенно о молодом Шварце, когда он щедро шутил и смеялся. Мои воспоминания чаще грустные, потому что я знал его ближе к старости, когда он уже в основном отшутил. . . Нет, это не надо понимать так, что, встречаясь, мы разводили с ним меланхолию: без шуток, без острых слов не обходилась ни одна встреча. Но чаще мы говорили о серьезном, тем более что и время было серьезное, многое заботило и печалило в происходивших событиях конца сороковых — начала пятидесятых годов.

Мы так часто гуляли с ним в Комарове, главным образом зимой, что долго еще после его смерти, когда я туда приезжал, мне казалось, что я не один иду по узкой косо́й тропинке вверх и вниз по снежным увалам к Дому композиторов, а это мы идем опять вместе, один за другим, гуськом, и сейчас я услышу его голос. . . Трудно было оказаться в Комарове без Шварца. Да трудно и теперь, спустя много лет, и не только в Комарове, как ни уговаривай себя, что все это в порядке вещей. Жизнь друга — это ведь и твоя жизнь. И насколько же богаче была она в его присутствии!



МОЛОДЫЕ ГЛАЗА.

Я написал этот очерк к 70-летию Михаила Леонидовича Слонимского и помещаю в книге почти без изменений, хотя Михаила Леонидовича с нами больше нет. Это произошло так недавно, что еще не хочется верить... Сначала я расскажу о нем о живом.

«Губерния горит ровно день...» Эти слова больше сорока лет назад поразили мое воображение. И не только своим дерзким смыслом, краткостью, безапелляционностью, но и тем, что их написал один из самых строгих и сдержанных наших прозаиков, никогда, если не считать ранней молодости, не гнавшийся за гиперболами. Он даже в подписи своей всегда подчеркнуто краток: не Михаил, а Мих. Слонимский!

Мих. Слонимский — мастер умного социального и психологического анализа, точного, лаконичного реалистического письма. В начале двадцатых годов, когда властителем писательских (и читательских) душ была эмоциональная и узорчатая орнаментальная проза, первые книги Слонимского не избегли ее влияния, но и тут обошлось без крайностей разгулявшейся словесной стихии.

Откуда же взятая мною фраза? Должен признаться, что, помня в общих чертах того страшноватого дядьку, в уста которого она вложена, я забыл, в какой вещи он действует. Можно было предполагать, что в ранней, по-

сколько литература тех лет не скупилась на сильные выражения. Но вот, перечитывая сейчас книги Слонимского, я с удивлением нашел эту фразу вовсе не в раннем, а в зрелом его произведении, уже начисто лишенном украшений и восклицаний, — в романе «Лавровы», написанном в 1926 году.

Нет, унтер Козловский, произносящий эти слова, не революционер, не народный мститель, — он скорее мог стать погромщиком, черносотенцем, недаром он хвалит Распутина. Темная душа, «философ» и практик смерти, Козловский так рассуждает в ночной час в казарме: «Теперь всю Россию жечь надо, чтобы дым пошел. И мужиков жечь. Незачем они живут. Это в краткий срок исполнить можно. Губерния горит ровно день... Погорит Расея и провалится. На ее месте пустышка будет — дыра...»

Томас Манн, гуманист, назвал предфашистского философа Шпенглера, сулившего гибель европейской культуре, пораженцем человечества: В каком-то смысле Козловский тоже пораженец, только в российском масштабе. Он так заключает свои размышления вслух: «Я последним схожу. Сам в дыру кинусь. Только допрежь того всю Расею пожгу».

Горький ценил в «Лавровых» другую колоритную фигуру — мать Бориса: «Для меня она заслоняет все в книге». Верно, Клара Андреевна написана превосходно. Пожалуй, не знаю в советской литературе такой силы образ воинствующей эгоистки и собственницы. Она написана не вообще, а во всех убеждающих частностях, которые, несмотря на гротескность, на диккенсовские преувеличения, несмотря на массу совершаемых Кларой Андреевной вздорных выходов, делают ее для нас абсолютно живой.

Так вот Клару Андреевну Горький по достоинству оценил. А что он сказал по поводу Козловского? Повидимому, ничего. Почему? Ведь фигура, несомненно, заметная, запоминающаяся и тоже не сочиненная, а уходящая корнями в действительность. Может быть, Горький ощутил тут родство с ним самим, так часто писавшим об уездных мыслителях, о жестоких философах из глухого угла? Или ему, наоборот, почудилось, что Козловский смыкается в своем «поджигательстве» с честолюбцем и циником Верховенским из «Бесов»? За-

пальчиво-отрицательное отношение Горького к Достоевскому хорошо известно. . .

Впрочем, кто может знать, почему Горький, с такой придирчивой любовью следивший за тогдашними молодыми, ничего не сказал Слонимскому о его «черном» персонаже Козловском. Другое дело, что я не случайно заговорил о «Лавровых». Много ли у нас написано о том времени? И читают ли сегодня это, и без того немногого? Что-то не видно. . . Я сам, повторяю, не раскрывал «Лавровых» уже лет сорок, а раскрыл — и не закрыл, пока не перевернул последнюю страницу. Талантливая книга. И неожиданная, что я и попытался показать на одном-двух примерах.

Теперь об авторе. Когда я впервые встретил Михаила Леонидовича? Да примерно в те годы, когда вышел отдельной книгой роман «Лавровы» (в «Звезде» он печатался несколько раньше). Слонимский был членом редакционной коллегии журнала «Резец», где «резали», иначе говоря, отвергали, один за другим все мои рассказы. Я знал, что их бракуют еще на подступах к редколлегии бойкие литконсультанты, зачастую моего же возраста. Они чистосердечно считали, что, в отличие от меня, исповедуют правильные взгляды и вкусы; им казалось, что я формалист и чужак, хотя ни тем ни другим я, ей-богу, не был. . .

Придя однажды с очередным рассказом в «Резец», я увидел за редакционным столом худощавого человека с огромными византийскими глазами. Он сидел не снимая зимнего пальто с черным котиковым воротником и серого пушистого кепи и читал что-то рукописи. Моего рассказа среди них не было, я это твердо знал — рассказ лежал у меня в кармане. Знал я и кто этот большеглазый человек, верил в его литературную объективность. Верил и уважал это имя, хотя самого подмывало писать иначе: я боготворил Олешу, который лишь год назад взошел на литературный небосвод, — взошел как звезда первой величины, как любимые им и не раз упомянутые в его рассказах Альдебаран и Сириус.

Я прекрасно знал, что Слонимский в своей аскетической прозе избегает звездных россыпей стиля, но, с другой стороны, разве не стоила иных ярчайших метафор его колдовская фраза насчет горящей губернии? И что было еще важнее для впечатлительного двадцати-

летнего юноши — это увидеть самого автора. Меня покорила его удивительная сосредоточенность, его оторванность от всего, что происходило вокруг. Он читал эту бледно-лиловую машинописную рукопись так внимательно, с такой погруженностью, что либо она была гениальной, либо так и должен читать любую рукопись настоящий писатель, ответственный за свой приговор и вообще за литературу. Ему не мешала ни редакционная сутолока, ни хлопающие поминутно двери, ни тянущий из коридора сквозняк, ни толпившийся вокруг, как всегда, особенно если редакция помещается в одной комнате, шумный, живой народ.

Во мне боролись два чувства: первое — безумно хотелось вручить свой рассказ этому поглощенному чтением человеку — так сказать, апеллировать к его мнению, воспользовавшись счастливым моментом; и второе — разве можно было сейчас ему мешать? Постоял-постоял я — и удалился, не оставив в редакции своего рассказа. Зачем? К Слонимскому он все равно не попадет, а сам я уже пропустил случай.

В этом же двухэтажном каменном флигеле, стоявшем чуть поодаль от главного здания редакции и типографии издательства «Красная газета», помещались редакции еще двух журналов — «Красная панорама» и «Юный пролетарий», где меня иногда печатали, хотя и журили. Вот я и отправился в одну из этих редакций; меня приняли сравнительно гостеприимно, но досада не проходила: почему, почему не здесь, где меня уже немного знали, встретил я второго в моей жизни настоящего писателя?

Первым был Николай Тихонов, которого я увидел в редакции журнала «Звезда», где он числился консультантом. Пока секретарь редакции Н. Л. Браун доставал из высокого, светлого, узкого, как гроб, шкафа и вежливо возвращал мне рукопись моей повести, а заведующая редакцией Роза Ковнатор ласково мне выговаривала, что писать так нельзя, что надо учиться у Чехова и Тургенева, Николай Семенович, в жестком, выгоревшем бобриковом пальто и в такой же кепке, спокойно сидел на широком подоконнике, покачивая в такт размеренной речи Ковнатор стоптанными сапогами, словно бы и понятия не имел о моей повести. Но когда через несколько месяцев руководство журнала переменялось и Тихонов

стал полноправным членом редакционной коллегии, он вспомнил об этой рукописи — и повесть «Полнеба» в начале 1930 года была напечатана в «Звезде».

Скажут — при чем тут Слонимский? За Слонимским было другое решающее слово. Весной того же 1930 года издательство «Молодая гвардия» решило выпустить книгу, объединявшую две повести двух молодых ленинградцев — «Факультет чудаков» Геннадия Гора и мою «Полнеба». Нам сказали: пусть известный ленинградский писатель напишет к ней предисловие, без этой путевки в жизнь книгу не издадим. Выбор автора предисловия предоставлялся нам, авторам повестей. Мы с Гором подумали и остановили свой выбор на Михаиле Слонимском, хотя не были с ним знакомы.

Мы допускали, что Слонимский мог отказать еще не читая. Второй вариант: прочтет, но тоже откажет, — повести не понравятся. Ну что ж, рискнем! Нам очень хотелось получить предисловие именно от Слонимского, который еще не знал, что мы за писаки. . . Что касается отказа, то молодость, наверное, потому и рискует, что не верит в печальный исход.

Гор отправился в Дом печати (Дома писателя еще не существовало) и нашел Слонимского за. . . бильярдом. Разумеется, мы предполагали, что он не все время пишет или читает, что ему не чуждо ничто человеческое, но бильярд. . . Странно! Гор дождал окончания партии, изложил Михаилу Леонидовичу нашу просьбу и сразу же, еще не дождавшись ответа, стал конфузливо совать Слонимскому в руки номер журнала с моей повестью и альманах со своей. Слонимский улыбнулся (ясно представляю такую знакомую теперь для меня застенчивую его улыбку) и сказал, что повести он читал, но может прочитать и во второй раз, и взял журналы. Затем он приветливо простился, и Гор ушел, не узнав мнения Слонимского о повестях, не спросив о согласии написать предисловие: забыл, или не посмел, или же поторопился уйти, пока Слонимский не открестился от этого дела. . .

Теперь, когда я на протяжении десятков лет хорошо изучил характер Михаила Леонидовича и великолепно знаю, что он готов не только на предисловие, но и на более трудные акции в пользу молодых авторов, — я теперь понимаю, что нас могла не тревожить неясность

положения. Если, конечно, он не считал нас бездарными наглецами.

Прошло не более недели, и ясность возникла: Слонимский написал предисловие. А в конце года книга под заглавием «Студенческие повести» вышла в свет. Не замедлили появиться и рецензии, обвинявшие авторов бог знает в чем. В одной статье (кажется, в журнале «Красное студенчество») меня называли даже не товарищем, а гражданином. Не помогло и предисловие Мих. Слонимского, — язык тогдашних критических статей и рецензий нередко бывал крутенок, хотя оргвыводы из них делались не слишком часто.

Из предисловия к нашей книге я понял, что повесть Геннадия Гора понравилась Слонимскому больше, чем моя. Я и сам сознавал, что в «Факультете чудаков» больше событий, читается она легче, слог проще и мужественней, присутствуют юмор и быт, порой эксцентрический, — у меня же сплошная лирика и философствование. Впрочем, предисловие было достаточно ласково и ко мне. Слонимский отметил, как и Р. Ковнатор, что мы с Гором далеки от традиций Толстого, Тургенева, Чехова, но в укор нам этого не поставил: ну далеки, что же делать? Лишь где-то между строк можно было прочесть: повзрослеют — поймут. Так оно и вышло.

И все же я огорчился тем, что не возбудил особого интереса у автора предисловия. Лишь два года спустя произошла наша встреча, — увы, она не была для меня лучезарной.

В то время писатели и рабкоры по инициативе М. Горького занялись «Историей фабрик и заводов». Я писал главу из истории «Красного выборжца». Глава получилась скучноватой, о чем откровенно сказал на собрании авторов и партийного актива завода М. Л. Слонимский, приглашенный для оценки нашей работы. Неудача постигла меня в тот момент, когда я пламенно полюбил благородную сухость стиля Стендаля и Мериме, разлюбив словесное щегольство и изысканность Жироду и Ж. Ромена; не скрою, мне было нестерпимо обидно, что первая моя попытка приблизиться к увлекшим меня новым образцам не удалась. Этот кризисный момент был тонко уловлен Слонимским, хотя он и знать не знал о моих переживаниях, а также о том, что я в это время уже трудился над исторической по-

вестью «Базиль». Но я-то знал, накрепко намотал на ус его замечания и постарался как можно больше сил вложить в эту новую работу, чтобы не получилось опять осечки. Кто-то из рапповцев зло пошутил: другие работают над историей фабрик и заводов, а Рахманов пишет историю церкви и соборов... Для меня могла дорого обойтись эта чужая шутка. Тем не менее книжку эту я написал, и в 1933 году ее выпустило Издательство писателей в Ленинграде, одним из основателей и руководителей которого был М. Л. Слонимский.

Для чего вспоминаю я эти разрозненные факты, вряд ли способные обрисовать фигуру и характер Слонимского сколько-нибудь четкими контурами? Мне они очень дороги: они постепенно помогали мне уяснить его принципы в общении с молодыми коллегами. Этих основных принципов три: максимум внимания, максимум благожелательности и максимум требовательности. Впоследствии, долгие годы работая рядом с Михаилом Леонидовичем, встречаясь с ним на многочисленных семинарах, на конференциях, в приемной комиссии Союза писателей, в редакционных советах издательств и журналов, я видел эти принципы в действии.

Проявились они и в наших личных взаимоотношениях. Правда, в те ранние годы не принято было отдавать литературной молодежи столько времени и сил, как сейчас, да и сами «пожилые» были не настолько нас старше. Хочется позавидовать нынешним молодым, которых Михаил Леонидович любит отцовской, пожалуй даже материнской, ревнивой любовью. Нас в свое время не опекали так каждодневно, за судьбой нашей не следили с таким беспокойством.

В середине тридцатых годов мы с Михаилом Леонидовичем оказались выбранными в бюро секции ленинградских прозаиков и стали регулярно заседать; причем, как ни странно для того строгого времени, не в официальной обстановке, не в Доме писателя, а на частной квартире, чаще всего у самого председателя бюро — М. Л. Слонимского. Слонимский, насколько я помню, потерпел тогда неудачу с романом «Крепость», который писался не год и не два и с каждым годом нуждался во все более кардинальных переделках и уточнениях.

Теперь это далекая история, а тогда М. Слонимский впервые в жизни словно бы отошел от современной те-

мы, от отечественного материала и написал повесть о немецком революционере Левинэ, расстрелянном в 1919 году германскими контрреволюционерами. Историческая вещь? Отход от злобы дня? Как бы не так! В Слонимском настолько силен заряд современности, что «Повесть о Левинэ» оказалась превосходным оружием в идейной борьбе с фашизмом, только что взявшим власть в Германии.

То же острое чувство сегодняшнего и близящегося завтрашнего дня заставило М. Слонимского написать о тех, кто уже тогда вел каждодневную войну на наших границах. Так возникли повесть «Андрей Коробицын» и рассказы о пограничниках. Вот тогда-то я увидел вблизи, что значит быть профессионалом — литератором до мозга костей, от макушки до пяток. Привязанность Слонимского к литературе всегда была страстной и на редкость целеустремленной. Не только жизнь в большом смысле, но и все мелочи быта, житейской обстановки, сложившихся привычек постоянно и полностью подчинены литературе. Один пример: Слонимский тогда купил машину. Хотя это была скромная «эмка», но по тем временам, тем более в среде ленинградских писателей, быт которых и в ту пору заметно отличался от московского литературного быта, был скромнее и неприхотливее, — эта обновка на первый взгляд выделяла Слонимского, делала его как бы «аристократом»! На самом же деле машина ему понадобилась для сбора пограничного материала. Слонимский неустанно ездил по дальним и ближним заставам, знакомился с пограничниками, а когда собрал все, что было ему необходимо для книги, то легко расстался с автомобилем и больше никогда им не обзаводился. Зато в «Коробицыне» подлинно все — от внутреннего и внешнего облика легендарного вологодского парня до мельчайших деталей лесного и болотного пейзажа. С завидной тонкостью написал М. Слонимский — городской человек, не рыбак, не охотник — северную природу.

Шли годы, уравнивая наш возраст. Если в 1928 году тридцатилетний Слонимский казался мне пожилым, то с каждым десятилетием разница в возрасте становилась менее существенной. Появлялась новая и новая литературная смена, бывшие молодые седали, лысели и начинали подшучивать над своим все растущим, как снеж-

ный ком, возрастом. Возникла даже шуточная арифметическая задача: Гранин моложе меня ровно на столько, на сколько старше меня Слонимский; если всем троем столько-то лет, каков возраст каждого? . .

Шутки шутками, но Слонимский неизменно остается нашим старейшиной. Мне, как, наверно, и многим, доставили особую радость его недавние книги: повесть «Семь лет спустя» и «Книга воспоминаний». Когда думаешь, откуда берется или как сохраняется у художника молодость духа, приходишь к единственно возможному выводу: от любви. От любви к жизни, к искусству, к литературе. Вероятно, в этой мысли отсутствует оригинальность. . . Что ж, встречаются жизненные примеры, настолько точно и полной мерой выражающие ту или иную мысль, что уже одно это соответственно действует гипнотическим образом.

Я писал это в 1967 году. Мы отмечали 70-летие Михаила Леонидовича, его день рождения, в Доме творчества писателей в Комарове. Это был замечательно удачный день: великолепная, совсем еще летняя погода; вечером звездное августовское небо, тихо, тепло; юбиляр весел, шутит, смеется; вокруг близкие ему люди, литературные друзья. У меня сохранились фотографии и кинокадры: Михаил Леонидович принимает поздравления, ему передают книги, цветы; на лице его, как всегда, несколько смущенная, словно бы виноватая улыбка, — с такой улыбкой он выступает и на собраниях, и делится своими на редкость интересными и разнообразными воспоминаниями, и расспрашивает о твоих делах; а сейчас — здоровается, прощается, благодарит, машет в окно уходящим гостям. . .

И случилось так, что ровно через пять лет, 1 августа, в самый канун 75-летия, Михаила Леонидовича увозили из того же Комарова в больницу в Ленинград. В шесть вечера я сидел у его кровати все в той же большой, угловой, с выходящими на две стороны окнами комнате в Доме творчества; немного поодаль от кровати стоял молодой ленинградский писатель Валентин Тублин. Михаил Леонидович был тяжело болен и очень слаб. Особо ослабел он после того, как целые сутки, весь день и всю ночь, его не оставляло кровохарканье.

— Выкашливаю второе легкое,— сказал он.

Но сказал это вскользь, без нажима, совсем между прочим, как о досадной, но не столь уж важной помехе, и снова заговорил о том, о чем только что говорил. О чем же? Слонимский всю свою сознательную жизнь жил литературой, для литературы, сам был живой историей советской литературы, начиная с ее истоков. Надо ли удивляться, что за пять минут до того, как его увезли в больницу, он говорил о молодых литераторах, о том, как необходимо им помогать, входить в их интересы, принимать близкое участие в их делах. Он настойчиво призывал, чуть ли не брал клятву с тех пожилых, кто еще остаются жить (да, он так и сказал), что они станут продолжать заботиться о молодых, он называл имена молодых, и конечно же в первую голову назвал своего любимца Андрея Битова. . .

— Старик Битыч! — невольно почему-то вырвалось у меня.

— Старик Битыч,— повторил Михаил Леонидович с нежностью, по-видимому не ощущая того, что Битов хотя и не старик и даже не пожилой, но уже и не столь молодой литератор, что он автор чуть не десятка книг, о нем много пишут критики, он переведен на иностранные языки, что вообще ему впору помогать другим, молодым. . .

Через несколько минут Михаила Леонидовича увезли. Через два месяца его не стало. Я не рассказывал Битову, не рассказывал другим молодым и не совсем молодым о последних часах и минутах, проведенных возле Слонимского, о его словах, о его заботах. Пишу об этом здесь. Пусть прочтут. Пусть прочтут — о чем думал, о чем тревожился до конца жизни их старый друг и наставник.

. . . Ну, а я, когда увезли в больницу моего старого и старшего друга, все кружил и кружил по садовым дорожкам, лихорадочно вспоминая о нем то одно, то другое. . .

Прежде всего приходили на ум примеры его доброты, деликатности, такта, неизменно проявлявшихся в нашем многолетнем общении. Вспомнил, как еще до войны мы однажды вошли в Книжную лавку писателей, помещавшуюся тогда на Литейном проспекте. В те годы у букинистов еще попадались книги, которых сейчас не

сыщешь и днём с огнём. Попадались, но редко. И вот в маленькой комнатухе позади магазина наш зоркий взгляд мгновенно приметил на столе стопку книг, оранжевая обложка которых, с портретом в круге витого каната на фоне парусов и корабельных снастей, была нам обоим хорошо знакома: собрание сочинений Стивенсона в издании Сойкина, приложение к журналу «Природа и люди».

Разумеется, Михаил Леонидович, как старший, имел передо мной все преимущества, и, хотя он не только не предъявил никаких претензий, но даже робко предложил бросить жребий (директор магазина и немногие посетители писательского отдела не могли скрыть улыбок), уже через пять минут я меланхолически наблюдал, как запаковывали для него редкостную покупку. Кстати, она немало стоила, но она стоила того, и я чувствовал, как у меня в кармане возбужденно шевелились живые деньги, готовые в ту же секунду перепрыгнуть в кассу,— увы, это было суждено деньгам Слонимского. Тогда я еще не так близко, как после войны, знал характер Михаила Леонидовича, и меня поразило его смущение, его виноватый вид, когда он расплачивался и когда ему вручали увесистый пакет с книгами: да, он был явно расстроен своей удачей, поскольку она была неудачей другого! Вот уж где была неуместна жестокая поговорка: «То-то радость — у соседа корова сдохла!»

Чем кончился этот жаркий летний день? Семьи наши жили на даче, и мы с Михаилом Леонидовичем пошли обедать на «крышу» «Европейской» гостиницы, решив вспрыснуть замечательную покупку бутылкой не то «ркацители», не то «цинандали», не то «напареули» (Михаил Леонидович признавал только белое сухое вино). Темой нашей застольной беседы был конечно же Стивенсон, аппетитно плотная связка романов и рассказов которого лежала под столом, накрытая нашими двумя кепками. Из романов Стивенсона Слонимский больше всего любил «Мастера Балантре» («Два брата») и доказательно объяснил — почему. К сожалению, доказательства эти я позабыл, помню только, что нам не мешали ни сложные, как всегда, отношения с официантом (в характерах у нас обоих недоставало полезного в этих случаях апломба и непререкаемого хозяйского тона), ни ресторанный шум. «Крыша» была переполне-

на, и для явившегося в этот обеденный час «пик» композитора Дунаевского пришлось принести дополнительный столик и стул, чтобы прославленный композитор не остался без обеда. (Мы не знали, что шестилетний сын Михаила Леонидовича, Сережа, через энное количество лет станет тоже известным композитором — Сергеем Слонимским.)

Что же касается Роберта Льюиса Стивенсона, то должен сказать, что не раз потом Михаил Леонидович стеснительно спрашивал, удалось ли мне обзавестись его сочинениями,— видно, что совестливость и доброта не давали ему покоя, и, хотя предприятие это — достать Стивенсона — было почти безнадежным, я оптимистически отвечал:

— Достану, не беспокойтесь.

И действительно, произошло чудо. На Большом проспекте Петроградской стороны, в магазине, принадлежавшем «братьям-разбойникам» — так звали этих двух букинистов за то, что они драли за редкие книги немилосердные цены,— я купил-таки собрание сочинений Стивенсона, сразу отдал их в переплет (зеленый, матерчатый, с красной наклейкой на корешке: «Стивенсон») и в тот день, когда эти девять томиков стали на полке рядом с пятнадцатью томами Вальтера Скотта, позвонил Слонимскому и победно объявил о событии. Честное слово, я редко слышал по телефону столь радостный возглас: поздравляя меня, Михаил Леонидович был искренне счастлив — упала с его души тяжесть. Что-то не часто встречал я таких отзывчивых книголюбов!

Второй случай также относился к книгам и тоже к писателю, которого мы оба любили. У меня к тому времени накопилось двенадцать книг Честертона, в том числе и три редких томика, героем которых был патер Браун: «Неверие патера Брауна», «Тайна патера Брауна» и «Мудрость патера Брауна». Не хватало из этого цикла «Простодушия патера Брауна». Тиражи этих изданных в двадцатые годы книг были крохотные, и, чем дальше шло время, тем невозможнее становилось их купить. Вообще за последние двадцать лет мне ни разу не попадалась в продаже ни одна из этих старых книжек.

Как-то у нас со Слонимским зашел разговор о книге Стефана Цвейга «Фуше». Оказалось, что у Михаила Леонидовича ее нет, а он очень любит этот с блеском напи-

санный биографический роман (или, скорее, эссе). А так как у меня имелся двухтомник Цвейга, в который входил и «Фуше», то отдельное его издание я мог без малейшего ущерба для себя передать Михаилу Леонидовичу. Каково же было изумление и радость, когда в ответ он вручил мне... «Простодушие патера Брауна!» Оять же лишь книголюб поймет и оценит этот великодушный дар. Я же склонен подозревать, что и разговор о «Фуше» был затеян в свое время с умыслом: Михаил Леонидович заранее решил одарить меня Честертоном. Он слишком хорошо знал мои давнишние сетования на то, что из четырнадцати переведенных его книг у меня нет только этой и романа «Жив человек»: Как бы объясняя свое великодушие, и вместе с тем несколько грустно, Михаил Леонидович сказал, что у него-то всего три книги этого автора. Мол, понимай подтекст как хочешь...

Кстати, любя добротных приключенцев и хорошие детективы, мы расходились в отдельных оценках. Так, Слонимский не любил Сименона: он казался ему сентиментальным, мещанским, и за один рассказ Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, которого он обожал, Михаил Леонидович согласился бы отдать все двести романов Сименона, если бы он ими владел...

Когда начинаешь думать, что же сближало нас все эти годы кроме взаимной симпатии, кроме любви к книгам, к литературе, интереса к начинающим авторам (ведь это Слонимский уговорил меня в 1954 году принять от него руководство объединением молодых прозаиков при издательстве «Советский писатель»), то не можешь еще и еще раз не вспомнить и не подивиться: как мог Слонимский так резко, решительно, за один год переломить свой литературный язык и стиль, от напряженной, метафорической, алогичной прозы перейти к простому и ясному языку и к такой же ясной и простой композиции? Что говорить, я особенно ценил этот аскетический, самоограничительный акт, произведенный Слонимским в середине двадцатых годов, поскольку позднее сам его совершал и это было довольно болезненно (помню, когда после «Полнеба» и «Племенного бога» начал работать над «Базилем», не раз в порыве сомнений проверял — очень ли обеднел мой словарь, лишившись метафор и сравнений), а происходило это уже на

глазах все понимавшего и на себе испытавшего Михаила Леонидовича.

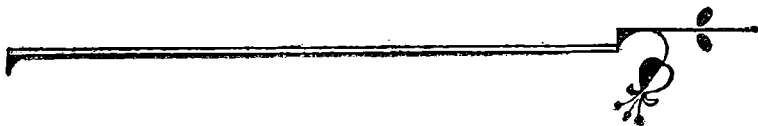
Кстати, насколько точен и обязателен был Мих. Слонимский в своей прозе, настолько же точен и обязателен он был в выполнении любых порученных ему дел и общественных обязанностей. И не только в наиболее близкой ему области литературы. В 1939 году, в начале финской войны, мы встретились с ним в редакции армейской газеты «Боевая красноармейская». Несмотря на немолодой уже тогда возраст и неважное здоровье, Михаил Леонидович был одним из самых активных сотрудников этой военной газеты — об этом помнят все, кто участвовал в ее работе.

Но вернусь к тому, с чего начал: к литературной работе Мих. Слонимского. Так получилось, что через полтора года после кончины Михаила Леонидовича я перечитал повести и рассказы, предназначенные для его одноклассника. Мало сказать, что я получил духовное и душевное удовольствие, что совсем не странно, когда читаешь и перечитываешь умные и добрые произведения. Нет, я был еще глубоко обижен на нашу критику, мимо которой прошло собрание сочинений Мих. Слонимского, изданное в 1970 году. Впрочем, некоторые его вещи недооценили и в прошлом. Так, умалили когда-то критики повесть «Средний проспект», написанную в 1927 году и не переиздававшуюся более тридцати лет. Между тем в этой повести превосходно изображены эппманы, перерожденцы, приспособленцы, мелкие и крупные карьеристы, то есть все те, кого автор метко назвал «героями передышки». Уже в одном этом определении видна социальная прозорливость писателя: в 1927 году автор верно угадал, что исторические сроки их сочтены, не превышают нескольких лет, как бы изобретательны, юрки, находчивы и беспринципны эти людишки ни были.

С большим интересом перечитал я произведения, которые можно отнести к столь популярному нынче жанру художественно-документальной прозы: «Повесть о Левинэ» и примыкающие к ней очерки о предгитлеровской Германии. Третья глава очерка «Творческая командировка», названная «Баварский граф», просто сенсациона. Приехав в 1932 году в Мюнхен, Слонимский долго не мог найти ни одного живого очевидца суда над вождем и главой Баварской советской республики, пока

не рискнул обратиться к знаменитому адвокату, знатному и богатому баварцу, который в 1919 году согласился защищать Левинэ; защита оказалась безрезультатна, ибо власти жаждали крови. Слонимский был почти уверен, что прославленный адвокат; дороживший каждой своей деловой минутой, либо его не примет (к тому же в эти мюнхенские предфашистские дни), либо ограничится официальными, ничего не значащими словами. Граф принял советского писателя и посвятил рассказу о суде над своим подзащитным весь день до сумерек, отменив прием всех клиентов. . . «Очевидно, образ Левинэ неизгладимо запечатлелся в душе этого никак не причастного к коммунизму, далекого от коммунистических идей буржуазного юриста», — писал в 1957 году, то есть через четверть века, Мих. Слонимский.

Да, очерк «Баварский граф» Слонимский написал не по свежим следам встречи с адвокатом, написал кратко, скупо, почти ничего не говоря о себе, — а жаль: нам были бы интересны все детали этой поразительной встречи. Но те, кому посчастливилось быть знакомым с Михаилом Леонидовичем, могут легче представить себе этот день, проведенный молодым ленинградским писателем со старым немецким аристократом. Молодым? Конечно. Слонимскому тогда было всего тридцать пять лет. . . Это происходило за сорок лет до нашего с ним прощания, до той минуты, когда я последний раз пожал его слабую руку. Молодыми в августе 1970 года оставались только его глаза. Но разве глаза не называют зеркалом души? Душа этого дорогого мне человека оставалась до конца молодой, — вот почему последние услышанные от него слова были о молодежи, о молодых литераторах, об их судьбе. Повторяю: пусть они знают об этом, пусть помнят, что значили для него они, что значит для них он, этот старый литератор и человек.



СТАРЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СНИМОК

В легком прутьяном кресле Тынянов сидит на веранде Дома творчества писателей в Пушкине. За спиной его открыто окно, на веранде и в саду много света, хотя уже скоро сентябрь, предвоенная осень 1940 года... Это одна из последних фотографий Юрия Николаевича; смотря на нее, невольно думаешь: как много с тех пор прошло лет — и как мало лет мы встречались! Первая встреча была заочной, читательской. Библиотека помещалась на площади Ломоносова, у Чернышева моста, ее читальный зал был открыт для всех без записи. Именно там я впервые читал Ахматову, Мандельштама и — Юрия Тынянова. Это был 1927 или 1928 год, в «Звезде» печатался роман «Смерть Вазир-Мухтара», по одной главе в номере. Как ни странно, тогда я еще не читал «Кюхли» — сразу начал с «Вазир-Мухтара» и сразу был потрясен вступлением к этой книге, тремя страницами напряженной лирической, философской прозы.

— «Всегда в крови бродит время... — твердил я вслух, как стихи, возвращаясь по безлюдной Фонтанке. — Было в двадцатых годах винное брожение — Пушкин. Грибоедов был укусным брожением...»

Не знаю, понимал ли я тогда все как следует, но эти строки меня околдовывали: «Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение. Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна. Он протянул

руку за очками к столику. Он не думает, не говорит. Еще ничего не решено».

— Еще ничего не решено! — повторяю я. — Ничего не решено. . .

Почему-то нерешенность меня особенно волновала. Наверное, потому, что я сам еще ничего не решил.

Это была моя первая встреча с Тыняновым — встреча заочная. В жизни я встретился с ним только через четыре года; когда вышли в свет две мои книжки. Никому из старших писателей я не дарил этих книжек — то ли стеснялся, то ли считал нахальством, не хотел навязываться, но вот удивительно: больше всего я стеснялся, даже боялся Юрия Тынянова, и вдруг оказался перед домом, где он в те годы жил (не помню, у кого узнал адрес — тогда не было адресных справочников Союза писателей), поднялся по лестнице, позвонил. . .

Господи, как глупо я себя вел! Юрий Николаевич принял мое вторжение как вполне естественное, уговаривал меня сесть, побеседовать. . . да, побеседовать, так и сказал, он отлично видел мое смущение. Но я не сел. Беседа не состоялась. Самое глупое, что я приготовил для нее историко-литературный вопрос:

«Почему в гржебинском издании Баратынского (1922 год) в комментариях к стихотворению «Надпись» сказано: «По преданию, в этом стихотворении изображен портрет А. С. Грибоедова (с которым, по-видимому, Баратынский не был знаком)»? Неужели только по преданию? А ваш эпиграф к роману, Юрий Николаевич:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!

Как тесно сливаются эти строки с вашим романом, — не может быть, чтобы Баратынский писал их не о Грибоедове! Вы же еще до романа цитируете это стихотворение в статье «Промежуток» и пишете: «На нас этот стих падает, как сгусток. . . и нужна работа археологов, чтобы в сгустке обнаружить когда-то бывшее движение».

Так яркий ток, оледенев,
Над бездною висит,

Утрата прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Правда, вы там не говорите, что эти строчки о Грибоедове. Может, потому и не говорите, что это общеизвестно. Но почему, в таком случае, в издании Гржебина? . . .»

. Словом, предмет для беседы был. И тонкий, как мне казалось, предмет. Но я вместо этого торопливо надписал свои тощие книжки, отдал, попрощался и почти убежал. Существует выражение: лестничный ум. Так и я, спускаясь по лестнице, вел с Тыняновым запоздалый воображаемый разговор. И хорошо, что воображаемый, — по крайней мере обошлось без претензий. . .

А что я написал на книжках? Одну надпись помню — бойкую и как раз с претензией. Вот она: «С благодарностью за внимание — с надеждой на внимание». С надеждой. . . Гм. Все-таки до чего эгоцентричны начинающие авторы. Теперь-то я знаю, что молодые дарят свои книжки немолодым, чаще всего ни строчки не прочитав из их книг. В чем-чем, а в этом упрекнуть себя не могу. Я читал все, что публиковал Тынянов, в том числе и его литературоведческие теоретические работы, сердился на тех, кто их критиковал, хотя сам внутренне спорил с иными тыняновскими оценками — скажем, Тютчева. Надолго поссорился с близким мне по литературной юности Цырлиным, эрудитом и умницей, после появления его книжки «Тынянов-беллетрист». Она меня оскорбила уже своим заглавием: понятие беллетристика для меня всегда означало — ширпотреб прозы. Но главное — рассердила тенденция этой очень неглупой, но во многом несправедливой книжки. Приведу лишь один пример: «Историзм держится на пафосе дистанции. Чувства расстояния у Тынянова нет — это очевидно. . .»

И тогда и теперь для меня очевидна вздорность такого утверждения, хотя Цырлин не был одинок — о том свидетельствовали выступления некоторых историков на дискуссии об исторической прозе. Я на ней не был, даже не слышал про нее, но в том же 1934 году, на съезде писателей, Юрий Николаевич подошел ко мне и деловито сказал:

— Купите журнал «Октябрь», седьмой номер.

Я удивился совету.

— А что там, Юрий Николаевич?

Тынянов собрал морщинки на лбу, потом распустил, что всегда у него сопровождало улыбку.

— Меня там бранят, вас хвалят.

Это было невероятным преувеличением, хотя бы уж потому, что Ю. Н. Тынянову и А. Н. Толстому была посвящена почти вся дискуссия, стенограммы которой публиковались в журнале «Октябрь», а «Базиль» упомянут в трех строчках в одном выступлении. Но мне дорого было то, что Тынянов счел нужным мне сообщить об этом упоминании. Между прочим, наш разговор не ускользнул от зоркого глаза бывшего руководителя ЛАПП Михаила Чумандрина. Проходя мимо меня, Чумандрин ехидно прищурился и припечатал:

— Смерть Базиль-Мухтара!

Как острога это было недурно, но абсолютно неверно. Тынянова я обожал, восхищался его поэтической прозой, но даже и не пытался ему подражать.

В тот самый год (1931), когда я начал работу над «Базилем», в «Звезде» была напечатана «Восковая персона», самая образная, самая метафорическая повесть Тынянова. Приведу лишь один эпизод. Петр смотрит на синие кафели печи, возле которой он умирает: на них изображены то голландский монах в дерюге, читающий книгу, то китайская пагода, то мельница ветряная, то толстая женка, которую обнимает прохожий человек, то лошадь с головой как у собаки; и через каждые несколько фраз — рефрен: «И море». Этот рефрен волшебным образом усиливает трагический смысл: «детское смотрение», сперва словно бы с одинаковым любопытством ко всему, что перед глазами, превращается в предсмертное прощание с тем, что любил Петр Михайлов, — так называл себя царь, когда жалел. Развернута многосложная, многозначная сцена, подводящая итог жития его духа и плоти, и, какой Петр ни страшенький, мы этому прощанию сопереживаем. Тыняновский слог, изобилующий инверсиями, неожиданными поворотами, с каждой новой строкой заставляет нас переосмысливать предыдущую фразу, предыдущий образ. Вообще, образная и психологическая насыщенность, гибкость и сила языка «Восковой персоны» таковы, что их можно сравнить только с прологом к «Вазир-Мухтару», но там три страницы,

а здесь шестьдесят... Поразительный пример поэтической мощи в прозаической вещи!

И все же я выбрал для своей повести о двадцатых годах прошлого века прямо противоположные образцы — сухой, деловой прозы. Не только потому, что Тынянову невозможно подражать (для чего надо быть вторым Тыняновым), — мне предстояло писать о строительной технике, о механике, о выделке камня и о многом таком прозаическом, что, казалось, никак не укладывалось в метафорический слог, которому я был привержен в своих ранних вещах. Кстати, перечитывая недавно «Архаистов и новаторов», я невольно вздрогнул, дойдя до страницы, где Тынянов пишет, что включенный в «Дубровского» протокол не выпадает из стилистики повести потому, что вся повесть написана в нейтральном стиле. Я вспомнил, как Юрий Николаевич однажды терпеливо мне объяснил, почему удалось включить в финал «Базилия» официальное описание церемониала в честь открытия Исаакиевского собора так, что оно слилось с текстом повести, и привел пример с «Дубровским».

— Правда, лестное соседство? — шутливо сказал он,

А я слушал, хлопал ушами и не знал, что ответить: я же когда-то, несомненно, читал и позорно забыл эти тыняновские мысли о «Дубровском»... Но Юрий Николаевич и виду не подал, что заметил мое замешательство: для него важно было сейчас одно — чтобы я уяснил, в чем фокус, в чем логика такого стилевого слияния. Воображаю, как иной ученый амбициозно отослал бы меня к своим трудам либо величественно их процитировал бы... Тынянов был не таков — он был щедр, весел, великодушен.

Вернусь к «обожанию». Конечно, я был очень молод, когда знакомился с прозой Тынянова, с его статьями, затем с ним самим; я не имел счастья слушать его лекции — учился в техническом вузе; я любил Юрия Николаевича, так сказать, находясь поодаль. Что, наверно, не так плохо, — разве что ограничило сегодня мои права и возможности вспоминать о нем наравне с друзьями и учениками. Зато я со стороны видел, как относились к нему такие далекие и такие разные писатели, как Василий Андреев и Леонид Добычин.

Начну с Добычина. Этот малоизвестный сейчас большинству превосходный мастер имел весьма независимый

и неллицеприятный характер. Общавсь с нами — Геннадием Гором, Николаем Чуковским, Вениамином Кавериним, Евгением Соболевским, со мной, — Добычин, сказать по правде, почти никого из нас не читал и не почитал как писателей. Обижаться мы не могли: добрейший и честнейший Добычин не признавал и Бабеля, считал его парфюмерным. Из классиков Леонид Иванович ценил одного Флобера, и то больше за мученическую усидчивость, — тоже существенная деталь. Вообще, Добычин любил снижать и приземлять все, о чем заходила речь или что попадалось ему на глаза. Он шел из Демидова переуллка, где летом в комнате у него стояла такая духота, что он поливал пол из чайника, до улицы Маяковского, где жили Чуковские, и говорил:

— Видел бюсты мыслителей в нишах на фасаде Публичной библиотеки. Похожи на пупки.

Он и в прозе своей был столь же конкретен и лаконичен. Один его рассказ начинался так: «Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе». Слово «паникадила» начисто убивало прогрессивное электричество, арифметика наглядно разоблачала отсталое мировоззрение служащих...

К чему я это рассказываю? К тому, чтобы можно было сполна оценить тот высший балл, который выставил Леонид Иванович Добычин Юрию Николаевичу Тынянову: он считал его едва ли не единственным — и в Москве, и в Ленинграде — настоящим писателем (если не считать, и то с оговорками, Зощенко, — к Зощенко у Добычина были свои придирки).

Василий Андреев был совсем другой человек. Талантливый бытовик, страдавший запоем и нежно любивший свою болезненную дочь, в комнате у которого не было ничего, кроме койки и конторского стола, он носил в ветхом пустом бумажнике справку о том, что в энном дореволюционном году застрелил полицейского.

Как-то на Невском Василий Михайлович остановил меня и тихо, без выражения, едва шевеля бесцветными губами, сказал:

— Рахманов, вы умный человек, дайте в долг три рубля. Заранее говорю, что вряд ли отдам.

Разумеется, я не мог отказать, и в награду Андреев рассказал мне о том, как однажды занимал у Тыняно-

ва. Рассказал так же тихо, с искренним, ничуть не наигранным сокрушением.

Василий Михайлович жил где-то на Песках, недалеко от тыняновской квартиры, и, когда его в очередной раз затерло с финансами, он решился на крайний шаг — «стрельнуть» у Тынянова. Семья Тыняновых пила чай, что психологически несколько осложнило задачу, ибо Андреева усадили за стол и начался интересный разговор. Интересный для обоих — и для Андреева и для Тынянова: они были полярно разные — один кабинетный, другой очень уличный, великолепно знавший быт дореволюционных ночлежек, петербургского дна, что доказывают его колоритные повести о воре, скажем «Волки» в альманахе «Ковш» за 1924 год.

— Чувствую, — рассказывал Василий Михайлович, — после такого разговора трудноато попросить в долг. В то же время пора и честь знать, десятый час. «Юрий Николаевич, говорю, со мной, как с Иваном Александровичем Хлестаковым, престранный случай: поиздержался в дороге. . . Вы не могли бы выручить?» Говорю и соображаю: черт, сколько назвать? Пятерку неудобно. . . солидный дом. . . пил чай с пирожными. . . десятку, пожалуй, тоже. . . попрошу двадцать. . . И слышу, как язык сам собой выговаривает: «Рублей сто!» Это меня Хлестаков подвел — меньше трехсот, наглец, не просил. . . «Пожалуйста, Василий Михайлович, говорит Тынянов, пожалуйста, очень рад».

— Не помню, как вышел на Греческий. . . все лицо горит! И совестно. . . и досадно. . .

— Но деньги взяли, Василий Михайлович?

— Именно, что не взял. Сказал, что неудачно пошутил. — Помолчав, Андреев добавил: — Ручаюсь, что Тынянов меня насквозь видел. На всех этапах визита, с самого начала.

Неизвестно, что в рассказе Василия Андреева было, а что «беллетристика», но ясно одно: имя Тынянова внушало пиетет самым неожиданным людям.

А вот неожиданность совсем в другом роде. Году в 1938-м, в одну из наших немногих встреч (кажется, в редакции «Литературного современника»), я спросил:

— Юрий Николаевич, фамилия Витушишников старинная, или вам попадалась такая и в наше время? Юрий Николаевич, не задумываясь, ответил:

— Насколько я знаю, нынче такой фамилии нет.

— Дело в том, что в конце двадцатых годов,— сказал я,— я часто ходил на улицу Плеханова, восемь, и на двери одной из квартир видел табличку с фамилией «Витушешников». Рассказа вашего тогда еще не было, но фамилию я запомнил.

— Витушишников или Витушешников? — переспросил Тынянов. Видно, что мое сообщение его заинтриговало.

— Витушешников,— успокоил я Юрия Николаевича.

И надо же было случиться такому совпадению: через год или два Тынянов переехал с Греческого проспекта на улицу Плеханова, в тот самый дом № 8/10.

Сейчас в первом этаже этого дома находится Лавка писателей. И на днях я не удержался — зашел в ЖЭК спросить у паспортистки, не живет ли в доме некто Витушешников. Получил исчерпывающий ответ:

— Никаких Витушешниковых здесь не проживает. Так закончилась и эта новелла.

Чем закончу свои воспоминания? В 1939 или в 1940 году я жил в Доме творчества в Пушкине, в маленькой комнате во втором этаже, куда вход был прямо с площадки. К концу пребывания я немножко прихворнул и был уложен в постель; лежу, читаю, вдруг слышу: по лестнице поднимается кто-то с палкой, медленно, трудно. Можно представить, как я был удивлен и даже испуган: это пришел навестить меня Юрий Николаевич. Он был уже болен, очень болен, ему было тяжело ходить, не то что взбираться по лестнице... О чем же мы говорили в последнюю нашу встречу? Память не удержала всего, но помню, как раз в это время Театр имени Пушкина обратился к Юрию Николаевичу с просьбой написать пьесу на основе «Кюхли», и он размышлял вслух о сценических возможностях этой темы. Уже через много лет я услышал от Г. М. Козинцева, с каким увлечением молодой Тынянов работал для кинематографа. Для театра он не успел: болезнь, война, подвижническая работа над «Пушкиным».

В дни нашего пребывания в Доме творчества я сфотографировал Юрия Николаевича на веранде. Горжусь, что этот любительский снимок, пусть анонимный, помещен в книге, вышедшей в «Жизни замечательных людей»; ошибка лишь в дате.

В день 80-летия Юрия Николаевича Тынянова, когда мы собрались в Доме писателей почтить его память, одна из талантливых его учениц, Тамара Хмельницкая, в своем выступлении в сердцах воскликнула: «Да и справедливо ли было — сторонников так называемой формальной школы в литературоведении именовать формалистами?..» И я невольно вспомнил, как в этом же доме, в конце тридцатых годов, Юрий Николаевич в разговоре со мной по примерно такому же поводу шутливо сказал:

— Называть писателя, заботящегося о форме, непременно формалистом — это все равно что назвать писателя, заботящегося о содержании, — содержанкой.

Этим блестящим его парадоксом я и закончу.



«УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!»

Конечно, о Зощенко следовало бы писать только тем, кто давно и хорошо его знал, дружил с ним долгие годы, кому действительно есть что о нем рассказать. Уж слишком суесловили о нем люди, совершенно его не знавшие и не понимавшие. Нет, я имею в виду даже не самые трудные времена для Зощенко. Я сейчас говорю о вполне благополучных годах, когда популярность его была высока, выше, чем у многих его коллег.

Пожалуй, ни о ком другом не существовало таких разноречивых мнений и как о писателе, и как о человеке. Можно, скажем, легко понять, почему наивные души, не искушенные в тонкостях литературных оценок, считали его всего лишь развлекателем, смехачом, но ведь подчас чуть ли не такого же мнения придерживались профессиональные критики, люди большой культуры.

Меня когда-то до крайности удивило и огорчило то, что написал Луначарский в журнале «30 дней»: он прямо, без обиняков, отдал предпочтение тонкому, интеллигентному юмору Ильфа и Петрова перед «грубоватым» Зощенко. Откровенно говоря, меня огорчило не столько это суждение (ошибиться может любой, самый умный и образованный критик); сколько то, что Ильф и Петров, эти превосходные и талантливейшие люди, преклонявшиеся, насколько я знаю, перед Михаилом Михайловичем, многим ему как писатели обязанные, могли про-

молчать, не оспорить это обидное и неверное сравнение. И вообще, к чему умалять достоинства одного, чтобы — пускай заслуженно — похвалить других?

Впрочем, Зошенко был настолько великодушен, что неловкая фраза в предисловии к «Золотому теленку» ничуть не испортила его дружбы с авторами этого прекрасного романа. Другое дело, что он не мог не видеть, как несерьезно относятся к его книгам иные серьезные критики. Правда, первые его вещи сразу заметили и с легкой руки Горького высоко оценили. Сам Горький и дальше был внимателен к Зошенко, писал ему восхищенные письма, которые мы прочли много позже; в интересе же литературной критики к Зошенко наступил многолетний перерыв. Лишь после долгой раскочки, где-то в конце тридцатых годов, нашлись исследователи его творчества, причем исследователи преимущественно молодые — Евгения Журбина, Цезарь Вольпе, Анна Бескина, — маститые так и не снизошли. Недаром те же Ильф и Петров в фельетоне «Литературный трамвай» через каждые несколько строк повторяли грустную фразу: «А о Зошенко опять не пишут. . .»

О Зошенко-человеке в широкой публике гуляли ложные представления. Может быть, как раз потому, что его популярность у массового читателя была огромна, в том числе среди тех, кто и книги-то не брал в руки, слышал его рассказы только с эстрады или в устном изложении случайного собеседника — в бане, в вагоне, в очереди к парикмахеру, — автор этих смешных историй скоро стал личностью, с одной стороны, почти нарицательной, с другой — почти легендарной. Его частной жизнью интересовались, рисовали себе его облик, характер, привычки и, по большей части, жестоко ошибались, представляя его себе таким, каким он и отдаленно не был.

Помню, он с кроткой улыбкой рассказал, как прислали ему на дом счет из ресторана «Северный», который помещался напротив Московского вокзала, называвшегося в то время Октябрьским. Счет на 400 рублей. За что? За ужин. . . Разумеется, Михаил Михайлович ни сном ни духом не ведал об этом пиршестве: какая-то развеселая компания записала съеденное и выпитое на счет писателя Зошенко, а администрация ресторана свято поверила в это, разузнала адрес и прислала ему этот

счет. Не помню, чем кончилось дело, возможно, что Зоценко с его обязательностью и щепетильностью решил заплатить по чужому счету, записанному на его имя, зато хорошо представляю, как гоготали эти нахалы, придумав такой «шикарный» трюк: «Пусть Зоценко платит!» По принципу: «А кто платить будет? Пушкин?..»

Вносило путаницу и то, что рассказы Зоценко нэповских лет написаны от первого лица, от лица стоеросового мещанина, — его-то нередко и отождествляли с автором. Повод к недоразумениям подавали и исполнители рассказов Зоценко с эстрады — пошловатые конференсье, дурные чтецы, плохие актеры. Опять же происходила подмена: Зоценко мысленно видели бойким эстрадником с ловко зачесанной плешью и развязными жестами. Всю жизнь Зоценко воевал с мещанством, и случилось так, что как раз мещанином, циничным, наглым его и восприняли — этого деликатнейшего, скромнейшего человека с нежной душой, который при всей мягкости своей натуры страстно и глубоко ненавидел подлость, коварство, хамство, алчность и прочие свойства и качества воинствующего мещанства.

Да, мы не были близко знакомы, тем более дружны, и не только из-за значительной разницы в возрасте — дружил же я с Евгением Шварцем, ровесником Михаила Михайловича. Полагаю, здесь мешало мне преклонение перед редкостной силой талантом, поразившим меня еще в юности, этим непостижимым волшебным даром, позволявшим в рассказе на одну страничку творить литературное чудо. Глупо, но меня всегда брала оторопь, когда я видел в живом воплощении, одетом в обычную пиджачную пару, то самое диво, которым восхищался заочно. Так, до сих пор не могу себе простить, что до обидного редко встречался с Юрием Николаевичем Тыняновым, относившимся ко мне с постоянным благосклонным вниманием. Так, лишь в пятидесятые годы познакомился с Юрием Олешей, молодая «Зависть» которого за три десятилетия до того произвела на меня ослепительное впечатление. Мятый пиджак, седая щетина на щеках и угрюмый, пронизывающий взгляд исподлобья — вот каким я увидел Олешу, автора солнечных пейзажей Одессы и летней Москвы.

Что касается Зоценко, то, когда мы уже познакоми-

лись, главным препятствием к более короткому знакомству был, пожалуй, характер Михаила Михайловича, об особенностях которого он с достаточной откровенностью написал в автобиографической повести «Перед восходом солнца». Этот замкнутый, сдержанный и меланхоличный характер необходимо держал на известной дистанции почти всех, с кем он общался, даже близких друзей, даже «Серапионовых братьев».

Но бывали и исключения, в основном это относилось к женщинам. Не надо думать, что я посмею коснуться интимной сферы, я говорю о другом. Его неподдельный интерес к самым тонким душевным движениям собеседника, чаще же собеседницы, ибо женщины это особенно ценят, невольно располагал к откровенности, которую Михаил Михайлович никогда не употреблял во зло, иначе говоря, поведенные ему секреты сохранял в тайне. А если, как истый литератор, и использовал для своей работы тот или иной штрих, деталь, поворот сюжета, то так искусно и далеко уводил от «подлинника», что никто и не догадывался об «адресате» (как известно, история литературы знает массу примеров обратного порядка).

С годами он стал тончайшим психологом и моралистом в том смысле, какой придаем мы склонности к нравоучительству, свойственной всем великим сатирикам прошлого — Свифту, Стерну, Диккенсу. У Зощенко на первых порах это обнаружилось не в рассказах и юмористических сценках, а в его ранних повестях, которые он потом сам назвал «сентиментальными», и полностью проявилось в «Голубой книге», в рассказах для детей, во всех поздних рассказах и фельетонах и, наконец, в «Возвращенной молодости».

Итак, почему я решил писать о Зощенко? А что делать, отвечу я вопросом, если годы идут, люди уходят, все меньше и меньше на этом свете сверстников и ближайших его друзей? Поневоле приходится братья за перо тем, кто все же с ним часто встречался — и в Союзе писателей, и в редакциях, и в театрах, и на отдыхе, и происходило это на протяжении двадцати с лишним лет — срок немалый.

Тем более что во все эти годы я старался понять, что он за человек, столь отличающийся от других даже внешностью, даже манерами, приближающими его своим изяществом, я бы сказал — утонченностью и в то же

время естественностью и простотой, скорее к людям прошлого века, и, пожалуй, не конца, а начала века, хотя он был наисовременнейшим, злободневнейшим по своим интересам и художественным средствам писателем, который полнее и точнее многих других вник в сегодняшний язык и в сегодняшний быт.

Я познакомился с Зощенко сравнительно поздно — в 1937 году в Коктебеле. Сентябрь стоял теплый, порой даже жаркий, купальный сезон был в разгаре, но Зощенко не купался: сухонький, легонький, в светлой в полоску пижаме и в городских брюках из летней легкой материи, он неторопливо бродил по берегу, у самой кромки воды, высматривая и собирая разноцветные коктебельские камешки. Несмотря на то что он никогда не лежал на пляже, специально не загорал, цвет лица у него был постоянно оливковым, матово-смуглым даже зимой. Тогда я не знал, почему он не купался, и, конечно, не решился его об этом спросить. Лишь через шесть лет я прочел у него, что он с детства боялся воды, хотя много раз себя пересиливал, путешествовал морем, катался на лодке. Значит, надо всерьез оценить слова, сказанные им моей жене, заплывавшей в море далеко за буйки: «Смело плавайте, Танечка!» Этим он не только не осудил, не пожурил за излишний риск (он вообще не любил кого-либо и за что-либо осуждать и порицать, если не считать хамов и хамства), наоборот, в его голосе прозвучали похвала, удивление, может быть, даже немного зависть, — зависть человека, по неясной ему самому причине лишенного такого большого удовольствия, как плавание, купание в море.

Но я лишь постепенно понял, что Михаил Михайлович избегает пустых комплиментов, не транжирит похвал. Вот когда весной 1946 года мы шли с ним по набережной Фонтанки из издательства и он неожиданно подарил мне сборник своих рассказов и фельетонов с лестной надписью, тогда я уже знал, что Зощенко никогда не делает и не говорит ничего такого, что бы он всерьез не обдумал. Например, я не раз слышал от Михаила Михайловича, что он считает себя новичком в драматургии, хотя он написал уже не одну большую пьесу, прошедшую на сцене с успехом (например, «Уважаемый товарищ» с Утесовым в главной роли, «Парусиновый портфель» в Театре им. Комиссаржевской, — сра-

зу после войны этот театр называли «Блокадным»), и несколько одноактных пьес. Это опять же не притворная скромность и не кокетство: именно так Михаил Михайлович и думал, сколько я его ни разубеждал, ссылаясь на самого себя, у которого из трех написанных к тому времени пьес шла на сцене всего одна.

Но это было далеко впереди, а в 1937 году в Коктебеле я никак не мог заставить себя подойти к нему и заговорить, с изумленным видом, как с ним запросто разговаривают другие. Коктебель в те годы представлял собой довольно глухое, диковатое место, мало похожее на курорт, и это в нем было самое привлекательное. Трудно было назвать набережной пешеходную тропку по краю невысокого обрыва над пляжем, отделенную от него кустами. Вечером, сидя здесь на скамейке, Зощенко, мягко улыбаясь, поблескивая золотым зубом, вел неспешные вежливые беседы то с лодочным сторожем, морщинистым, загоревшим до черноты старым греком, то с местным аптекарем, днем то и дело тарахтевшим по деревне на редкой еще в те годы мотоциклетке, то с уборщицей или официанткой из соседнего дома отдыха, называвшегося «Коммуной».

Я ни капли не сомневался, что Зощенко интереснее разговаривать с ними, чем с молодым прозаиком из Ленинграда. Но вот однажды этот далекий и недоступный человек подошел ко мне и сказал, что ему понравилась моя... не знаю, как назвать — статья не статья, скорее вопль души, оглашенный мной в это лето в журнале «Звезда», о своей работе в кино. Было это написано горяча, от обиды: я был кровно обижен на режиссеров и в особенности на критиков, на какое-то время забывших о литературной основе фильма «Депутат Балтики», и разразился «Дневником сумасшедшего», изобиловавшим преувеличениями и гиперболами начиная с первого же абзаца, насыщенного чуть не полприщинским надрывом, и кончая цитатами из восторженных газетных статей, которые я горестно комментировал: «Герой фильма профессор Полежаев встал в один ряд с Чапаевым и Максимом, артист Черкасов встал в один ряд с Бабочкиным и Чирковым, режиссеры Зархи и Хейфиц встали в один ряд с Козинцевым и Траубергом...» — писали в газете «Литературный Ленинград».

«Словом, все встали в ряд. А куда же прикажете встать сценаристу?» — в сердцах восклицал я.

Не исключено, что Михаил Михайлович, как и многие другие прозаики, пробовавшие писать для кино, тоже когда-то обиделся на кинематографистов и его подкупила горячность моих lamentаций. А возможно, что ему просто понравились какие-то частности в юмористическом духе. От неожиданности я не спросил. Тем более что хотя я и был польщен его вниманием и оценкой, но втайне от самого себя подсадовал, что они обращены лишь на мои излияния по поводу своих огорчений. Стало быть, продолжал я казнить свое самолюбие (ох, забывают маститые, опытные, как уязвимо самолюбие в молодости!), как писателя он меня и не знает. Возможно, оно так и было, и на это грех обижаться.

Так или иначе, внимание было проявлено, внимание участливое, и контакт между нами установился. Через год с небольшим мы с Михаилом Михайловичем познакомились значительно ближе, неся обязанности членов секретариата Ленинградского союза писателей и еженедельно встречаясь на деловых заседаниях. В 1939 году мы снова вместе отдыхали в Крыму. Сентябрь был тревожный: Германия напала на Польшу. Количество курортников значительно поубавилось: встревоженные событиями, многие уехали раньше срока домой; в писательском доме остались лишь четверо: Зощенко, я с женой и молодой художник, фамилию которого я забыл. Тогда мы впервые говорили с Михаилом Михайловичем о литературе, точнее — о драматургии.

Я уже упоминал, как удивительно скромнен был Михаил Михайлович в оценке своих драматургических опытов, именно опытов, как он всегда подчеркивал. Он ко всему относился серьезно, я бы сказал — научно, в том числе и к теории драмы. Меня поразили этот сугубо научный подход; помнится, я даже осмелился привести пушкинские, неодобрительные, как мне думалось, слова о Сальери, который музыку разъял, как труп, поверил алгеброй гармонию. В ответ на это Михаил Михайлович с увлечением принялся объяснять, что это высокая похвала и все занимающиеся каким-нибудь искусством непременно должны знать в совершенстве его законы. Мне показалось даже, что в глубине души он счел меня

дикарем, темным, невежественным человеком, усомнившимся в пользе алгебры для гармонии.

Мы оставались в Коктебеле сверх срока, когда сезон в домах отдыха уже кончился. Октябрь был прохладный, но Михаил Михайлович, как и летом, ходил и ходил вдоль кромки прибоя, время от времени наклоняясь, чтобы поднять, рассмотреть и оценить качество найденного сердолика или «ферламписка», как здесь называли обточенный, отполированный морем агат и халцедон. После первых осенних штормов попадались превосходные экземпляры. Как и многие почитатели этого восточно-крымского уголка, Зощенко не избегал «каменной болезни», и в 1935 году, в день сорокалетия, друзья подарили ему ларчик с двумя отделениями — для орденов и для камешков.

Наверно, существовали писатели, воспевавшие добро, будучи в то же время дурными и злыми людьми. Зощенко был прежде всего хорошим и добрым человеком. Мягкость, безошибочный такт, деликатность, скромность, казалось, были присущи ему всегда, а не являлись чем-то выработанным, а уж тем более показным. Он не был, что называется, широкой натурой, направо-налево расточавшей благодеяния, но он всегда был готов откликнуться на чужую беду, помочь, подействовать доброму делу, делая это тихо, со свойственной ему сдержанностью. Сдержан он был и в быту, и в знакомствах. Мне рассказывал В. Г. Адмони (доктор филологических наук, профессиональный знаток скандинавских языков и литератур), как он встретился с Зощенко в поезде, где они промолчали весь путь, после чего, прощаясь, Зощенко серьезно поблагодарил Адмони за то, что они хорошо провели время, и с тех пор стал отлично к нему относиться. Он любил воспитанных, ненавязчивых людей.

Вместе с тем Зощенко был настойчив и принципиален во всех деловых вопросах, какие во множестве приходилось решать на³ наших заседаниях и совещаниях. Порой проявлял темперамент, отстаивая свою точку зрения, говорил с горячностью, даже жестикулировал; в этих случаях у него иногда вырывалось излюбленное словцо его персонажей — «пушай!». Причем без всякой иронии, так сказать, без кавычек, — видно было, что он не стилизовался под своего героя, давно уже ставшего

нарицательным типом, а просто считал это слово самым уместным в подобных случаях.

При всей внешней мягкости Михаил Михайлович был тверд в своих взглядах. Правда, он никогда не выступал с речами, докладами, декларациями, а если приходилось беседовать с читателями или литературной молодежью, то предпочитал отвечать на вопросы. Записи нескольких таких бесед сохранились и были в свое время опубликованы, но большинство встреч, разумеется, канули в Лету. Помню обсуждение «Возвращенной молодости» во Всеросском драме на улице Росси, с участием медиков, в том числе профессора Останкова, известного психиатра. Любопытно, что выдержанный, учтивый Михаил Михайлович в своем ответном слове упорно настаивал на важности оттенения не литературной, художественной, а опять же научной — медицинской и философской — стороны книги и не принимал никаких скидок на «дилетантизм», его обижало, если он чувствовал, что его считают «любителем». Может быть, в этом сказывалась, как и у многих крупных юмористов прошлого, тяга, желание писать по-настоящему серьезные вещи, как, скажем, комедийные актеры всю жизнь мечтают сыграть Отелло или Макбета.

Повторяю, Михаил Михайлович любил, уважал науку и ученых, ценил точный, четкий язык науки и, начиная примерно с «Голубой книги», разделы и главы которой напоминают исторические обзоры, сам старался им овладеть. Возможно, его документальные повести «Черный принц» (о работе подводников), «Бесславный конец» (о бегстве Керенского), да и другие вещи, в частности партизанские рассказы, служили в каком-то смысле своеобразными упражнениями в деловой прозе. Недаром в предисловии к «Шестой повести Белкина» Зощенко прямо признается, что здесь он пытался подражать пушкинской краткости и ясности.

Во всем, за что бы ни взялся Михаил Михайлович, его отличала величайшая добросовестность. Можно это даже назвать педантизмом. Но все же художник в нем побеждал и это главенствующее, казалось бы, раз навсегда укоренившееся свойство. Тот же Владимир Григорьевич Адмони рассказывал мне, как в последние годы жизни Зощенко переводил (с подстрочника) роман и рассказ норвежского классика Хьелланда, Рассказ

«Народный праздник» он перевел, по выражению Адмони, божественно, что и не мудрено: нашим читателям хорошо известен перевод Зощенко повести финского классика Лассила «За спичками». Что касается романа Хьелланда, вещи довольно средней, то Михаил Михайлович перевел ее, как всегда, безусловно... но при этом пропустил две страницы...»

— Михаил Михайлович, — осторожно спросил Адмони, — наверно, у вас в подстрочнике отсутствовали эти страницы? Может быть, они затерялись?

— Нет, они были, — спокойно ответил Зощенко.

— Тогда почему же?..

Зощенко все так же спокойно объяснил:

— Мне они показались пустыми, ненужными, вяло написанными, и мне не захотелось их переводить.

Адмони несколько растерялся. Случай был необычный.

— Но у нас так не принято... Михаил Михайлович, а можно мне их перевести?

— Пожалуйста.

— А потом я вам покажу, как я их перевел, чтобы не было разностильности.

— Нет, не нужно, — решительно отвечал Зощенко. Инцидент был исчерпан.

Вряд ли можно назвать Зощенко сентиментальным, чувствительным человеком — его обычная сдержанность это исключала. И если «Аполлон и Тамара», «Страшная ночь», «О чем пел соловей», «Сирень цветет» были названы «Сентиментальными повестями», то тут присутствовала явная ирония; хотя к героям их автор относился, как любят теперь говорить, по-доброму. Была тут и своего рода литературная переключка: повесть Лоренса Стерна называется «Сентиментальное путешествие», а чувствительного в ней не так уж много — у Зощенко все-таки больше...

При этом Зощенко нежно, я бы сказал — растроганно, любил стихи. Все его автобиографические рассказы идут как бы под рефрен чудесных бернсовских строчек, чудесно переведенных Маршаком:

А старость, черт ее дери,
С котомкой и клюкой,
Стушится, черт ее дери,
Костлявою рукой...

Зощенко часто приводит в своей прозе те или иные стихотворные строчки, снижая их иронической фразой — «как сказал поэт». Иногда он действительно над ними смеется, как, например, в рассказе о поэтессе Мирре Лохвицкой, почтенной семьянинке, писавшей пламенно-страстные, чувственные, поистине вакхические стихи. Но я хорошо помню, как Михаил Михайлович с удовольствием повторял вслух чем-то трогавшие его строчки из блатной песни:

Оглянулась — позади мой шкел...

Или из Вертинского:

И, целуя ей затылочек подстриженный,
Чтоб вину свою заглядить и замять...

Он выговаривал эти строчки, как всегда, с мягкой улыбкой, но без тени насмешки — видно было, что они ему нравятся.

Разумеется, Михаил Михайлович отлично знал и ценил большую поэзию. Его статья «О стихах Н. Заболоцкого» (1937) заканчивается вещными словами: «Мне не хотелось бы ошибиться в Заболоцком. Он, по моему, большой поэт, и его влияние на нашу поэзию может быть сильным». Пафос этой статьи в лейтмотиве, повторяющемся на каждой ее странице: «Штампованное искусство — это не искусство»; искусство «должно формировать то, что еще в хаосе»; «Одно обстоятельство не сдам без боя: наше поэтическое искусство должно нести новую форму и новый строй языка...»

Как известно, в раннем творчестве Заболоцкого явно различимы два этапа, два слоя, каждый из которых был по-своему интересен и близок Зощенко. Первый ярче всего проявился в «Столбцах» — это острое, гневное обличение мещанства; второй начался в поэме «Торжество земледелия» и с классической силой продолжен в цикле стихов, посвященных Северу и природе: «Седов», «Север», «Метаморфозы», «Все, что было в душе...». Этот второй этап — натурфилософский, если можно его так назвать, — был особенно дорог Зощенко в предпоследнее десятилетие его собственного творчества. В «Возвращенной молодости», в «Повести о разуме» и других произведениях этих лет отчетливее и откровеннее

нее, чем ранее, поставлены задачи научного исследования, психологического анализа, философского осмысления, художественную часть сопровождает чисто научный комментарий, где уже нет ни единой юмористической, пародийной нотки.

Как ни странно на первый взгляд, именно тогда у Зошенко появился интерес к астрологии и к влиянию планет на психическую жизнь людей. Не скрою, когда он об этих вещах говорил, мне казалось это наивным и смешноватым, и я объяснял это просто чудачеством. Но потом я понял, что его привлекало как раз сочетание поэзии и науки, пускай квазинауки, псевдонауки, как привыкли мы трезво определять астрологию. Ведь когда-то в ней выражалось искреннее желание людей разгадать тайны природы, загадки бытия, чудеса мира. В этом непреодолимом стремлении Зошенко, несомненно, видел, чувствовал поэтическую прелесть и смелость — вот что, мне кажется, руководило им, а вовсе не склонность к мистике. Кроме того, эта жадная, почти детская любознательность, может быть, больше всего роднила его с широким, массовым, что называлось в старину — народным читателем. Зошенко не мог и не хотел пренебречь простодушной читательской тягой к познанию, пусть далекой от уровня кандидата тех или иных наук, презирающего глупые суеверия. Он уважал своего «низового» читателя никак не меньше, чем гигантов мысли, и в этом нет никакого противоречия. Вчитайтесь в его предисловия к «Голубой книге», к «Возвращенной молодости», к другим книгам, где он ведет неспешные беседы с читателями, делится с ними своими раздумьями, прежде чем начать рассказ о житейском или историческом случае. Это желание прямого контакта сказывалось и в склонности Зошенко к научному популяризаторству, и в обилии стихотворных эпиграфов и цитат. Зошенко не только любит и уважает читателя, он страстно хочет его воспитать, сделать добрее, чище, разумнее, привить ему художественный вкус — словом, как можно дальше увести от мещанства. Эта писательская позиция прямо противоположна так называемой башне из слоновой кости, в которую предпочитали удаляться иные метры, и это опять же сближает Зошенко с великими сатириками прошлого — они все были агитаторами и пропагандистами. . .

Что до небесных светил, то они в любом случае не предсказали Зощенко его судьбу. Помню, живя на Васильевском острове, я дважды встречался по делу с тогдашним секретарем Василеостровского райкома Г. М. Нестеровым, и оба раза он с любопытством меня спрашивал: «Ну, а Зощенко что нового написал?» В 1945 году я ему мог более или менее точно ответить; в 1947 году сказал: «Не знаю. Думаю, что ничего». Но это было не совсем так: Зощенко не переставая трудился, и я знал примерно — над чем, об этом я дальше скажу, но тогда мне хотелось ответить именно так.

Сам Михаил Михайлович в эти тяжкие для него годы не жаловался, никому не докучал своими обидами, — по крайней мере я этого от него ни разу не слышал. Лишь однажды я видел его раздраженным и даже несправедливым. Это было в Книжной лавке писателей, когда ему показалось, что там нарочно не оставили нужную ему книгу. На куда большие обиды он так нервно не реагировал, а было это за два года до смерти. . .

Не только близкие люди, но и те, кто впервые с ним встретился, почти непременно проникались к нему симпатией и уважением. Как же так? Разве не противоречит это тому, с чего я начал свой очерк? По-моему, нет. Под суесловившими о нем людьми я подразумевал тех, кто его совершенно не знал, никогда не видел и тем не менее сочинял о нем всякие бредни — либо по глупости, по невежеству, либо из любви к хамству. Зато у большинства встречавшихся с ним он сразу же вызывал самые лучшие чувства. Однажды, не то в 1956-м, не то в 1957 году, у меня допоздна засиделся Борис Николаевич Ливанов. Не помню точно, с чего и как повернулся наш разговор, но Ливанов вдруг попросил меня соединить его по телефону с Зощенко. Аппарат стоял на диване по правую руку от меня, а Ливанов сидел по левую, да к тому же был под хмельком, и, когда я позвонил, поздоровался и сказал Михаилу Михайловичу, кто хочет с ним говорить, и передал Ливанову трубку, тот стал тянуться через меня и держал трубку близко от моего уха, вот почему я слышал, так сказать, обе беседующие высокие стороны. . .

Кроме шуток: Ливанов поразил меня и растрогал тем, с какой нежностью он говорил с Зощенко. В том, что он

говори́л ему «ты» и называл Мишенькой, еще не было ничего удивительного: Ливанов с большинством приятелей и знакомых был на «ты», в этом (и только в этом) он схож с одним из своих сценических образов, с Ноздревым. Но нет, во всем, что он говорил Зоценко, была настоящая человеческая нежность. Исчез хмель, исчезло все напускное и грубоватое, что было свойственно иногда этому умному, образованному и очень талантливому, но порой слишком уж самоуверенному и эгоцентричному человеку, — осталось все лучшее, что в нем было. Или же он так сыграл? Нет, не думаю. Думаю, что Ливанов действительно любил Зоценко. По ответам Михаила Михайловича я понял, что он тоже тронут и благодарен Ливанову за этот ночной звонок и ласку — в те годы это так ему было нужно. Скажу откровенно, что с этой минуты я стал решительно лучше относиться к Ливанову, которого любил и ценил до той минуты как даровитейшего артиста, умного, остроумного, высококультурного собеседника — увы, самовлюбленность и эгоцентризм которого порой мешали общению...

Разные, очень разные люди уважали, любили и высоко ценили Зоценко не только как писателя, но и как человека. Среди них хочу прежде всего назвать Николая Павловича Акимова, человека очень сдержанного в смысле дружеских отношений, антисентиментального, скорее даже сухого. Но, работая в акимовском театре, я мог близко наблюдать, как упорно пытался Акимов помочь Михаилу Михайловичу в трудное для того время. Как, чем помочь? Акимов заказал ему пьесу, наверняка зная, что поставить ее не удастся, но зато Зоценко будет, что называется, при деле. Михаил Михайлович со свойственными ему добросовестностью и прилежанием писал все новые и новые варианты пьесы, будучи не удовлетворен тем, что написано, и Акимов, несмотря на свою крайнюю занятость и свой деловой, сверхделовой характер, терпеливо слушал или читал эти бесконечные вариации. Когда я собирал пьесы М. Зоценко, одноактные и большие, чтобы издать их в «Искусстве», я обнаружил семь редакций этой комедии. Работа не была зряшной: она отвлекала Зоценко от тяжелых мыслей и чувств и в какой-то мере даже увлекала его как художника, — ряд эпизодов и персонажей в пьесе был по-

настоящему смешно, что, казалось бы, удивительно при создавшейся для писателя ситуации.

Между прочим, известность Зоценко, которая была баснословно велика в двадцатые годы, в конце тридцатых и начале сороковых годов заметно убавилась, когда он стал чаще писать серьезные вещи... Правда, сегодня — уж не знаю, радоваться этому или досадовать, пожалуй скорее радоваться, — многими литераторами и фельетонистами унаследована «зоценковская» интонация. Сознательно или непроизвольно она проявляется то в инверсии, синтаксическом повороте, то в типично зоценковском сравнении, то еще в чем-нибудь. Подчас слишком по-зоценковски. Но, возможно, и это — своего рода память о нем...

Вот уж семнадцать лет, как нет с нами Зоценко, а все видится он живым: неспешная, грациозная походка, сливкового цвета лицо, прелестная улыбка, сбоку во рту блестит золотой зубик (хочется почему-то сказать не «зуб», а именно «зубик»); был он всегда худощав, но в меру, а в конце жизни все подсыхал, подсыхал, и все темнело и желтело лицо...

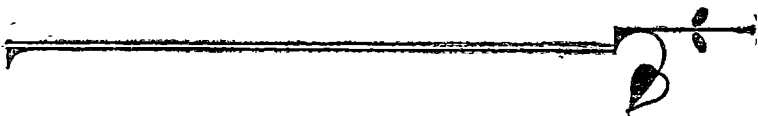
Когда летом 1958 года Зоценко хоронили на Сестрорецком кладбище, среди провожавших его в последний путь я увидел молодого писателя, только еще начинавшего печататься. Парень он грубоватый, не склонный к чувствительности, но я заметил, что он собирает по обочинам дороги ромашки и лютики, а затем кладет их на свеженасыпанный могильный холм, под который лег на вечное поселение Зоценко. Должен сказать, что этот знак внимания было особенно приятно видеть: я хорошо помнил, что именно Зоценко, прочитавший когда-то ранние, во многом еще экспериментальные рассказы этого молодого писателя, не только оценил его талант, но и посоветовал ему писать рассказы для детей, тот послушался — и это принесло ему известность. Бережно собранные и положенные на могилу полевые цветы являли собой самую искреннюю благодарность покойному.

Года два-три назад, в день рождения Зоценко, мы с женой снова побывали на этом кладбище, постояли у могилы, и как же мы были рады, когда вдруг увидели Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Прихрамывающий, больной, он пришел навестить покойного друга, как был в свое время и на похоронах. Когда мы заду-

мывали собрать воедино воспоминания о Зоценко, издать их отдельной книгой, я написал об этом намерении Дмитрию Дмитриевичу и незамедлительно получил от него ответ. Шостакович ответил, что он любил и ценил Михаила Михайловича и непременно попытается о нем написать, хотя это и нелегко. «Во всяком случае буду изо всех сил стараться. . .» И я снова порадовался, что настоящие друзья Зоценко помнят и любят его.

Любит его и тот самый широкий читатель, которого глубоко уважал, для которого жил и писал Михаил Зоценко.

1976



«ДОРОГОГО СТОИТ»

Я мало, очень мало что могу рассказать об Ольге Дмитриевне: мы редко с ней виделись. И все же каждая встреча дарила мне нечто такое, что связано только с ней, с ее ни на кого непохожестью, с ее добротой, остроумием, высокой, я бы сказал — высочайшей интеллигентностью.

Первая наша встреча, если можно ее так назвать, ибо она была заочной, произошла в журнале «Звезда» в 1930 году. Во втором номере журнала печатались главы из «Сумасшедшего корабля», романа-воспоминания Ольги Дмитриевны о Доме искусств начала двадцатых годов, и в этой же книжке журнала была помещена первая моя повесть — «Полнеба». Не знаю, прочла ли мою дебютную вещь Ольга Дмитриевна, но ее «Сумасшедший корабль» произвел на меня сильнейшее впечатление, — в этих гротескных портретах я сразу узнал многих ленинградских писателей, о которых раньше читал только в серьезных статьях.

Очное наше знакомство произошло только через семь лет. Теперь я себя браню: как это я не попытался познакомиться раньше? В 1933 году я написал историческую повесть «Базиль», и мне было безумно интересно узнать, прочла ли ее Ольга Дмитриевна. Не спросил ни тогда, ни позже. Виню свою молодую застенчивость и завидую нынешним молодым — они в этом отношении «раскованней», как любят теперь говорить.

Впрочем, многое из того, что я дальше скажу, связано с теми или иными моими собственными вещами. Такковы уж мы, литераторы, какими скромнягами с виду мы ни казались бы. Правда, у меня был самолюбивый принцип: по возможности не знакомиться с известными, большими писателями (разумеется, я имею в виду их самих, а не книги), пока они сами не обратят внимания на мою работу. Именно так произошло знакомство и с Ольгой Дмитриевной Форш. Это очень значительный для меня эпизод, о нем я расскажу подробнее.

В ноябре 1937 года, в небольшом ленинградском театре, которым руководил прекрасный актер и режиссер Борис Михайлович Сушкевич, состоялась премьера моей первой пьесы. Можно легко себе представить мое состояние! В антракте после первого действия я тщательно скрывался от знакомых, да и они меня не искали, а когда попадались навстречу, то и я и они отводили глаза: премьера, я чувствовал, явно заваливалась. Первый акт «Беспокойной старости» вообще жидковат, к тому же, как это часто случается на премьерах, на сцене не ладилось. Двери открывались и закрывались когда не надо, декорации иступленно шатались, актеры путали текст как могли; а когда Полежаев, вернувшись из Кембриджа домой, подошел к окну и протянул руку к любимому кактусу, с энтузиазмом уверяя себя, жену и нас, что кактус без него необыкновенно вырос за эти две недели, грохнулась на пол вся жардиньерка. Ну, и прочее было в таком же роде.

Следующее действие шло получше, а после третьего, едва я успел подняться с места, как вдруг увидел в проходе между креслами, уже совсем близко от меня, Ольгу Дмитриевну (я и не подозревал, что она в театре). Она неторопливо подошла, неспешно подала руку, поздравила меня и — поблагодарила... Да, поблагодарила! Я взгляделся в ее лицо, в ее глаза — в этот момент я уже не боялся чужих глаз, — и ясно увидел: лицо Ольги Дмитриевны было растроганным. Не спрашивая, я понял, что так подействовала на нее сцена одиночества стариков Полежаевых, которую чудесно сыграли актеры Жуков и Мосолова. Надо сказать, что до этой сцены Жуков меня раздражал суетливостью и местами слащавостью (когда-то я почувствовал, что сам пересахарил), а Мосолова, известная когда-то актриса и владе-

лица так называемого Интимного театра, смущала меня частыми взглядами в публику, своеобразным эстрадным общением со зрителями. Здесь же Мосолова, как и позже Грановская в Большом драматическом, Андровская в МХАТе и Эмма Попова снова в БДТ, была безупречна, равно как и Александр Михайлович Жуков.

Похвала, признание, но что еще ценнее — растроганность Ольги Дмитриевны были для меня не просто утешением за все пережитые на спектакле неприятные ощущения. Помню, через много лет, на премьере «Беспокойной» в МХАТе, после этой же сцены одиночества растрогался до слез Паустовский. Как ни любил я Константина Георгиевича, но я знал, что он на редкость чувствителен. . . А тут Ольга Форш! Повторяю, мы были в то время почти незнакомы, но я от других слышался о ее твердом, мужском характере, прямоте, уничтожающем, если надо, юморе. . . К тому же я знал, что в те самые месяцы неблагоприятно решилась судьба ее собственной пьесы в этом театре — по каким-то причинам (в театре таких причин всегда достаточно) пьеса не пошла. . . И вот Ольга Дмитриевна подле меня и искренне радуется успеху спектакля!

Мало того, я хорошо знал, что, прежде чем заказать мне сценарий о Тимирязеве, ставший потом фильмом и пьесой о профессоре Полежаеве, «Ленфильм» просил Ольгу Дмитриевну взяться за эту тему. Незадолго до этого она написала сценарий о Пугачеве, поставленный режиссером Петровым-Бытовым, уж не говоря о том, что была автором прославленного историко-революционного фильма «Дворец и крепость». И лишь тогда, когда Ольга Дмитриевна, занятая другими своими литературными работами, отказалась от этого предложения, «Ленфильм» обратился ко мне. Не правда ли, каким рыцарским благородством надо обладать, чтобы первой поздравить автора фильма и пьесы, связанных с темой, от которой она отказалась!

Сравнительно скоро я хорошо узнал, что великодушные, человеческая и художническая сердечность и доброта были всегда присущи Ольге Дмитриевне, всегда выше личного и эгоистического. После войны, когда в той же «Звезде» напечатали мою драматическую повесть о Чарлзе Дарвине и в журнале «Ленинград» появилась о ней превосходно написанная статья Ефима

Добина, один довольно влиятельный писатель, которому не понравилась моя вещь (что вполне естественно, и, возможно, он прав в своей критике), вдруг рассердился — зачем напечатали... положительный отзыв Добина! Я этого не знал, писатель мне лично ничего не говорил, но зато поделился своими чувствами с Ольгой Дмитриевной, с которой с давних пор приятельствовал. Потом уж мне Ольга Дмитриевна рассказала, как она его отчитала!

Но в это время и я уже подружился с Ольгой Дмитриевной. Слово «подружился» звучит слишком сильно, но, так или иначе, я знал о добром ее отношении ко мне и однажды, живя в Комарове, тогда еще Келломьяках, неосторожно увлек Ольгу Дмитриевну в длинную, утомительную прогулку километра за два: мне хотелось показать дачу, в которой мы с семьей счастливо жили перед самой войной, — сейчас я не знал, что с ней стало. Расположена эта дача была на углу улиц Громыхалова и Танкистов, — тихое такое местечко, — Ольга Дмитриевна, ценившая юмор, вполне оценила эти парадоксальные названия, особенно в связи с последовавшим затем приключением.

Оживленно беседуя, мы незаметно пересекли весь поселок. По пути я поведал о забавном домашнем финале премьеры, на которой в 1937 году была Ольга Дмитриевна. Когда мы с семьей вернулись из театра, нас ждала на столе корзина с яблоками (других фруктов в ту позднюю осень в городе не было) и бутылка вина; потом выяснилось, что это дар от театра. Мы принялись расспрашивать домработницу — откуда, что, кто принес? Она испуганно твердила одно: «Принес мужик... за понос взял три рубля!»

Ольга Дмитриевна с удовольствием выслушала и сказала:

— За понос — это хорошо. — Сразу опустила триумфатора на землю. Затем деловито спросила: — А если бы у девушки не нашлось трешки, мужик так бы и унес корзину обратно?

— Не думаю. Но ругнул бы. Не домработницу, а всяких там, которые живут на дармовщинку.

Ольга Дмитриевна не то с удивлением, не то с удивлением на меня взглянула:

— А вы реалист,

Кстати, мы редко говорили о литературе и почти никогда — о собственной нашей работе. Это часто бывает у литераторов, особенно разных поколений; уж тем более младший стесняется спрашивать у старшего, о чем он сейчас пишет, высказывать суждения о его книгах. Потом я, конечно, себя ругал: а вдруг это было бы интересно Ольге Дмитриевне? В крайнем случае она меня оборвала бы. Глупо, глупо, что не говорил! Как-то хотел сказать, что, когда вижу пляж у Петропавловской крепости, голых людей, стоящих у стен раскинув руки, чтобы скорее и лучше загореть, невольно напрашиваются слова: «Раздеты камнем». Так и вертелось на языке: скажу! Ольга Дмитриевна любит шутку, наверняка не обидится, не сочтет кощунством; не обижалась же на смешные шаржи Радлова, Антоновского, Малаховского. . . Нет, не сказал. И, пожалуй, не жалею.

Долго ли, коротко ли, мы оказались у цели — перед приветливым транспарантом, украшавшим деревянную арку: «Добро пожаловать!» Здесь помещался сейчас пионерлагерь. Мы уселись отдохнуть на скамейке сбоку от лагеря, чтобы спокойно, со стороны, рассмотреть наш бывший рай: весь участок, величиной чуть ли не в полгектара, обсажен был сверкающе-белыми березами, на диво разросшимися за время войны. Не успели мы отдохнуть, как к нам подбежала, крича, разъяренная санитарка:

— А вы тут чего расселись! Не видите, что у нас карантин!

Мы с Ольгой Дмитриевной безропотно поднялись и, посмеиваясь над гостеприимным призывом «Добро пожаловать!» побрели восвояси. Мы не знали, что через много лет на экранах появится смешной фильм под названием «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», как раз о пионерлагере и его строгом начальстве.

В послевоенную осень 1945 года мы, обитатели только что вновь открывшегося в Келломяках Дома творчества (в первый раз он должен был открыться 22 июня 1941 года), дружно и весело жили — работали, отдыхали, купались и, когда наступила пора уезжать (завтра с утра приезжала новая смена), устроили в нашей тесной столовой тесный товарищеский ужин. Помню, один

литератор обиделся, что ему достались неудобный угол стола и маленькая тарелка вместо нормальной.

— Поставили блюдо в угол, как кошке! — сказал он и гордо удалился. Слава богу, его удалось уговорить и вернуть. По настоянию Ольги Дмитриевны перед ним поставили самую большую тарелку из всех возможных и посадили на самое почетное место, рядом с Ольгой Дмитриевной, чего он вполне заслуживал. Это ведь он на днях, уйдя по мелководью далеко в море, вдруг закричал дамам, чтобы они отвернулись. В чем дело? Он обнаружил целый косяк уснувшей корюшки, которую рыбаки глушили ночью гранатой, самоотверженно снял с себя трусы, завязал их концы узлом, набил этот импровизированный мешок рыбой и шел теперь к пляжу. Мы приветствовали героя аплодисментами.

А Ольга Дмитриевна, и верно, была для нас истинной патриаршей (не знаю, можно ли вместо «патриарх» сказать «патриарша», — существовала же в истории папства папесса Иоанна!). Одно присутствие Ольги Дмитриевны во главе стола, который мы называли «табль-дзотом», уже делало замечательным наше скромное по теперешним понятиям, но роскошное по тем временам пиршество. Недаром о непрременном спутнике наших ежедневных завтраков, обедов и ужинов — рисе — Борис Михайлович Эйхенбаум тонко заметил: «Рис — благородное дело». Произносились шуточные тосты, и даже я был почтен стихотворной эпиграммой, которую прочла вслух Елизавета Григорьевна Полонская, сочинившая ее в соавторстве с Ольгой Форш. Прежде чем процитировать, поясню повод. Дело в том, что сентябрь был прелестный, солнечный, по ночам перепали теплые дождички, и потому вокруг было много грибов, которые я усердно собирал и сушил на балконе, развешивая на перилах и вдоль стен. Вот этот экспромт:

Наш Рахманов-меланхолик
Набрался грибов до коллик
И на длинной-длинной нити
Протянул их к Маргарите.

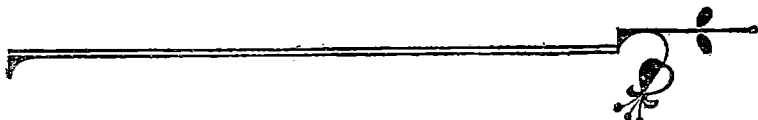
Добавлю, что к автору прекрасных воспоминаний об Ольге Форш, Маргарите Степановне Довлатовой, близкому другу и помощнице Ольги Дмитриевны, содержание эпиграммы не имеет отношения, — ее тогда не было

в Доме творчества, о чем я искренне сожалею. В доме жила малознакомая нам всем дама, действительно Маргарита, но, честное слово, никакие нити, кроме грибных, по чистой случайности протянувшихся по направлению к ее окошку — что и усмотрел зоркий в те годы взгляд Ольги Дмитриевны, — нас не связывали. Это была просто шутка. Мне приятно, что эта шутка исходила от Ольги Дмитриевны, что она публично похвалила меня за то, что я умею собирать и сушить грибы... А похвала Ольги Дмитриевны за что бы то ни было — дорогого стоит, как сказано в одной пьесе Островского.

Году в 1962-м, вскоре после того, как Ольги Дмитриевны не стало, «Ленфильм» решил поставить новый, уже звуковой фильм по роману Ольги Форш «Одеты камнем». Мне предложили написать сценарий, и, хотя я обычно отказываюсь от инсценировок и экранизаций, тут, после некоторых колебаний, согласился. Этот роман я всегда любил, он действовал на меня магнетическим образом, восхищал какой-то особой духовной свободой, казалось, несовместимой с «каменными мешками», — да и память об Ольге Дмитриевне обязывала меня не отмахиваться от попытки, которая, я заранее знал, будет нелегкой.

Я начал, как обычно, с чтения материалов — о судебных процессах, о революционерах семидесятых годов, вообще о той эпохе. Я как бы пошел по следам работы Ольги Дмитриевны, которую она вела сорок лет назад, и это оказалось бесконечно увлекательно. Я не только увидел, как скрупулезно изучила, исследовала Ольга Дмитриевна все, что должно и могло ей понадобиться, но главное — как это все потом озарилось в поэтическом претворении, в сложной, психологически сложной и мудрой книге.

Увы, очень скоро произошел обычный в кино пассаж: тематические планы изменились — в кино это случается еще чаще и необъяснимее, чем в театре, — и «Одеты камнем» решили не экранизировать. Так порвалась и эта ниточка, уже настоящая, не из эпиграммы, пусть тоненькая, но, как мне казалось, прочная, связывавшая, хотя бы косвенно, мою жизнь и работу с дорогим для меня именем Ольги Дмитриевны.



Л. ПАНТЕЛЕЕВ
И АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ



1950

год. Скорый поезд. В купе четверо — инженер с женой и два немолодых литератора. Впрочем, о том, что они литераторы, попутчики не знают и, надо надеяться, не узнают: достаточно имен-отчеств. Но вот на большой станции, когда один из литераторов вышел купить газету, дама не выдержала и поинтересовалась:

— Что он такой печальный, ваш приятель?

Ответ был краток:

— Неприятности по службе.

— А что у него за профессия?

Тот неохотно объяснил, что его спутник человек незаурядный, можно сказать, талантливый в своей области. . . Не каждый может из рядовых могильщиков выдвинуться в заведующие кладбищем. . . но нынче ему не повезло: недовыполнил план.

Супруги переглянулись. Только что с ними завтракал, укладывал в чемодан пижаму — и вдруг такая, мягко говоря, экзотичная должность! Может, товарищ пошутил? Нет, рассказывает с натугой, каждое слово приходится вытягивать из него чуть не клещами. . . При этом супит густые брови, голос глухой, надтреснутый. Видно, что ему не до шуток.

С опасливым любопытством разглядывали они вернувшегося в купе кладбищенского деятеля.

Лишь месяц спустя Л. Пантелеев — в быту Алексей Иванович — признался мне в своем розыгрыше. Что

оставалось мне делать? Сердиться или смеяться? (Объектом розыгрыша был я.)

— А вас не спрашивали,— сказал я,— почему у вас мрачный вид и где вы работаете?

— Не успели. Тут вы вошли с газетой.

— А если бы спросили?

Алексей Иванович пошевелил щеточкой усов.

— Ответил бы, что я ваш заместитель. Почему мрачен? Не хотел, чтобы вы или они подумали, будто я радуюсь вашей неудаче... мечу на ваше место! — Все это, как всегда, он говорил хмуро и неохотно, хотя, я уверен, испытывал некоторое удовольствие от удавшегося розыгрыша.

Почему я начал со столь легкомысленного эпизода? На мой взгляд, этот случай достаточно точно, пусть с неожиданной стороны, характеризует Алексея Ивановича. Обычно он предельно серьезен, сосредоточен, неразговорчив, даже угрюм, поминутно, если не ежесекундно, супит свои густые брови,— и вдруг каскад фантастических шуток, выдумок и курьезов. Кажалось, откуда бы? А это и есть полнокровность таланта: человек не выпрямлен по линейке, не сплюснен и не засушен,— он весь состоит из живых, нередко противостоящих друг другу, но зато органичных и жизнотворных молекул. Именно такова особенность Пантелеева-писателя и Пантелеева-человека.

Читателям любого возраста хорошо известен Пантелеев-писатель. Когда они еще не были в прямом смысле этого слова читателями, то есть не умели читать, они уже знали на память «Большую стирку» и «Тыблоко»: прелестные, полные юмора и поэзии рассказы эти читали им вслух родители или старшие братья и сестры. Когда они подросли, они уже сами прочли «Часы» и «Пакет», где столько удивительных, я бы сказал, сногшибательных приключений. Там каждая строчка дарит читателю новый поворот действия, новую поразительную подробность.

Еще через несколько лет они прочитали «Республику Шкид» и «Леньку Пантелеева». В этих повестях автор описал свое многотрудное, увлекательное, опасное, озорное детство. Недаром же по «Республике Шкид» поставлена кинокартина, и я не знаю, найдется ли сейчас человек лет двенадцати или четырнадцати, который бы ее не

видел два, три, четыре раза. Убежден, что счастливая киносудьба ждет и «Леньку Пантелеева».

Взрослые с удовольствием перечитывают эти повести Пантелеева, ибо их читать интересно в любом возрасте. Для взрослых написаны им воспоминания о С. Маршале, Евг. Шварце, М. Горьком, о тех, с кем встречался, дружил, у кого учился Алексей Иванович. Словом, читательская жизнь нескольких поколений связана с книгами Л. Пантелеева.

Пантелеев рано начал писать и печататься. Я услышал о нем еще до того, как прочел хотя бы одну его строчку. В 1926 году я учился в Электротехническом институте. Однажды мой однокурсник, известный ныне радиоспециалист, со смехом мне рассказал, как удивился его отец, бухгалтер Ленинградского Государственного издательства, когда явились к нему получать гонорар два шкета... Как иначе назвать малопочтенных, из рук вон плохо одетых парнишек? Это и были авторы знаменитой впоследствии «Республики Шкид» — Л. Пантелеев и Г. Белых.

С чего начинается дружба? Разумеется, никаких правил и образцов здесь нет, — просто, люди в какой-то момент замечают, что начали понимать один другого с полуслова, а то и вовсе без слов. Значит, не исключено, что они могут стать друзьями. Нередко это происходит в дороге, в совместно пережитых приключениях, особенно в минуты опасности, — вот почему так помнится фронтовая дружба, хотя порой люди были знакомы всего день или час.

Нас с Пантелеевым сблизил один пустячный случай. Дело было еще до войны, в Петергофе. Домов творчества тогда еще не существовало, и, чтобы литератор мог пожить с месяц за городом и усиленно потрудиться в отрыве от семьи и многочисленных общественных нагрузок, Литфонд зафрахтовал четыре или пять номеров в петергофской гостинице «Интернационал». В разное время там жили Николай Тихонов, Юрий Герман, Даниил Хармс, поэт Лахути с семьей, писатель, художник и пограничник Лев Канторович, кинорежиссеры Александр Зархи и Иосиф Хейфиц, вместе с которыми в 1936 году я работал над киносценарием, и, наконец, редкий гость в литературной среде, А. И. Пантелеев, почти всегда живший где-то на отшибе.

В Петергофе мы с Пантелеевым встречались иногда за обедом, за ужином, обменивались нейтральными фразами — на этом наше общение кончалось: мы были давно, но мало знакомы. Однажды, уже перед сном, мы решили погулять по шоссе, — в парке зимой в это время было темно. Шоссе увело нас за город, уже совсем в глухую темь, в тишину — в те годы машин было мало, — мы шли и молчали.

Но вот в темноте перед нами вырисовалось что-то движущееся и поминутно меняющее свои очертания. Это оказался человек с велосипедом. Ехать он уже не мог, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, как пишут в милицейских протоколах, и вел свой велосипед по середине дороги, то и дело на него падая, с трудом поднимаясь и еще с большим трудом поднимая машину. Минут через десять на бешеной скорости нас обогнал грузовик, причем с притушенными фарами. Мы с Пантелеевым на секунду замерли, словно взвешивая возможность того или иного исхода, а затем, не сговариваясь, ринулись назад, в темноту. Обоим нам мысленно представлялась кошмарная картина: на шоссе лежат изуродованные, раздавленные останки велосипеда и велосипедиста, течет кровь, извиваясь между булыжниками. . . Ничего похожего мы не увидели. Навстречу нам, по самой середке шоссе, брел живой и невредимый пьянчуга, падал, вставал, целеустремленно шел дальше.

Как ни смешно, нелепое происшествие что-то сдвинуло в наших отношениях. Прогулка эта стала началом многих других прогулок, сперва приятельских, потом дружеских, пока мы научились ценить (во всяком случае я) каждую минуту общения, пусть даже безмолвного.

Наверное, я мог бы долго рассказывать об А. И. Пантелееве, о том, что он пишет и что я об этом думаю, но о писателе Л. Пантелееве написано много больших статей и целые книги, писал о себе и он сам, и я расскажу лишь о том, что характеризует Алексея Ивановича с разных, часто прямо противоположных сторон.

Прежде всего, Пантелеев самобытен и оригинален во всем — в мыслях, в словах, в привычках, в образе жизни, а главное, в том, что и как пишет, — словом, решительно ни на кого не похож. Правда, кто может знать,

что у него от природы, а что он выработал в себе,— в каких-то второстепенных, третьестепенных вещах он необыкновенно внушаем (я не выдаю секрета, Пантелеев сам пишет об этой своей особенности в воспоминаниях о С. Я. Маршаке). Помню, Евгений Шварц над нами смеялся: «Вот идут на прогулку Пантелеев и Рахманов. Рахманов, привычно боясь простуды (а то и по мнительности: «Что-то ветерком подуло!»), заложил уши ватой. Сразу же Пантелеев начинает беспокойно шарить в карманах и, не найдя ваты, затыкает уши бумажными комочками...»

Хмурый, даже сердитый с виду, Пантелеев нежно любит детей. Он беседует с ними предельно серьезно — серьезно спрашивает и серьезно выслушивает ответы, никогда не лъстя ни им, ни их папе с мамой (мол, какой у вас славный сынок). Умеет разговаривать с детьми любого возраста и развития, не снисходит и не тащит насильно вверх, а незаметно подтягивает от ступеньки к ступеньке. Несомненно, он прирожденный детский писатель и педагог. Впрочем, педагогом в буквальном смысле слова он никогда не был, и я не уверен, что он согласился бы хоть один день преподавать в школе. Но в наших спорах об учителях, об их предрассудках, штампах, консерватизме, отсутствии такта и прочих грехах, о чем мы, отцы и деды, принадлежащие к другим профессиям, любим придирчиво порассуждать, Алексей Иванович всегда становится на сторону учителей, горячо защищает от моих нападок. В спорах же о преступности и преступниках, особенно малолетних, мы расходились еще круче — это для Алексея Ивановича глубоко личная, наболевшая тема, и теперь я ее избегаю.

Алексей Иванович — человек увлекающийся, одержимый, горячий, резкий. И он же сверхделикатен. Помню, купил в магазине куртку, хотя она была ему явно мала: счел неудобным вернуть продавщице после примерки... И он же невероятно требователен к себе, порбочему собран и дисциплинирован. Пообещал — значит, сделает. Это как раз результат нелегкой и непрерывной работы над собой. На моей памяти он постоянно воспитывает свою волю. Никогда не забуду, как он бросил курить, хотя курил со времен беспризорного детства и даже в блокадную зиму в Ленинграде менял самый скудный в мире хлебный паек на табак. Но курить бро-

сил сразу, как отрубил, когда его подстрекнул наш общий приятель (правда, не сомневаюсь, что Алексей Иванович давно жаждал этого подстрекательства). В первую неделю его некурения я старался с ним не встречаться, боясь, что он злится сейчас как черт и мы с ним можем поссориться. Я не знал, что к нему на следующий же день приехали дорогие ему, но курящие гости, что еще больше осложнило ему жизнь. . .

Но конечно, это не главное испытание. Не могу назвать себя лентяем, но я нестерпимо завидую тому, что Алексей Иванович приучил себя ежедневно, «если не ежечасно, много и упорно работать. По его собственному признанию, да и по моим наблюдениям, у него раньше бывали периоды длительного «простоя». В юности кажется, что все еще впереди, — с годами это обманчивое чувство пропадает. Уверен, что всем нам, не только детям, полезно почаще перечитывать «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца, близкого друга Алексея Ивановича.

В характере Пантелеева, в его манерах, внешности есть что-то от интеллигента XIX века, а говоря точнее — от интеллигентного офицера тех давних лет: привычно щелкает каблуками, когда здоровается, быстро встает со стула, когда к нему подошли, заговорили с ним. В отличие от любого воспитанного человека, Пантелеев делает это по-офицерски отчетливо. Думается, что эта особенная, подчеркнутая учтивость отличала его и тогда, когда он был шкетом. Небось так же ловко щёлкал голыми пятками, когда здоровался или прощался с такими же босоногими приятелями!

Почему я об этом говорю? Потому что самые яркие жизненные впечатления Пантелеева — это все же его босоное детство. Вероятно, отсюда его коренное призвание — писать для детей и о детях. Порой спрашивают: «Писатели все выдумывают или берут из жизни?» Вопрос этот не столь уж наивен в устах даже взрослого читателя. Действительно, существуют авторы, которые все или почти все выдумывают, и существуют другие, которые предпочитают и имеют возможность все или почти все для своих произведений брать из жизни. Короче, одни пишут небылицы, другие — были, — так, казалось бы, можно сформулировать ответ. На деле все обстоит сложнее. Есть серьезные романы и повести, в

которых не найдешь и частицы правды — все придумано, сочинено, подделано и лишь притворяется жизнью. И есть небывальщины, полные мудрости, понимания людей, их характеров, — сразу видишь, что «сочинители» их хорошо знали жизнь и черпали из нее полными пригоршнями. Таковы, например, народные сказки.

Пантелеев в своих вещах счастливо сочетает увлекательнейшие были с правдивыми небылицами. Кто может поверить, что красный конник, попав в плен к белым, сжевал сургучную печать, и все, в том числе и он сам, вообразили, что он сжевал собственный язык? А мы читаем рассказ «Пакет» и верим — так гипнотизирует нас увлечение, с которым это рассказано, искренность интонации, безотчетный юмор. В лучших своих рассказах Л. Пантелеев затрагивает не только наше воображение, но и чувства — мы глубоко сочувствуем его героям. Без малейшей навязчивости он воспитывает в юных читателях мужество, честность, стремление поступать по совести, и это оказывается куда интереснее, чем воровать, мошенничать, лгать, — мы убеждаемся в этом, читая рассказ «Часы».

Мы расположены верить автору не только потому, что он хороший писатель, но и потому, что он многое испытал на себе, знает изнанку жизни, знает тот мир, который называют преступным, — называют не без основания, хотя становятся люди преступниками иной раз не по своей воле. Пантелеева постоянно тревожит судьба людей, особенно молодых, попавших в беду, — недаром же они ему пишут: они знают, что он им непременно ответит, ответит серьезно, без скидок на возраст, цена доверие своих корреспондентов, своих читателей.

А что читателей у Пантелеева много, очень много — в этом легко убедиться: стоит взять в руки любую зачитанную до дыр его книгу в любой детской и взрослой библиотеке в любом месте нашей страны, что я, кстати, не раз проделывал... Завидная писательская судьба!



ЭШЕЛОН ВЕРНУЛСЯ

На столе передо мной книга в светло-коричневом переплете, со множеством фотографий: «Ю. М. Юрьев. Записки». Прекрасные воспоминания большого актера о своей жизни в искусстве. На титульном листе стоит дата: 15 сентября 1941 года. Что же это за день? При каких обстоятельствах появилась эта надпись?

Пятнадцатое сентября. Ровно неделя, как Ленинград подвергается массированным воздушным налетам, проще говоря — многочасовой бомбежке. Помню, в первый день со мной произошло почти чаплиновское приключение. Уже смеркалось, когда я ехал в кузове военного грузовика, прислонясь к кабине, а напротив меня, у задней стенки машины, примостились четыре немца. Пленные. Их надо было доставить с фронта в разведотдел армии — меня просили за ними присмотреть. Я начинающий военкор ТАСС, личное оружие мне пока не выдано (если не считать пустой кобуры), немцы, правда, тоже безоружны, зато на дне грузовика навалом лежат винтовки, разумеется незаряженные, но почему-то с примкнутыми штыками. Шоссе изрыто воронками, и винтовки, скрежеща и звеня, ездят между мной и немцами по дну кузова.

— Воздух! — раздался привычный истошный крик.

Мы дружно задрали головы. Ого, это совсем не то, к чему мы уже привыкли: не штурмовик, не разведчик, а, как показалось мне, чуть не сотня немецких бомбардировщиков и истребителей направлялась в сторону

Ленинграда. В ту минуту я не мог полностью осознать весь зловещий смысл этого факта, у меня возникли свои частные волнения. Полагалось, услышав предостерегающий возглас, выскочить из машины и залечь в кювет или, лучше,— где-нибудь подальше от дороги. Машина остановилась, шофер и сидевший рядом с ним в кабине боец молниеносно выскочили, а я в нерешительности глядел на пленных: можно ли позволить им покинуть машину? Но немцы отлично поняли ситуацию, опрометью попрыгали наземь и, отбежав, залегли. Я вылез, снедаемый беспокойством: как я их соберу обратно?!

Мои опасения оказались напрасными. Бомбардировщики пролетели, все, кто ехал в машине, благополучно вернулись на свои места, и мы поехали дальше. На ухабах потряхивало, подбрасывало, немцев веселил каждый толчок: вид мощной воздушной армады, устремленной к знаменитому русскому городу, заметно их возбуждал. Иное испытывал я. . .

Сдав пленных в штаб, я поспешил на станцию. Когда вышел в Ленинграде из поезда, уже совсем стемнело. От Витебского вокзала я успел дойти пешком до Невы, за которой плоско лежал Васильевский остров, а фашистские самолеты все еще прорывались на ленинградское небо (налет проходил волнами, в несколько приемов), то тут, то там сбрасывая фугаски и всюду во множестве — зажигалки.

Именно с того дня, вернее вечера, воздушные атаки на Ленинград стали регулярными. Днем мирно светило солнце, все было ярко, лучезарно, уставленные зенитками сады и скверы полны зелени, традиционных питерских дождей и туманов еще не было и в помине, по голубому небу плыли веселые белые облака. Штатские ленинградцы были одеты по-летнему — мужчины в светлых костюмах, женщины в пестрых легких платьях. На улицах продавали книги, цветы, в магазинах «Росконда» можно было совсем недавно без карточек купить хрустящий рижский шоколад,— блокада еще не успела на всем сказаться. А вечером, аккуратно в восемь часов, являлись фашистские самолеты и бомбили.

Но 15 сентября, когда я купил на Невском возле Дома книги «Записки» Ю. М. Юрьева, запомнилось мне контрастом не между днем и вечером, а между ранним утром и днем. Утро я провел в Колпине, на Ижорском

заводе, куда отправился еще с ночи. К Колпину немцы подошли к концу августа, их остановили на заводской окраине, и с тех пор линия фронта проходила на подступах к Колпину вплоть до разгрома немцев под Ленинградом в январе 1944 года. Колпино оказалось как бы концентратом того, что принято называть фронтовым городом, фронтовым заводом. Ленинград велик, многогранен, в нем сочетались различные стороны осажденного города, в том числе и довольно мирные, по крайней мере в начале блокады. В перерывах между авиационными налетами и артиллерийскими обстрелами люди ходили в кино, на концерты, беспрепятственно ездили через весь город в трамвае и вообще на какое-то время могли «забывать» о своем положении осажденных.

В Колпине это было невозможно. Фронтное напряжение ощущалось там постоянно, город и завод находились как бы непрерывно под током, рубильник войны не выключался ни на один час. Буквально считанными минутами жители и бойцы рабочего батальона располагали для того, чтобы пешком или на велосипеде пересечь город, сделать свои житейские или служебные дела наверху, на земле, под открытым небом, и опять поспешить в подвалы, в блиндажи, в траншеи — именно там или же в истерзанных снарядами заводских цехах они жили, работали, воевали. Что касается деревянных домиков с палисадниками, где недавно еще обитало большинство ижорских рабочих, то домики эти перестали существовать: немцы стреляли по Колпину чуть не прямой наводкой.

В ноябре 1941 года мы с Евгением Рыссом опубликовали в «Известиях» очерк под заглавием «Завод-воин». Собственно, написали мы его значительно раньше, после первых посещений Колпина, — в ноябре там уже многое изменилось, как и в самом Ленинграде. Но и в сентябре было достаточно трудностей, о части которых мы написали в газете. Тон корреспонденции был бодрый, быть может, чрезмерно бодрый — этого требовала тогдашняя обстановка: слишком много было кругом потерь и жертв, человеческих и территориальных, чтобы ежедневно слушать и служить панихиду.

Но верно и то, что мы не встретили в Колпине ни одного человека с расширенными от страха глазами, с заплетающимся от испуга языком, между тем страш-

ных вещей вокруг хватало с избытком. Ехавшему на встречу нам на велосипеде вестовому, парнишке четырнадцати-пятнадцати лет, оторвало голову. Война? Война. Но у нее одна особенность: всего за несколько кварталов от места гибели парнишки живет и работает в швейной мастерской, помещающейся в подвале, его мать, в ижорском рабочем батальоне воюют старшие братья. Вот это и есть колпинский быт: одновременно война и мир. . .

Об этом двуединстве мы очень скупо писали в своей корреспонденции, — газеты больше интересовались тогда боевыми эпизодами. Но мы-то были не только военкорами, нас интересовали прежде всего люди. Кроме того — может быть, это звучит кощунственно, — нас привлекала, гипнотизировала поэтическая цельность всего, что мы видели и ощущали в Колпине. Я назвал Колпино концентратом фронтового города, фронтового завода. Но одновременно это был и концентрат поэтический, мы сразу это почувствовали. Недаром через год, находясь уже врозь, далеко один от другого и далеко от Колпина, мы снова начали о нем думать, о его особенной судьбе, и попытались, каждый по-своему, показать эту судьбу. Рысс написал повесть «У городских ворот», я набросал вчерне несколько картин пьесы «Эшелон ушел», которые послужили потом основой для пьесы «Камень, кинутый в тихий пруд».

Но это все далеко впереди, пока же нам в полную меру предстоял Ленинград — черная блокадная осень, ледяная блокадная зима, — понятно, что я на время почти забыл о Колпине. Почти, ибо где-то внутри, в глубине, оно не забыто. Больше того, иногда внешние обстоятельства тем или иным образом заставляли о нем вспомнить. . .

В октябре 1941-го, в разгаре немецких атак на Ленинград, когда не только Колпино, но и Кировский завод, и Мясокомбинат стали передним краем обороны, трое литераторов — Евгений Рысс, Владимир Орлов и я — предложили своим товарищам, ленинградским писателям и журналистам, коллективно написать книгу «Один день осажденного города». Идея заключалась в том, чтобы, предуманно распределив литературные силы, создать документальный и одновременно художественный репортаж об одном рядовом дне жизни и борь-

бы ленинградцев. Нетрудно догадаться, что мысль эта была навеяна горьковским «Днем мира», задуманным действительно в мирные дни тридцатых годов, хотя фашизм уже начал тогда свое наступление.

Чтобы пояснить наш замысел, назову несколько тем из подробно разработанного плана: МПВО, Пожарная часть, Хлебозавод, Булочная, Баня, Аварийная служба, Церковь, Контора жакта, Кинотеатр, Родильный дом, Скорая помощь, Радиостудия, Zenитная батарея, Общежитие, Трампарк, Бомбоубежище, Швейное ателье, Мастерская игрушек (читай — ручных гранат)... Нечего и говорить о том, что мы с Евгением Рыссом выбрали себе Ижорский завод.

На каждый такой участок, или, как тогда говорили, объект, было решено направить несколько литераторов и журналистов: не успеет или не сможет собрать наблюдения один — дополнит другой. Кроме того, каждый объект в одном районе дублировался таким же объектом в другом, а то и в третьем, — только так можно было избежать неудач и срывов и выбрать потом самое интересное. Наконец, чтобы все могли хоть немного поднатореть, освоиться, предполагалось провести генеральную репетицию за несколько дней до намеченного главного срока.

Признаюсь, меня и сейчас охватывает волнение, когда я представляю себе запечатленной на бумаге, в слове, в книге летопись одного ленинградского дня и особенно ночи, с ее воем сирен и бомб, заревом пожаров, лихорадочным тиканьем радиометронома, самоотверженным трудом людей, борющихся с бедой. А написать эту летопись можно было только в те дни, ни раньше, ни позже, — это отлично знали и организаторы сборника и его участники.

Мы понимали, что доступ на некоторые из перечисленных объектов, да и на ряд других, особенно на продолжавшие действовать промышленные предприятия, требовал специального разрешения и что вообще эта книга — достаточно ответственное политическое дело. Значит, надо набраться терпения и ждать, пока разрешат его сделать. Но сколько же ждать? И вот тут произошла трагедия.

Трагедия... Я употребил это слово вполне сознательно, без преувеличений, ибо под угрозой стояла судьба

не только будущей книги, но и судьбы живых людей. Я имею в виду многих квалифицированных, талантливых литераторов, одни из которых по возрасту или по здоровью были освобождены от военной службы, но хотели приносить посильную пользу, другие участвовали в составе ополченской дивизии в тяжелых боях под Ленинградом, с трудом вышли из окружения, и сейчас, в блокадных условиях, им так нужен был повод к активной деятельности.

В. К. Кетлинская, заменившая в Ленинградском союзе писателей его секретаря Бориса Лихарева, с первых дней войны ушедшего во фронтовую печать, пустила в ход всю свою незаурядную энергию, пытаясь доказать вышестоящим инстанциям необходимость скорее начать работу над книгой. Усилия ее были тщетны. Проект книги долго рассматривался и был утвержден лишь через несколько месяцев, когда обстановка в Ленинграде и физическое состояние ленинградцев резко ухудшились. Суть даже не только в том, что литераторы, как и все ленинградцы, ослабели от голода и не могли оперативно действовать — собирать материал и писать. Суть в том, что жизнь в эти месяцы в Ленинграде во многих отношениях как бы замерла, замерзла, и возобновилась, оттаяла она только к весне. Это сказалось, кстати, и на характере осады: немцы по-прежнему обстреливали город, но почти прекратили воздушные налеты. Они с нетерпением ждали, когда Ленинград свалится к ним в ладони, как спелый плод. К их удивлению, этого не случилось, а через год была прорвана блокада и образовался коридор, по которому следовали поезда на Большую землю. Но тогда уже все стало другим, город заметно обезлюдел: сотни тысяч жителей в первую зиму умерли, сотни тысяч удалось эвакуировать, в том числе и многих писателей.

Зима 1941—1942 года была на редкость морозной. Обычно Нева нелегко замерзает, тем более когда ее борзят ледоколы, проводя суда по фарватеру, — между мостами тянутся километровые полыньи. В эту зиму стоял сплошной лед, что для жителей имело существенное значение: выяснилось, что по льду легче идти, чем через мост. Кривизна, подъем, незаметные в обычное время, сейчас казались почти непреодолимыми. Люди и по плоскости-то с трудом передвигали ослабевшие ноги,

а чтобы перевалить через середину моста, приходилось делать сверхъестественное усилие. Ледяная же поверхность реки строго горизонтальна, если не считать неровностей, своеобразных «торосов», образовавшихся при ледоставе,—торосы можно и обойти. Правда, оставалось спуститься на лед и подняться на противоположный берег — почти альпинистская задача. Но пешеходы, как альпинисты, помогали один другому: страховали, поддерживали, вытягивали за руку наверх,— это была настоящая взаимная выручка в бою с высотой и слабостью.

Для меня этот путь имел особую притягательную силу. Ежедневно, выходя утром из дому, вблизи Малого проспекта на Васильевском острове, и спускаясь на Неву у Ростральных колонн напротив Биржи, я знал, что в конце пути, у Литейного моста, меня ждет награда. Дело в том, что в самое тяжелое для меня время, когда стало ясно, что задуманная нами книга «День осажденного Ленинграда» не сможет быть осуществлена, мне предложили составить и отредактировать «пробный» номер журнала «Литературный современник», который еще летом перестал выходить: ответственный редактор Филипп Князев погиб под Таллином, из членов редколлегии один я находился в Ленинграде.

Я был рад поручению. Я знал, что эта работа опять прибавит сил и мне и моим товарищам. Так важно было тогда делать какое-то общее дело, не имеющее касательства к утолению физического голода. И люди снова поверили, стали писать, стучать на машинке... Всем хотелось чувствовать себя литераторами, а не просто «едоками первой или второй категории».

О категориях. Иногда я менял свой маршрут — шел из дому по Четвертой линии, спускался на лед у Академии художеств и поднимался на противоположный берег у памятника Петру или у Адмиралтейства. Тогда я нередко встречал на набережной знакомую фигуру. Подеревенски закутав голову в шаль, так что видны были одни бодрые, как всегда, глаза, Кетлинская чуть не каждое утро брела через весь город в Карточное бюро Ленгорисполкома, помещавшееся рядом с Адмиралтейством,— хлопотать для Союза писателей еще об одной карточке первой категории, приравненной к рабочей. В большинстве случаев это означало жизнь еще для

одного литератора: двести пятьдесят граммов хлеба в день вместо ста двадцати пяти. Приходя в Дом писателя, я гадал: кто этот очередной счастливец? Бывало, что помощь уже запаздывала — человека невозможно было спасти этой хлебной добавкой, — к другим она подоспела вовремя. «Лишние» сто двадцать пять граммов означали не только материальный, но и моральный «допинг»: получивший первую категорию крепнул духом, чувствуя, что он нужен. Случалось, что косвенно ощущал это и я, вдруг получая от него рукопись — стихи, очерк или хотя бы устно высказанное желание работать для журнала: человек ожил!

Дома я читал рукописи при копилке или при свете сжигаемых в печурке старых газет и журналов: две-три странички скручивал жгутом, чтобы медленнее горели. Опыт показал, что за эти недолгие секунды можно прочесть рукописную страницу, пусть полстраницы, и сделать одну-две пометки карандашом на полях. В Доме писателя я работал, не снимая шинели, в одной из ледяных комнат третьего этажа и там же разговаривал с авторами. С теми, кто слишком ослаб и не мог подняться на третий этаж, встречался в пансионате для дистрофиков, устроенном в бывшей бильярдной.

Легче всего, как всегда, обстояло со стихами: музы не молчали не только при громе пушек и разрыве авиабомб, но и при тихом урчании голода. Труднее с прозой, как ни старался обеспечить ею журнал Анатолий Кучеров, энтузиазм которого призван был заменить весь редакционный аппарат мирного времени.

Впрочем, с документальной прозой обстояло неплохо. Например, только что вернулся с подводной лодки Александр Зонин, привез очерк, написанный сразу же по следам событий, точнее — во время самих событий. Не говоря о том, что писатель вернулся из такой командировки целым и невредимым, что само по себе сверхудача, для нас так важен был материал о действующем флоте, действующем вопреки сковавшей все и вся блокаде. Возникли и профессиональные трудности: Зонин — человек упрямый, как большинство авторов, надо уговорить его в кратчайшие сроки отработать очерк, отчетливее написать литературные портреты подводников. Но это и есть работа, следовательно — счастье.

А вот и еще удача. Лишь неделю назад заказал ли-

тературоведам — Н. Я. Берковскому и Л. Я. Гинзбург — две статьи: критический памфлет о «философском труде» фашиста Розенберга «Миф XX века» и подборку высказываний русских писателей о немцах, о плохом и хорошем у этого народа с его сложной историей. И вот статьи уже готовы, получились интересными и острыми. Еще бы, писали мастера своего дела! Своего... Как раз ни тот ни другой не писали прежде статей столь открытого публицистического звучания, да еще в таких небывалых условиях. И сейчас не могу понять, как они, скажем, могли оснастить статьи цитатами, требующими первоисточников. Даже в своей личной библиотеке подчас невозможно было найти необходимую книгу: во-первых, темно, во-вторых, чтобы достать ее с верхней полки с помощью лесенки, нужны были геркулесовы (с точки зрения дистрофика) силы...

Но особенно приятно было узнать, что болезненный и до болезненности щепетильный и аккуратный в исполнении всякого порученного ему дела Сергей Хмельницкий взялся написать очерк о комсомольцах Ижорского завода. Он побывал там зимой, в самое тяжелое время, пожил вместе с бойцами рабочего батальона в их блиндажах и подвалах и собрал поистине драгоценный материал. Я не сомневался, что он напишет интереснейший очерк. Так Колпино, памятное и дорогое мне по первым месяцам ленинградской обороны, еще раз напомнило о себе в самый разгар блокады.

К середине января не один, а два номера журнала были сделаны, и готовился материал для третьего. «Черт возьми! — самонадеянно думал я. — Недаром, значит, в мороз и слякоть бодро «бежал» я в Дом писателя — спорить, просить, подталкивать, убеждать, благодарить и даже... платить гонорар за принятый материал». Да, да, бухгалтер Гослитиздата Мария Александровна, которую многие писатели знали с начала тридцатых годов, всегда спокойная, улыбающаяся, приносила из издательства (два километра от Дома писателя) деньги и все с той же мягкой довоенной улыбкой выдавала их авторам. Авторы истово расписывались в получении, медленно выводя распухшими пальцами «сумму прописью», подпись и дату. Сначала это был декабрь 1941-го, потом январь 1942 года, сумма... ее в лучшем

случае могло хватить на кило жмыхов на Сытном рынке. Сытный, слово-то какое! Немцы отлично нацелились на этот рынок и обрушивали на него шквал своих дальнобойных в те часы, когда там толпилось больше всего народу.

Наступил февраль. Стало проглядывать солнышко. Путь по сверкающей снежной гладью Неве сделался просто прекрасным. Но стимул бодрости и подтянутости исчез. Я узнал, что два номера журнала, подготовленные к производству, законсервированы. Как и план книги «День осажденного Ленинграда», они прочно улеглись в долгий ящик. Долгий? По существу, вечный. Нет, эту нашу работу никто не гробил, не мариновал, никто чрезмерно не осторожничал, как в случае с книгой. Оправдана ли была эта консервация? Безусловно. Разве мог осажденный город издавать толстый литературный журнал в те самые месяцы, когда наша единственная областная газета «Ленинградская правда» превратилась в листок серой бумаги размером в половину районной газетки, да и то выходявший через день!

Конечно, и в декабре рассчитывать на выход журнала было утопией, но тогда это почему-то не приходило в голову. Главным было увлечение общим делом, — делом, которое заметно приободрило даже тех, кто едва находил в себе силы дойти до столовки. Мы мечтали объединить в дальнейшем вокруг журнала и читательский коллектив, — какой же журнал без читателей! Не все же быть Ленинграду в таком положении. И разве регулярный выпуск журнала не поспособствует хоть немножко подъему духа ленинградцев? Помогла же эта работа нам самим. Таковы были мечты.

Если хорошенько подумать, то, наверно, В. К. Кетлинская с самого начала отлично знала, что даже в Москве выпуск толстых литературно-художественных и общественно-политических журналов временно прекратился, что старейший наш ежемесячник «Красная новь» вообще сам собой ликвидировался. Знала, и все-таки создала у нас впечатление нужности и реальности этого дела. На мой взгляд, это один из тех редких случаев, когда «тмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». . . В любом другом случае я, разумеется, за откровенную правду.

Но оказалось, что в эту зиму такой двойной удар

было трудно пережить не опустив руки. И руки опустились. Силы резко упали. В середине февраля через Ладогу началась эвакуация населения. Удалось отправить на Большую землю обессиленных и больных литераторов. В марте отправили и меня. А в мае, как только я немного поправился, я принялся за пьесу... о Колпине.

Почему Колпино? Почему не Ленинград? И даже не Колпино, то есть не пригород, не форпост Ленинграда, а какое-то безымянное, анонимное место, вроде номерного завода или «почтового ящика». Я сделал это не только для «творческой свободы», как в «Депутате Балтики» и «Беспокойной старости», перенеся действие из Москвы в Петроград и назвав Тимирязева Полежаевым. Есть более существенные причины, и связаны они как раз с блокадой. Прежде всего, ленинградские блокадные условия были столь специфичны, что, если бы я заострил на них внимание (а это было неизбежно, поскольку Колпино, повторяю, предместье Ленинграда), возник бы ненужный для этой пьесы крен. Да и говоря о ленинградском пригороде, я не мог не говорить о самом Ленинграде, что наверняка сместило бы центр внимания. А говорить тогда о Ленинграде я не хотел и не мог.

Пусть не покажется это объяснение чересчур субъективным или риторическим, но в отрыве от Ленинграда, покинув его, я не считал себя вправе писать о нем, больном, израненном. Может быть, потом, думал я, но не сейчас. Вновь доставал и разглядывал столь памятную мне афишу: «Полгода Великой Отечественной войны. 11 января 1942, воскресенье. Литературно-художественное утро. Начало в 1 час 30 минут дня. Писатели, ученые, композиторы, художники об Отечественной войне. Весь сбор поступит в фонд обороны».

«Литературно-художественное утро» — так, немного по-старомодному, был назван в афишах (сколько трудов стоило их набрать, отпечатать!) чуть ли не единственный в ту зиму публичный концерт, происходивший в зале Академической капеллы у Певческого моста, наискосок от Зимнего дворца. На улице было морозно и солнечно, в зале тоже морозно, но, как чудилось, красный бархат кресел и драпировок немного смягчал этот пронзительный ходод. И слушатели и участники концер-

та были одеты в шубы, в шинели и ватники, они берегли каждую каплю тепла, и невольно вспомнилось, как много лет назад Маяковский на этой самой эстраде, когда ему стало жарко, снял пиджак и привычно повесил его на спинку стула.

Сейчас к краю эстрады медленно подошел старый седой человек в длинной тяжелой шубе и тихо заговорил. Мы напряженно вслушивались. И вдруг произошло чудо: голос его окреп, худое лицо осветилось такой неожиданной в этот момент счастливой улыбкой. Он сказал, что, идя сюда, не старался сокращать путь; это, на его взгляд, даже очень удачно, что по причине нездоровья пришлось идти не спеша: дело в том, что сегодня он испытал особенно волнующее чувство радости и гордости — под этим январским солнцем Ленинград был непередаваемо, необыкновенно прекрасен.

Профессор Ильин продолжал говорить, называя известные каждому ленинградцу (и не ленинградцу) улицы, здания, знаменитые на весь мир архитектурные памятники, которые деловито старались разрушить осаждавшие город фашисты. Он как будто не сказал ничего особенного, обо всем этом мы и сами не раз писали в газетах, — что враг не пройдет, что наш город бессмертен. Но, слушая его, глядя на этого старого больного человека, пришедшего сюда пешком через весь город, трудно было удержаться от слез, — слез не боли, не жалости, а восхищения. Видно было, что у этого человека поет душа, очарованная только что пережитой, как бы заново оцененной им красотой родного города. Думалось: если в этих страшных условиях голода и холода люди могут так сильно чувствовать красоту Ленинграда, значит, действительно этот город и живущие в нем — бессмертны... Бессмертны? Город — да, но люди...

Итак, о пьесе. По первоначальному замыслу действие ее должно было происходить в промежутке между тем ясным и жарким днем августа 1941 года, когда ушел на восток последний эшелон с заводским оборудованием и с людьми — квалифицированными рабочими, их семьями, техническим персоналом, — и днем, когда завод вернулся первый эшелон, первый после победы. Я хотел написать о тех, кто оставался на фронтовом заводе, оборонял его и работал, — работали в большин-

стве женщины, старики, подростки, — о тех, кто держал рубеж, кому было очень трудно: свои далеко, а враги близко, сил и умения мало, но дух не сломлен, бой и труд продолжаютя, и вот люди дожили наконец до победы.

В жизни все так и было, и все же жизнь сделала одну решительную поправку к литературе: отдалила победу. Я скоро понял, что нельзя заключать пьесу счастливым финалом, когда война и не думает кончаться, когда впереди тьма новых испытаний. Легкий и близкий победный конец — это литературное вранье. Его нельзя оправдать ничем, никакими агитационными соображениями, якобы поднимающими дух зрителя и читателя. Не то это может напомнить постыдной известности предвоенную повесть одного автора, в которой Красная Армия в пух и прах разбивала фашистов уже ровно через двенадцать часов после начала войны! Оскорбительность столь лихого фантазерства (по отношению к реальной войне, к настоящей трагедии в жизни страны, народа) выяснилась с первых же дней. Но и годовалый срок, а не только половина суток, оказался тоже фантазией. Как же быть?

Поэт Хлебников когда-то писал: «Конь войны, наклоня желтые зубы, рвал и ел траву людей». Он писал это о войне гражданской, и найденная им метафора поражала воображение своей эпичностью и лаконизмом. Для новой войны напрашивались иные образы, куда более индустриальные и более жуткие, чем конские зубы. Тем не менее время шло, и пожарище войны действительно стало зарастать молодой травой. . .

Я вернулся к начатой пьесе лишь в 1959 году, когда все было далеко позади — и война, и победа. Я просто почувствовал, что мне очень хочется вспомнить Колпино, вернее, то, что связалось с ним в моем представлении. Казалось, колпинские впечатления должна бы затмить, навсегда оттеснить на второй план та большая беда и тот безмерно большой подвиг, которые совершались в Ленинграде. Но вот оказалось, что все последующие годы колпинцы жили со мной и во мне, и я постепенно перестал отделять выросших в моем воображении персонажей от виденных в действительности. Теперь трудно назвать прототипы, да их и не было: герои

пьесы «Камень, кинутый в тихий пруд» сложились из множества черточек разных людей, встреченных в Колпине и не в Колпине, на фронте и не на фронте, в ту пору и много позже, — конкретно же, наверно, они ни на кого не похожи.

Я начал с военной хроники («Эшелон ушел»), постепенно наслаивал и развивал остальное, — только так мог возникнуть и сохраниться колорит места, времени и обстоятельств действия, слепилась, быть может, и неуклюжая и неровная, но житейски естественная, жизненно разнообразная драма. За это я больше всего ценю ее первооснову — колпинские впечатления 1941 года.

1965



«ДЕДУШКА»

Я расскажу сейчас об одном своем друге, чье имя почти забыто, чьи книги прочно не переиздаются — да и живой он, по скромности, редко печатался — и кто без укора глядит на нас со стены круглой гостиной ленинградского Дома писателя, уютной, нарядной, выходящей окнами на Неву. Он глядит прямо-прямо, в военной форме, со шпалами майора на петлицах, — снимок относится к тому году, когда еще не ввели погон, — нет на груди и наград: орденом Отечественной войны I степени его наградили посмертно.

Что это за судьба? Как складывалась до войны его жизнь? Какой это был человек и писатель? Пожалуй, начну с конца — опишу день, когда мы узнали о его смерти.

1944 год. Декабрь. В ленинградском Доме писателя состоялось первое многолюдное общее собрание литераторов. Встретились те, кто провел в Ленинграде все 900 дней блокады, с теми, кто только что, осенью или в последние месяцы лета, вернулся из эвакуации. Зал, где происходило собрание, выглядел не очень парадно. Центральное отопление еще не работало, его заменяла большая железная печь, к которой в конце собрания все старались держаться поближе, — от окон заметно дуло. Впрочем, собрание было радостным. Война близилась к победному дню, салют следовал за салютом, теперь не только в Москве, но и в Ленинграде: затемнение уже

полгода как снято! Даже выборы и другие организационные дела проходили празднично; все участники собрания были в приподнятом настроении, хотя знали, что есть о чем погорюстить; о ком пожалеть. . .

Но грустить в этот вечер не хотелось. В перерыве, прислонясь спиной к печке, кто-то смеясь вспоминал, как в блокадную зиму, когда этот промерзший шереметевский зал был загроможден золоченой мебелью, собранной из других комнат (чтобы не мешала расставить в них койки для дистрофиков), сюда ненароком забрела одна из блокадниц, известный литературовед и критик. Забрела и в кромешной тьме (окна затемнены, электрический свет отсутствует, словно еще не изобретен) — заблудилась. Не может и не может найти выход! К счастью, товарищи по общежитию услышали жалобные крики, пришли и освободили ее от плена мебели, на которую она все натыкалась и падала, а на нее падали составленные одно на другое кресла и стулья.

. . . А Георгий Дедов погиб за неделю до нашего собрания. Об этом сказал в своем выступлении приехавший из Москвы Николай Семенович Тихонов. Погиб в бою под городом Баллашдармыят, на подступах к Будапешту. В бою? Да, это был большой танковый бой, и Дедов участвовал в нем, находясь в танке. То, что Тихонов назвал Дедова, для многих вообще было неожиданно: Георгия Дедова мало знали в нашей предвоенной среде, — потом объясню почему. Я же хорошо его знал и любил, и знал, что для Тихонова это человек не чужой: несмотря на застенчивость и склонность к домоседству, Дедов в двадцатые годы бывал у Николая Семеновича на Зверинской улице.

Подробности о воинской службе и доблестной смерти Георгия Адриановича мы узнали значительно позже, из воспоминаний гвардии майора Е. Новосельского. Меня они порадовали, но не удивили: зная честность, обязательность Дедова и в малом и в большом, я был убежден, что на фронте он вел себя именно так. Кстати, в жизненной точности этих воспоминаний дополнительно убеждала одна характерная для Дедова деталь: «Танкисты одного из полков, — писал Е. Новосельский, — прозвали его «дедушкой» и в часы досуга заслушивались его занимательными, насыщенными житейской мудростью рассказами». Прочтя эти строки, я

вспомнил, что «дедушкой» звали Дедова его товарищи по литературной группе двадцатых годов «Резец» — поэт Михаил Троицкий и другие, — все они были младше Георгия Адриановича, хотя и ему тогда не было еще тридцати. Прозвище дали ему по фамилии, но звучало оно по-домашнему ласково и с оттенком почтительности. Я так ясно себе представляю, как беседовал Дедов с солдатами (вот они-то наверняка годились ему если не во внуки, то в сыновья). У него чуть косили глаза, быть может поэтому, говоря с кем-нибудь, он старался смотреть на собеседника прямо, особенно прямо, доверительно прямо; если же собеседник был не один, Дедов по очереди на каждом задерживал свой доверительный взгляд. Кроме того, что он говорил тихо, поминутно откашливаясь, он смягчал букву «ж», выговаривая «жялко», «жярко», что придавало его речи особливую мягкость. . .

Вижу, что начал уже о нем вспоминать.

Тридцатые годы. Две маленькие комнаты на Старо-Невском. Окна выходят на шумную Харьковскую улицу, по булыжной мостовой целый день грохочут ломовые телеги и грузовики: здесь привокзальный район, много складов. Но кажется, что в комнатах тихо — такой в них порядок, так все подчинено сосредоточенному труду хозяина. Когда к нему ни придешь, он всегда за большим столом, на котором рядами разложены восьмушки бумаги, исписанные убористым мелким почерком, — он непременно должен видеть все, что он написал вчера и сегодня. Лишь поздно вечером, перед сном, он выйдет в слабо освещенную в этой части города улицу, дойдет до Александро-Невской лавры и на последнем троллейбусе вернется домой. Завтра с утра тот же труд. Если его нет дома, значит, он в Публичной библиотеке. Там опять перед ним маленькие листки бумаги, выписки: «Свинцовое отравление», «Врубовая машина», «Нормы фрезеровщика». По воскресеньям, зимой, он на катке Института имени Лесгафта: одна из его героинь увлекается фигурным катанием. Несомненно, она будет рекордсменкой, так много она тренируется перед соревнованием. Ну что ж, это тоже труд, он видит это. А в прошлом году он наблюдал труд балерины, часто бывал за кулисами в репетиционные дневные часы (его друг — Сергей Корень, знаменитый танцовщик и балетмейстер).

И, уж конечно, он знает много о современном труде на заводе: его близкие друзья — инженеры, рабочие, сам он — монтер, еще в прошлом году по ночам дежурил на электростанции.

Комната его напоминает студенческую: два стула, стол, книжные полки и раскладная кровать-«сороконожка»; на стене карта. С такими вещами легко расставаться: купил билет и поехал в любой район страны. Так несколько лет назад он уехал на Алтай. Так в первую пятилетку кочевал по Киргизии. Тогда он вернулся в Ленинград не один: с ним приехал мальчик-киргиз, такого же небольшого роста, маленький, смуглый. Мальчик поступил работать на механизированный хлебозавод, который очаровал его своим волшебством: в верхний этаж круглого, как цирк, здания засыпалась мука, из нижнего увозили в фургонах хлеб, а внутри здания все вращалось, каждый этаж с определенной скоростью. Но мальчик не только влюбился в этот завод, он задумал его усовершенствовать. А для этого надо было учиться. Ученье принесло с собой новые разнообразные интересы.

Об этом мальчике Георгий Дедов написал повесть «Пятнадцать лет любви». Как и ее название, повесть была поэтична и сентиментальна. В ней был опозитизирован труд, большой город, и это было хорошо, но не была соблюдена какая-то мера восхищения киргизского мальчика этим новым, таким непохожим на родные степи, заманчиво сложным и непонятым ленинградским миром.

Дедов долго писал следующую повесть — «Беглец». Содержание ее подсказала история одного завода и биография талантливого самоучки. Рабочий-подросток, воспитанник «попечительства о недостаточных детях», рвется из тьмы к свету, к свершению заветных желаний и в глухие девяностые годы хочет стать новым Ломоносовым. Высокопоставленный инженер присваивает его лучшее изобретение, а когда он пытается протестовать и бороться, его отправляют в тюрьму. Из тюрьмы он бежит вместе с рабочим-революционером, организатором забастовки, оставив в камере «золоту арфу», которую делал для каптенармуса Курочки, чтобы расшевелить его грубую душу.

Повесть написана от первого лица, и убедительность

записей во многих местах такова, что читатель не видит и не слышит автора, а слышит только крик души самого героя, безвестного Ивана Бережного. Дедов всю жизнь волновался судьбой людей талантливого труда. Он описывал их горячую юность, жил их удачами и обидами, их мечтой о необыкновенных открытиях и о счастье творчества.

Дедов и сам был таким: мечтатель и практик в нем уживались без всяких противоречий, как это бывает только у тружеников. Другьям он любил давать советы, и они с удовольствием слушали его тихий, немного хриловатый голос (у него постоянно болело горло). Так же тихо и убежденно он вслух мечтал. Приглушенность тона была обманчива: он был увлекающимся, горячим человеком. Судьба мира, история, будущее человечества, жизнь простых людей волновали его так, словно они от него зависели. Он ненавидел фашизм, понимал неизбежность войны, чувствовал ее близость. И в этой предгрозовой атмосфере он написал самую светлую свою повесть, рукопись которой сейчас лежит у меня на столе.

«Совершеннолетие» — повесть о деревенской девушке, окончившей среднюю школу и приехавшей в большой город. Застенчивая и непосредственная, Настя только вступает в жизнь, ей восемнадцать лет — все впереди. Но живет она настоящим, тем, что ее окружает, увлекается учением, друзьями, работой, верит в свое прочное счастье. На всем, что мы видим глазами Насти Олейниковой, сияет блеск юности. Смотря на нее, хочется сказать: любить жизнь — это тоже талант, любить труд — это самый лучший и дорогой талант. О таких людях и писал Дедов.

Повторяю, Георгия Дедова мало знали в нашей среде. Он жил в стороне от протоптанной литературной дороги. За все годы издал он всего две книги. Болезненная скромность и мнительность мешали ему заявить о себе, заинтересовать издательства своими замыслами, — а они у него были, я знаю. Но он все откладывал их, стараясь накопить умение, опыт. Может быть, это объясняется тем, что большую часть своей жизни он не был профессиональным писателем. В сущности, на протяжении пятнадцати лет он три раза начинал писать и печататься, каждый раз как бы заново входя в литературу: в 1923 году, в 1930 и 1940 годах. Каждый раз

в издательствах и журналах были уже другие люди, и он оказывался для них новичком, подававшим надежды. А у него было самолюбие самоучки, и он опять отходил в сторону и писал как бы для себя.

Война все прервала и переменяла. Этот пожилой, хрупкий на вид человек пошел добровольцем на фронт, дошел до Белграда и Будапешта, посмертно был награжден орденами. . .

И тут я предоставляю слово гвардий майору Е. Новосельскому:

«Георгий Дедов был изумительным собеседником, честным товарищем и очень храбрым солдатом. . . Иногда приходилось напоминать Георгию Адриановичу о мерах предосторожности, запрещать появляться там, где присутствие специального корреспондента не вызывалось необходимостью. На этой почве у нас возник однажды «конфликт». Только после вмешательства командира соединения Дедов понял, что он не «простой разведчик» и что его сектор наблюдения значительно шире командира отделения разведчиков. Но Георгий Дедов остался верным себе: он не мог быть вдали от солдат и считал необходимым самому перенести тяготы солдатской жизни; чтобы познать существо боя.

К нам в соединение Георгий Адрианович прибыл в начале 1944 года. Произошло это так. Узнав, что в газете «Сталинградец» имеется вакантная должность специального корреспондента, Георгий Адрианович примчался в отдел кадров Политуправления 3-го Украинского фронта. Полковник, начальник отдела кадров, предупредил Дедова:

— Имейте в виду, что соединение особенное. В ваши годы трудновато будет угнаться за молодежью-сталинградцами.

Писатель настоял на своем. Его направили в ежедневную красноармейскую газету «Сталинградец». Она выходила в соединении, которое имело к тому времени на своем счету двадцать рейдов по тылам противника.

С первого дня пребывания в редакции Георгий Адрианович приобрел друзей в полках и батальонах, в штабах и бригадах, в моторизованных ротах и танковых взводах. Они нередко звонили в редакцию по телефону, просили прислать Дедова на время предстоящей операции.

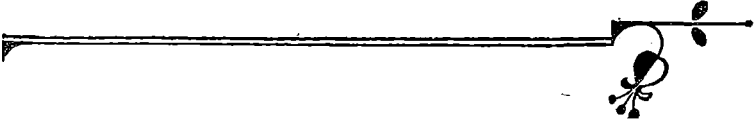
В составе соединения Георгий Дедов четырежды ходил в глубокие рейды. В числе первых он оказался на нашей государственной границе во время Яско-Кишиневской операции. Принимая участие в этой операции, он сделал достоянием всего личного состава героический подвиг лейтенантов Бабурина и Третьякова. Его материалы использованы в репортажи, представленной командованию фронта. Отважным танкистам Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Советского Союза.

Дедов вел записи эпизодов, записывал солдатские поговорки, рассказы жителей освобожденных нами сел и городов. Георгий Адрианович делился с нами своими планами на будущее. Он мечтал написать роман о танкистах-сталинградцах; об их дерзких действиях по тылам противника, роман о бессмертном подвиге советского солдата-танкиста...

Я был ранен и несколько дней спустя, в госпитале, узнал печальную весть о гибели Георгия Адриановича Дедова,— заключает гвардии майор Е. Новосельский.— Произошло это в бою под одним из венгерских городов, Баллацдармыят, в ночь на 14 декабря 1944 года. Подчеркиваю «в бою», потому что это был большой танковый бой, и его активным участником оказался советский писатель Дедов».

Да, не написал Дедов роман о танкистах, хотя жизнь предоставила ему настоящий боевой материал. Жизнь предоставила, а смерть отняла... Кто знает, уж если война так решительно повернула его мирный, будничнейший житейский уклад, бросила сорокапятилетнего Дедова с угла Старо-Невского и Харьковской в кипящую бучу под Белградом и Будапештом, в танковые бои, не исключено; что писателю Дедову как раз не хватало именно этих событий и образов для большого произведения, романа о ратном труде, и он бы его написал.

...Жалко, очень жалко, что нет на свете моего друга — тихого, доброго, храброго Дедова. Дедов был старше меня лет на десять — нынче я его старше на три с лишком десятка лет. Как не скажешь опять: мертвые остаются молодыми.



ПУТЕШЕСТВИЕ С ПАУСТОВСКИМ

Мы познакомились с Паустовским давно, еще в довоенной Ялте, но знакомство не закрепилось, и почти двадцать лет мы ни разу нигде не встретились. В 1956 году, в сентябре, состоялся третий за это лето рейс теплохода «Победа» вокруг Европы, одна из первых туристских поездок за рубеж. Московские литераторы предпочли участвовать в первых двух, в июле и в августе, и о том, что нам, ленинградцам, сопутствует Паустовский, я узнал лишь после отплытия из Одессы, уже перед самым Босфором. Произошло это так.

С книгой очерков Бунина о Ближнем Востоке, раскрытой на «Храме Солнца», я шел вдоль борта, вглядываясь в приближающийся турецкий берег. В продолжение часа, а то и двух, мы пойдем по этому удивительному, таинственному проливу, столь точно и лаконично описанному Буниным. Бунинский очерк начинался со слов: «Второй день в пустынном, пепельно-синем и спокойном Черном море». Вот и мы второй день — совпадение дословное. Только у Бунина апрель, у нас — сентябрь, но и тогда и сейчас солнце греет совсем полетнему, несмотря на вечер. Я иду, не спуская глаз с горизонта, на палубе пустовато, туристы еще не настроились на Турцию.

У правого борта стоял человек; против света, против бьющего прямо в глаза заката я не сразу его узнал. Паустовский стоял и смотрел туда же, куда и я, на два

каменистых мыса, означивших вход в Босфор, и в руках его был — Бунин! Тот же четвертый том, приложение к старой «Ниве», и даже, как после выяснилось, книга была заложена на тех же строчках: «...Предгория, раступаясь, медленно открывают устье Босфора. Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы...»

Нетрудно догадаться, что столь внезапное совпадение интересов и вкусов нас быстро сплотило, и уже ближайшие часы мы проводили вместе.

Наш теплоход вошел в Босфор раньше срока и должен был ждать утра, бросив якорь напротив маленького городка на подступах к Стамбулу. Мы с Паустовским бессменно дежурили на палубе, пока совсем не стемнело, наблюдая замиравшую на берегу вечернюю жизнь. Море в проливе, как видно, всегда тихое, потому что набережная почти вровень с водой, на асфальт вытащена красная лодка, бок о бок с ней на скамейке сидит старуха и вяжет. Между красивым костелом (не мечетью) и административным зданием с турецким флагом (минут через десять оттуда на катере приехал чиновник, и мы узнали, что это таможня) уютятся лачуги на сваях (значит, вода временами все-таки заливает набережную), висит белье на веревках, играют дети, а мимо катят и катят машины, важно рассказывают упитанные молодые полицейские в серых и кремовых костюмах, с пятью складочками на сапогах (приятно, что сумерки еще не мешают их сосчитать!), и зачем-то стоит пожарный в каске, похожий на шелкунчика или на султана Абдул-Гамида, каким его рисовали в свое время карикатуристы. Все это нам помог рассмотреть наш верный друг — восьмикратный бинокль.

Утро встретило нас в Стамбуле. То ли потому, что мы оказались там первыми советскими туристами (в июле и в августе «Победа» не заходила в Турцию), то ли потому, что обслуживавшая нас греческая фирма была озабочена давним, не имевшим к нам отношения грустным событием — мы прибыли как раз в годовщину греческой резни, — но наши автобусы всюду сопровождал эскорт полицейских мотоциклистов в черных кожаных штанах и куртках. Естественно, что мы повидали

в Стамбуле меньше, чем где-либо: нас высаживали из автобусов лишь у дворцов и мечетей.

Но и то благо! Правда, трудно сказать, испытал ли бы я без Бунина (и без Паустовского) чувство исторической зыбкости и вместе с тем некой фатальности, внушенное мне Ая-Софией: здесь все наслаивается одно на другое — власти, религии, обряды... Было странно бродить под непривычно низко висящими светильниками, не зная даже, можно ли их назвать паникадилами и кто их подвесил — греки или турки; среди мусульманских щитов и знаков на стенах, соседствующих с византийскими мозаиками; взирая с почтением то на патриаршее кресло, прилепившееся к гигантскому пилоу наподобие ласточкиного гнезда, то на высоченное, в полтора роста, кресло для имама.

— Имам и не имам, — философски заметил Константин Георгиевич, вольно цитируя заглавие хемингуэевского романа.

«Ах так! — с удовлетворением подумал я. — Стало быть, хватит музейного глубокомыслия! Стало быть, в отличие от Бунина, Паустовский любит перемежать эпос и лирику шуткой. Впрочем, Бунин в быту, в застолье, тоже, говорят, острит, смешил, веселился — не позволял себе этого только в литературе...»

Как ни стремительно мы перемещались по городу, на нас успевали глазеть. Я недаром употребил столь активный глагол: в других странах на нас совершенно не обращали внимания, здесь же автобусы с прикрепленными к ним на один день советскими флажками заставляли турецких граждан стремглаз выскакивать из кафе, магазинов, лавок, выбегать на балконы, высовываться из окон и смотреть вслед — больше они ничего не успевали. Не скажу, чтобы это любопытство было нам особенно лестно, но мы платили за него тем же: смотрели во все глаза на мелькающих мимо нас мужчин и женщин. Потом мы с Паустовским признавались, что первая мысль у нас с ним была одна: что говорят, о чем думают, довольны ли они жизнью, интересуют ли их в такой степени, как нас, политика и социальные вопросы, и, вообще, что за люди эти турки 1956 года? Кое на что ответить мы могли и сами: что большинство горожан одето весьма и весьма скромно; что сторожа и садовники дворцов, которые мы осмотрели, — показатель-

но живописные оборванцы; что на тротуарах, в тени домов, притулились уличные стряпчие и писцы, печатающие что-то на обшарпанных машинках, — наглядное доказательство слабой грамотности населения. . .

Забегая вперед, скажу, что действительность нам и дальше ехидно подсовывала упрощенные социальные иллюстрации. На парижских ночных бульварах мирно спали бродяги, уютно завернувшись в многослойные буржуазные газеты; по Риму уныло тащились впалощекие люди-сэндвичи, прославляя какой-нибудь изумительный, судя по рекламе, начертанной на их груди или спине, ресторан; в том же Риме пустовали целые кварталы новопостроенных домов — квартирки, видать, дороговаты для среднего горожанина; встречались и другие поучительные примеры.

Не могу похвастать, что я часто бывал за границей, но так случилось, что первая поездка была для меня все же самой щедрой. Не потому, что мы посетили шесть европейских стран — много ли можно за месяц повидать, к тому же львиная доля этого месяца пришлась на пребывание в море. Мне повезло со спутником. Прирожденный скиталец, Паустовский изъездил Россию вдоль и поперек еще с молодости; Крым, Кавказ, Прионежье, Мещеру, Приочье он описал во множестве рассказов и очерков, открыл для нас потаенные, преображаемые, а то и создаваемые человеком места (вспомним Кара-Бугаз), своей к ним любовью заставил полюбить их миллионы своих читателей. Но все это, повторяю, относилось к России; заграничных краев Паустовский не знал. То есть по книгам, картинам, фильмам он знал отлично, особенно Средиземноморье, но своими глазами видел впервые. С откровенным, жадным, можно сказать, с детским любопытством вбирал он в себя путевые картины, — удовольствием было смотреть, как он это делает. При нем было бы стыдно вато скользить по всему холодным, скептическим, безучастным взглядом: хотелось, как он, быть открывателем, первопроходцем тех популярных мест, которые до нас уже видены-перевидены, описаны-переописаны литераторами и нелитераторами. Ведь ему-то это не мешало. Он видел все внове и чисто-сердечно этому радовался, а если узнавал слишком уже знакомое и затертое, то все равно радовался: на этот

случай, как, впрочем, и на многое другое, у него имелся в запасе юмор.

Не следует думать, что мне всегда удавалось замечать то, что замечал он: во-первых, люди мы все-таки очень разные, во-вторых, мало кто обладает такой артистически развитой и отточенной наблюдательностью; наконец, он и сам мне писал через два года: «Вспоминаю наше плавание и открываю в нем больше и больше интереснейших частных, которые сразу почему-то не запомнились, а всплывают сейчас».

Так вот кое-что всплыло и у меня. Наверное, нелепо писать о путевых впечатлениях столь многолетней давности, но уж очень хочется вспомнить и рассказать о Паустовском, каким я его тогда узнал, а это тесно переплелось с тем, что мы вместе видели и слышали. Отсюда и заглавие очерка: «Путешествие с Паустовским». Пусть читатель не пугается, — я не намерен подробно описывать наше давнее путешествие день за днем, миля за милей... Скорее, можно посоветовать на обрывочность, бессистемность, случайность моих заметок. Например, в Греции я вообще, кроме набережной, ничего не видел. Почему? Из-за вульгарной простуды! Когда поздно вечером теплоход покинул Стамбул под звуки песни «Прощай, любимый город», с энтузиазмом исполненной самодеятельным корабельным хором, мы с Акимовым и Паустовским долго еще стояли на палубе, глядя на удаляющиеся огни большого, красивого, но, право, не столь уж любимого нами города... В результате обоим моим собеседникам — и закаленному сквозняками кулис Акимову, и болезненному, хрупкому Паустовскому — морская прохлада после проведенного в поте лица жаркого дня оказалась нипочем, у меня же, к моему стыду, через час начался озноб, к утру накачало 39,8, и сутки напролет судовой врач, самоотверженно лишая себя редкой возможности без помех любоваться Мраморным и Эгейским морем, колот меня пенициллином и пичкал всевозможными экстренными лекарствами. Температуру удалось сбить, но досада и огорчение остались. Через два дня весь наш огромный туристский коллектив дружно двинулся на автобусах из Пирея в Афины, а я лишь глядел на это сквозь иллюминатор.

Зато вечером, вернувшись с экскурсии, Паустовский сразу же забежал ко мне и вручил кусок мрамора, под-

нятый им у подножия Акрополя. Я был тронут, благодарил, хотя, помнится, где-то читал, что в таких местах муниципальные власти без устали подновляют россыпи мраморной крошки для легковерных туристов. . .

На другой день Паустовский снова наведалься и, узнав, что мне лучше, что я почти здоров и послезавтра собираюсь вместе со всеми высаживаться в Неаполе, сказал, необидно посмеиваясь своим чуть хрипловатым смешком:

— Вчера я вас не хотел огорчать, вы еще не окрепли для таких разочарований. . . Камешек-то, пожалуй, не древнеэллинический, как по-вашему?

Я не успел ответить, как он самым серьезным тоном добавил:

— А на всякий случай давайте сохраним по кусочку. Если этот мрамор и не имеет непосредственного отношения к Парфенону или к Акрополю, он все равно старше нас лет этак на миллион. Природный же, не фальшивый. Добыт в Карраре. . .

Вообще, Константин Георгиевич был образцовым дорожным спутником; добрый, веселый, заботливый, не по возрасту подвижный, легко подбиваемый на любое приключение, лишь бы оно сулило открытия, умножало опыт, но — при одном условии: чтобы это ни на волосок не нарушило раз навсегда установленных им для себя нравственных правил. Я редко встречал таких чистых и честных, кристально чистых и рыцарски честных людей, как Константин Георгиевич. При том, что он все подмечал и запоминал, — подмечал вовне, в окружающей обстановке, замечал в тебе, видел твои смешные черты и поступки, — он никогда не употреблял своих наблюдений во зло, не ехидничал, не колол тебя своим знанием и видением насквозь твоих слабостей. Это не значит, что он над тобой не шутил: шутил, и притом так смешно, что ты вместе с ним хохотал от души, но обидно и оскорбительно это никогда не было, его юмор не бил по твоему самолюбию, — он обладал тончайшим тактом, который оберегал его от таких ошибок. Любопытно, что в литературной работе ему приходилось ошибаться. Там иной раз ему не хватало художественного такта и чувства меры, и тогда в рассказ, в повесть закрадывалась краснота, сентиментальность, многословие, риторичность. В жизни этого не случалось, в жиз-

ни, в общении, в устных рассказах Константин Георгиевич был — не могу и не хочу подбирать другого подходящего слова — идеален. Трудно сказать, от бога это, врожденное, или он выработал это в себе постепенно, — думаю, что и то и другое. Юмор его в полной мере как раз проявлялся в устных рассказах — в них он был бесподобен, причем даже в пестром, смешанном общении, например в пароходном салоне. Да же, ибо обычно он был молчалив, застенчив, несколько угловат, избегал незнакомых или малознакомых людей.

На корабле мы с ним жили в разных каютах: нас еще раньше, до встречи, поселили врозь, и изменить это оказалось невозможно. Кстати, его койка на теплоходе была неудобной и беспокойной: в узкой каюте, у самой двери, так что каждый раз, когда дверь открывали, она хлопала по железному борту койки. Правда, большую часть дня мы проводили на палубе: разговаривали, читали, еще чаще любовались морем, а если земля была близко, то и сушей, например в замечательных по живописности и по историческому значению проливах: Босфоре, Дарданеллах, Мессинском проливе, Гибралтаре, Кильском канале. Огибая Пиренейский полуостров, мы наблюдали в бинокль довольно близко португальский берег — монастыри, башни, крепости, морские курорты. И уж нечего говорить, как прилипали мы к борту, когда теплоход входил в гавань и ошвартовывался у причала или бросал якорь на рейде.

В Неаполе наш теплоход долго ждал своей очереди посреди залива, и мы без конца могли любоваться его уникальнейшим в мире голубым простором. (Говорят, с ним может сравниться лишь бухта Сан-Франциско, но там человек перекинул через нее два моста, а здесь пока все натурально!) На востоке виднелся курившийся чуть заметным дымком Везувий, что дало повод поэту Сергею Орлову мрачно сказать:

— Кому Везувий, а нам не везувий!

Сергею Сергеевичу, как и всем остальным пассажирам «Победы», не терпелось скорее очутиться на берегу. Исключение составлял Паустовский: со счастливым лицом он смотрел и смотрел вокруг, сознавая, что, как только мы сойдем с теплохода, начнется обычная суета и спешка — посадка в автобусы, вопросы туристов, по-

яснения гидов, — а здесь... здесь гладь залива, небо, Везувий, и можно спокойно всем этим наслаждаться.

...Полной противоположностью для нас через две недели явился Роттердамский порт. Мы прибыли туда к вечеру, теплоход заночевал у причала, и на набережной нам выдали настоящую «апашиаду». Двое парней таскали своих подруг по асфальту за волосы, за руки, за ноги, с размаху бросали в кусты, били по лицу, и никто не обращал на это внимания: подъезжали машины, люди входили в расположенное рядом кафе, выходили, прогуливались по набережной. Зато все пассажиры нашего теплохода столпились у борта, так что мы с Паустовским всерьез опасались — не опрокинулся бы корабль на этот перегруженный бок... Сперва и мы, грешным делом, сочли эту драку стихийной, взаправдашней, но потом смекнули, что «апаши» устроили ее специально для туристов:

— Хотите портовой экзотики? Получайте!..

В Риме и в Париже мы жили в гостиницах, точнее — в них ночевали, ибо все остальное время туристов, как водится, занято беготней по музеям и кружением по городу и пригородам в автобусах. Когда мы с Паустовским вошли в номер римской гостиницы, нашим глазам представилось нечто, напомнившее один зарубежный детектив, где в комнате все оказалось перевернуто вверх ногами: кресла, стулья, стол, ваза с фруктами, картины на стенах, и все это для того, чтобы сыщик и читатели не заметили, вернее не догадались истолковать так, как следует, одну деталь: белый воротничок у лежащего посреди комнаты трупа перевернут углами назад, галстук отсутствует; дело в том, что убит был католический патер, но понять это следовало только в конце романа.

Убитого патера в римском номере мы не обнаружили, но стулья и кресла громоздились вверх ножками на столе, на кроватях, а картина с традиционными итальянскими пиниями повисла боком. Не скрою, столь откровенное пренебрежение правилами гостеприимства могло быть воспринято нами кисло и отравить пребывание в Вечном городе, но мы, поглядев друг на друга, уселись на чемоданы и примерно с минуту хохотали. Затем поочередно умылись (вода текла из крана нормально, не вверх, а вниз), вытерлись носовыми платками (полотен-

ца, увы, пока отсутствовали) и отправились на прогулку. Когда же, поздно вечером, мы возвращались домой после долгого, утомительного туристского дня, мы пытались угадать — в каком виде найдем наш приют. В номере все оказалось в порядке, даже картина висела правильно.

— Видите,— сказал Паустовский.— Войди мы утром в прибранный номер, мы так бы и не узнали, что к нашему приезду готовились, затеяли большую уборку. Мне нравится эта наивная показуха, очевидно она в характере итальянцев. Правда, без нее было бы скучнее?

— Правда,— ответил я с достаточной долей искренности.

— Но даже если это была халатность,— неожиданно заключил Паустовский,— в этом тоже есть что-то простосердечное. Верно?

Как в Риме, так и в Париже Паустовский испытывал перед сном заметное беспокойство. Он давно был серьезно болен, его мучила астма. В тот год она докучала ему еще не так сильно, как в конце его жизни, но все же он задыхался, ему было тяжело дышать, особенно ночью, в душном маленьком номере. Перед тем как улечься, он трогательно просил меня не сердиться, если он будет хрипеть и кашлять, а утром долго допытывался, очень ли он мне мешал,— видно было, что это его тревожит. Но спать мне ничто не могло помешать: мы возвращались домой донельзя уставшие, ложились спать непозволительно поздно, если не сказать рано, уже к утру: и на Италию, и на Францию у нас пришлось всего по три дня. Мы мечтали об одном: выдюжить! Не только не выбиться из программы, но и героически ее перевыполнить: желание, свойственное, наверное, всем туристам,— мы общучивали его, но исполняли.

Деликатный, заботливый Паустовский в каких-то вещах был обидчив, мнителен, уязвим, особенно в том, что касалось его наружности. Еще в начале нашего путешествия в каких-то «местных» газетах, кажется итальянских, писали о том, что русский советский писатель Паустовский забыл взять с собой шляпу (или потерял ее, только еще ступив на теплоход). Как ни странно, но это они не придумали: Паустовский действительно где-то посеял шляпу, а солнце активно жарило, припекая голову. У меня были с собой и шляпа и тубетейка, и я

охотно ссудил ему последнюю, — шляпа была ему не в пору. Константин Георгиевич не стесняясь ходил в этой старой потертой чеплашке всюду, где его окружали чужие люди, не обращавшие на него внимания. Но как только он замечал, что его намереваются сфотографировать, он мгновенно стаскивал с головы тубетейку и совал ее в карман. Он и мне не позволял снять его в этом головном уборе, как видно, ему непривычном, ассоциировавшемся с чем-то смешным и глупым. Кстати, среди шести сотен туристов было несколько человек в тубетейках, и, как нарочно, все это были малоприятные люди.

Тем не менее мы с ним дивно запечатлели друг друга на фотографиях. Он меня — выходящего с гордым видом из модернового вида уборной на площади в Роттердаме, как раз наискосок от знаменитой железной скульптуры «Крик раненого города», а я его — на фоне гигантской стеклянной витрины с живописно расположившимися в ней молодыми болванами (манекенами) в пальто и без, в пиджаках и без, в шляпах и без. А без юмора он отлично снял меня за чашкой кофе на Капри и в купе вагона Неаполь — Рим, старомодно обитом внутри красным бархатом и увешанном всюду, где только возможно, копиями картин великих итальянских мастеров.

В поезде Гавр — Париж, в отличие от Италии, развешаны были «ню», в самых разнообразных позах, на пляже и дома. Объединяла оба экспресса лишь «безумная» по тому времени скорость: сто пятьдесят километров в час; в сочетании с бетонными шпалами и открытыми окнами (из-за небывалой для сентября жары) это создавало такой невероятный шум, что разговаривать было почти невыносимо. Впрочем, в поезде Гавр — Париж мы уже несколько приспособились к грохоту и, закрыв наглухо окна, могли беседовать, тем более что в Гавре нас встретил корреспондент парижской газеты «Русские новости» — бывшие милюковские «Последние новости», а теперь орган сочувственно настроенных к нам эмигрантов, многие из которых уже имели советский паспорт. Этот пожилой человек оказался дореволюционным приятелем и коллегой Василия Регина, в те далекие времена редактора известного бульварного «Синего журнала», а в тридцатые годы — ближайшего сотрудника нашего популярного еженедельника «30

дней» и близкого знакомого самого Константина Георгиевича. И наружностью и повадками этот русский француз походил на Рeginина: богемистого вида, говорливый, бойкий, с красным носиком. Единственно, кем он заинтересовался из нашей компании, это, конечно, Паустовским, — как истый интервьюер, он прямо впился в Константина Георгиевича.

Насколько неохотно Паустовский отвечал на вопросы о себе (не потому, что говорил с эмигрантом и осторожничал, — он вообще не любил расспросов: если ему интересно что-нибудь рассказать, он сам с удовольствием расскажет), настолько же неподдельный интерес вызвал у него рассказ журналиста о своих приключениях во время войны и оккупации. Как он бежал с женой на велосипедах из Парижа, когда в 1940 году туда пришли немцы, как сразу же после освобождения Парижа вернулся и теперь живет там же, где жил и до войны — в Булони (не в Булонском лесу, месте аристократических верхних прогулок, а в Булони, предместье Парижа). Видно было, что этот старый газетный волк сумел разбудить писательский аппетит в своем сверстнике из новой России, досадно только, что до Парижа из Гавра всего полтора часа пути — не успеть наговориться...

А ведь, слушая рассказы журналиста, надо не спускать глаз с окрестностей, молниеносно пронесившихся мимо окон. Остановки редки: Руан, Вернон — и обчелся...

Помню также, как заинтересовал Паустовского в Стамбуле сторож при бывшем султанском дворце, русский солдат, застрявший здесь после плена в первую мировую войну. Вид у него был совсем нищенский: рваная одежда, ни одного зуба во рту, худой, он грелся на солнышке у ворот. Паустовский заговорил с ним, чтобы, как он объяснил, узнать, помнит ли тот что-нибудь о своей прежней жизни. Солдат помнил, но расспрашивать и слушать его было некогда, и Паустовский о нём ничего не написал, хотя, например, в его «Мимолетном Париже» существуют и чисто импровизированные персонажи и сценки.

На третий день пребывания в Париже мы решили отделиться от туристского коллектива и побродить пешком. Мы — это Паустовский, Елена Катерли, Даниил

Гранин, Сергей Орлов и я. Начали мы с Центрального рынка, знаменитого Чрева Парижа, и правильно сделали — дни его были сочтены, чего мы тогда не знали. Когда я уже писал этот очерк, мне попалась на глаза статья — краткий обзор реконструкций Парижа примерно за последние сто лет. Там говорится, что наибольший протест у парижан вызвала ликвидация Центрального рынка, точнее не сама ликвидация и не перенесение его за город, а предлагаемые проекты — что на этом месте построить. Сохранилась напротив рынка, на краю площади, и знаменитая таверна «Курящая собака» («Au chien qui fume»), которую мы с Паустовским сфотографировали. Мой снимок неважный, но все же я с удовольствием сейчас его разыскал и рад узнать, что эта таверна уцелела.

Уже за несколько кварталов до Чрева наши ноги начали погружаться по щиколотку, а местами почти до колен, в стружку, опилки, мятую бумагу: все подходы и подъезды к рынку были завалены упаковочным мусором и остатками разбросанной тары. Торговля на этом рынке, как известно, оптовая и происходит она рано утром, так что в десять часов мы застали ее лишь на кончике. Из двенадцати грандиозных корпусов мы успели забежать только в рыбный, вернее морской, где наше воображение поразили неслыханной величины крабы, а также море разлившейся по бетонному полу талой воды: лед, в котором сюда привезли экзотическую морскую живность, к этому часу таял так энергично, что вода не успевала стекать в канализационные люки, и мы ковыляли на каблуках, стараясь задирать носки туфель кверху, чтобы не промочить ноги.

Думаю, что в выборе именно рыбного павильона сыграл роль профессиональный интерес охотника и рыбака Паустовского, а еще и то, что перед павильоном толпилось и суегилось с десятков монахинь — матерей-экономок и сестер-экономок, обеспечивающих своим монастырям постный, но вкусный стол. Для нас это было не меньшей экзотикой, чем лангусты и кальмары, особенно в сочетании с мотроллерами, на которых инокини подъезжали и отъезжали: нарядная, яркая расцветка этих элегантных машин, только недавно вошедших в моду, празднично контрастировала с черно-белой монашеской униформой. Конфузясь, спеша, пытаюсь делать все неза-

метно, мы сфотографировали со спины, сбоку сающихся на мотоседла молодых и немолодых монашек,— но вот то одна, то другая оборачивались к нам с ободряющей улыбкой: мол, давай-давай, не бойся, снимай, чего там! Честное слово, эта улыбка не столь уж отличалась от улыбки вчерашней красавицы, которая маняще улыбнулась нам с Паустовским и Еленой Катерли, садясь в роскошную белую машину, когда мы бродили ночью в районе площади Пигаль. Мои спутники, один пользуясь привилегиями старшего, другая тем, что она дама, издевательски уверяли меня, что манящая улыбка целиком относилась ко мне, а я стыдливо откешивался, строя литературные и научные гипотезы: мол, улыбка — это просто рефлекс, привычный сигнал, механически посылаемый в пространство, как посылает свои лучи маяк. . .

Покидая рынок, мы получили в подарок еще одну улыбку, но уже иного рода. Когда мы склочно обсуждали проблему — как ближе пройти к острову Сите, к Новому мосту, мы невольно обратили внимание на то, что к нашим словам прислушивается пожилая женщина. Катерли, человек наиболее решительный и непосредственный из нас пятерых, спросила:

— Вы русская? Вы знаете русский язык?

С большим трудом удалось убедить эту женщину отвечать нам словами или хотя бы междометиями, а не только робкими жестами. Она смущалась как девочка. Да, она русская, но она так давно здесь живет, ни с кем из русских парижан не встречается и совсем забыла русский язык. Понимать понимает, а говорить. . . И вдруг заплакала! Тут наступил наш черед засмущаться. Когда, извинившись за невольно причиненную боль, мы расстались, пошли и в какой-то момент оглянулись, наша бывшая соотечественница все стояла, глядя нам вслед.

Не знаю, возможно, что эта встреча запомнилась бы мне в любом случае, но так вышло, что в памяти она тесно связана с Константином Георгиевичем. В продолжение дня, несмотря на множество впечатлений, каждое из которых, казалось, перекрывало по яркости все предыдущие, а главное, которых было чересчур много, Паустовский нет-нет да и вспоминает вслух эту женщину с ее смущенной и грустной улыбкой. Конечно, не исключено, что мы все немножко преувеличили ее пережива-

ния от встречи с нами, но это неважно, гораздо важнее казались тогда, да кажутся и теперь, наши собственные впечатления от этой встречи. Паустовский был для меня точным прибором, с которым я сверял свои чувства. Я видел, что ему до смерти хочется домыслить в воображении эту незнакомку, что он мысленно идет за ней по пятам, незамеченный входит в дом, в квартиру, видит, как она живет, кто ее окружает, и ему интересно — расскажет ли она своим близким о встрече с русскими или промолчит, или она сейчас одинока, муж ее умер, дети разъехались и забыли и пр. и т. п. Увы, эта женщина промелькнула, как за окном вагона, и больше мы ее никогда не увидим и ничего о ней не узнаем. Я видел, что эта типичная писательская тоска от невозможности узнать весь день томила Паустовского, и я ему очень сочувствовал...

От рынка оказалось довольно близко до Нового моста, известного нам не только по литературе и фотографиям, но и по картинам Марке, который жил почти напротив этого моста и постоянно его изображал. Вблизи улицы Риволи и Нового моста возвышался большой универмаг «Samaritaine», который нас мало интересовал за неимением лишних франков, равно как и сверхлюдная улица Риволи с ее шикарными магазинами и лихо мчавшимися автомобилями (теперь они, говорят, еле движутся из-за тесноты и избытка транспорта). Мы скорее побежали на мост, откуда с наслаждением увидели внизу, почти под нами, остров Сите, густо населенный историческими зданиями и остроугольно кончающийся вниз по течению Сены прелестным газоном и купами деревьев. Своими очертаниями эта оконечность острова напоминает нос корабля или подводную лодку, но, в отличие от них, чрезвычайно мирна и идиллична. Мы сразу направились к другому, верхнему концу острова, где, вдоволь налюбовавшись собором Нотр-Дам (внутри собора мы не попали — был закрыт на ремонт), каждый собрал себе под его стенами немного каштанов, — разумеется, нам подал пример Паустовский, по-детски любивший естественные, природные сувениры. Затем мы вернулись к Новому мосту, равнодушно миновав стороной Дворец правосудия и Криминальное управление, — тогда мы еще не знали романов Жоржа Сименона о комиссаре Мегре, — и пошли по набережной

Сены, которая изобилует, как мы убедились сами, букинистическими лавочками и книжными развалами прямо на воздухе; здесь мы опять же увековечили друг друга ФЭДа́ми вплотную у книг, листая их и даже приобретая кое-что на свои скудные франки; не помню, что купил Паустовский,— я купил две маленькие монографии: «Утрилло» и «Тулуз-Лотрек».

Мы поднялись на четвертый или на пятый этаж некоего дома на улице Расина, встретив на лестнице знакомого нам еще по Москве известного французского критика и историка кино Жоржа Садуля, и вошли в прогрессивное, говоря точнее, коммунистическое издательство, возглавляемое Луи Арагоном. Арагона в этот день в издательстве не было, нас принял директор Пьер Абрахам и секретарь журнала «Еигоре» Пьер Гамарра, поэт и прозаик, которого мы знали по переводам его книг. По правде сказать, у нас была маленькая задняя мысль: а вдруг издательство вручит Паустовскому гонорар за недавно вышедшую здесь его книжку! В каком-то смысле мы не ошиблись: нас дружески приняли, угостили бутылкой вина, каждому подарили по номеру журнала «Еигоре», Пьер Гамарра надписал нам свою книжку «Сирень на Сен-Лазар» и пошел проводить нас до отеля.

Тогда никто из нас не предполагал, что через несколько лет издательство начнет том за томом выпускать сочинения «Par Constantine Paustovski» и переведет их русская парижанка мадам Лидия Делекторская, с которой мы познакомились в Париже, что не раз потом она приедет в Россию — и к Паустовскому, и к нам, и на конференцию переводчиков по приглашению Союза писателей СССР, и для устройства выставки картин Анри Матисса по приглашению Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина, и одарит нас чудесными монографиями о Матиссе, секретарем и другом которого Лидия Николаевна была много лет. Об этой прелестной женщине, которая восьмилетним ребенком была увезена в двадцатых годах из России, но любит ее всем сердцем, что уже доказала своим переводом таких русских книг Паустовского, написал сам Константин Георгиевич в очерке о Париже. Нынче, в свой очередной приезд в Россию, она подарила мне «Kata Bougaz», написав на глянцевой меловой обложке:

«Этот вышедший к 80-летию Константина Георгиевича мой десятый Паустовский». К книге приложена подробная карта Каспийского и Аральского морей с прилегающим к ним сухопутьем, где все географические названия приведены на русском и на французском языках (как я заметил, Лидия Николаевна больше всего гордится этой картой, помещенной здесь по ее идее!).

Но все это было далеко впереди, а тогда мы с Гамарра по пути в гостиницу зашли во двор дома, где некогда жил Вольтер, заглянули во дворик дома, где зимой живет Пикассо, проехали в автобусе с открытой вместо входной двери задней стенкой и двумя ступеньками под ней во всю ширину кузова, словом, рыдван весьма допотопного вида, как все мы гордо подумали, вспомнив наши московские и ленинградские автобусы, и тут же один из нас был наказан: рыдван дернуло, и от толчка наш товарищ сел на колени какой-то жгучей брюнетке с усиками, которая зашипела от злости, несмотря на его искренние извинения на чисто русском языке. Мы с Паустовским радостно наблюдали этот маленький эпизод. Какое счастье, цинично думали мы, что это случилось не с нами!..

Но вот парижские наши приключения кончились: снова поезд в Гавр; отплытие; Па-де-Кале; скорее, угадываемые вдаль, чем зримые меловые холмы Англии; традиционный туман; тревожные гудки и сирены вынырывающих из тумана встречных судов; плавучие буйки с колоколами, мерно качающиеся на волнах; море, опять море, море и море с промелькнувшими за один день на суше тремя голландскими городами — Роттердамом, Амстердамом, Гаагой, которые мы успели с рекордной быстротой объехать, осмотреть и отснять (если позволителен такой вульгаризм) нашими ФЭДами; очень кстати это был понедельник, единый для всех голландцев день стирки, и во всех дворах сушилось на свежем воздухе белоснежное белье...

И опять море, и целых полдня Кильского канала, — целых потому, что полдня — это очень немалый срок, особенно если сидишь или стоишь на палубе и неусыпно смотришь на берега, вдоль которых плывешь почти выпитирку, стараясь хорошенько разглядеть и запомнить не только лица и костюмы людей, но и живописные группы коров или старинные, откровенно декоративные

мельницы. Затем час шлюзования плюс короткая остановка в Киле (местные ребята бросают нам, а мы им медную мелочь — стихийный обмен сувенирами), вслед за чем оказываемся в Балтийском море.

Двухдневный (или полуторадневный, не помню) прыжок через Балтику; ранним утром вошли в фиорды, которые сложным извилистым путем проводили нас в Стокгольм. Несколько часов несслыханной красоты шхер — островных и прибрежных скал, — а затем целый день (уже по-настоящему целый, с утра до ночи) в шведской столице, тоже скалистой, красивой особенной, строгой красотой. Множеством каналов и островов Стокгольм напоминает Ленинград, но все-таки Ленинград еще красивее! Тут мы должны были признаться друг другу: мы устали! Устали от изобилия, разнообразия, пестроты впечатлений. Уже начиная с Голландии восприятие наше начало притупляться. Даже у Паустовского! Шесть стран — это много. Любопытная психологическая деталь: так как, несмотря на конец сентября, в Стокгольме было необычайно тепло, все уличные кафе переполнены, на улицах масса гуляющих, по-летнему одетых людей, в скверах, в садах, на бульварах — всюду сидят загорают молодые и старые, блаженно подставив лица солнцу, то мы ощутили, что остро завидуем этим беззаботно отдыхающим людям! Нам, труженикам-туристам, надо бегать, ездить, смотреть, поспевать, познавать, знакомиться, — а им ничего не надо: сиди отдыхай!.. Да, перебор, устали.

Между прочим, в Стокгольме я побывал через два года; вполне отдохнувший за это время от заграничных впечатлений, я с удовольствием открывал для себя заново этот город. А в тот, в первый раз, мы неожиданно провели в Стокгольме всю следующую ночь. Точнее, спали в своих каютах на теплоходе, который до утра стоял у причала: на море синее вечерний пал туман, и лоцман не решился ночью вести наш корабль через лабиринт фиордов. Поэтому днем мы еще раз насладились их красотой. Затем новый морской прыжок, и на следующий день — Финский залив, мы почти дома.

Словно бы в качестве отдыха от этих могучих прыжков и избытка впечатлений, нас поджидал мелкий казус. Накануне прибытия в Ленинград мы решили наклеить на свои чемоданы яркие, показательно-заграничные

ярлыки и рекламки, которые нам вручили в римском и парижском отелях: что им втуне лежать, пусть красуются на виду! Клея у нас с собой, естественно, не было, и Паустовского осенила идея: Рахманов, как более молодой, отправится в корабельную библиотеку и попросит на полчаса клей,— мол, Константин Георгиевич неважно себя чувствует и потому не мог прийти сам и здесь, на месте, подклеить вставки в свою рукопись... Сказано — сделано. За полчаса мы действительно успели налепить на чемоданы эти роскошные ярлыки, и я с удовлетворением отнес клей обратно в библиотеку. Увы, на следующее утро все наклейки с чемоданов слетели — клей оказался недееспособным! По-моему, Паустовский огорчился гораздо больше меня: я уже говорил, что этот честнейший человек питал пристрастие к мальчишеским хитростям и эффектам.

Правда, переживать неудачу не было времени: теплоход миновал Кронштадт, форты, шел Морским каналом, через считанные минуты предстояло ошвартоваться у причала Ленинградского порта, где в нетерпеливом ожидании толпились друзья и родные, пришедшие встречать нас с «победой»... (Москвич Паустовский тоже высматривал свою жену среди встречающих: Татьяна Алексеевна приехала к этому дню в Ленинград). Но свидание задержалось. Мощный теплоход, совершивший многомильное путешествие, застрял на подступах к финальной черте. Дважды уже рвался трос и корабль относило на середину порта, и снова буксиры пыхтели и тужились, стараясь подтянуть нашу громадину к причалу. Дело в том, что, чем более мы приближались к родным берегам, тем сильнее, строптивее становился встречный ветер, а здесь, в глубине гавани, он рвал и метал. Дошло до того, что встречавшие стали прятаться за пакгаузы и амбары, а мы — укрываться во внутренних помещениях теплохода, как нам ни было совестно и досадно...

Не надо забывать, что уже кончался сентябрь, на носу октябрь, а под наши летние пальтишки и легкие пиджаки поддеты лишь спешно извлеченные из чемоданов свитеры и фуфайки. Но, вообще-то, смешно: многоопытные моряки нас пугали Бискайским заливом, свирепствовавшими там частыми бурями, и мы с моей милейшей соседкой по столику заранее условились, как

только пройдем Гибралтар и обогнем Португалию, в профилактических целях принять за обедом граммов по сто коньяку, чтоб не поддаться морской болезни; к нашей с ней земной радости — и к разочарованию романтика моря Паустовского, — Бискай встретил и проводил нас зеркальным покоем; зато поддержала свою хмурую репутацию Балтика. Пожалуй, за весь многодневный, многомильный круиз (это столь популярное у нас нынче английское слово только-только тогда появилось в туристской практике) нас изрядно покачало лишь здесь, что не заслуживало бы даже упоминания, если бы в наши дни, когда воздушные лайнеры со сверхзвуковой скоростью переносят нас на другой конец мира, морским путешествиям не грозила бы опасность стать в недалеком будущем «чистой воды» экзотикой.

И если бы, хочется еще раз добавить, в нашем тогдашнем путешествии не участвовал Паустовский! Он смаковал каждую минуту общения с Нептуном, по-гречески — с Посейдоном. . . Радовался при виде знакомого ему по любимым книгам и наконец-то встреченного лицом к лицу мыса, залива, пролива, порта, приморского городка. . . Когда-то он написал про самую обыкновенную пешеходную и трамвайную дорогу из Одессы в ее пригород Большой Фонтан и на дачу Ковалевского: «Вся прелесть этой дороги, вся власть ее надо мной объяснялась близостью моря. . .» Как же он мог остаться хоть на момент равнодушным во время нашего морского вояжа? Скажем, я, проведший детство на севере, в лесном краю, могу с наслаждением любоваться морем, горами, степным простором, новой и древней архитектурой, новейшими заводскими машинами, да мало ли еще чем, — но лесная опушка с молодыми елями и березами навсегда для меня останется самым родным и заветным местом. Вероятно, столь узкая избирательность — мой недостаток, и я мог позавидовать широте Паустовского: он любил и Кавказ, и Крым, и Тарусу на Оке, и Онегу на Севере, и многое другое на свете. . . Но нет, все же море — море было самой любимой его стихией, я в этом каждый день убеждался. Вот почему мне захотелось перетолковать по-своему и применить к Паустовскому старые, давно ставшие банальными строчки:

Мую любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега. . .

100
1919

Так и кажется, что поэт писал о любви к морю, не к женщине...

На суше мы с Паустовским потом не часто встречались. Глубокой осенью того же 1956 года он пришел на премьеру «Беспокойной старости» в Московский Художественный театр. Премьера была примечательна тем, что состоялась через девятнадцать лет после того, как пьеса в 1937 году заинтересовала МХАТ. Актеров старого МХАТа, которым предполагалось поручить роль Полежаева, уже не было в живых — Москвина, Хмелева; в 1956 году эту роль прекрасно сыграл Юрий Эрнестович Кольцов, а жену Полежаева — Ольга Николаевна Андровская. Я был очень рад видеть Паустовского на этом удавшемся театру спектакле, который потом МХАТ возил в Париж, в Лондон, в Токио, и Лидия Делекторская прислала мне из Парижа большое письмо-рецензию, а Паустовский из Москвы — шуточные строки: «Поздравляю с Лондоном. Говорят, что клуб английских драматургов подарил Вам набор для игры в крикет».

На присланной мне тогда же книге «Золотая роза» Паустовский написал: «Ничто так не сближает людей, как совместное приближение к прекрасному. А мы это испытали во время плавания...»

Несколько раз мы встречались в Ленинграде, куда он ненадолго приезжал, и взапуски перебрасывались вдруг ожившими в памяти курьезными подробностями нашего путешествия. Как бывает в подобных случаях, все начиналось со слов: «А помните?..»

— А помните стол в Версале, за которым был подписан мирный договор?

— Ну как же! Со скатертью до пола и мягким пуфом, на который садились по очереди подписывавшие...

— Знаете, меня поразил в этом парадном зеркальном зале именно пуф: словно для красоты перед зеркалом. Какая-то домашняя утварь.

— Может, Клемансо и Вильсон хотели подчеркнуть, что раздел Европы — это их домашнее дело.

— Но кресло же удобнее. Пуф потому так и назван, что производит звук «пуфф!», когда на него садятся...

— Не придирайтесь. Вы уже начинаете походить на туристку, которая, помните, сказала: «Значит, у итальянского правительства не хватает средств, чтобы отремонтировать Колизей?»

Кстати, она оказалась недалеко от истины. Как сообщают нынче газеты, Колизей действительно надо ставить на капитальный ремонт: его так расшатал современный транспорт, что этот древний гигант стал руиной-угрозой!

Скоро приезды Паустовского прекратились: он стал чувствовать себя значительно хуже и жил почти безвыездно либо в Тарусе, либо в Ялте. Не знаю, рассказывать ли о нашем последнем грустном свидании в Ленинграде, в начале шестидесятых годов. Я проводил его до вертящихся дверей «Европейской» гостиницы: прощаясь, он задержал мою руку в своей и тихо сказал:

— Наверно, вы обиделись на меня?

— За что? — спросил я. Но я понял уже по его лицу, о чем он хочет сказать. За год до этого умер мой отец, и я сгоряча написал Паустовскому, что я нашел в доме отца, что он читал перед тем, как попал в больницу: томик Чехова и один из первых томов начавшего выходить собрания сочинений Паустовского. Письмо было взволнованное, возможно даже не в меру чувствительное, и это легко объяснить: мы с отцом дружили. Единственный человек, которому мне захотелось написать, был Константин Георгиевич. Он не ответил на это письмо, и я догадался почему.

— На ваше письмо, — продолжал он, — следовало ответить таким же письмом... или промолчать...

— Я знаю, Константин Георгиевич, — так же тихо отвечал я.

— Вы поймете меня, если я скажу: я уже не охочусь, не хожу на рыбалку... даже читаю меньше... — Он помолчал. — Ваш отец, вы писали, был тоже рыбак... — Он еще помолчал. — Вы не сердитесь на меня?

Нет, я на него не сердился. Наоборот, я был тронут тем, что Паустовский сказал мне это. Я давно уже чувствовал, что напрасно написал ему такое письмо: своим эмоциональным накалом оно как бы требовало соответствующего отклика, а разве я имел на это право? Да и были ли мы настолько близки — пусть он даже писал мне: «Постоянно вспоминаю вас с какой-то особенной трогательностью...» Паустовский уже очень немолод и нездоров, ему необходимо успеть дописать свою «Повесть о жизни», — значит, надо беречь силы для работы. Теперь я особенно хорошо это понимаю, а тогда на ка-

кой-то момент романтик Паустовский оказался бóльшим реалистом, чем я: помог возраст и жизненный опыт...

Так случилось, что больше мы не виделись; писали краткие письма, изредка говорили по телефону. Константин Георгиевич еще раз побывал во Франции и в Италии, съездил в Англию, где он до этого не был. Но все это уже через силу, скорей из последних сил. В 1968 году он умер. Я брал себя в мыслях за то, что не удосужился с ним повидаться в его любимой Тарусе, куда он меня звал, или в Ялте, на его любимом Черном море. Все ведь думаешь: нынче некогда, съезжу будущей весной... в крайнем случае, осенью.

Не съездил. Не успел.

Совсем недавно вдова композитора Виктора Николаевича Трамбицкого, Валентина Ивановна, рассказала мне о том, как Паустовский однажды захотел послушать клавир оперы «Настя-кружевница», написанной Трамбицким на сюжет повести Константина Георгиевича. У каждого из нас есть свои профессиональные привычки, капризы, желания, требования. Композитор Трамбицкий непременно хотел убедиться, что рояль в московской квартире Константина Георгиевича настроен достаточно тщательно, прежде чем проигрывать Паустовскому свою оперу. Сам Паустовский был в это время в Тарусе, его жена Татьяна Алексеевна позволила привести в свою квартиру настройщика, тот все сделал, что от него требовалось, но, когда узнал, что настраивал инструмент, принадлежащий писателю Паустовскому, ни за что не взял денег... Объяснил, что чтение произведений этого писателя с избытком вознаградило его за работу. Единственно, о чем он пожалел, — что закончил работу до возвращения Паустовского в Москву, не познакомился...

У меня огромное преимущество по сравнению с этим настройщиком: я провел с Паустовским бок о бок целый месяц. Облететь, объехать не только Европу, но весь земной шар можно и сейчас — и все же это будет не то: на свете нет больше такого дорожного спутника, как Константин Георгиевич Паустовский.



ТЕЗКА

Торько сознавать свою вину перед другом, вину, которую уже ничем не возместишь, не справишь...

Несколько лет назад редакция журнала «Нева» предложила мне написать литературный портрет Леонида Радищева. Рассказы этого талантливого ленинградского писателя обратили на себя особенное внимание читателей и критики. Среди многих произведений, посвященных столетию со дня рождения В. И. Ленина, они выделялись своею художественной корректностью, как писала о них в «Правде» Лидия Фоменко. Похвально писали о его книгах и другие, в том числе и я.

Но критический отзыв, рецензию написать легче, чем литературный портрет. Признаться, меня не раз брало сомнение: можно ли писать о человеке, который живет от тебя всего в двух километрах, в любой момент может к тебе зайти или снять телефонную трубку и отругать: «Что ты обо мне наплел?» Я успокаивал себя: это же не монография, не исследование, а портрет, — портрет можно написать и в свободной манере. Что вспомнил, как понял, как оценил, что показалось характерным, интересным, о том и написал. Другой напишет иначе. Что из того? Разве художники одно и то же лицо или один и тот же пейзаж не изображают по-разному?

По-иному, со свойственной ему ироничностью, успокаивал меня Радищев, от которого я не утаил просьбу редакции:

— Я, конечно, польщен, что ты из-за меня мучаешься. Но мой совет — подожди. Вот напишу что-нибудь выдающееся, «выдам в свет», тогда и удостоишь портрета. Ничего, ничего, потерпи!

Радищев шутил, я отшучивался, — на деле же понемножку писал и почти написал, но — не закончил: оборвал как раз на том месте, где гадал о его дальнейшем литературном пути. . .

Но произошло непоправимое: оборвался его жизненный путь — Леонид Николаевич Радищев умер. Я не успел ему прочесть ни строчки из своего очерка, который я назвал «Тезка» (так мы звали друг друга почти полвека), и публикую в том виде, в каком был он задуман и в большей части написан, — то есть как о живом; быть может добавив к портрету несколько отдельных штрихов. Для воспоминаний нужна дистанция времени, а у меня сейчас одно желание: как можно реальнее себе представить, что тезка успел бы прочитать то, что я о нем написал. . .

Начну с упрека. Нет, не тезке, — его упрекать мне не за что. Разве за то, что не заботился о своем здоровье — все считал себя силачом, каким был в молодости.

Когда-то одна ленинградская газета поместила мою заметку о новой книге Леонида Радищева. Я не первый год сотрудничаю в газетах, знаю по опыту, что выправить любой материал — сократить, изменить, дописать, переставить — самое милое дело для редакции. Отлично знают и редакторы — люди симпатичные, образованные, — что автор посердится и простит: человек привычный. На этот раз мне сравнительно повезло, из рецензии выпали всего две небольшие фразы. Небольшие, но довольно существенные, — вот одна из них. «Этот талантливый публицист ленинградской комсомолии двадцатых годов, блестящий фельетонист молодежной газеты «Смена» и журнала «Юный пролетарий», ставший позднее вдумчивым, серьезным прозаиком. . .»

Фельетонист? Публицист? Да, скажу больше: журналистское прошлое этого популярного нынче прозаика представляет мне столь важной вехой на его жизненном и литературном пути, что я непременно на нем задержусь подольше. О рассказах, о повестях Л. Радищева уже немало писали, а вот о том, что научило его

прочно держаться факта, писать строго и деловито, в лучшем случае только упоминали. Прошное, настоящее и будущее у каждого художника тесно и органично связаны,— пример Леонида Радищева, как мне думается, особенно убедителен.

Кстати, познакомились мы как раз в газете. В 1927 году я прочел в газете «Смена» рассказ «Борцы». Сейчас мне не вспомнить его содержания: что-то из жизни цирка, приехавшего на гастроли в провинциальный город. Меня удивил не сюжет — удивила и запомнилась авторская манера, очень далекая от смеси эксцентризма и лирики, характерной тогда для стиливых поисков многих молодых прозаиков, в том числе и моих. Никаких синтаксических вывихов, никакого орнамента и словесной игры, — все четко, точно, определенно, в добрых традициях русской реалистической прозы. Пожалуй, ближе всего к Куприну, тем более что Куприн и сам не раз писал о цирке.

Но не было там и эпигонства, школярского подражания: просто автору было удобно писать так, а не иначе,— он так и писал. Эта естественность интонации, поставленность голоса вызывали невольное уважение, несмотря на мою приверженность к совершенно иным литературным приемам. Мысленно я занес имя автора в список тех, кем стоит интересоваться и дальше, а это немало, если принять во внимание жесткий максимализм начинающих, которые обычно впускают в духовный свой обиход лишь немногих литературных собратьев!

Правда, имя это мне было отчасти знакомо. В Ленинграде в то время вышли на старт сразу шесть или семь способных очеркистов и фельетонистов: Тубельский и Рыжёй (Братья Тур), Михаил Лоскутов, Бор. Бродянский, Ефим Южный, Сергей Безбородов и тот, о ком я сейчас пишу. Леонид Радищев и здесь выделялся ясным, уверенным слогом без излишнего словесного щегольства и показной эрудиции, которыми нередко грешат фельетонисты. Видно было, что он хорошо знает то, о чем пишет, знает не понаслышке, не из справочников и энциклопедий, а непосредственно из окружающего его мира. Этот мир, как известно, представлял собой не легко обозримую модель, не стоял на месте,— он бурно двигался и менялся, так что изучать

и описывать его приходилось на ходу; помогало лишь то, что мы двигались вместе с ним.

Вскоре я познакомился с автором рассказа и фельетонов. Его наружность, походка, манера держаться и говорить были во многом под стать его литературной манере. Атлетического сложения, неторопливый, насмешливый, но без издевки, без колкостей, наоборот, снисходительный к моим литературным пристрастиям, он мне понравился, и мы сразу стали звать один другого — «тезка». Самое главное для меня в нашем приятельстве (дружбой назвать это тогда было бы преувеличением) оказалось то, что мы понимали друг друга с полуслова, как бы ни расходились во вкусах и склонностях. Встречались мы скорее случайно и преимущественно в общественных местах — в редакциях, в Доме печати (Дома писателя, а тем более Домов творчества писателей, еще не было); чаще всего мы встречались в столовой Ленкублита (Невский, 106), организованного в 1930 году для улучшения быта литераторов в столь неустроенное в бытовом отношении время. Если не ошибаюсь, у тезки я побывал лишь однажды, в самом начале тридцатых годов. Он жил на Троицкой улице (теперь улица Рубинштейна) в новопостроенном доме, почему-то прозванном «слезой социализма». В квартирах не было кухонь — все питались в общей столовой; это «в принципе», а в жизни получилось, что большинство стало готовить себе пищу дома, тем или иным способом выходя из трудного положения, отчего у хозяйки и впрямь могли навернуться слезы. Впрочем, закоренелому холостяку и антибытовому Радищеву общая столовка внизу, в первом этаже, была по нраву; хорошо помню его почти пустую, голую комнату: койка, конторский стол, такой же стул и гантели в углу, на полу.

В февральской книге журнала «Звезда» в 1930 году печаталась моя первая сравнительно солидная по объему повесть, и я приятно запомнил, как Радищев, увидев в моих руках корректуру, взял ее у меня, сел в угол пустующей в тот час столовой и не сошел с места, пока не прочел эти два печатных листа лирической, насквозь метафоричной прозы, прямо противоположной тому, что и как писал он сам. Я и сейчас люблю эту юношескую вещь, хотя понимаю, что смесь французского с нижегородским — Жана Жироду с Пильняком — могла не

только насмешить, но и вызвать раздражение у читателя столь трезвого вкуса, каким был Радищев. Не знаю, какие ощущения он испытывал, когда читал повесть, но мне он сказал, отдавая гранки:

— Спокойствуя белизной? — И ободряюще кивнул: — Ничего, ничего!

Первые два слова были цитатой из только что прочитанного им «Полнеба» и произнесены с явным юмором, вторые — обычное для тетки и нынче благожелательное ободрение: «Ничего, ничего!» — при этом легкий кивок и полуулыбка. Почти через сорок лет я заслужил от него такой ободряющий, душевно необходимый для автора кивок по поводу моего очерка-воспоминания о работе на Волховстрое, напечатанного в той же «Звезде». Правда, помимо ободряющего кивка тетка еще добавил, что очерк порой потруднее написать, чем рассказ, — а уж в этом-то он, очеркист, журналист и прозаик, знал толк.

До середины тридцатых годов Л. Радищев почти не печатался в толстых журналах, — основным полем действия для него были тонкие журналы и газета «Литературный Ленинград», ближайшим сотрудником и одним из фактических создателей которой он являлся. Фельетоны, статьи, рецензии, очерки, отчеты о шумных дискуссиях — все журнальные и газетные жанры были отлично освоены Л. Радищевым, подписывавшимся то своим полным именем, то псевдонимом «Лерус», то инициалами «Л. Р.», прежде чем он окончательно перешел в стан прозаиков.

Но вот встретились мы с Радищевым незадолго до войны в Доме творчества в городе Пушкине — небольшом деревянном особняке. В первые месяцы войны здесь разместились редакция писательской дивизионной газеты.

Зимой 1939 года, когда мы с Радищевым жили в этом мирном доме, окруженном сугробами белого-белого снега, какого никогда не найдешь в Ленинграде, я впервые увидел, с каким упорством Радищев кует свою прозу. Куда подевалась былая динамичность профессионального газетчика! Запершись в крохотной комнатушке, выходившей на площадку второго этажа, тетка скрипел пером с утра до вечера (портативных машинок, на которых мы стучим нынче, тогда у нас не было) и

спускался вниз только к завтраку, обеду и ужину. Иногда, правда, мы находили время для бесед, для прогулок, для литературных шарад, в которых он неизменно побеждал всех участников, но большая часть дня была трудовой.

Тезка никогда не читал вслух и не давал другим читать свою рукопись, даже не говорил, что он именно пишет, но вскоре рассказы его начали появляться в «Звезде», в «Ленинграде», в «Литературном современнике». Это была добротная проза, проза опять же без выкрутасов, серьезная, умная, но все же, на мой придирчивый взгляд, недостаточно окрашенная индивидуальностью автора. Радищев-человек был для меня пока интереснее Радищева-писателя. Я видел, что он еще на пути — ищет, нащупывает свои темы, свой почерк. Нашел ли бы он это все, если бы не война, не события в его личной судьбе, надолго оторвавшие Радищева от литературы, трудно сказать. Так или иначе, через полтора десятка лет Радищеву предстояло снова искать путь к себе, путь к настоящей прозе, были ли это рассказы, повести или воспоминания о журналистских встречах с политическими и государственными деятелями — Красным, Кировым, Тухачевским, Луначарским; писателями — М. Горьким, А. Толстым, К. Чуковским, Сергеевым-Ценским; художниками — Радловым, Антоновским, Малаховским, художником и писателем Л. Канторовичем.

Точно так же, как судьбе было угодно, чтобы Леонид Радищев трижды заново начинал литературную деятельность, сперва публициста, затем прозаика и, наконец, после длительного перерыва, опять прозаика, так же жизнь наделила его столь различным человеческим материалом... Люди, с которыми он встречался в разные периоды жизни, так несходны, что одно это может заставить писать, писать и писать! Думается, что Л. Радищев не исчерпал двадцатой доли своих впечатлений и наблюдений. Но и то, что написано и опубликовано, дает материал для раздумий и для оценки: к тому же Радищев в последние десять лет успешно писал и для детей.

Но вернусь к тому, с чего он начал, что приучило писателя прочно держаться факта, писать кратко, строго, деловито.

Передо мной несколько тоненьких, более чем скромно изданных книжек: «Война этажей», «От штурма к осаде», «Свет и тени» — годы издания 1927-й, 1928-й, 1929-й... О чем эти сборники? Откроем «Свет и тени». Само заглавие говорит за себя: контрасты жизни. Гримасы нэпа — и героизм трудовой молодежи; бескультурье, бюрократизм — и приезд М. Горького в Советский Союз; конфликт двух газетчиков: узколобого идеолога борьбы с галстуком как олицетворением мещанства и частного капитала — и бывшего слесаря, окончившего ГИЖ (Государственный институт журналистики), человека с ясными и широкими взглядами... В книге двадцать три фельетона и очерка. Одни выдержали испытание временем, их и сегодня интересно читать, другие изрядно устарели, наивно иллюстративны, но во всех бьется живой пульс эпохи, видно, что автор писал их с увлечением, зная, что делает нужное дело.

Беру в руки тощую брошюрку в черной обложке, сверху вниз прочерченной красной молнией. Книжечка называется «Пасынки большого города», из серии «Жгучие вопросы». О чем она? О жизни и работе сезонников, как тогда называли строительных рабочих, приезжавших из деревни в город на летние заработки. Книжка написана в самые сжатые сроки, это книга-репортаж, книга-молния. Лаконичные зарисовки быта сезонников чередуются с резкими обращениями к тем, от кого зависит этот неблагополучный быт, а также к городским комсомольцам, которые могли бы помочь своим деревенским товарищам... могли, но не помогли. Чувствуешь, что автор просто не мог этого не написать, что его больно и глубоко задевало увиденное и наблюденное, и он гневно боролся против этой ненормальности и уродства. Пожалуй, я бы поставил эту брошюру на главное место среди всего, что в те годы писал Л. Радищев, — настолько пылок его призыв и остра взятая им тогда тема, ныне ушедшая в прошлое, как ушло и понятие «сезонник».

Кстати, юмор, столь неотъемлемый от фельетона, юмор, без которого этот жанр вообще немыслим, в «Пасынках большого города» начисто отсутствует: тут не до смеха ни читателям, ни автору. Но зато фельетоны его насыщены юмором, правда особого рода: это всегда улыбка, добрая, умная, ироническая, но никогда не сме-

качество и не зубоскальство. Этот тонкий, хочется сказать — интеллигентный юмор пригодился Радищеву во всей его дальнейшей работе. Помню, когда-то «Литературная газета» опубликовала маленький рассказ Л. Радищева «Дружеский фарш» — об одной из встреч с Алексеем Толстым. В этом рассказе есть любопытная мысль, характерное для А. Н. Толстого высказывание, которое вместе с тем аттестует и самого Л. Радищева.

Встреча произошла в редакции газеты «Литературный Ленинград» в день, когда Алексей Толстой сдал в издательство вторую часть «Петра». Попыхивая трубой, он сидел в редакционной «гостиной», отделенной от других помещений фанерными переборками, и красочно повествовал о своем посещении издательства, где, вместо того чтобы пригласить оркестр, который сыграл бы туш или хотя бы «Ойру» в честь сдачи рукописи, без конца твердили о выполнении квартального плана. Пока Алексей Николаевич рассказывал, художник Б. Антоновский, пользуясь благоприятным моментом, набрасывал дружеский шарж. Взглянув на рисунок, Толстой немного поворчал насчет «коварства» карикатуристов, поблагодарил за «дружеский фарш»; затем, подумав, сказал: «Вероятно, даже при желании нельзя сделать подхалимский шарж, тут сам жанр запротестует».

Тогда ему рассказали про одного литератора, обиженного на газету, поместившую на него тоже дружеский шарж. «Конечно, — говорил литератор, — появление шаржа — факт приятный и лестный, но... товарищи, неужели у меня такая губа? Вот не думал. Мои домашние возмущаются, а у меня дети...» Толстой веселился от души: «Ах ты, черт! И хочется и колется. С одной стороны, хочется пофигурить, а с другой стороны, хочется быть покрасивше! А тут взяли и обнародовали губу. А ведь он главным образом и состоит из губы, которая не дура...» А заключил Алексей Николаевич серьезно: «Люди, не понимающие смешного, часто попадают в смешное положение. Нет, что ни говорите, а юмор — необходимейшая вещь в домашнем хозяйстве».

Одного этого примера достаточно, чтобы понять цену смешного для самого Радищева: видно, что он обеими руками подписывается под замечанием А. Н. Толстого, превосходно запоминает юмор других и владеет своим.

Это счастливое свойство он с блеском проявил, написав о Корнее Ивановиче Чуковском, с которым часто встречался и переписывался. Это полное юмора, нежности и очаровательных деталей эссе (не могу подобрать другое, русское, слово для этого своеобразного жанра) напечатано в журнале «Детская литература» еще при жизни Корнея Ивановича.

При жизни... Выговорил эти слова и с болью понял, что пора перейти в своем очерке к прошедшему времени. Да, пора: тезка пережил Корнея Ивановича лишь на пять лет, при разнице в возрасте в четверть века...

А меня тезка старше был всего на три года. Я с самого начала сказал, что мы с полуслова понимали друг друга,—естественно, что наши беседы были предельно откровенны. Предельно? Пожалуй, нет: предел существовал. Прежде всего, тезка с его умом и тактом никогда не спрашивал меня о том, на что, по его мнению, мне было бы трудно или неприятно отвечать. Во-вторых, он и сам не любил откровенничать о так называемых личных делах. В чем-то он был как раз предельно закрыт, я это знал и в свою очередь старался не посягать на его тайное тайных.

Возможно, в какой-то мере это было игрой,—он любил напускать на себя загадочность,—но в каком-то смысле закрытость являлась свойством его природы. Например, он любил неожиданно исчезать, уезжать в дальние или в ближние края, скажем, селиться где-нибудь за городом, не оставляя своего адреса, и подолгу, иногда несколько месяцев, не давал о себе знать. Потом от него приходило большое письмо, где среди шуток и дел прорывалось искреннее сожаление о том, что так долго держал меня в неведении, а то и в тревоге—где он, что с ним, здоров ли. Полушутя-полусерьез он клятвенно обещал исправиться, никогда больше... и пр.

И вдруг появлялся, и мы с ним сидели до поздней ночи и расставались с трудом: поговорить и повспоминать всегда находилось о чем. Память у него была исключительная: он помнил все, что происходило за сорок с лишним лет нашего знакомства. Истинным наслаждением было следить за тем, как из дальней дали возникали и отчетливо вырисовывались, казалось, давно забытые эпизоды, факты, любопытнейшие детали, лепились образы и характеры знакомых, но уже ушедших от

нас людей — словом, вставала эпоха. После такой беседы я вновь убеждался, какой замечательный мемуарист из него получится, когда он вплотную засядет за книгу воспоминаний. Для мемуариста у него было все: аналитический ум, острая наблюдательность, рекордная память и, повторяю, широкий круг жизненных наблюдений и былых знакомств, особенно в мире литературы и искусства. Былых? Так ведь былое для мемуариста и нужно.

Что касается сегодняшней оценки, сегодняшнего взгляда на вещи, то уж тут тезка всегда был в курсе современных событий, чутье журналиста ему никогда не изменяло. Он не только усердно читал газеты, журналы, новые книги, — он любил посещать редакции, чего я, по правде сказать, не люблю делать. . . Помню, как-то он взялся писать для «Ленинградской правды» статью о моей книге (разумеется, не обмолвившись мне о том ни словечком, еще бы: родная для него стихия — тайны и неожиданности!), мне потом рассказали, как сверхвнимательно он следил за ее продвижением по ступенькам редакционных инстанций, неумоимо вносил поправки.

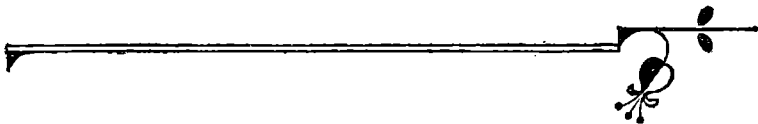
. . .Передо мной лежит юбилейный номер «Юного пролетария», которому в 1927 году исполнилось десять лет. В этом номере Леонид Радищев с редкой для него растроганностью и лиризмом написал о маленькой комнате с большими окнами на Невский, где делают «Юный пролетарий», о товарищах по перу, о людях, которые приходят в редакцию, о печке, которая согревает их всех, и заключил так: «Я много часов просидел там без дела, потому что мне теперь нужны и нервная сутолока редакции, и шелест печатных листов, благоухающих еще теплой краской. . . Обо всем этом пишется ведь не чаще, чем раз в десять лет. . . а редакционный день проходит быстро, как жизнь».

Быстро, как жизнь. . . И жизнь прошла. Тезки уже нет. В этих случаях принято говорить: «Память о нем навсегда останется (вариант — сохранится) в наших сердцах». Что ж, это так и есть. Но тезка терпеть не мог литературных штампов, а кроме того, у меня остались еще его веселые, остроумные письма, где он любил выделять самые важные сообщения и пожелания крупными, как газетные шапки, буквами; письма, в которые он клеивал попавшиеся ему на глаза в газетах упомина-

ния обо мне, а чаще о моих однофамильцах, людях самых разных и неожиданных профессий, и при этом преувеличенно удивлялся: «Как ты везде успеваешь!»; остались его книги для взрослых и для детей с серьезными и шутивными дарственными надписями; осталось несколько номеров «Юного пролетария» конца двадцатых годов и газеты «Литературный Ленинград» середины тридцатых годов с его остроумными отчетами о наших бурных литературных дискуссиях; а главное — я все еще вижу его добрую улыбку, слышу его спокойный голос, который подбадривающе, утешающе говорит:

— Ничего, ничего, тезка!

Словно все еще поправимо, словно действительно можно вернуть нашу дружбу и наши встречи.



«А ГЕРМАНА ВСЕ НЕТ!»

Почему, откуда взялось такое неожиданное заглавие? Юрий Павлович Герман смеясь говаривал: — Человечество делится на две неравные части. Одна, бóльшая, долго не встречая меня, восклицает: «А Германа все нет!» Другая, меньшая, не делает этого.

Пришло время, когда его шутка получила трагический смысл: Германа нет с нами. Все нет и нет... И все еще трудно в это поверить — такой он был жизнелюб и деятель, по его любимому выражению.

Юрий Герман настолько крупен и в литературе и в жизни, настолько личность, настолько явление, так щедро жил и работал, что вспоминать о нем следовало бы тоже щедро, крупно, густо, многосторонне, — у меня, к сожалению, так не получится. И не только потому, что надо быть вторым Германом, чтобы так о нем вспоминать; вероятно, есть и другие причины, одну из которых сразу же назову. Наша дружба была многолетней, но — как бы это выразиться точнее? — прерывистой... То проводили вместе целые дни и недели, то не выдались чуть ли не годами, причем как будто без всякой реальной причины (если не считать разницы в характерах, — а у кого они одинаковы?). Столь же пунктирны, отрывочны мои воспоминания. Александр Штейн сумел написать целую книгу о своей дружбе с Германом, — я

не смогу этого сделать, несмотря на то, что любил Юру, очень ценил нашу дружбу, бывал огорчен, когда мы по долгу не виделись, скучал по его оптимизму, его полнокровию.

Впервые мы встретились в 1931 году, в редакции «Юного пролетария», журнала, который за четыре года до этого напечатал мой второй в жизни рассказ. Юрий Герман оказался длинным, худым, в галифе и в коричневых сапогах. Такие сапоги, только черные, всегда называли русскими, в отличие от всяких там башмаков, ботинок, полуботинок, штиблет, туфель, бареток, но коричневых русских сапог я до тех пор не видел, — не знаю, откуда Герман достал такие. Впрочем, вскоре он перекрасил их в нормальный черный цвет, после казуса, о котором сам рассказал в своих поздних воспоминаниях о Мейерхольде. Для тех, кто их не читал или забыл, расскажу вкратце.

Мейерхольд ставил спектакль по роману Юрия Германа «Вступление». Однажды он взял с собой Германа на «раут» в какое-то иностранное посольство. Случилось так, что при входе швейцар оттер молодого автора от Мейерхольда и Зинаиды Райх, и Герман оказался в низкой сводчатой, насквозь прокуренной комнате, где шоферы аккредитованных в Москве дипломатов сражались в шашки и домино. Потом Мейерхольд вполне логично объяснил Юре, что его не пустили наверх из-за «красных боярских сапог», но встает вопрос: как это Мейерхольд и особенно Зинаида Николаевна недоглядели, что Юрий Герман неподходяще одет для посольства? Правда, Всеволод Эмильевич любил крутые повороты действия, любил ставить своих знакомых в трудноватое положение, а потом выручать их. Помню, Юра рассказывал, как на очередной репетиции (к счастью, не генеральной) Мейерхольд угостил его крепкой сигарой, как он во всю мочь затянулся — и упал со стула от головокружения.

О Мейерхольде Герман писал через тридцать лет после их встреч и работы над пьесой, писал ярко, страстно, можно сказать — вдохновенно; прочитав его очерк, я испытал радость не только оттого, что наконец-то пришла пора вспомнить о великом режиссере, спектакли которого я безмерно любил, но и от таланта рассказчика...

...Итак, первая встреча в редакции «Юного». Нас познакомил тогдашний его редактор Семен Фридман. Да, познакомил, настаиваю на этом слове, ибо для тех времен церемония эта была не типична: мы все еще по-мальчишески продолжали считать «представление» незнакомых людей друг другу старомодным этикетом, смешной «светскостью», вообще чуть ли не запрещенным приемом. Знакомства происходили как-то сами собой: люди либо сразу заинтересовывались друг другом, либо притирались постепенно, либо так и оставались чужими и посторонними.

Видимо, Фридман, знакомя нас, хотел предотвратить возможные недоразумения: он был добрый, благоразумный редактор и не любил, когда его авторы ссорились: вдруг один автор сморозит что-нибудь про другого, не подозревая, что тот находится в этой же комнате! Что ж, опасение имело резон: главу из готовившегося к печати романа Юрия Германа я прочел незадолго до встречи, в очередном номере «Юного пролетария», и мне она не понравилась. Собственно, активно не понравилась всего одна фраза, но для «стилиста-максималиста» это было решающим: «Ночь была черная, как вакса». Фраза резанула меня своей эффектностью, подходившей больше для фельетона или для переводного романа приключенческого толка. Насторожило и то, что в главе действие происходило в Берлине и герой был немцем.

— Липа,— решительно определил я для себя содержание главы.— Липа под липами Берлина.

Через непродолжительное время (типографии и издательства работали тогда быстрее, чем нынче) роман «Вступление» вышел в свет, и я немедленно его прочитал. Меня поразили две вещи. Прежде всего дерзость автора, пишущего о Германии, о Китае, о немцах, о китайцах, о советских заводах, советских рабочих и инженерах так, будто все ему одинаково хорошо знакомо. Сложным жизненным и литературным хозяйством он распоряжался с такой свободой, словно привык это делать с пеленок, а был он еще моложе меня на два года, иначе говоря, написал большой, серьезный роман двадцати лет от роду.

Удивило меня и то, что прочел я этот объемистый том, что называется, с маху, забыв на эти дни и часы про свою склонность к прозе совершенно иного характе-

ра. Публицистично было то время, публицистична и книга Германа. Роман был круто замешен на тех самых событиях, которые происходили у нас и в чужом мире и за которыми литература чаще не поспевала, хотя и тщила поспеть. Герман поспел — это было самоочевидно и все-таки удивляло.

Мы стали встречаться. Выяснилось, что мы оба василеостровцы и разделяет нас всего один квартал. Помню узкую длинную комнату в доме на углу Малого и 2-й линии, — дом, в нижнем этаже которого помещалась столовая, где я в то лето нередко обедал. Правая стена комнаты уставлена книжными стеллажами: словари, справочники, книги о всевозможных производствах, ремеслах и пр. и т. п. — все это нужно для очередной работы над очередной книгой. (Я уже понял, что Юра всякий раз с головой погружался в тот мир, в каком должны жить и действовать его будущие герои, — таков был тогда его метод.) Я смотрю и пролистываю эти брошюры и книжки, а на столе у окна сидят Юра и его первая жена Люда, оба худые, длинные, и набивают табаком папирозные гильзы (говорят, это дешевле, чем покупать готовые папиросы): собираются ехать в гости к Юриным родителям; кажется, в Брянск; кажется, весной 1932 года.

А вот и зима 1932—1933 года. В комнате Германа собрались литературные сверстники: Дмитрий Остров, Геннадий Гор, Иван Дмитроченко, Евгений Соболевский, я, еще и еще кто-то. Остров читает вслух рассказ из своей книги «В окрестностях сердца». Рассказ живописен и музыкален, это по-настоящему поэтическая проза; как поэтична и настоящая фамилия Острова — Остросаблин, которую он почему-то укоротил. . . «Какие же все мы разные! — думаю я про себя. — Это хорошо. Это залог успеха!» В соседней комнате, которая тоже теперь принадлежит Герману, спит маленький Миша и безмолвно движется Люда.

В том же году я познакомился у Германа с Павлом Далецким, который был старше нас, — с ним я сблизился значительно позже. Оба рассказывали о Горьком, который заинтересовался их книгами и у которого они побывали. Роман Далецкого о японских концессионерах на нашем Дальнем Востоке так и назывался «Концессия». Герману Горький советовал написать роман об антисемитизме, и Юра начал уже собирать материал, на

полке у него стояла «Еврейская энциклопедия». Горький считал, что советские писатели и читатели должны как можно больше знать о капиталистическом мире. Отметим он и книжку С. Марвича «Малый мир», повествующую о Западе. Слушая Германа и Далецкого, я снова подумал: «До чего мы разные! Интересно, какими мы будем лет через пять?..» В ту зиму я целыми днями работал в архиве, бывшем Синоде, собирал материал о постройке Исаакиевского собора: меня занимала русская история, двадцатые и тридцатые годы прошлого века, что по контрасту тесно связывалось для меня с современностью.

К Юре быстро пришли успех, популярность, у него появилась немудреная и неновая автомашина, которой он сам управлял и однажды подвез меня с моим отцом из центра на Васильевский остров. Отец ничего не замечал, сидел, очень довольный, на заднем сиденье, но я в маленьком переднем зеркальце видел, что Герман совсем не уверен, что нам удастся благополучно перевалить Дворцовый мост и завернуть на Университетскую набережную: страх мелькал в его черных, блестящих, как сливы (как вакса!), глазах...

В середине тридцатых годов Юра с Людой разошлись, Юра влюбился в Таню, квартиры в городе у них не было, и они жили в литфондовской даче в Александровке, в летнем холодном доме. Дров тоже не было, но была машина, на которой Герман ездил по дорогам и подбирал поленья и чурки; это было очень похоже на то, как Чаплин в «Огнях большого города», выскочив из роскошной машины подружившегося с ним пьяного миллионера, схватил из-под носа какого-то бродяги валявшийся на дороге сигарный окурочок...

Незадолго до войны мы жили с ним в Доме творчества в Пушкине, я срочно заканчивал сценарий, на другой день должен был сдать на «Ленфильм», работал всю ночь, и Герман всю ночь варил кофе и носил мне стакан за стаканом (это были маленькие металлические стаканчики, вкладывавшиеся один в другой). Меня очень растрогала такая забота,— правда, я знал, что Герману это приятно делать, он безумно любил варить кофе, пить сам и угощать других; он молот зерна в длинной медной цилиндрической кофемолке, зажав ее между колен.

Вообще, если Герман чем-нибудь увлекался, все должны были увлекаться тем же, — он азартно нас агитировал. Строил дачу — все мы должны были строить дачи. Увлечения его были непременно масштабны, порою сверх меры. Разводя и коллекционируя кактусы, он доставал самые редкие виды и экземпляры, переписывался с самыми знаменитыми кактусниками нашей страны. Увлечение обрывалось сразу, чудовищных форм и размеров кактусы исчезали, как страшный сон, — мгновенно раздаривались друзьям, знакомым, а то и малознакомым людям. Начиналось новое увлечение — аквариумами — и сразу приобретало глобальные масштабы: огромные, специально заказанные искусным мастерам стеклянные аквариумы стояли по всей квартире, освещаемые и подогреваемые электричеством. Сотни диковинных рыб и рыбок резвились и величаво плавали, отливая золотом, серебром, киноварью. Потом вдруг исчезали и они, уступив место новой всепоглощающей страсти.

Но крепкий кофе и крепкий чай сопровождали его всю жизнь. Он настойчиво мне советовал в разгар рабочего дня выпить стакан свежезаваренного крепкого чая, так как справедливо считал, что это чрезвычайно тонизирует — чувствуешь себя так, словно только что сел за письменный стол. Однажды вечером он напоил Николая Вирту крепким кофе и был наказан: часов в шесть утра тот в панике позвонил ему из гостиницы, что все еще не может заснуть. . .

Помню, тот же Вирта в июле 1943 года в Москве крикнул мне с другой стороны пустынной в то лето улицы Горького:

— Леня, Юра Герман просил меня вам сказать, что вы гений!

— Очень хорошо, — отвечал я, — а в чем дело?

Оказывается, Вирта только что побывал в Полярном, на Мурмане, и Герман, работавший там в военноморской газете, сказал ему, что наконец-то прочел «Красное и черное» Стендаля, которое я всегда, с первых дней нашего знакомства, захлебываясь хвалил, а он все не удосуживался прочесть: ему представлялось, что Стендаль скучноват, суховат. . . Потом сам Юра мне говорил, что читал «Красное и черное» день и ночь в холодной комнате, не вылезая из-под одеяла и не ходя

в столовую завтракать; и я этому верю, во-первых, потому, что это было «Красное и черное», одна из самых пламенных книг на свете, а во-вторых, это был Герман, с его способностью воспламеняться. Но этим «тема Стендаля» в общении между нами не была исчерпана. В начале 1945 года я получил от Юры «деловое» письмо, касающееся переезда его семьи из Архангельска в Ленинград:

«Дорогой Л. Н.! Прости, что пристаю, но ты дотошный и все доведешь до дела, если ты не переменялся, что, впрочем, на тебя не похоже... Я писал А. А. (Прокофьеву, тогдашнему секретарю Ленинградского союза писателей. — Л. Р.) заявление насчет своих семейных дел. Нужно, чтобы мне быстро ответили и ничего не перепутали. Это все очень существенно, чтобы, например, фамилии были какие надо, а не другие. Пожалуйста, присмотри. И адрес тоже. А я зато буду читать только Стендаля и только Диккенса. Идет? А Левку Толстого не буду, он бяка. Да? И кроме того я буду с тобой всюду бегать на лыжах.

Милый Леничка, не сердись на меня. Но мне очень нужно, чтобы все сделали скоро и споро.

Напиши, как вы там живете. Е. Л. Шварцу привета не передавай. Ни в коем случае, ни за что. Даже если будет приставать и просить передать, ты знаешь эту его отвратительную манеру. Вообще, как он мне неприятен, этот пожилой, молодящийся, с тяжелым характером, вечно вылощенный, нафиксатуаренный, выбритый до омерзения; и его скупость, мелочность, его патологическая брезгливость к детям, его чудовищная жестокость и франтовство, франтовство, франтовство. Кроме того, он ханжа. Так что ничего ему не передавай. Если увидишь Т. или П.—поцелуй их горячо. Вот это люди! Будь здоров. Ю.Г.»

Для полной ясности добавлю, что Евгений Шварц был одним из самых любимых и дорогих Юрию Герману людей и все, что написано здесь о нем, о его характере, наружности, надо читать наоборот! Что касается упомянутых в письме Т. и П., это совсем чужие и мне, и Герману литераторы...

Когда мы оба вернулись в Ленинград, мы часто жили одновременно в Доме творчества в Комарове. Юра много работал, из его комнаты раздавался непрерывный

стрекот машинки: все, что он делал, он делал со страстью. Еще со времен, когда он писал «Наших знакомых», меня поражала та легкость, та щедрость, с какой он переделывал, переписывал, заново писал целые эпизоды и сцены. «Наши знакомые» были задуманы как небольшая повесть о комсомольской столовой и назывались сначала «Кафе», потом «Шамовка», потом «Старики» (поскольку в ней появились старые повара, помогавшие комсомольцам создать такую столовую). Постепенно повесть росла, обрастала бытом, наполнялась жизнью, множеством персонажей, стала романом, в романе выкристаллизовались главные герои и, наконец, самой главной героиней, ради которой, казалось, все и было затеяно, стала Антонина Старосельская. Именно Антонина, ее нескладная, исполненная ошибок, порой нелепых, порой трагических, волнующая нас и сейчас жизнь и судьба, сделала «Наших знакомых» самой читаемой книгой второй половины тридцатых годов, настоящим советским «бестселлером». На книгу записывались в очередь в библиотеках; едучи в пригородных поездах, в трамвае, часто можно было видеть углубившегося в чтение этого толстого, растрепанного тома мужчину, а еще чаще — женщину. С читательским успехом «Наших знакомых» мог конкурировать лишь успех «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца».

Кстати, с Евгением Петровым Герман как раз подружился перед войной (Ильфа уже не было). Живость характера, обостренное внимание к советскому быту, жизнелюбие, оптимизм — все это их сближало. Впрочем, Юра и прежде легко и быстро сближался с заинтересовавшими его новыми людьми. На моей памяти целая серия таких увлечений. С одной стороны, он оставался верен старым друзьям (если не всем, то многим), с другой — постоянно возникали новые знакомства и дружбы, развивались быстро, бурно, в полном соответствии с его темпераментом, и порой так же внезапно затухали: Юра напрочь переставал интересоваться новообретенным другом. Пожалуй, можно сказать, что в каком-то смысле это была женская черта в его характере, явно противоречившая его резко выраженной мужской внешности, его басу, его трудно поддающейся бритве черной растительности на лице. Если бы в те годы было модно, как теперь среди молодежи, отращи-

вать бороды, Герман мог бы побить рекорд и сравняться с Черномором.

Но я отвлекся от того, что хотел рассказать о «методике» его литературной работы. В годы наибольшего успеха «Наших знакомых» находились строгие критики и придирчивые читатели, которые морщились, читая этот роман, причисляли его к произведениям мещанской литературы, обзывали беллетристкой и пр. Не берусь судить, полностью ли можно освободить этот роман от подобных упреков,— например, мне казался слишком «красивым», слишком сочиненным артист Аркадий Осипович, в которого влюблена юная Тоня: нечто среднее между Александром Блоком, если бы он дожил до нэпа, и душкой-тенором, которого гимназистки готовы были часами ждать у служебного входа в театр... (Но ведь разве не знают нынешние родители и педагоги так называемого «поклонничества», объектом которого являются уже не певцы, а киноартисты?) Зато как сильно, реалистично, психологически тонко и точно написаны в романе Скворцов, Пал Палыч и, конечно, сама Антонина. До сих пор помню ощущение свежести, какое меня охватило, когда я прочел страничку, где Антонина едет в трамвае и искренне недоумевает, почему это пассажиры ее сторонятся, сердятся на нее, кричат. Вдруг она поняла, что всему виною ее обновка — жалкий палантин, сшитый из купленных ею на рынке четырех заячьих шкурок: это он оставляет на спинах, на рукавах, на плечах трамвайных соседей белые клочья. «Зайцы лезут!» — с ужасом подумала она. Превосходно написал Герман эти полудетские-полуженские переживания Тони: юмор, поэзия — все есть в этой маленькой сценке. «Подкупающе человеческий талант, — подумал я тогда, — его никогда не разлюбят читатели».

Так и вышло. Читатель оценил и две повести, написанные после «Наших знакомых», — «Лапшин» и «Жмакин». Сюжет «Жмакина», этой повести о перековке (как тогда выражались) молодого, но уже успевшего ожесточиться преступника, о роли любящей Клавы в этом трудном процессе возвращения его к людям, таил опасность впасть в сантимент, в мелодраму, в дидактику, но талант автора все это преодолел. Герман уже приобрел такт, чувство меры, он научился экономить и конденсировать художественные средства, перестал раз-

брасываться, без нужды расширять рамки повествования и увеличивать количество персонажей,— умел сосредоточиться на главном и это главное написать так, что оно безотказно действовало на любого читателя: от самого массового до самого изысканного, так сказать, читательской элиты.

Но щедрость таланта осталась. Осталась и щедрость в работе, в «технологии» творчества. Как известно, большинство литераторов, великих и малых, работают над своей рукописью примерно так: без конца правят, зачеркивают, вписывают между строк и на полях, еще раз вычеркивают, еще раз вписывают, подклеивают к донельзя измаранной странице новые и новые куски,— в результате текст превращается в малоразборчивую абра-кадабру. Герман работал иначе. Прежде всего, он писал на машинке, примечательностью которой был «микрошрифт». Этими мелкими, частыми буквами он заполнял всю страницу до отказа, не оставляя ни сантиметра полей. Не оставалось места и между строками, напечатанными через один интервал. Поэтому, написав вчерне эпизод или даже главу, Герман все это писал потом заново, порой ничего не оставляя от старого текста или используя только лучшие, наиболее удавшиеся места. Так повторялось еще, и еще, и еще раз. Меня всегда удивлял такой трудоемкий способ, но, видимо, он вполне отвечал широкому характеру автора.

А характер Германа действительно был широк — широк во всем, даже в самых утилитарных, хозяйственных мелочах. Его хлебосольство, гостеприимство было притчею во языцех — и оно оставалось с ним до конца жизни. Тяжко больной, он все равно любил, чтобы к нему приходили, чтобы гости ели и пили за изобильно накрытым столом, а он, уже не сидя, а лежа на диване, смотрел на трапезу, зорко следя за тем, чтобы гости не ленились, не чванились; сам он уже не мог проглотить ни куска — так у него болело обожженное облучением горло. . .

В счастливые свои здоровые годы он весело хлопотал у стола, собственноручно готовил любимые напитки и кушанья, сам покупал на рынке высококачественные продукты. Однажды зимой, нагруженный закупленным в городе продовольствием, он проехал мимо своей станции, а время было позднее, поезд оказался последним,

и Герман топал пешком по шпалам из Зеленогорска в Комарово; мела метель, пакеты были тяжелые и разваливались, ходить пешком Герман не любил и почти никогда не ходил, во всех случаях предпочитал и в городе даже одну остановку проехать в автобусе... Это была, как он признался, одна из самых кошмарных в его жизни ночей! Зато как он был счастлив, ввалившись наконец в теплый, живой дом,— с горячим желанием всех разбудить и угощать привезенными, нет, принесенными с таким адским трудом яствами!

Широта и размашистость нрава приводили порой к комическим эпизодам. Как-то, вскоре после войны, в гостинице «Москва» Юра по ошибке вытащил из нагрудного кармана и дал лифтеру, поднявшему его на десятый этаж, тридцатку вместо рублевки. Было ужасно жалко этой чуть ли не последней тридцатки, но ничего не поделаешь!

На многочисленных заседаниях, в которых нам приходилось участвовать, Герман любил перебрасываться шутивными и серьезными записочками. К сожалению, у меня сохранились всего две-три записки, относящиеся к последним годам, когда он заболел.

«Ленечка! На старости лет я совершенно не могу сидеть. Может быть, это тоже результат облучения, а не дряхлость. Ты образованный, ты знаешь и про Дарвина, и про Тимирязева. Ответь!»

В другой он повторяет свой любимый совет, но и тут уже видно, что ему нездоровится и что крепкий кофе остался в прошлом: «В час-два дня выпей чашку очень крепкого чая. Я этим держусь».

Недавно я нашел у себя номер рукописного журнала: «Красный писяк», экстренный выпуск. Тираж: 1 нумерованный экземпляр. Текст Ю. П. Германа, рисунки Л. В. Канторовича».

В феврале 1936 года мы жили в Петергофе, в гостинице «Интернационал». Герман писал «Лапшина», Лев Канторович работал над иллюстрациями к «Нашим знакомым», кинодраматурги М. Блейман и Э. Большинцов писали сценарий «Великого гражданина». Жизнь было молодое, веселое, дружное; работали много, но находилось время и для бесед, и для шуток, и для лыжных прогулок, от которых Герман отлынивал...

Одной из Юриных затей явилось издание юмористи-

ческого журнала «Красный писяк» (вышло три номера). Поводом к заглавию послужил ячмень, вскочивший на глазу одного из нас, — как известно, такой нарыв зовут еще «песьяк» или «писяк»... На первой странице журнала Лев Канторович изобразил трех пажей в изысканных средневековых костюмах. Текст гласил:

Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной.
В глазах у них слезы стояли.
Они очень не хотели ехать
В Петергоф и писать
Там сценарий.
Они были лодыри.
Кто же они?
Отгадайте.

В пажах можно было узнать И. Хейфица, А. Зархи и меня.

Следующий рисунок Канторовича и стихи Германа посвящались киноактрисе Янине Жеймо, в просторечии Яничке, также жившей в ту зиму в «Интернационале». Героиня популярного тогда фильма «Подруги» и будущая Золушка в одноименной послевоенной картине бегала с нами на лыжах не в лыжном костюме, а в меховой шубке, что почему-то раздражало овчарку Канторовича: когда Яничка катилась с горы, собака кидалась ей наперерез и хватала за полы шубки. На рисунке Яничка печально глядела на изображенные художником весы и стихотворное предупреждение:

Не спите, Яня, милая, не спите,
Вы растолстеете! Какой пассаж!
И ничего вам не поможет, Яня,
Ни экспедиции, ни лыжи, ни массаж!

Юрины шутки не всегда носили добродушный характер, особенно когда мы с ним резко расходились во мнениях, что нередко случалось на заседаниях редакционных советов при обсуждении сценариев или книг. Темперамент подчас «заносил» Германа — он перехвалялся или, наоборот, изничтожал обсуждаемое произведение, я ему возражал, на что следовало два варианта реакции: Юра либо мрачно отмалчивался, либо отвечал юмористической репликой, обижаться на которую не приходилось, настолько она была остроумна и метко била в цель. Приведу пример.

Обычно ни он, ни я не любили щеголять цитатами из классических авторитетов, но тут черт меня дернул привести в качестве аргумента какое-то высказывание Вахтангова. Герман немедленно отпарировал:

— Мы на ночь Гордонов Крэгов не читаем!..

Возразить было нечего. Да и не хотелось. Я оценил и множественное число, живо напомнившее бывшего камергера Митрича из «Золотого теленка» с его «Мы в гимназиях не обучались», и то, что Герман назвал не Вахтангова, не Станиславского, не Мейерхольда, а именно Крэга, известного нашему поколению лишь отраженно, из театроведческих книг,— тем самым он с блеском выказал и насмешку, и эрудицию: мол, если бы я захотел, я бы тебя прищипил еще более редкостным именем, так что лучше оставь в покое Вахтангова!

Обиделся я на Германа лишь однажды — зато по серьезному поводу. В 1963 году я затеял сборник воспоминаний о Евгении Шварце, умершем за пять лет до этого. Я обратился ко всем, кто хорошо его знал. Никто из писателей, режиссеров, актеров, знавших, ценивших, любивших Евгения Львовича, не отказался о нем написать — уже через месяц-другой я начал получать рукописи. Помню, первым откликнулся мой почти однофамилец, И. А. Рахтанов, работавший с Е. Л. Шварцем в детском журнале «Еж» в начале тридцатых годов. И, конечно же, я был уверен, что одними из самых интересных воспоминаний, самых богатых как фактами, так и мыслями, будут воспоминания Юрия Германа, что они несомненно украсят сборник. Люди эти очень дружили, и Шварц любил Юру нежной, я бы сказал, отцовской любовью.

Увы, сборник «Мы знали Евгения Шварца» вышел в 1966 году без воспоминаний Юрия Германа. Мне он коротко объяснил, что ему трудно писать о Жене. А что же, всем нам, остальным, знавшим и любившим Шварца, было легко о нем написать — Л. Пантелееву, М. Слонимскому, Н. Чуковскому, Н. П. Акимову, В. Кетлинской? Я долго не мог простить Юре этот отказ, — думаю, что и он после пожалел... Может быть, он не верил в реальность издания этого сборника?

Надо сказать, что как раз в эти годы Герман усиленно трудился над окончанием своей трилогии — «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я от-

вечаю за все», — самой большой и, словно он чувствовал, последней его работы. Чуть не всю жизнь он писал о врачах, но они не смогли его уберечь и спасти от внезапно напавшей болезни. . . Нет, это не упрек, — да и кому? — просто констатация рокового совпадения фактов. В 1965 году я подарил ему свою книгу «Очень разные повести» и на титульном листе написал: «Юре, который молится двум богиням — Венере Милицейской и Венере Медицинской». Я имел в виду то, что Юра любил писать о врачах и милиционерах; конечно, если бы знать, что в этом году Юра заболел, я бы не упражнялся в таких лихих каламбурах. . .

В общении с Юрой подкупало все, в том числе простодушие и доверчивость, которые его иногда подводили. Однажды, живя в Доме творчества, он прибежал ко мне растерянный и смущенный. В чем дело? Оказалось, что он читал вслух приятелю и приятельнице главы из новой повести и вдруг боковым зрением увидел, что тем не до чтения, что они втихомолку ласкаются. . . Что было делать? Неудобно же показать, что заметил! И Герман продолжал читать, читать, как всегда, с душой, нутряным басом. Но потом не вытерпел: прервав чтение, прибежал поделиться и посоветоваться. . .

В 1940 году, когда Латвия вошла в состав СССР, Герман поехал в Ригу, и там, в городском театре, состоялся его литературный вечер. Юра читал, читал опять же проникновенно (кажется, это были рассказы о Пирогове, над которыми он работал перед самой войной) и вдруг с ужасом заметил, что в первом ряду сидят какие-то незнакомцы и незнакомки и ласково кивают ему, улыбаясь сквозь слезы. Юра сразу сообразил, что это, наверно, его местные родственники, тетушки, дядюшки, кузены, кузины, которых он никогда не видел, лишь слышал о них в детстве. Что будет в антракте? Все к нему кинутся, станут обнимать, целовать! А он-то писал в анкетах, что родственников за границей не имеет, и действительно не имел с ними ничего общего. Но все обошлось. Худого из родственной встречи, слава богу, не последовало, и он со смехом о ней рассказывал.

А рассказывать он умел, как никто, — из него получился бы великолепный актер; да в юности он и был актером, но литература пересилила. Наслаждением было его слушать: не только байки (любимое его слово),

не только шутки — сочно, вкусно воспринималось все, о чем он ни говорил. Даже недолюбливавшие его завистники не могли не поддаться его обаянию! Талантливости хватало ему и на творчество, и на жизнь, и на дружбу, и на случайных в общем-то людей, за которых он хлопотал, которым он помогал, которых хвалил и которые, случалось, его предавали. Так, один из молодых, одаренных, уже входящих в силу прозаиков, которого в свое время Герман похвально отметил, резко выступил против его прекрасной повести «Подполковник медицинской службы», когда первую часть ее, напечатанную в «Звезде», почему-то раскритиковали и оборвали публикацию повести в журнале, не говоря уж об аннулировании договора на издание отдельной книгой. Герману было трудно, но сил у него было столько, что он не упал духом, не перестал работать и за эти нелегкие для него годы написал большой исторический роман о Севере, о Петре Первом, об архангельском лоцмане петровского времени, одаренном, волевым человеке. Помню, как он принес мне большую рукопись, перепечатанную на отличной бумаге, — он любил отличную бумагу, отменные авторучки, усовершенствованные скоросшиватели, мощные дыроколы, вообще канцелярские принадлежности высшего сорта. Первое, что он спросил, когда я прочитал этот роман:

— Правда, хорошо напечатано?

— Правда, — чистосердечно отвечал я.

— И знаки все правильно расставлены?

— Как тебе сказать... — уклончиво отвечал я, зная, что пунктуация его слабое место.

— Неужели не все? — огорчился Юра.

— Как тебе сказать... — еще уклончивее отвечал я, прекрасно видя, что рукопись перепечатана перwokлассной машинисткой.

— Значит, все правильно! — разгадал он нехитрый розыгрыш, и мы дружно захохотали. Видно, что он был счастлив, написав эту новую крупную и неожиданную для него вещь, для которой так пригодились впечатления от Севера, где он провел годы войны. Судьба «России молодой» была удачлива. Скоро она была издана, и на подаренном мне экземпляре Юра написал: «Первому читателю этой книги». Редактировала ее наш общий друг М. С. Довлатова, и это тоже было удачей: не мно-

гие редакторы — редакторы по призванию и так одержимы своей работой, как была одержима Маргарита Степановна.

Настало время выйти в свет и «Подполковнику медицинской службы»; подарив его мне, Юра написал: «Первому другу этой книжки», и это тоже правда. Когда-то я прочитал рукопись «Подполковника» за один день и сразу же написал восхищенный отзыв для издательства. А через две недели разразилась гневная буря, задержав появление книги на несколько лет.

Говорят, у Диккенса была склонность особенно много работать тогда, когда он чувствовал себя плохо. Достоевский запойно писал, будучи весь в долгах, заложив в ломбард самые необходимые носильные вещи. Герман много и увлеченно писал всегда — и когда ему было хорошо, и когда плохо. Свой последний роман-трилогию он дописывал, когда на него навалилась тяжелая, изнурительная и, как он не мог не подозревать, неизлечимая болезнь. И он дописал этот роман и успел опубликовать его в «Звезде» еще при жизни.

Поразительно мужественно прожил Герман последние, скупотмеренные ему судьбой сроки. Мы считали его иногда легкомысленным, иногда эгоистом и гедонистом, иной раз уж слишком быстро меняющим свои вкусы, привязанности... Во-первых, это было совсем не так, как нам казалось со стороны: в нем все время происходила какая-то невидимая постороннему взгляду работа мысли и чувства, а мы видели лишь внешние результаты и перемены. Но главной, жестокой и самой точной проверкой оказались годы болезни: он провел их как истинный стоик.

В самые последние месяцы, когда он уже не мог писать, он диктовал стенографистке. Юра сказал мне, что он стеснялся бы диктовать постороннему, чужому ему человеку, — как и большинство из нас, привык быть наедине с бумагой, — но в данном случае его мысли записывала наш давний друг Ксения Николаевна Сотникова, которая привыкла стенографировать наши сумбурные подчас выступления и споры на худсовете и умела их изложить в удобопонятной форме.

Герман диктовал ей статьи, отзывы, ходатайства — у него всегда было много подопечных: взрослых, подрост-

ков, попавших в беду, нуждающихся в защите, в прописке, просто, наконец, в высказанном сочувствии, в добром слове. Так проводил Герман свои столь привычные ему трудовые часы. А в «свободное время», в дни, когда подле него не было ни друзей, ни врачей, ни деловых посетителей, когда он только лежал, ничего не диктуя, ни с кем не беседуя, — он читал. Едва ли не впервые в жизни он читал просто для развлечения легкую, приключенческую литературу. Я уже говорил, что Герман любил убеждать всех делать то, что делает он. Так и тут. Он уговаривал меня взять только что прочитанные им исторические романы Конан Дойля, хвалил их, очень хвалил, как обычно преувеличивая их достоинства. Не желая огорчать его, я их у него брал, не говоря, что у меня на полке стоит собрание сочинений Конан Дойля, что я читал и «Белый отряд», и «Изгнанников» и нахожу, что они скучнее исторических романов Вальтера Скотта, очаровывающих юмором и наблюдательностью, одновременно положительным и романтическим умом (это ведь Вальтер Скотт сказал о войне, что это единственная игра, где оба противника проигрывают)...

Нет, я не стал с ним спорить и огорчать и постарался сам не подать виду, как грустно мне слушать его горячие рекомендации вместе с признанием, что он уже не хочет читать любимые и серьезные книги; и только за дверью, спускаясь с Конан Дойлем под мышкой по узкой крутой винтовой лестнице, по которой, страшно подумать, может быть, скоро понесут — почти стоймя, опасаясь, как бы не уронить, — длинный гроб, в котором будет неподвижно лежать, лежать и молчать, навеки молчать, этот жизнелюбивый, словоохотливый, очень деятельный, очень талантливый человек, — лишь здесь я дал себе волю осознать, до чего вплотную, до жути близко подступила к нам эта беда и горе.

1 января 1967 года я позвонил Юре. Телефон стоял на стуле возле кровати, и он сам взял трубку. В первый и в последний раз я услышал от него такие слова:

— Вот так-то, Ленечка. Есть и слава, и деньги, а здоровья нет. И не будет...

Дело не только в том, что сказал он это безнадежным тоном, чего ни разу не позволял себе во время болезни, — дело еще и в том, что о славе он никогда не говорил всерьез, а уж тем более о своей, смеялся, шу-

тил над теми, кто о ней вслух мечтал или добивался, и иронически называл ее не иначе, как «славочкой»...

Юра умер 16 января. Еще накануне вечером он рассказал приехавшему к нему из Москвы близкому другу Даниилу Данину новый смешной анекдот, и оба смеялись, хотя обоим это было невероятно трудно.

Прошло время. Идет дальше. Иногда спрашиваешь себя, кого тебе больше недостает: Германа-писателя или Германа-человека? Проще всего ответить: это неделимо. И такой ответ будет чистой правдой. Правдой прежде всего потому, что сам Герман был неделим. Несмотря на то, что он любил жить,— не существовать, а именно жить, в самом широком, глубоком и в то же время житейском смысле этого слова,— писательство для него было абсолютно органично, как у больших музыкантов бывает абсолютный слух. При всем жизнелюбии, при всех увлечениях, разнообразных и прихотливых «хобби», как их теперь называют, при всем темпераменте, который он непременно вкладывал в эти подчас случайные интересы, он был каждодневным тружеником — всегда писал и не мог не писать.

Зачем же я спрашиваю — человек мне ближе или писатель? Нелепый, почти кощунственный вопрос... И все же ответить на него однозначно я не могу. С одной стороны, мы настолько по-разному жили — в силу многих причин, в том числе и несхожести характеров,— что сближала нас, скорее, литература. С другой стороны, мы и литературу любили нередко по-разному, — одно сближало нас, другое, пусть временно, разделяло (я приводил пример с Диккенсом и Стендалем).

Мне привелось писать о его книгах, о его рукописях,— он это знал и, наверно, ценил, тем более что мои отзывы приходились как раз на нелегкие для него годы. О «Подполковнике медицинской службы» я уже упоминал; начало другой рецензии, точнее — письма в издательство, помню и сейчас: «Жили-были две повести, одна называлась «Лапшин», другая — «Жмакин». Это были хорошие, интересные повести; непонятно, почему они давно не издавались. Но вот перед нами роман «Один год», в который они соединились,— по существу, это новая книга...» Потом написал в другое издательство о необходимости выпустить роман «Наши знакомые»,

не издававшийся более двадцати лет: «Зачем же лишать читателя возможности получить эту увлекательную, живую, горячую книгу?»

Но вслух, при встречах мы ни об этих, ни о новых книгах не говорили. Почему? Может быть, потому, что оба были «слишком» профессионалами (разумеется, каждый в своем роде)? Не знаю. Возможно. В эти годы мы вслух ничего своего и не читали друг другу,— все уходило в работу. А работал он, повторяю еще и еще раз, невообразимо много. Только в последней его трилогии сто печатных листов, то есть почти две тысячи страниц (кстати, хотел бы я видеть читателя, не дочитавшего их до конца!). Этот огромный труд он смог осуществить за семь лет, а ведь в те же годы он перерабатывал «Наших знакомых»; писал сценарии, да мало ли еще что, вплоть до статей в «Литературной газете» на тревожащие его темы.

Правы и не правы те, кто утверждал, что Герман писал специально для широкого читателя, писал так, чтобы интересно было читать. Да, он писал интересно, но вместе с тем он писал и для самого избранного и придирчивого читателя — для самого себя: он не мог не писать о том, что его глубоко волновало, и именно так создавался его последний роман. Я сказал раньше, что медицина не спасла его от болезни и безвременной смерти,— это, конечно, верно, но она дала ему в руки драгоценный материал для насыщенной творческой жизни: много лет медицина, ее творцы, ее труженики служили источником его вдохновения. Наверно, при жизни Германа я не употребил бы таких высоких слов — Юра их не любил,— хотя они точно выражают то, что происходило на деле.

Можно сказать и больше: заканчивая роман о врачах, будучи уже сам болен, Герман как бы рассчитывался с плохими врачами и прославлял хороших, и вера его в конечную победу науки над самыми грозными болезнями не поколебалась. Вот где ему пригодился весь его жизненный опыт, жадный интерес к людям, широчайший круг знакомств и встреч. Если в ранних произведениях еще кое-где заметно, что знание человеческой души, людских характеров в какой-то мере исходит от литературы,— пусть даже в ярко и сильно написанных Пал Палыче и Скворцове в «Наших знакомых»,— то чи-

новник от медицины Евгений Степанов написан в трилогии так, что мы с самого его детства видим, как складывался этот приспособленец и карьерист, мещанин и перестраховщик, не брезгующий ничем, чтобы сохранить и упрочить свое служебное положение. Евгений Степанов — это уже не литературное, не бытовое, а опасное общественное явление, и Герман его заклеил беспощадно. Автор презирает своего «Женюру» откровенно и жгуче, как откровенно и страстно он любит своего главного героя — Владимира Устименку.

Как ни странно, но суть Устименки кратко и ясно определила та, что потом причинила ему столько зла, — его будущая жена Вера Николаевна: «Что в вас главное? Внутренняя нравственная независимость». Она угадала: внутренняя независимость и одновременно с тем чувство долга диктуют Устименке все его поступки. Он нигде никогда не отступил, не солгал, не отрекся, не позаботился лично о себе. Когда война сделала его инвалидом и Вера хлопчет для него о пайке, о льготах, хочет, чтобы о его подвиге написали в газете, он с яростью ей кричит: «Ты не имеешь права не понимать, а если все-таки не понимаешь, то я заставлю тебя прекратить спекуляцию моей, черт бы ее побрал, судьбой! Заставлю!» Чтобы успокоиться, он раскрывает книгу Бербанка о кактусах (пригодилось Юре и увлечение кактусами!) и видит отчеркнутую кем-то фразу: «Кактусы мужественны и терпеливы: они умирают стоя». Красивые, поучительные слова! Но дело в том, что Устименке надо не умирать, а жить стоя, надо работать: он вечный делатель.


В лучших вещах Германа меня всегда покоряло то, что писал он о трудных характерах, о трудных судьбах, — он необычайно вырастал как художник, когда в таких людях ничего не смягчал, не подслащивал. Таким он написал Устименку. Автор ставит своего героя в самые сложные, порой трагические положения, задает ему сложнейшие жизненные задачи, и мы верим, что, максимально преданный нравственному, гражданскому и врачебному долгу, Устименко их строго выполнит, как бы ни было ему трудно. А трудно ему всегда, несмотря на его энергию, ум, одаренность: он словно ищет трудностей, и трудности словно ищут его...

Напомню вкратце один эпизод, где для выполнения

долга Устименке понадобился особый внешний и неослабный внутренний такт. Во время войны, на Севере, патрулируя в воздухе караван судов, тяжело ранен английский летчик, сбивший фашистский самолет. Наше командование поручает Устименке сопровождать раненого лейтенанта в Англию, к его матери, потерявшей на войне уже четырех сыновей,— это пятый. Ему двадцать лет, он полон сословных предрассудков: при первой же встрече Лайонел Ричард Чарлз Гэй Невилл с гордостью заявил, что он граф, последний мужской представитель знатного рода. И вот, резкий, нетерпимый ко всяческой внешней ерунде, к любым условиям, привилегиям, Устименко не имеет права даже в глубине души усмехнуться: он врач, а Невилл — смертельно раненный человек, которого уже невозможно спасти. Больше того: вопреки противоположности взглядов, мировоззрений, они постепенно сдружились. И Устименко везет умирающего, а затем умершего юношу в Англию, к его матери-аристократке. Он знает, какая тяжкая ему предстоит встреча, и не уклоняется от этой встречи. Он чувствует себя обязанным сказать матери все, ибо на его глазах сын ее не только умирал, но и рождался, — рождался, свободный от предрассудков, не желавший «носить ничей ошейник», понявший ту грязную игру, которую ведут его дядя и иже с ним в этой трагичнейшей из войн, и проклявший этих бесчестных людей.

Почему я выбрал именно эту главу, несомненно памятную всем, кто ее читал? Однажды Герман без предупреждения, без телефонного звонка вдруг пришел к нам домой уже поздним вечером и сказал, что хочет прочесть нам с женой и дочерью отрывок. И прочел. Написано это было с такой силой, от которой у нас сжималось сердце. С трудом превозмогал и автор свое волнение. Здесь слились воедино человек и мастер.

Таким я хочу запомнить Юрия Германа. Для этого единства он ведь и жил на свете. Потому и захотел к нам прийти и прочесть: чувствовал, что ради таких человеческих глав стоит ворочать горы, сидя годами за письменным столом. Понимал, что и мы понимаем это, иначе грош цена и нашей профессии, и нашей дружбе.



БЕЛЛЕТРИСТ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

В 1932 году весной, в гостях у Юрия Германа, я познакомился с Павлом Далецким. То был год больших удач для обоих, год, когда Горького, как я уже говорил, заинтересовали два романа — «Вступление» Германа и «Концессия» Далецкого. Для того и другого писателя это было событие, новый, счастливый этап в жизни, — можно представить, с каким волнением они ехали в Москву на свидание с Горьким! Но, то ли потому, что первое радостное возбуждение уже схлынуло; то ли до конца осознав ответственность за внимание и похвалу Горького, оба рассказывали об этих встречах сдержанно, сверхсерьезно, самоуглубленно и чуть ли не с опаской сообщали, что Горький расспрашивал их о литературных планах на будущее, советовал, убеждал, предостерегал.

— Ты понимаешь, — прочувствованно, с оттенком трагизма басил Герман, — в какое я попал положение! Попробуй, встань на мое место: писать, зная наверняка, что Горький проверит, оправдываешь ли ты его ожидания.

Говоря это, Герман смотрел на меня почти с завистью: еще бы, я был свободен от такого высокого контроля! Впрочем, меняться со мной своим положением он не собирался. . .

Несколько иную тональность имело неторопливое повествование Павла Далецкого. Горький с ним беседо-

вал о Дальнем Востоке, именно беседовал, деловито и основательно, в духе романа «Концессия», делился соображениями о наших торговых и промышленных связях с Японией. Мне даже на момент показалось, что Павел Далецкий в своем пересказе вольно или невольно усиливает деловой тон их беседы, придает ей отчасти какой-то ведомственный, но вместе с тем эпический характер.

Я не ошибся. Когда я лучше узнал Далецкого, я понял, что в этом человеке, равно как и в его сочинениях, причудливо сплелись реализм и фантазия. Да и в его устных новеллах, о которых я скажу позже, непременно присутствовала немалая доля преувеличения, и это при самой серьезной, подкупающе достоверной интонации. Фантазия его была всегда и во всем целесообразна, что сказывалось и на его внешнем виде. Павел Леонидович был высок, атлетически сложен, держался подчеркнуто прямо, прямее, чем все другие, одевался спартански просто, но тоже заметно отличаясь от других. Костюм цвета хаки или такая же куртка и при ней, смотря по сезону, шерстяные (точнее, грубошерстные), либо полотняные, либо холщовые брюки; летом на босых ногах постолы — кожаная подошва с ремешком, пропущенным между пальцами; осенью же и зимой — брезентовые, на кожаной подошве, ботинки или туфли; верхняя рубашка без галстука, с большим отложным воротником поверх воротника пиджака или куртки; вместо носового платка — бумажные салфетки, запас которых хранился в портфеле; с этим большим, изрядно потертым, но зато, в отличие от матерчатой обуви, кожаным портфелем он никогда не расставался и, сморкаясь ли, вытирая ли потный лоб, неизменно каждый раз вынимал из портфеля свежую салфетку: Павел Леонидович был образцовый гигиенист и чистюля.

Я не случайно подробно описываю его одежду, привычки: в какой-то мере они выражали стиль его жизни и его работы. Кстати, не исключено, что он сам шил себе холщовые штаны, — во всяком случае постолы были самодельными. Однажды мы шли с ним из Дома книги ко мне работать, и по дороге ремешок у его сандалии лопнул. Далецкий спокойно снял эту сандалию с ноги и в таком полуобутом виде дошагал до моего дома. Здесь он уселся в прихожей на низенькую скамеечку,

поставил перед собой табурет с необходимыми инструментами, суровыми нитками и прочим подсобным материалом, который у нас нашелся, и пока надежно не починил сандалию, пока не вымыл босую ногу и не обул ее, до тех пор мы не брались за рукопись,— всему свое время,

С первого часа знакомства до самых последних дней нашего общения, когда Павел Леонидович тяжело заболел, он всегда оставался самим собой — спокойным и рассудительным, без суетности и суеты. Его не менял ни успех, ни неизбежные в жизни, в работе каждого искреннего и честного художника неудачи, ни бедность, ни весьма солидный достаток (после большого успеха романа «На сопках Маньчжурии»). Полосы везения и невезения, как это часто случается, чередовались, чему иногда был причиной его своеобразный характер, но вот манера держаться, одеваться, говорить была постоянно одна и та же. Что скрывать, многие, в том числе и я, считали его чудаком, а так как чудил он порой весьма масштабно, то это иногда приводило к крупным недоразумениям. Так, в некие строгие времена вдруг оказалось, что не то в одной из своих ранних анкет, не то в устных рассказах Павел поведал, что в юности ему довелось посетить Японию. Случай в те годы нечастый, стали выяснять — как, что, почему,— и выяснилось: никогда Далецкий в Японии не бывал, зато знал о ней, действительно, больше иных профессиональных японистов. Павел был наделен поразительно точной и тонкой интуицией, позволявшей ему угадывать все возможные и невозможные детали изображаемой им жизненной среды, будь то дореволюционная Невская застава, современные торфоразработки или охотничий промысел в Уссурийском крае. Что касается Японии, то приведу лишь один факт, свидетельствующий об особом к ней отношении Далецкого.

В середине тридцатых годов Павел Леонидович жил в Доме творчества писателей «Елизаветино» вблизи маленькой железнодорожной станции того же названия. Как-то утром Далецкий спускался по деревянной скрипучей лестнице, которую только что вымыли и устлали газетами, чтобы сразу не затоптали, как вдруг его взгляд остановился на одной из этих газет: на ней виднелся портрет коротко стриженного пожилого человека,

Далецкий достал из кармана перочинный нож, нагнулся и аккуратно вырезал из газетной полосы этот портрет, промолвив с упрехом:

— Это же наш Сен Катаяма!

То был портрет основателя японской компартии, помещенный в прошлогодней газете. Я тогда еще мало знал Далецкого, но мне и тогда не хотелось смеяться над его, быть может, наивным поступком и чересчур благоговейным тоном, настолько это было сказано и сделано от души.

Прошло без малого двадцать лет нашего знакомства, не очень близкого, не перераставшего в дружбу или в пылкий литературный интерес друг к другу, но достаточно уважительного. И вот в 1950 году Далецкий привез в издательство «Советский писатель» новую рукопись. Привез не в такси, не в автобусе, не в трамвае, — а на детских санках. Дело было зимой, в рукописи было сорок печатных листов, называлась она «Сорок лет спустя». Вскоре рукопись попала ко мне, я читал ее много дней и написал отзыв на сорока страницах, из чего следует, что рукопись меня заинтересовала, да и размеры ее обязывали. Пока роман получал первое одобрение издательства, он вырос уже до пятидесяти листов, а пока я его редактировал (в продолжение года, не меньше) — листаж возрос до шестидесяти листов. Сразу скажу, что на моих глазах, растя вширь, роман рос и вглубь и что с той же щедростью, с какой автор писал новые, лучшие эпизоды и главы, он безжалостно марал и выбрасывал старые, более слабые. Увлекательно было следить за этой работой мастера.

Я сказал, что роман сперва назывался «Сорок лет спустя». Почему, откуда такое заглавие? Далецкий задумал произведение о войне Советского Союза с Японией, войне 1945 года, в которой он сам участвовал. После русско-японской войны 1904—1905 годов прошло ровно сорок лет, — так и назвал автор задуманную эпопею. Написанный им роман должен был по замыслу служить как бы прелюдией, но получил самостоятельное значение. Надо было искать для романа новое заглавие. Я робко предложил назвать роман так: «На сопках Маньчжурии». Робко, во-первых, потому, что мне оно показалось слишком расхожим и легкомысленным (на-

звание популярного старинного вальса), а во-вторых, я отлично знал независимый нрав Павла Леонидовича... И верно, он не подал и вида, что предложенное мною заглавие хотя бы немного его заинтересовало, а сам тем временем, ни слова мне не сказав, написал специальный пролог, где сюжетно обыграл граммофонную пластинку с этим вальсом и таким образом оправдал и укрепил «наше» заглавие. Он был настолько творческий человек, что любую заинтересовавшую его мысль непременно должен был превратить в живой эпизод, виртуозно вплести в живое повествование, — без этого она для него не существовала.

С ним было очень интересно работать, хотя и нелегко: как всякий настоящий художник, он не был покладист. Чтобы уговорить его сделать пусть небольшое изменение в тексте, чтобы он привык к этой мысли и решил претворить ее в дело, должно было пройти энное количество дней. Но и тогда, уже снова придя ко мне (мы обычно работали у меня дома), он продолжал оспаривать мою просьбу, больше — мою мольбу. И только когда он видел, что я на пределе терпения и вот-вот взорвусь, он обезоруживающе улыбался и раскрывал рукопись на злополучно-спорной странице: оказывается, за эти дни он не только согласился исправить и уже исправил, но пошел гораздо дальше, все это художественно преобразил, так что мой простенький, зачаточный вариант обрел плоть и кровь.

Павел по-детски радовался тому, что удачно меня разыграл, заставил погорячиться и что, пойдя по предложенному мною пути, все равно меня победил. А что до того, что в ходе двухдневных споров я проглотил уйму таблеток пирамеина и цитрамона, то на мои жалобы Павел добродушно отвечал:

— Значит, у тебя голова слабая.

Далецкий был необычайно щедрый автор. О его невероятной работоспособности ходили легенды, но, пожалуй, они еще уступали действительности, — каждый из знавших его может вспомнить красочный пример в этом роде. Он мог работать всегда и везде, даже загорая на пляже на пустынном в те годы острове Голодае, куда он ездил на велосипеде, прикрепив к раме портфель с рукописью. Однажды его застиг дождь, спрячься было негде, он слегка простудился и не явился

на нашу очередную встречу. Странно: проходит день, другой, третий — Павел не появляется, хотя обычно он сама точность; не звонит по телефону (ему позвонить я не мог — телефона у него не было). Наконец приходит и смущенно рассказывает, что ему помешала простуда. Я сначала даже не поверил, зная железное здоровье и закаленность Павла Леонидовича. Потом не удержался и сказал:

— Знаешь, Павел, эти два удивительных факта войдут в историю: нынче не стало Бернарда Шоу и на три дня прихворнул Павел Далецкий!

Тогда мы еще рисковали шутить о смерти и о болезнях, не зная, что скоро они войдут в наш повседневный быт: ежегодно будем терять и терять наших близких друзей...

...Прошло еще десять лет. Мы встретились около рентгеновского кабинета. Далецкий вышел из темной комнаты, сел рядом со мной на диван и сказал, как всегда, спокойно:

— Да, Леня, у меня рак.

Помню, я вскинулся:

— Не убеждай себя! Может быть, это совсем не то...

Он опять же спокойно, размеренно проговорил:

— Ты же знаешь, что я отношусь к этому философски.— Помолчал и добавил: — По возможности, разумеется.

Это верно: Далецкий к своей тяжелой, неизлечимой болезни отнесся стоически. А как же иначе? Он был личность, характер, большой, мужественный человек. Он не мельчил и не суетился в жизни, не мельчил и не суетился в литературе, в своей любимой работе,— не хотел суесться и перед смертью.

Но не надо думать, что он ко всему относился философски в житейском смысле, то есть фатально, равнодушно, безразлично. Нет, он был как раз бойцом, был очень активным, граждански активным человеком. Приведу близкий для меня пример: одним из первых Павел оценил талант молодого писателя Владимира Ляленкова и напористо воевал за опубликование его повести. Так получилось, что другие вещи Ляленкова, написанные позже, были напечатаны и изданы раньше этой, которая так полюбилась Павлу Леонидовичу. Он хлопот

тал, много работал с автором, и вскоре после смерти Далецкого повесть была напечатана. Он был бы рад, очень рад, ибо, будучи одаренным человеком, любил одаренность в других, любил деятельно, помогал этой чужой одаренности вполне проявиться, что, право, не столь уж часто встречается в искусстве. В данном случае это было особенно ценно, потому что Далецкий, как, возможно, никто из нас, был поглощен собственным неустанным трудом, — уж я-то это хорошо знал!

Я уже говорил, что поводом для нашей с Далецким дружбы послужил роман «На сопках Маньчжурии». Эта сложная работа по его редактированию, доведению до печати могла нас поссорить, — на деле же сблизила. Не помещали и временные размолвки, без которых не может обойтись ни одно серьезное дело. К тому же я успел вполне оценить этого столь непохожего на других литератора с его всеобъемлющими, всепроникающими способностями, интересами и, . . . чудачествами. Правда, я иногда не мог понять, шутит он или говорит всерьез, хотя, казалось, всегда умел отличить юмор от упрямства и предубеждения, а тем более от капризной выходки. Был, скажем, такой случай, когда я попросил его вычеркнуть из очередной главы один эпизод, показавшийся мне нескромным, фактически даже не эпизод — одну фразу. К моему изумлению, Далецкий побагровел и медленно, как всегда не повысив голоса, произнес следующие знаменательные слова (их нельзя было не запомнить):

— Ты поддался англо-американской пропаганде! Ты хочешь уменьшить деторождение в СССР!

Я не верил своим ушам, хотя ясно видел, что он взволнован. Все же я попытался обратить это в шутку, но Павел не принял шутливого тона. Надо сказать, что дело происходило в 1951 году, когда на такие и подобные темы порой рассуждали весьма серьезно, как на собраниях, так и в печати. . . После десятиминутного обоюдного молчания, занятого листанием рукописи — я листал следующую главу, он — предыдущую, вызвавшей стычку мы не касались, — Павел похлопал меня по коленке (мы сидели рядышком на диване) и примирительно сказал:

— Ладно. Не сердись. (Это я-то сердился! — Л. Р.). Пошли дальше.

И, прежде чем идти дальше, аккуратно зачеркнул спорную фразу. Она и занимала-то всего две с половиной строки, а оказалась чем-то вроде мины на нашем многодневном, исполненном споров и все же дружном пути.

Далецкий родился в Новогеоргиевской крепости, под Варшавой, но юность провел на Дальнем Востоке — учился, работал, преподавал русский язык и литературу. Там и начал писать стихи. Литературной студией руководили известные поэты — Николай Асеев, Сергей Третьяков. С тех пор в Далецком — уже давно ленинградце — не угасал жгучий интерес и любовь к Востоку, изображенному им потом во многих романах и повестях. А сколько я слышал от него устных рассказов — реальных, полуфантастических и совсем фантастических, которые, впрочем, он сообщал мне на полном серьезе.

Помню, когда в 1951 году к нам приехал китайский цирк и мы всей семьей отправились смотреть необычное представление, где больше всего было жонглеров и партерных акробатов и отсутствовали традиционные для нашего цирка клоуны и акробаты-высотники, работающие под куполом цирка, нас заинтриговал старичок, который, сложившись вдвое, пролезал сквозь обручи все меньшего и меньшего диаметра, так что в конце концов нам стало страшновато за ультрагибкого старичка. Этот впечатляющий номер завершил первое отделение, и, когда вышел инспектор манежа, чтобы объявить антракт, невольно представилось, как он объявит: «Инфаркт!» — и весь цирк поднимется на ноги, чтобы почтить память деда...

Естественно, что Далецкий тоже посетил китайский цирк, похвалил его, но сказал, что видел и более феноменальных китайских артистов. Например, жонглера, который, держа на подбородке шест, ставил на шест поднос с кипящим самоваром и чашками, разливал в чашки чай и раздавал зрителям.

— Позволь, как он мог дотянуться до самовара, до чашек, если поднос стоял на шесте?

Далецкий, не задумываясь, ответил:

— Значит, шест был коротенький. — Он помолчал. — Но возможно, что этот жонглер был и гипнотизером и все это внушил зрителям. — Он еще помолчал. — С

другой стороны, всему можно выучиться. Я знал человека, который сначала прыгал из окна первого этажа, потом второго, потом третьего. . .

— Надеюсь, третьим и ограничился?

— С чего ты взял? — возразил Далецкий и неумолимо продолжал: — Он овладел прыжками с пятого, шестого и, наконец, седьмого этажа.

— Хорошо, что тогда еще не было высотных домов.

— Что же в этом хорошего? — сурово посмотрел на меня Павел. — Он несомненно преодолел бы любую высоту. Конечно, постепенно. Торопиться в таких случаях не надо. — И снисходительно усмехнулся. — Это тебе не романы редактировать.

Возразить было нечего. И мы принялись за работу.

Да, у Далецкого был своеобразный юмор. Как и все, что он делал, он шутил очень серьезно, сохраняя строгое, даже важное выражение лица. Он никогда не острил, не рассказывал анекдотов, он рассказывал бы-ли, случаи из жизни. Некоторые из них через несколько дней имели продолжение. Помню, я только раз был у него дома, на Петроградской стороне. Он открыл мне на звонок дверь, одетый в легкое кимоно, хотя в квартире было прохладно — гуляли сквозняки, к которым я очень чувствителен.

— Ремонт, — коротко объяснил он. — Чинят ванну.

На следующей неделе мы встретились уже у меня. После работы (или в обеденный перерыв, потому что при разговоре присутствовали мои домашние) он рассказал о событиях в своей коммунальной квартире. Чиня ванну, рабочие обнаружили под ней серебро и прочие ценные и драгоценные вещи. Их задержали с поличным: они имели наивность вынести сокровища на Мальцевский рынок и разложить их на рогожке.

Мы дружно поахали, а еще через день Павел сумрачно сообщил, что у них в доме повесился управхоз.

— Нервы не выдержали: как это он не знал, что под ванной лежат такие ценности!

— А как это вы, жильцы, оплошали?

Далецкий пожал плечами. Повторяю: в случаях с устными былями Далецкого я иногда терялся. Бог его знает, быль или небыль? Розыгрыш или действительный факт, похожий на выдумку? А вот читателю лучших романов Далецкого и в голову не приходило

усомниться в жизненной подлинности хотя бы одного эпизода, пусть самого уникального и эффектного. Взять хотя бы дуэль секача-кабана с тигром. Мы с охотником Леонтием стоим за стволом кедра и видим весь ход и исход этой кровавой битвы, а затем вместе с ним вступаем в смертельно опасный уже для охотника поединок с тремя тиграми, на которых у Леонтия припасено всего три пули в винчестере да заряд дроби в охотничьем ружье. Нам хорошо известно, что не только мы, читатели, но, вероятно, и автор не видел этой неравной схватки, но сила и убедительность изображения таковы, что мы поневоле становимся ее участниками. Я нарочно взял для примера эпизод, близкий по содержанию к приключенческому жанру, но если в подлинность таких эпизодов в авантюрных романах верят лишь юные читатели, то здесь верим мы, взрослые, — такова мера правды, всамделишности в художественном письме Павла Далецкого. Как и в нем самом, в его прозе органически сочетались реализм и романтика.

С не меньшей убедительностью и достоверностью написаны японские, маньчжурские, китайские военные сцены и персонажи. Перечитывая недавно «На сопках Маньчжурии», я еще раз пожалел, что, будучи по достоинству оценен читателями, этот роман в свое время не был отмечен премией, на которую был представлен в 1952 году. Кстати, как раз мне пришлось везти его в Москву для официального представления и претерпеть досаду и огорчение, когда премия проехала мимо. Я словно знал, словно чувствовал, что этот роман — главный пик, высшее достижение в творчестве Павла Далецкого, последний и единственный шанс для широкого, всенародного признания его работы. Суть даже не в самой премии, а в том, что она влекла за собой миллионные тиражи, чего безусловно заслуживало это широкое, увлекательно написанное полотно. После «Сопок Маньчжурии» Павел написал еще две книги — «На краю ночи» (о Польше в годы второй мировой войны) и «Рассказы старшего лесничего», но они уже не имели такого успеха. В начале шестидесятых годов Павел тяжело заболел, в июле 1963 года скончался. За полгода до смерти ему исполнилось шестьдесят лет; из-за болезни было уже не до юбилея...

Мне хочется запомнить Павла таким, каким я видел его в одну из наших последних встреч, когда он еще был здоров, и не просто здоров, а что называется — в расцвете сил. Эта встреча опять же связана с нашей профессией. Дело в том, что моя пишущая машинка стала заметно стареть, часто требовала ремонта, а новых машинок в тот год не было в продаже. Мне кто-то сказал, что в комиссионном магазине на Невском проспекте выставлена не новая, но еще крепкая славная машинка. Кроме славы писательской у Далецкого была еще одна слава — великого знатока пишущих машинок, чему я охотно верил: недаром же он написал на машинке добрую сотню тысяч страниц (если не миллион!), насчет чего немало острили и в «Литературной газете» появилась карикатура, где он изображен сидящим на толстой связке своих сочинений (как в свое время изображался Эмиль Золя и Петр Боборыкин).

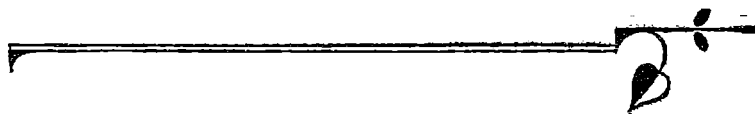
Прежде всего меня подкупило то, что Павел охотно согласился сопровождать меня в магазин и осмотреть машинку: я знал, как он дорожит каждой минутой дневного рабочего времени. Мы вошли, увидели стоящую на полке машинку (не помню фирмы, — какая-то старая, не то «Ундервуд», не то «Континенталь», но внешне вполне приличного вида), и дальше распоряжался Павел, я был лишь немым свидетелем. Он попросил продавца поставить машинку на прилавок, внимательно ее осмотрел, ощупал, подвигал все рычаги, делая это неспешно, умело, уверенно и тем вызывая у продавца уважение как к серьезности своих планов, так и к своей квалификации. Потом тем же своим достойным, непрекаемым, в высшей степени убедительным, без малейшего видимого желания убедить, напротив — самым естественным, натуральным басом попросил дать ему стул, и ему беспрекословно дали (боже, как я завидовал его врожденному или благоприобретенному умению так победительно, без нажима, без повелительных и просительных интонаций воздействовать на людей!). Удобно усевшись, Павел достал из портфеля, с которым никогда не расставался, лист чистой бумаги, вложил в машинку и аккуратно заправил за валик. Прилавок, на котором стояла машинка, был довольно высок по сравнению со стулом, но так как Далецкий был сам высокого роста, ему это не мешало. Ему вообще ничто не ме-

шало: ни пестрая теснота комиссионки, ни бродившие взад-вперед любопытные покупатели, ни строгие продавцы, не мешал, наконец, я, топтавшийся рядом. Далецкий спокойно положил на клавиатуру свои большие красивые руки и начал работать. Через минуту-две весь лист был заполнен. Впечатление было такое, что большой, прославленный музыкант сыграл бравурный прелюд Рахманинова.

А еще через полминуты Далецкий встал и вразумительно, общедоступно, как все, что он говорил и делал, объяснил мне, какие у этой машинки имеются недостатки и почему не стоит ее покупать.

Но я был доволен. Доволен уже тем, что полюбовался незаурядным зрелищем. Я даже не очень внимательно слушал Павла. «Артист! — непроизвольно подумал я. — Настоящий артист!»

И на самом деле, в его натуре было что-то артистическое, иначе он не запомнился бы мне так пластично, так выпукло. . .



СЫН СВОЕГО ОТЦА

Жизнь друга — это и твоя жизнь», — писал я о дружбе с Евгением Шварцем. Тем больше оснований сказать это, вспоминая о Николае Чуковском: знакомство и дружба с ним длились три с половиной десятка лет, почти с первых моих шагов в литературе; вот почему воспоминания о нем так похожи на хронику — хронику его и моей жизни.

С чего начну? Пожалуй, с того, в чем сходились и расходились наши литературные вкусы и склонности. Недаром же мы при встречах спорили обо всем, но до хрипоты — все-таки о литературе.

Недавно для меня было приятной неожиданностью узнать, что в ранних записях его отца, Корнея Ивановича, существуют два хорошо знакомых мне четверостишия. Одно — начальные строки стихотворения Фета:

Ночь светла, мороз сияет, —
Выходи! Снежок хрустит,
Присяжная озябает
И на месте не стоит.

Другое — из Саши Черного, совсем в ином роде:

Ах ты, душечка, смеется!
Отворила ворота.
Сногшибательно несетя
Кислый запах изо рта!

Я сразу вспомнил, как любил повторять вслух эти строчки Николай Чуковский, с удовольствием, особенно вкусно выговаривая:

Присяжная озябает
И на месте не стоит.

К моему удивлению, оказалось, что, при всей независимости от отца и его литературных привязанностей, сын помнил и твердил наизусть как раз те стихи, что нравились и Корнею Ивановичу. Я обрадовался этой преемственности! Нам всем приятно, когда наши дети и внуки любят то, что любим или любили мы, а еще раньше — наши отцы и деды. . .

В семье Чуковских такая преемственность отнюдь не распространялась на многое, — чаще, наоборот, ратоборствовали полярные привычки и вкусы. Так, например, Чуковский-сын был равнодушен к Маяковскому; Чуковский-отец увлекся им с первого же его дерзкого появления в литературе. Отец ценил словотворчество Велемира Хлебникова и других «будетлян»; для сына Хлебников с его поэтическими поисками и открытиями словно бы и не существовал.

Не существовал? Нет, неверно: существовал, но при этом — пылко отрицался. Меня поражали ожесточенность, неприязнь, раздражение, мгновенно охватывавшие Николая Корнеевича, как только речь заходила о футуризме или об ОПОЯЗе, словно с этим связано было что-то глубоко личное, обидное, оскорбительное. Впрочем, он во всех случаях жизни был максималистом: уж либо горячо за, либо пламенно против! Таков был его характер, таковы принципы, проявляемые и в большом и в малом. Скажем, он не просто не читал детективных романов — он презирал их, уничтожающе издевался над теми, кто их читает, обрушивал на этих несчастных, жалких людей яростные филиппики, которым могли бы позавидовать авторы некоторых сегодняшних статей, порицающих произведения Агаты Кристи. В этом также сказывался «чуковский» темперамент, заставляющий ко всему относиться или с любовью, или с презрением. «О, если бы ты был холоден или горяч! Но ты не холоден, не горяч, — потому я извергну тебя из уст моих. . .»

Но если Чуковский-сын страстно отвергал детективы,

то Чуковский-отец с нескрываемым удовольствием читал их и перечитывал, особенно в старости. В статье «Нат Пинкертон и пинкертоновщина», написанной в 1908 году, Корней Иванович, хваля конан-дойлевского «Шерлока Холмса», столь разительно отличавшегося от рыночной дешевки так называемых «сыщиков», еще не мог удержаться от легкой иронии по его адресу. Зато в 1966 году, редактируя эту статью для собрания своих сочинений, Корней Иванович уже с безусловной похвалой, я бы даже сказал, с благодарностью отзывается о Конан-Дойле, да и о других первосортных детективных писателях. Может быть, к старости появилась потребность в занимательном чтении для отдыха или для упражнения мозга в решении логических загадок? Как известно, многие большие ученые, например Менделеев, любили читать приключенческие и криминальные романы, хотя вряд ли считали их той самой литературой, которая призвана решать великие нравственные и художественные задачи.

Между прочим, презирая детективы и «приключенцев», Николай Чуковский отлично перевел «Остров сокровищ» и «Черную стрелу» Стивенсона и несколько рассказов Конан-Дойля. Более того, он считал, что, если бы захотел, мог бы писать приключенческие романы не хуже, а лучше Дюма и Жюль Верна... То ли он меня дразнил, то ли действительно так думал! Отличная его книга для детей «Водители фрегатов» — о капитанах Джемсе Куке, Лаперузе и Иване Крузенштерне — это биографические и географические, но никак не приключенческие повести, хотя их герои испытывают множество приключений. Попробую объяснить, в чем вижу разницу, — Коле я не мог ее доказать в устной беседе: он побеждал меня своей неотразимой логикой и ораторским искусством!

Читая Жюль Верна, Дюма, Стивенсона (последний из них — по праву первый: он настоящий художник, поэт, тонкий стилист и глубокий психолог), читая и перечитывая их, живо чувствуешь, что они увлеченно претерпевают вместе с героями все приключения, что им по душе эти авантюры. Что это такое на деле — искреннее ли сопереживание, свойственное тем взрослым счастливым, в натуре которых навсегда сохранилась детская тяга к страшному и таинственному, или уже умело и

тонко запрятанный писательский расчет, безукоризненно срабатывающий при чтении? Внутренне я убежден, что авторы настоящих приключенческих произведений жгуче желали бы пережить вместе со своими героями (или вместо них) все, что тем довелось испытать.

В прекрасно написанных «Водителях фрегатов» их автор ни на одной, самой, казалось, захватывающей по содержанию странице не становится рядом с героем, тем более не отождествляет себя с ним: он пишет как бы со стороны, просвещая читателя, сообщая ему полезные и интересные сведения, популярно и занимательно их излагая, и на этом его миссия кончается. Это не значит, что его книга хуже романов Жюль Верна,— наоборот, она лучше многих жюль-верновских книг, устаревших по сообщаемым в них географическим, астрономическим и прочим фактам, книг, часто наивных по форме, по сюжетным приемам: она просто принадлежит к другому жанру, питаемому не мечтой, а знанием.

Почему я об этом говорю? Да просто потому, что на эту тему мы часто спорили. Так, Колю безмерно раздражала «беспочвенная фантазия» и «научное легкомыслие» Александра Грина, который словно нарочно путал все топонимические и лингвистические понятия и факты, когда сочинял свой Зурбаган или придумывал экзотические имена для своих героев. То, что мне представлялось поэтической свободой, для Николая Корнеевича, с его методическим складом ума и профессиональным знанием английского языка, казалось чуть не безграмотностью.

Вообще, наша дружба родилась из споров, мало того — из резких, до чрезмерности резких публичных выпадов друг против друга. В начале тридцатых годов в Ленинграде существовало так называемое «Молодое объединение», соединявшее в себе писателей разного возраста и литературного опыта. Входили в это объединение и мы с Н. К. Чуковским, поэтом, прозаиком, переводчиком, литературный стаж которого измерялся уже целым десятком лет. Литературно-общественная жизнь тогда, что называется, была ключом, особенно после ликвидации РАППа, посылно разъединявшего разных писателей и одновременно в поте лица пытавшегося всех сделать одинаковыми, «однородными», как говорил Маяковский, производя это определение от От-

дела народного образования. Мы с охотой собирались в столовой Ленкублита на Невском, 106 — писательского клуба еще не было — и с горячностью обсуждали наши книги, чаще всего первые, если не считать книг двух-трех ветеранов, таких, как Николай Чуковский.

На одном из таких вечеров подвергли обсуждению мою книжку «Базиль». «Базилья» разобрали подробно, по косточкам, но сравнительно благожелательно, причем выступали и профессиональные критики, правда тоже не старые, но казавшиеся нам многоопытными и свирепыми заплечных дел мастерами. Но свирепее всех в конце обсуждения выступил не критик, не литературовед, а писатель Н. К. Чуковский, заявивший, что книжка моя как раз клад для критиков, любящих иметь дело с разверстанной на диалоги и описания голой социологией, но что искусство в этом произведении и не родилось. После Николая Чуковского выступил председательствовавший на собрании поэт Александр Гитович, сдержанно, но веско защитивший «Базилья», но ушел я с тяжелым чувством, — еще бы: «искусство и не родилось...»

Недели через две «Молодое объединение» обсуждало новую книгу Николая Чуковского, называвшуюся «Повести», и я решил дать бой. Да, как это ни смешно, ни наивно, как ни прямолинейно и даже грубо, но я и не подумал о том, что все примут мою резкую критику за отместку, за дикую, гневную выходку: «Ах, ты бранил меня? Так вот тебе за это!..» Я даже «обнажил прием», заявив:

— Книга Николая Корнеевича — лишь холодная имитация литературы. Искусство в ней если и родилось, то чтобы сразу же помереть от скуки!..

Я пишу по памяти, наверняка я сказал как-нибудь проще, нескладнее, но смысл был такой. Главное же, что я был не только не прав, но и не слишком-то искренен. По крайней мере, входивший в книжку рассказ «Цветок» мне очень понравился; позднее я убедил Николая Корнеевича включить его в свое «Избранное», но в тот вечер меня так занесло, что, не удовлетворившись своей хлесткой фразой насчет искусства и скуки, я еще ударил цитатой из Пастернака:

Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб

Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лужги.

— Николай Корнеевич,— заключил я,— пишет о глупом слое лужги. Лично я — за полет голой сути! — и сел.

Конечно, это была демагогия, зато на каком накале! И вдруг слушатели захлопали. . . Такого в нашем объединении не водилось. Я даже не сразу понял, что это хлопали не мне, а цитате — строкам из «Высокой болезни» Бориса Пастернака,— и невольно взглянул на Николая Корнеевича. Меня поразило его грустное лицо — обычно он всегда улыбался, даже когда говорил другим неприятные вещи. А тут неприятно мне стало из-за себя: вместо удовлетворения я испытал досаду — зачем я все это говорил? Не надо, не надо было мне выступать!

Меня ждала еще бóльшая неожиданность. Когда мы уже расходились, в прихожей ко мне подошел Николай Корнеевич, и, вместо того чтобы упрекнуть, побранить, издеваться (это он здорово умел), он предложил — встречаться. . . Совершенно не помню, как он это сказал, улыбаясь или все с тем же грустным видом, и что я ему ответил — смутился или нашелся,— важно другое: после этого вечера мы стали видаться все чаще, а вскоре по-настоящему подружился, и это уже на всю жизнь. Но я так никогда и не спросил, что побудило его ко мне подойти. Счел ли он меня «опасным» противником и решил, что лучше со мной дружить, чем ссориться? Или его заинтересовала горячность моего выпада, а тем самым и личность оппонента, возникло желание узнать его ближе?

Собственно, мы знакомы были уже года два, но поверхностно, и произошло это так.

Ранней весной 1931 года писатель Сергей Колбасьев, автор морских рассказов «Поворот все вдруг» и повести для детей «Салажонок», задумал отправить себя и еще нескольких ленинградских писателей в морское плавание. Предполагалось, что он, Михаил Чумандрин, Сергей Семенов, Александр Гитович, Николай Чуковский и я поступим матросами в Совторгфлот; фактически мы будем выпускать на корабле стенгазету, вести корабельный журнал, ну и, конечно, участвовать в чрезвычайных авралах наравне со всей командой. Мы увлеклись такой заманчивой перспективой. Мих. Чумандрин и С. Кол-

басьев договорились с Ленинградским управлением Совторгфлота, все мы заполнили соответствующие анкеты, приложив к ним фотографии, и примерно распределились на разные суда и рейсы. На мою долю выпало совершить рейс Ленинград — Одесса — Ленинград, с заходом в Алжир и еще куда-то. Сергей Семенов, будущий челюскинец, выбрал себе китобойное судно, — других это не привлекало.

В месяцы ожидания Н. Чуковский подарил мне свою книгу «Один среди людоедов» с таким автографом: «Будущему мореплавателю от соплавателя». Мы посмеялись над неблагозвучием слова «соплаватель», я несколько раз побывал дома у Николая Корнеевича по чисто деловым поводам, и на том все кончилось. «Плавание» и «соплавание» ограничилось двумя-тремя нашими коллективными встречами в Морском порту, в Управлении Совторгфлота. Что помешало — трудности оформления литераторов в качестве матросов или невозможность предоставить нам жилье на корабле, где всегда с этим трудно (это не нынешние теплоходы-гиганты), — мы так и не узнали: вдруг все затухло. Не исключено, что причину отказа знал Михаил Федорович Чумандрин, в то время руководитель ЛАППа.

Кстати, Чумандрин почему-то считал, что Николай Чуковский живет и работает окруженный заботой отца, что Корней Иванович поддерживает его материально, опекает все его литературные начинания и что Коле тепло, как у Христа за пазухой... Чумандрин так его и называл — «Коля Папин» (в отличие от действительно существовавшего литератора Коли Мамина, бывшего моряка).

Досадное заблуждение. Когда я ближе познакомился с кланом Чуковских (употребляю это слово с легкой руки самого Корнея Ивановича, который однажды в письме ко мне назвал себя «старейшиной клана Чуковских»), я узнал и понял особенности взаимоотношений в этой сложной семье и еще раз решительно утверждаю, что Николай Чуковский во всем, что он делал, был абсолютно самостоятелен, за исключением самых первых своих прозаических переводов под редакцией Корнея Ивановича; о стихотворных переводах особая речь: Николай Чуковский и начинал как поэт, — его поэму «Козленок» заметил и похвалил Горький. Са-

мостоятелен он был и в житейских делах: он очень рано женился (как, впрочем, и отец), поселился отдельно от родителей и стал худо-бедно, но сам содержать свою семью.

Выбившийся из газетных низов, Корней Иванович справедливо считал, что все материальные трудности, испытываемые молодым литератором, совершенно нормальны, так сказать, узаконены его положением и возрастом, иначе не может и не должно быть. Корней Иванович часто и рьяно ходатайствовал по делам многих литераторов и нелитераторов, но почти никогда не занимался делами сына, хотя с какого-то времени пристально и даже ревниво следил за его работами, радовался, если их хвалили в печати или в частных беседах. В этих случаях сообщал приятную новость в письме, поздравлял Колю с успехом, — иначе говоря, поощрял его словом, но не делом, разве лишь в исключительных обстоятельствах, да и то без особого старания и темперамента, столь характерных для него во всем. Кто может знать, принцип это или своеобразное тщеславие, если такое слово подходит? Корней Иванович любил похвалы, благодарности, исходившие от посторонних, а от своих — это неинтересно! Это, конечно, мои догадки, возможно, нескромные и малоудачные, но повторяю: называть Николая Чуковского «Колей Папиным» никаких оснований не было.

Итак, с мореплаванием у нас ничего не вышло. Как же наладилось и закрепилось наше знакомство, из чего выросла дружба? Пожалуй, я буду близок к истине, если скажу, что дружба наша подвигалась толчками, от одной поездки к другой. Так, в 1933 году, вместо путешествия по морям, мы отправились в путешествие сухопутное, по железной дороге, и не в какие-нибудь далекие края, а всего лишь в Москву. И все же эта поездка была не совсем обычной — купили билеты и поехали: мы добирались до Москвы целую неделю, и не в пассажирском вагоне, а в вагоне-редакции.

Управление Октябрьской железной дороги предложило небольшой группе писателей (тогда это называлось бригадой) и художнику-карикатуристу участвовать в рейде (так это тогда называлось) по станциям и депо Октябрьской дороги. Мы охотно согласились и в марте 1933 года отправились, готовые выполнять любые газет-

ные задания. Первый вечер мы провели роскошно. Вагон наш делился на три части: три четырехместных купе, собственно редакционное и типографское отделение и «салон»; в салоне нас ожидал бочонок красной икры и масса бутылок пива,— никакого другого угощения и питания (кроме, разумеется, хлеба) не было, да мы в нем в тот вечер и не нуждались; впрочем, во все остальные дни не было ни икры, ни пива — была работа, а питались мы как обычные пассажиры — наспех забегали в станционные буфеты.

Когда мы прибыли в Москву, наш вагон поставили где-то на запасных путях, примерно за километр-полтора от вокзала. Вылазки в город мы совершали вечером. Центр Москвы был весь разрыт, всюду виднелись деревянные вышки, тянулись заборы, за которыми происходила таинственная работа: сооружалась первая очередь метро. Одновременно ликвидировалась Китайгородская стена, сливались Манежная площадь и площадь Революции, в Охотном ряду строилась гостиница «Москва», напротив нее — Дом Совнаркома. В общем, куда ни глянь, Москва перестраивалась, меняла привычный облик — привычный для москвичей,— я-то был человек заезжий, Москву знал плохо.

Мы с Колей ходили в театры. На «Двенадцатую ночь» во 2-м МХАТе с С. В. Гиацинтовой в роли Марии. (В жизни я встретился с Софьей Владимировной через тридцать пять лет, когда она готовилась играть Марью Львовну в «Беспокойной старости» в Московском театре имени Ленинского комсомола.) Смотрели и слушали знаменитых стариков Малого театра в «Нравах Растеряевой улицы» Глеба Успенского — эти сочные зарисовки, великолепным языком которых великолепно владели Массалитинова, Турчанинова, Рыжова, Климов.

В вагон-редакцию возвращались ночью по плохо освещенным железнодорожным путям. Под ногами копать, мазут, остатки талого мартовского снега. Известно, по какому из этих путей, расходящихся веером от Москвы-пассажирской, от Ленинградского вокзала (тогда он назывался Октябрьским), нагрянет на нас, ослепит, а то и сомнет скорый поезд: по вечерам их много уходит из Москвы. Днем бывали в депо, разговаривали с машинистами, писали газетные заметки.

Как известно, поездки сближают, и в вагоне-редакции мы с Николаем Корнеевичем нашли много поводов для сближения. Главным была любовь к стихам. Мы оба любили Тютчева, Фета, что для тех лет было некоторым анахронизмом: эти два замечательных русских поэта считались тогда, в разгар вульгарного социологизма в литературоведении, не просто устаревшими, но и прямыми выразителями дворянско-помещичьей идеологии, а их стихи пригвождались формулой «поэзия чистого искусства», это звучало страшнее любого средневекового заклинания с участием бородавчатой жабы.

Сбежав от прелестного, но несколько утомившего нас за неделю острословия Флита и талантливых шаржей Шабанова на всех, кто его окружал, мы укрывались в тамбуре и наизусть читали стихи. То есть читал Николай Корнеевич, а я лишь подбрасывал ему время от времени отдельные строчки. Коля прекрасно читал стихи — экспрессивно и музыкально, хотя не любил и не понимал музыки, объясняя свое неприятие логично и убедительно, как объяснял все. Он со смехом говорил, что в филармонии, которую он иногда посещает, чтобы составить компанию жене, пересчитывает от нечего делать во время концерта трубы органа.

— Их всегда одно и то же число! — И уверял, что так одинаковы для него звуки любого музыкального произведения, что бы ни исполнялось. . .

Одно из самых любимых его стихотворений было фетовское:

На стог сена, ночью южной,
Лицом ко тверди я лежал. . .

Особенно его поразительная концовка:

И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Все невозвратнее тону.

После войны почти каждое лето мы бывали с ним в Коктебеле, и, когда гуляли вечером по шоссе, под южным звездным небом, он часто под звон цикад твердил эти строки (что может засвидетельствовать сопутствовавшая нам иногда Маргарита Алигер!).

Очень любили мы оба бунинское стихотворение:

Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей,
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.

Как это нередко у Бунина, на одну и ту же или похожую тему написано стихотворение «Портрет» («Погост. Часовенка над склепом. . .») и рассказ «Легкое дыхание»; также, скажем, стихотворение «Художник» не просто навеяно воспоминаниями о Чехове, а точно воспроизводит один из эпизодов этих воспоминаний — даже слова и детали те же. И мы говорили о неотступной потребности большого таланта как можно полнее выразить, сохранить самые дорогие для него впечатления.

Мы с Колей оба любили Блока, могли без конца вспоминать его стихи, особенно из третьего тома, Вероятно, со стороны чудно было бы посмотреть и послушать, как мы по очереди угрожающе кричали друг другу!

Подойди, подползи, я ударю,
И, как кошка, ощерись ты!

Я редко кому завидую, но не мог не позавидовать Коле, когда он рассказал, как в 1920 году Блок пришел по какому-то делу к Корнею Ивановичу, а того не было дома, Блок решил его подождать и присел на диван, на котором лежал больной Коля. Ни тот, ни другой не сказали ни слова до прихода Корнея Ивановича, но можно легко представить, сколько стихов, вопросов, восторгов бушевало в душе пятнадцатилетнего Коли!

Сложней обстояло с нашим восприятием Мандельштама и Пастернака. Обоих Коля давно знал лично, с Пастернаком часто встречался, живя под Москвой, в Переделкине; с Мандельштамом виделся в юности, и в 1964 году опубликовал в журнале «Москва» воспоминания об этих встречах; но стихи их любил — как бы точнее сказать? — избирательно, что ли. В Пастернаке, мне кажется, ему мешала взвинченная до предела метафоричность и сопряжение подчас слишком далековатых ассоциаций, — все это было чуждо строго логическому уму Николая Корнеевича. Много позже узнал я, что Коля, читая вслух стихи Пастернака своим домашним;

пропускал все стихи, посвященные музыке, которых у Пастернака много («Опять Шопен не ищет выгод...», «Рояль дрожащий пену с губ оближет...», «Мне Брамса сыграют, я вздрогну, я сдамся...» и др.). И это понятно: Коля, как я сказал, не любил и не понимал музыки, а Пастернак в юности хотел стать композитором и учился у Скрябина, о чем рассказал после в «Охранной грамоте».

Как обстояло с Мандельштамом? Казалось бы, склонность Мандельштама к ассоциациям историко-культурного ряда, связанным с эллинизмом, античностью, должна была быть близка и понятна образованному и тоже склонному к историческим параллелям Николаю Чуковскому. Но опять же для него не хватало в стихах Мандельштама прямой, строгой логики, какая, скажем, в избытке была у Брюсова, хотя к Брюсову Николай Корнеевич был сравнительно равнодушен, как вообще к символистам, кроме Блока и Сологуба. Некая туманность, «размытость» античных ассоциаций у Мандельштама, одно лишь упоминание мифологических имен, без раскрытия связанных с ними мифов, не удовлетворяли и порой раздражали Колю. Недаром еще в середине тридцатых годов он, не без ехидства, спросил — а знаю ли я, кто такая Персефона, Эвридика, еще и еще кто-то? . . . Отсюда я мог заключить, что Коля считает эти стихи Мандельштама стихами в так называемом антологическом роде, какие писали Щербина, Мей, Майков и другие, откровенно говоря, малоинтересные мне поэты. Малоинтересны, кстати, они были и Коле, — тем непростительнее, я считал, ставить рядом с ними Осипа Мандельштама с его тончайшим проникновением в дух, а не в букву эллинизма. . . (Разумеется, это не значит, что, читая Мандельштама, можно не знать и не поинтересоваться, кто такая Персефона!)

Впрочем, многие стихи Мандельштама, главным образом ранние, Коля любил, но любил как-то молча, не делясь с другими, редко читал вслух, что для него необычно. Помню, уже в пятидесятые годы он пришел к нам в Ленинграде с Эммануилом Генриховичем Казакевичем, и мы почему-то сразу заговорили о Мандельштаме, которого Казакевич почти не знал. Я стал читать его стихи разных лет, а Коля все слушал молча, не выражая ни одобрения, ни порицания. Возможно, сдержан-

ность объяснялась тем, что ему мешала как бы нарочитая затрудненность (а то и заумность) последних стихов Мандельштама. Но ведь нравились же Коле стихи рано умершего Константина Вагинова, поэтическая речь которого была тоже порой сложна, поэта умного и талантливое, но по масштабу дарования конечно же не сравнимого с Мандельштамом. (Коля однажды даже обиделся за Вагинова, книжку которого ему подарил Арсений Тарковский, сказав, что этот поэт его не интересуется.)

Итак, наши с Колей поэтические вкусы в чем-то совпадали, в чем-то разнились. Но были у нас и резкие расхождения, резкие до ссор, до крайностей, какие, судя по началу наших взаимоотношений, были неизбежны. Скажем, он не только не любил и не признавал Хлебникова и Цветаеву, но и уничтожающе издевался над моей к ним приверженностью, особенно к Марине Цветаевой: ее необычный синтаксис, обилие синкоп, ритмическая напряженность, обнаженная мускулатура ее стиха были ему враждебны и чужды.

Забегая вперед, скажу, что неприятие этих поэтов сохранилось до конца его жизни, разве что с годами стало не столь азартным, он перестал ни с того ни с сего на них нападать, как это было в молодости. Не скрою, я обижался и за них и за себя. Трудно было не обижаться и не сердиться, когда он в ответ на отличные строчки из «Ладомира»:

Дела купцов, всегда скупцов,
Порока грязные поруки... —

раздражался насмешливым: «Тю, Леня, тю!» — что означает: «Ну и сел же ты, братец, в лужу!»

Николай Корнеевич обладал одной особенностью: любил укусить и тут же поцеловать укушенное место, и наоборот, среди сладчайших объятий и поцелуев (разумеется, в переносном смысле) вдруг нанести ядовитый укус. Правда, такое мгновенное переключение порой оказывалось весьма кстати, позволяя быстро переходить от ссоры к миру (хуже, если наоборот!). И вот уже мы наперебой, но в полном согласии восхищаемся тем, что оба любим, забыв о недавней враждебной вспышке.

Но вернусь к нашим все более и более частым и дружным совместным поездкам. Через год после желез-

нодорожного рейда, летом, перед Первым съездом писателей, мы с Н. К. Чуковским поехали в Мурманск. С этим городом познакомились мы уже раньше: в 1930 году поэт Александр Гитович и я провели на Мурмане весь июнь, а только что перед нами на Мурмане и на Белом море побывали Н. Чуковский, Е. Тагер, С. Спасский и Г. Куклин. Наверно, еще никогда этот северный край не посещало сразу столько литераторов! К 1934 году город Мурманск успел измениться, но не очень: та же двухэтажная деревянная гостиница, тот же крохотный вокзальчик, тот же продмаг со столовой наверху. Но прибавилось жилых домов, увеличился порт, появился клуб с большим театральным залом, где мы и встретились с читателями. В первом ряду, перед самой сценой, сидела пожилая дама, разложив на коленях навывказ «Крокодила», «Муху-Цокотуху» и другие знаменитые книжки Корнея Чуковского в ярких обложках. Я старался отвлечь от них внимание Николая Корнеевича, впрочем и без того отвлеченного и озабоченного предстоящим своим выступлением и смотревшего не вниз в первый ряд, а, как это часто бывает, куда-то вдаль, поверх голов...

Это пример того, как знаменитая фамилия не только не помогала Николаю Корнеевичу в литературе и в жизни, как полагал Чумандрин, да и не он один, но мешала, причиняла боль, приводила к обидным недоразумениям. Один случай был особенно дикий и глупый. Мы жили в Ялте, в писательском Доме творчества. Соседний Дом отдыха (или санаторий, не помню) попросил выступить у них перед случайными, типично курортными слушателями. Конферировал Безыменский. Он объявил Николая Асеева (нешумные, но вполне достойные аплодисменты), Бориса Левина — автора только что вышедшего романа «Юноша» (сдержанные, но вежливые приветствия), Рахманова (очень жидкие хлопки, поскольку меня никто не знал), Чуковского... — гром оваций! Безыменский поспешно поправился:

— Чуковский-сын... Николай...

Последовал один жалкий хлопок. Можно себе представить чувство неловкости, овладевшее всеми участниками литературного вечера. Мы боялись взглянуть на Николая Чуковского. А ведь он к тому времени (1938 год) был автором семи или восьми книг, детских

и взрослых. Правда, книги печатались небольшим тиражом, и переиздали некоторые из них много позднее, когда Николай Чуковский стал автором «Балтийского неба».

Еще о Мурманске 1934 года. Днем мы пошли прогуляться в горы,— во время войны, когда я снова попал на Мурман, их называли сопками и за каждую сопку упорно сражались. Поднявшись на возвышавшееся над городом плато, мы оказались вдруг на унылом болоте и увидели вдали то странное кладбище, которое я описал потом в рассказе «Замужний редактор»: черные торфяные могилы и на некоторых из них, вместо памятников, вместо крестов,— деревянные детские кровати, ярко окрашенные, с висящими на них игрушками. Это произвело на нас очень сильное впечатление, сохранившееся надолго, можно сказать — навсегда. Во всяком случае, когда через несколько месяцев я прочитал Коле свой рассказ (почему-то не дома, а в коридоре Гослитиздата в Доме книги на Невском проспекте), я увидел на его лице, как всегда, отражение самых противоречивых чувств, говорящих о том, что он прекрасно все помнит и мог бы передать все детали обстановки гораздо точнее и лучше, чем я... Кстати, я в этом и не сомневался. К тому времени я уже отлично знал и ценил его профессиональную зоркость: меня поражало, что, где бы мы ни были, он словно бы ни на что не обращал внимания, много и с удовольствием говорил на посторонние темы, совершенно не относящиеся к окружающей природе и обстановке, шутил, громко и заразительно смеялся, казалось даже ни разу не глянув по сторонам,— а потом выяснялось, что он все вокруг разглядел и запомнил и может пластично и живописно изобразить словами.

Прочитанный ему в коридоре рассказ Коля раскритиковал за то, что я его скомкал, не сумел развернуть так, как заслуживали этого материал и сюжет, и я потом долго и терпеливо его доделывал; более того, через тридцать лет переписал заново, словно решив выполнить максимум Колиных советов.

В декабре того же 1934 года мы поехали в Петрозаводск — Виссарион Саянов, Борис Лихарев, Юлий Берзин, Николай Чуковский и я. Провели день в гостях в санатории Маткачи, в живописном месте под Петроза-

водском, бегали на лыжах. Это была первая наша с Колей общая прогулка на лыжах, как бы разведка — впоследствии мы бегали вместе много и часто, главным образом в окрестностях города Пушкина, перед самой войной. Обычно мы пересекали Александровский и Баболовский парк и выбегали в открытое поле. За Колей было трудновато угнаться, хотя я с детства привычен к лыжам: Коля оказался выносливее. (Поэтому так огорчала меня в последние годы его одышка даже просто при ходьбе, тем более при небольшом подъеме, а лыжи он бросил давно.) Особенно помнятся солнечные, но еще морозные мартовские дни 1940 года (зима была суровой, замерзли яблони, вишни): высоко над нами шли самолеты — бомбить «линию Маннергейма». Тогда мы не думали, что скоро придется видеть над собой немецкие самолеты, бомбящие Ленинград, а Коля будет служить в военно-морской газете, писать сначала заметки о летчиках, затем рассказы о летчиках и наконец напишет роман — «Балтийское небо»...

Но это было все впереди. В 1934 году, в Маткачах, мы встретились вечером с карельским начальством и карельскими писателями. На импровизированном концерте молодой человек с редкостными еще в те годы бачками, местный артист-затейник, шикарно читал «Мери-наездницу» Семена Кирсанова. От этого чтения с приплясыванием и прицокиванием («Мери-наездница-ца-ца!») нас внутренне корчило (чего мы старались не показать), а хозяева внимательно слушали и ласково аплодировали: вот, мол, какие у нас декламаторы, ну-ка, посостязайтесь с ними, ленинградские гости! Мы с Чуковским умоляюще смотрели на наших поэтов: выручайте! И верно, после этого цирка прочитанные Саяновым и Лихаревым стихи показались нам родником поэзии, не уступавшим по чистоте морозному воздуху нашей дневной прогулки на лыжах...

Вернувшись в Петрозаводск, мы выступали на другой день перед читателями в городском театре, а затем поездом возвращались в Ленинград. В вагоне почти не спали, болтали, смеялись — нам было легко и весело после того, как остались позади и «Мери-наездница», и все официальные и неофициальные встречи. Веселился и Коля, хотя он всю жизнь, как и его отец, предпочитал ночью спать, а не колобродить. Саянов надписал нам

при свете свечи в фонаре над дверью (электричество в поездах того времени горело еще не всегда) стихотворные посвящения на своей только что вышедшей из печати книжке «Золотая Олёкма», и надписи эти нам показались прелестными — все было хорошо по сравнению с пошляком в бачках.

Поездки, поездки, сближавшие нас поездки — их было много. Но вот поездка в Казахстан летом 1935 года — Н. Чуковского, Л. Соболева, В. Рождественского, П. Лукницкого, А. Гитовича и Ю. Берзина — состоялась без меня. Я должен был ехать, но не смог: взялся писать для «Ленфильма» сценарий о Тимирязеве. Вернувшись из Казахстана, Коля был полон самых разнообразных впечатлений, но, кажется, ничего об увиденном не написал, что для него было необычно. Помню, он говорил, что среднеазиатская природа показалась ему недоброй по сравнению с горячо любимым Крымом.

А компания оказалась доброй, дружной: Леонид Соболев, возглавлявший писательскую бригаду, был человеком веселым, компанейским, участливым, к тому же великолепным рассказчиком, — кстати, таким его знал и я: в дни Первого съезда писателей мы жили в гостинице рядом, в соседних номерах, и ежедневно встречались. Правда, некоторые странности или чудачества я у него замечал. Например, он любил переставлять свою кровать в номере то к одной, то к другой стенке, то клал матрац прямо на пол, уверяя, что тем самым он экспериментально находил место для наибольшей сосредоточенности, для наилучшего вдохновения.

На обратном пути домой, который Коля совершал уже один, отделившись (не помню почему) от своих товарищей, с ним произошло приключение. Вместе с ним ехал какой-то очень неглупый молодой человек, с которым они почти до Москвы приятно беседовали. Но когда рано утром, уже перед самой Москвой, Коля проснулся, в купе спутника не было (они ехали вдвоем), и вместе с этим симпатичным юношей исчезла почти вся одежда, принадлежавшая Николаю Корнеевичу. Это создало ему в Москве, где предстояли литературные дела и неизбежная пересадка на ленинградский поезд, определенные трудности. . . Потом-то он и об этом рассказывал с заразительным смехом, но не знаю, смеялся ли он тогда, в купе, когда обнаружилась пропажа.

Из всех товарищей по казахстанской поездке ближе всех Коле был Юлий Берзин. В те далекие годы, в конце тридцатых, их дружба была теснее, чем наша с Колей: Юлик был холост, одинок и посещал своих близких друзей, «молодых» Чуковских, гораздо чаще, чем я,— бывало, что каждый день. Чуковские не случайно так горячо полюбили Берзина: он был не только умен, остроумен, но и рыцарски честен, несмотря на свое порой донжуанское легкомыслие, больше напускное, так сказать, для утверждения себя как удалого мужчины. Юлик был крайне миниатюрен, хотя его брат был еще меньше. Однажды на новоселье у Юлика, когда тот женился и остепенился, младший брат лихо выпил большую рюмку водки и исчез из-за стола. Потом мы нашли его мирно спящим в пустой коротенькой ванне в черном вечернем костюме, при тщательно завязанном галстуке, в ярко начищенных штиблетах. По профессии он был юрист, как и сам Юлик. Я познакомился с Берзиным значительно раньше, чем с Чуковским: мы состояли с ним в одной и той же литературной группе, называвшейся «Смена», членами и участниками которой были Ольга Берггольц, Борис Лихарев, Александр Гитович, Борис Корнилов, Геннадий Гор и, вообще, многие из тех, кто к началу войны стали называться средним поколением ленинградских писателей. Н. Чуковский не ходил на наши литературные сборища, которые нередко посещали и читали нам свои новые произведения Н. С. Тихонов, Н. Заболоцкий, К. Вагинов, М. Слонимский, В. Каверин, и с Юлием Берзиным он познакомился в «Издательстве писателей», которое в 1929 году издало уже вторую книгу Ю. Берзина — «Конец девятого полка». Познакомился и подружился на много лет.

Веселое обаяние Юлия Берзина было таково, что на его шутки, экспромты, эпиграммы было невозможно обижаться, и Коля первым хохотал, когда Берзин исполнял песенку на мотив популярных эстрадных куплетов:

Я — Ко-ля
Чуковский,
Из-вестный беллетрист,
Пишу себе романы,
Как будто ничего.
Никто-то их не знает,
Никто их не читает,

А я пишу, пишу, пишу,
А почему?
Потому что —
Я — Ко-ля
Чуковский,
Известный беллетрист...

Любил посмеяться он и над сарказмами Валентина Стенича, с которым тоже дружил с давних пор. Этот блестящий переводчик и главный остроумец литературного Ленинграда, герой очерка Александра Блока «Последний денди», тоже нежно любил семью Чуковских, хотя любимое его изречение было: «Чуковские живут грязно, но интересно». Разумеется, это была шутка, равно как и шумное его восхищение крепкими и цветущими в те молодые годы Колиными щеками:

— Это же не лицо, это пунэм!

Стенич так аппетитно произносил слово «пунэм» (по-еврейски как раз лицо), словно это был особый сорт свежеиспеченной сдобной булки! И Коля хохотал громче всех.

Впрочем, в то время все веселило нас, — перефразируя Стенича, можно про всех нас сказать, что мы жили бедно, но интересно...

Году в 1934-м у Коли состоялся вечер в Доме писателя: в круглой белой гостиной обсуждали новую его книгу. Присутствовал и Константин Федин, с которым Коля знаком был с двадцатых годов. По окончании литературного вечера именинник позвал Федина, Берзина и меня поужинать в Доме кино. Почему там, а не в Доме писателя, где тогда существовал недурной ресторан? Вероятно, потому, что в Доме кино было уютнее и меньше толклось знакомых.

Мы впятером (Колю сопровождала жена) вышли на Литейный проспект, решив сесть в автобус, который довезет нас до Невского, где помещался тогда — между Фонтанкой и Литейным — Дом кино. Автобус пришел, Коля быстро, с присущей ему нервной энергией, посадил Марину, захихнул сам — дверь закрылась, автобус, фырча и выпуская вредные газы, уехал, а мы трое остались стоять на панели, несколько ошалело смотря друг на друга. Впрочем, слишком изумлены, а тем более обижены мы ничуть не были, даже Константин Федин

отнесся к происшествию благодушно, все мы хорошо знали суматошный Колин характер.

Пришел следующий автобус, мы в него сели и благополучно доехали до Невского. Здесь, на углу, у самой остановки, топтались в ожидании приглашенных гостей Маринѣ и Коля. Как мы понимали, Марина мылила Коле голову; опять же, зная ее темперамент, мы чувствовали, что сцена до нас была бурной, нахлобучка — внушительной, но с нашим прибытием все кончилось лучезарно: Берзин тонко съязвил, Коля смущенно похохотал, Федин снисходительно и добродушно похмыкал, и мы направились в Дом кино.

Вечерок удался на славу: стол ломился от яств несмотря на тогдашнюю бедность и всегдашнюю бережливость Коли Чуковского. (Он объяснял, что унаследовал привычку экономить от отца: когда тот был еще очень молодым, хотя и преуспевающим критиком, он постоянно страшился литературного и материального краха — вдруг он перестанет интересно писать, вдруг его перестанут с интересом читать, вдруг его перестанут с интересом печатать — и тогда все, обеспеченность кончится! Примерно того же опасался и Коля.)

Что я имею в виду под яствами? Не надо забывать, что только что кончилось карточное время и в магазинах и в ресторанах начали появляться вкусные вещи, которыми до тех пор мы любовались в витринах Торгсина. Во всяком случае, на столе красовалась икра, семга, разумеется уравновешенные экономичным и демократичным винегретом. Главное, что играла на бонтон сервировка и водка в запотевшем графинчике.

Было весело, Юлий Берзин неистощимо острил (к великому сожалению, любые, даже самые гениальные, шутки редко остаются в памяти), мы болтали и смеялись. И вдруг Константин Александрович пристально взгляделся в меня и сказал:

— Так вот, значит, какой Рахманов. Я не так вас себе представлял.

Я, маскируя молодое смущение, довольно бойко спросил:

— Как же вы меня себе представляли?

Федин уставил на меня немигающие птичьи глаза и сказал хорошо поставленным голосом бывшего актера:

— А никак.

Этот краткий ответ прозвучал как пощечина. И пощечина незаслуженная — это все сразу почувствовали. Первым, надо отдать ему справедливость, ощутил это Федин. Он покраснел и как-то весь застыл, не двигаясь с места. А я... я почувствовал, как желтею и зеленею от бросившейся в голову желчи.

Все принялись меня уговаривать, видя мое состояние и испытывая неловкость от происшедшего. Федин что-то пробормотал примирительно, правда мириться — это не то слово, мы не ссорились, я даже сознавал, что слово «никак» сорвалось у него с языка, как срывается с горы нечаянно подтолкнутый камень: не удержался, чтоб не подать мгновенную реплику на мое невольно провокационное «как»... Возможно даже, что он усмотрел в моем вопросе вдруг взывавшее юношеское тщеславие («Ага, мною интересуются!») и захотел меня проучить, но урок был слишком жесток. Не надо забывать и того, что мы все были слегка подогреты вином и слова срывались с языка скорее, чем сбавывал оценивающий их рассудок.

Вечер был все-таки заметно подпорчен. Мы вскоре разошлись. Федин шел со мной и Чуковскими до угла Литейного и Невского и, полуобняв меня, теперь уже очень толково и полуотечески ласково объяснял, как это у него и у меня получилось. Примерно так, как я и думал, только еще убедительнее.

С Константином Александровичем мы потом встречались редко, но всегда «вежливо». Я бы сказал, что настороженно-вежливо, если бы был уверен, что он не забыл об этом случайном инциденте. Чаще помнит обиду обиженный, а не обидчик, пусть даже не злоумышленный, как в данном случае. Помню, встретились на банкете в ресторане «Метрополь», устроенном в честь симпозиума с участием иностранных писателей — Сартра, его жены Симоны де Бовуар, Натали Саррот и других, — по поводу судьбы романа как жанра. Я увидел, что Федин стоит в стороне, один, похудевший, постаревший, грустный, — я подошел, и мы немного поговорили о чем-то в связи с прошедшей дискуссией.

Увы, ни рядом с нами, ни вообще на свете давно, уже больше тридцати лет, не было остроумного, маленького, очкастого Юлия Берзина. Десять лет как не стало

и Николая Чуковского, который был много моложе Федина и немного старше меня. . .

Одной из самых длительных и самых приятных наших совместных поездок с Колей была поездка весной 1938 года в Крым, а затем под Одессу, в Дом отдыха украинских писателей, на бывшую дачу писателя Федорова, друга Бунина, Горького, Телешова и других писателей-«знаньевцев». Мы провели на юге около двух месяцев. Это были решающие месяцы для нашей дружбы. Пожалуй, еще никогда мы не обсудили столько тем и вопросов, обсудили в горячих спорах. Мы спорили, лазая по отрогам Яйлы и кружа на теннисном корте: корт был единственной ровной, строго горизонтальной площадкой на всем огромном усадебном участке ялтинского Дома творчества, все дороги и дорожки которого вели вверх или вниз; там были не только крутые обрывы, но имелся даже свой водопад, который, правда, как и знаменитый Учан-су на Яйле, действовал только весной, когда горные речки полноводны. Сколько кругов мы сделали по теннисному корту, сосчитать невозможно.

О чем же мы спорили? Обо всем, но главным образом о литературе. Касательно прозы наши вкусы в чем-то сходились, но во многом были диаметрально противоположны. Скажем, мы оба преклонялись перед Достоевским и совершенно по-разному относились к Гоголю. Колю отталкивала густая образность, метафоричность, красоты стиля раннего Гоголя, а я это все любил. Отсюда и наше разное отношение, скажем, к Бабелю, которого Коля совсем не принимал, относясь к его «Конармии» «примерно как Буденный. . .» — сказал я однажды в сердцах. В свое время Буденный выступил с резкой критикой «Конармии», что, в свою очередь, побудило Горького выступить в защиту Бабеля. Споря как-то при мне с Геннадием Гором, почитателем и Гоголя и Бабеля, Николай Корнеевич сказал:

— В настоящей художественной прозе фраза не должна быть заметна.

Я резко вмешался в спор:

— Это хорошо, когда фраза незаметна. Еще лучше, когда незаметна страница. Но лучше всего, когда незаметно произведение.

— Рассердился и Коля, сказав, что это не мысль, а хохма.

На таком уровне проходили многие наши беседы и споры, и нужно удивляться тому, что они кончались сравнительно мирно, что мы после таких перепалок находили возможным вновь и вновь встречаться. В защиту обоих спорщиков надо сказать, что мы оба были отходчивы. Посверкав глазами и ощутив смятение в душе, я вдруг чувствовал, что пора и честь знать, погорячился и хватит, а Коля, взглядевшись в мое лицо, вдруг говорил: «Ну, не сердитесь!» или: «Ну, извините!». И мы мирились до следующего раза.

Читатели этих строк могут подумать, что такие литературные стычки происходили лишь в молодости,— это понятно, объяснимо, естественно. Но пример с незаметной или заметной фразой относится к той «эпохе», когда нам обоим шло уже по шестому десятку,— можно бы, казалось, угомониться, не изображать из себя двух гусаков!

Но я опять забежал далеко вперед,— вперед, потому что спорили мы всегда. Лишь война на время прервала наши споры. Вот об этом времени я сейчас и хочу рассказать. Мы встречались тогда не слишком часто, но дни и часы наших встреч нельзя не запомнить: это были сентябрь 1941-го и февраль 1942 года. Они были очень разные, эти месяцы, и уже потому их нельзя забыть. Кроме того, Коля был тогда особенно дружелюбен, заботлив и даже нежен,— это тоже незабываемо.

Территориально нас разбросали самые первые дни войны. Коля еще в 1939 году, перед финской войной, был причислен к флоту, и с первых же дней Великой Отечественной стал служить в военно-морской газете, писать о военно-морской авиации. Меня 24 июня направили на сухопутный фронт, на Мурман, и лишь в середине августа, за полмесяца до блокады, отозвали обратно в Ленинград, в распоряжение ТАСС.

Я сказал—за полмесяца, но фактически блокада началась даже раньше. Связь с Мурманской (Северной) железной дорогой, единственной, соединявшей Ленинград со страной (Октябрьская дорога была перерезана 21 августа), прерывалась уже в начале двадцатых чисел. Случилось так, что нас с Колей одновременно командировали в летную часть, мы под вечер отправились дачным поездом, вышли на его конечном пункте—на станции Званка (теперешний Волхов), проехали на

автобусе по живописному берегу реки Волхов до Новой Ладogi, городка, заселенного до войны главным образом людьми престарелого возраста, — там размещались инвалидные дома собеса, которые раньше назывались богадельнями; теперь они были отсюда эвакуированы в глубь страны. На лодке мы перебрались на противоположную сторону реки (нетерпение не позволило нам дождаться парома — этой постоянной переправы через реку) и уже поздним вечером попали в военный городок для летного состава. Нам предложили переночевать у летчиков, в большой комнате, уставленной десятками аккуратно застеленных коек. Около каждой стоял низенький шкафчик с бритвенным прибором, зеркальцем, зубным порошком и щеткой, но сами койки были пусты: все эти молодые ребята, летавшие на бомбардировщиках, успели уже свое отлетать... Можно представить, какое впечатление это на нас произвело!

Я тогда и не думал, — думал ли Коля, не знаю, — что после войны Николай Чуковский напишет роман о летчиках, что роман этот его прославит и останется среди лучших книг об Отечественной войне. Как и я, он не знал, что эта первая встреча с летными буднями продолжится многими и многими встречами, что и сам он станет летать, сообщать мне об этом в коротеньких открытках из Хвойной, из Новой Ладogi, Устюжны, будет иногда приезжать оттуда в блокадный Ленинград, как всегда с увлечением рассказывая обо всем, что ему интересно...

А тогда, возвращаясь в августовский день в Ленинград, мы повстречали на переправе через Волхов Михаила Слонимского. Мы плыли на лодке в Новую Ладogu, он — на грузовике, помещавшемся на пароме, — из Новой Ладogi... Коля и Слонимский были старыми друзьями, с начала двадцатых годов, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, но мы не успели перемолвиться с Михаилом Леонидовичем хотя бы одним словом: он следовал на Большую землю, мы — в Ленинград, — помахали друг другу и все; встретились лишь через несколько лет.

Я сказал — на Большую землю. Да, без большого преувеличения можно сказать так. Ехали мы обратно уже по шоссе, через Красный Шум: поезда не ходили — на Мгу был сброшен немецкий десант. Оконча-

тельно взяли Мгу немцы 30 августа, и это решило судьбу последней железной дороги, связывавшей Ленинград со страной. Перед самым Ленинградом наш путь чрезвычайно замедлился — шоссе было забито беженцами: одни шли и ехали из Ленинграда, другие к Ленинграду — жители поселков и деревень. Никто ничего не знал — куда лучше податься. . .

Когда замкнулось кольцо и немецкие клещи все туже сжимались вокруг Ленинграда, не скрою, какими бы мы оптимистами ни были, какой фантастической и жуткой нам ни казалась подобная перспектива, но бездумно отмахиваться от возможности захвата нашего города фашистскими войсками было бы глупо, — особенно после того, как город начали регулярно обстреливать из дальнобойных орудий, после того, как начались массированные авианалеты, ежедневные бомбежки зажигательными и фугасными бомбами, а главное, когда между Ленинградом и захваченными врагом городами и пригородами — Пушкином, Урицком, Красным Селом, Лиговом — словно бы беззащитно простерлась плоская, не заслоненная никакими естественными преградами равнина.

Первый массированный авианалет застиг меня в грузовике, по дороге в Павловск, и произошло это 8 сентября. Именно с этого дня налеты стали ежедневными, а точнее — ежевечерними. В один из таких дней, уже ближе к вечеру, когда я сидел и писал очерк для ТАСС или «Известий», зазвонил телефон (телефоны тогда еще работали). Звонил Коля Чуковский.

— Леня, — сказал он, — мне что-то сегодня не хочется идти ночевать домой. Можно к вам?

Я радостно одобрил такое решение, и минут через двадцать, самое большое через полчаса (редакция военно-морской газеты, где работал Чуковский, помещалась на Васильевском острове, недалеко от меня), Коля пришел ко мне. За разговором мы не заметили, как началась воздушная тревога (радиоточки у меня не было). Но вот послышались глухие, значит довольно дальние, разрывы, на которые мы тоже не обратили особого внимания — привыкли, — продолжали беседовать, как вдруг Коля уронил свой стеклянный мундштук на пол и он разбился.

— Не к добру! — сказали мы в один голос, не то

в шутку, не то всерьез. Потом тревога кончилась, мы легли спать, а с утра пораньше Коля ушел. Пораньше, потому что хотел до службы успеть захватить все же домой, на улицу Маяковского. И вдруг звонит мне:

— Ленья, мою квартиру разбомбило!

Я сразу же к нему приехал. Дом по виду казался цел (окончательно его разбомбило позже, уже зимой; после войны на этом месте построили школу), но оконные стекла вылетели, штукатурка с потолка обвалилась, книжные полки плашмя упали на пол, разорвало взрывной волной рояль и шкаф, кровать утыкана вонзившимися в одеяло клиньями стекол, на подушке лежала книга — «История дипломатии», которую Коля читал в эти дни перед сном. Мы оба не были суеверны, но тут что-то внутри засосало. . .

Так началась для нас осень 1941-го, для каждого свои блокадные будни. Как корреспондент ТАСС я бывал главным образом в сухопутных частях 55-й армии, в зону действий которой входила активная оборона восточных и юго-восточных рубежей, и самым боевым участком этой обороны являлся город Колпино с его Ижорским заводом.

От Коли же я получил в начале октября открытку, в которой он целенаправленно, как всегда, звал меня к себе в гости: «Я в Новой Ладоге. Завтра выезжаю в г. Устюжну Вологодской области. Пишите мне туда сразу же до востребования. Все произошло внезапно, мне дали на сборы всего один час, не сказали куда, и я не мог вас предупредить. Берите командировку в ТАСС и приезжайте. Любящий вас Ник. Чуковский».

Устюжна — небольшой городок километрах в четырехстах от Ленинграда. Коля жил и работал там примерно до января. Последняя сохранившаяся у меня открытка от него датирована 21 декабря 1941 года, ленинградский же штамп — не то 6-м, не то 16 января 1942 года, и получил я ее в своем 53-м почтовом отделении — на дом письма носить было некому. Не исключено, что к тому времени Коля уже вернулся в Ленинград, хотя в этой последней открытке он пишет: «Надеюсь через месяц, через полтора повидать вас, о чем очень мечтаю. Если буду жив, как писал Толстой. . .» Двумя строками выше написано: «Я много езжу и летаю. . .» В предыдущей, ноябрьской открытке он тоже писал: «Я здесь мно-

го летаю, и мне это нравится. Об этом когда-нибудь. Как хотел бы с вами поговорить!»

Но вот передо мной его стихи, датированные уже январем 1942 года,— карандашный черновик с его правкой, с зачеркнутыми и местами измененными строчками. Не помню, встретились ли мы в январе, сразу ли передал он мне этот листок, или сделал это в феврале, когда мы уже несколько раз повидались, о чем особо,— но стихи невероятно мрачные, можно сказать безнадежные, сразу видно, что на его впечатлительную натуру зимний блокадный Ленинград произвел весьма удручающее действие, что и немудрено: самый толстокожий человек и тот пришел бы в ужас, попав с Большой зем-ли в Ленинград в страшные январские дни.

Что желали, что любили,
Запорошено снежком.
В этой каменной могиле
Неприменно мы умрем.

В водянистом пухлом теле
Нарастает пустота,
А за пологом метели
Снежных зданий красота.

Отшумело, отлетело,
Позатихло, — все уйдет.
Сквозь привычный гул обстрела
Хор невидимый поет.

Все слышнее, все слышнее,
Все слышнее голоса,
Все синее и синее
И яснее небеса.

В этом пенье, в этом тленье,
В этом холоде высот
Мирный миг уничтоженья
Незаметно подойдет.

Я недаром сказал о Колиной впечатлительности: его физическое состояние по возвращении в Ленинград было еще сносным. Более того, когда мы встречались — раза два у меня дома и однажды вместе шли по льду Невы, от Ростральных колонн до Кировского моста,— Коля был бодр, мы оживленно беседовали; как всегда, общение с ним тонизировало. Поэтому в приведенном выше стихотворении видно явное противоречие между

художником и человеком: я совсем не уверен, что Коля ждал неминуемой смерти! Кстати, он до зимы 1943 года жил потом в Ленинграде, и о многочисленных встречах и разговорах с ним написал в своих воспоминаниях Лев Успенский: до конца войны Коля был энергичен и бодр.

Последний раз в 1942 году мы виделись в конце февраля, почти накануне моего отъезда, когда меня эвакуировали по состоянию здоровья. Я никогда не забуду, как Коля пришел ко мне, принес кусок хлеба, а у меня было сварено немного гороховой похлебки (из первого и последнего моего в ту зиму серьезного блокадного пайка), — мы поели, подкрепили силы и перетащили единственную ценную в нашем доме вещь — пианино — из одной комнаты в другую, в так называемый кабинет: наши две комнаты в коммунальной квартире были не рядом, их разделял коридор с выщербленным паркетом, что доставило нам немало мучений при экспортировке инструмента. Зато какое удовольствие мы испытали, впереv пианино в кабинет! Мы долго без сил, но с блаженной улыбкой лежали потом на широком диване. Самое удивительное в этом предприятии было то, что мы оба всегда испытывали полное равнодушие к вещам, а тем более к мебели. Неравнодушны были лишь к книгам, но и то добрую часть их пришлось ликвидировать, чтобы помочь близким уехать; Коля же к тому времени потерял все — и квартиру, и книги. Фантазия перетащить пианино из одной комнаты в другую, как будто это может его спасти, зародилась оттого, что как раз перед самой войной моя дочь начала учиться музыке, и меня обуяли вдруг сентиментальные чувства. Я до сих пор благодарен Коле за то, что он не только не высмеял, не упрекнул меня, а наоборот — охотно поддержал мою нелепую идею и со всем старанием помог ее осуществить. Может быть, никогда я так нежно не любил Колю, никогда не был он мне так близок и дорог, как в тот момент, когда мы выполнили свой «музыкальный долг» и отдыхали. Тем более что я знал о его полнейшей глухоте к музыке!

В следующий раз мы встретились в июне 1943 года в Москве, куда он ненадолго приезжал повидаться с семьей: женой, дочерью, сыном, приехавшими из деревни Черной из-под Перми и поселившимися у Корнея Ивановича, — все трое, а с Колей четверо, в одной узкой

комнате. Лишь к зиме Коля прилетел из Ленинграда, и молодым Чуковским удалось поселиться отдельно, в сравнительно большой комнате, сняв ее в чужей-то московской квартире. В июне же Коля оказал мне еще одну добрую услугу: снабдил меня пишущей машинкой, которой у меня в те месяцы не было, а я уже привык работать на машинке. Колина машинка оказалась невероятно старой, притом эксцентрического вида, напоминавшей мне почему-то многосложную, многорядную гильотину. . . Только я начал на ней писать, как она рассыпалась! Мобилизовав все свои технические навыки, я вновь собрал ее и работал на ней все лето. . .

А дальше с этой машинкой произошел смешной случай. Вернувшись с войны, Коля решил ее капитально отремонтировать — недаром же она честно служила нескольким поколениям. В мастерской подивились ее доисторическому виду и оригинальной конструкции, но — починили. Еще через несколько лет Коля купил себе современную машинку, а эту отдал дочери, готовившей тогда кандидатскую диссертацию по какой-то отрасли медицины. Как видно, диссертация потребовала немало труда на машинке, и в один прекрасный день дочь отнесла свою верную помощницу снова в ремонт. В мастерской удивились еще больше, чем в первый раз.

— А мы думали,— сказали они,— что в Москве имеется только одна такая машинка — у писателя Чуковского. Оказывается, есть еще такая же. . .

Эта история напоминала рассказ Чехова «Произведение искусства», где единственный сын у матери, которому доктор спас жизнь, приносит ему в подарок фривольного вида канделябр, и едва доктор сложным путем успел избавиться от подарка, как молодой человек радостно притаскивает этот же канделябр обратно, считая, что редкий случай помог ему найти пару для первого. . .

После войны Чуковские поселились в Москве, с Ленинградом их уже ничто не связывало, кроме воспоминаний. Живя в разных городах, мы, разумеется, встречались реже, но зато чаще переписывались: около сотни писем написано с обеих сторон, — как ни странно, почти все они сохранились. Из писем встает наша послевоенная жизнь, наши отношения, наша дружба, успешная претерпеть за минувшие годы немало испытаний.

Коля, став москвичом, принялся жить активной общественной жизнью. Работа в секциях художественного перевода, прозы, в правлении Союза писателей отнимала у него массу времени и сил, а ведь как раз в эти годы он много писал, регулярно работал над собственной прозой и стихотворными переводами с венгерского, с наших национальных языков, опубликовал свои книги: роман «Балтийское небо», прекрасную повесть «Последняя командировка», талантливые рассказы и повести «Цвела земляника», «Девочка-жизнь», «Последний разговор» и многие-многие другие.

К концу сороковых годов Николаю Корнеевичу удалось, после ряда хлопот, построить себе квартиру во дворе того самого дома, где он несколько лет частным образом снимал комнату. Именно «построить»: вдвоем с каким-то инженером они выхлопотали разрешение надстроить третий этаж на двухэтажном дворе флигеле, и в этой надстройке поместились две трехкомнатные квартирki. Моя жена пришла к Чуковским в дни переезда их в свою квартиру. Мебели у них еще не было, ни стола, ни стульев. Коля сидел на полу и с обычной для него в любом деле энергией что-то ел, подкрепляя силы. Когда жена мне об этом смеясь рассказывала, я невольно вспомнил, как мы с ним подкрепляли силы кусочками блокадного эрзац-хлеба и блюдцем гороха, перетаскивая пианино.

Комнаты в московской квартире Чуковских были маленькие, ванна стояла в кухне, не имевшей окон. Столовая — проходная, Колин кабинет — самая темная комната: окно выходило в узкий двор, почти вплоты к стене соседнего дома. Книжные полки, большой письменный стол, широкий диван, стул и кресло — вот все убранство его кабинета. Обстановка для Коли никогда не имела значения, он работал в любых условиях, — единственно, чего он терпеть не мог, это чтобы в часы работы к нему входили, звали его к телефону и пр. Так было и в молодости. Леонид Андреев когда-то сказал, пусть в шутку, что русский писатель любит, чтобы ему мешали, иначе говоря, отрывали от работы (кажется, это пишет Корней Иванович в своих воспоминаниях об Андрееве). Ни про Колю, ни про его отца этого нельзя было сказать — и тот и другой крайне нервно воспринимали любую помеху. Но если Корней Иванович отводил

для главной работы очень ранние утренние часы, примерно с шести утра, и находился за рабочим столом весь день, то Коля для чисто литературной работы, иначе говоря — творчества (слово, которое мы оба не любим), отводил часа три, с десяти утра до часу дня, потом шел гулять или по делам, а после обеда и кратко послеобеденного отдыха переводил стихи, читал чьи-нибудь рукописи; настоящее же вечернее время почти всегда (в Ленинграде всегда неизменно, в Москве — часто) отводилось встрече с друзьями: кто-нибудь заходил на огонек, и начиналась беседа. Темноватый днем кабинет преображался, озабоченный работой и делами хозяин веселел, оживлялся, наслаждением было его слушать, все равно — шутивным был разговор или серьезным.

Меня всегда поражало, как он успевал в дневное время, и то неполное, написать то, что нужно, и как не трудно ему было каждый вечер принимать у себя друзей и знакомых. Но Коля любил гостей, любил встречаться с друзьями как можно чаще, хотя начиная с середины пятидесятых годов это было уже труднее осуществлять: заграничные поездки, общественные обязанности, сложности в собственной литературной работе — кроме всего, он начал писать мемуары, воспоминания о двадцатых годах, о писателях и поэтах тех лет, причем без большой уверенности, что воспоминания эти скоро опубликуют.

Итак, работа, встречи с друзьями, чтение, поездки... поездки ближние и дальние, например в Индию, которые давали ему больше, чем многим другим, совершавшим те же самые путешествия. Особенный склад ума и таланта позволял ему видеть и узнавать то, о чем другие и не подозревали: точнее — помогать делать из всего виденного и познанного широкие умозаключения исторического и социологического порядка. У него с юности была склонность к географии, он идеально знал ее по картам, — теперь осуществлял это знание на практике, и это дарило ему высокое наслаждение.

В характере Коли было много противоречивых черт. Любя красоту во всем, он совсем не гнался за ней, не замечал ее в бытовой обстановке. Боясь высоты, любил горы; впервые узнал я о его боязни высоты на Яйле, где на самом скромном склоне он вдруг побледнел, привалился к горе как-то боком. Зато без всяких страхов на-

слаждался морем, солнцем, никогда не носил темных очков и издевался надо мной, зачем я их надеваю. Великолепно загорал, но при этом не лежал на песке, как большинство других, а сидел, гуляя, беседуя. В этом тоже сказывалась его активность, проявляемая абсолютно во всем. Скажем, в обществе он не мог просто сидеть и молчать, сидеть и только слушать: непременно вмешивался в беседу, в споры.

Таким он был и на собраниях, его всегда подмывало выступить, высказаться. Тем более что он был прекрасный оратор: юмор, сарказм, беспощадный анализ, точность, находчивость — все было в его распоряжении. Еще до войны на одном ленинградском собрании приехавший к нам известный московский критик чем-то задел и уязвил Колю. Выступивший после него Коля, как всегда жизнерадостно и приветливо улыбаясь, сказал о том, как приятно бывает войти в гостиную к старым знакомым, которых давно не встречал, и увидеть на камине китайского болванчика, который, как и десять, и двадцать лет назад, все так же кивает и кивает головой. . .

На Колю сердились за некоторые его выступления (я тоже считаю, что лучше бы их не было), но думается, что иногда он не мог не выступить не только от врожденной активности, а от нервности, мнительности: скажут, почему он молчит, не выскажется, что с ним случилось?

Почему с ним было всегда интересно? Общение было всегда сверхактивно, разговор шел на полной отдаче мысли и чувства. Колин темперамент в общении просто не имел себе равных! Кстати, ощущалась заметная разница в том, как он говорил и как он писал: проза его сдержанна, изобилует выверенными деталями, — говорил же он горячо, увлеченно, страстно, и это с первой минуты встречи до последней, если не считать послеобеденного часа, когда мы оба беззастенчиво выказывали желание поспать (для второго дыхания вечером!), и позднего вечернего часа, когда мне спать не хотелось, я любил бодрствовать допоздна, а он соловел и откровенно зевал самым блаженным образом (несмотря на второе дыхание!). Словом, встречаясь с Колей, ты чувствовал, что живешь на полную катушку. Ни о каком вялом или натянутом времяпрепровождении тут и речи быть

не могло. Ток высокого напряжения струился непрерывно. Один вечер, проведенный с Колей, равнялся по калорийности минимум обыкновенной неделе, а то и больше. Вся штука в том, что ты терял эти калории (сам до предела оживляясь, изыскивая убедительные доводы, выхватывая из памяти примеры и факты) и одновременно приобретал. И больше, пожалуй, приобретал...

...В 1957 году в Коктебеле были последние наши беззаботные, вернее, с отброшенными заботами, но так или иначе счастливые прогулки. Это там, на морском берегу, заметив, как здорово Коля загорел (хотя специально, повторяю, не загорал), я цитировал одно из любимых нами бунических стихотворений — «Цирцея»:

А богиня с улыбкой: «Улисе!
Я горжусь лишь плечами своими,
Да пушком апельсинным меж ними,
По спине убегающим вниз».

И Коля долго смеялся своим хорошо обкатанным, как коктебельские камушки, смехом. Это там мы придурили пожилую мужскую пару, которая поет, приплясывая:

Ай люли, ай люли,
Мы с тобою рамоли!

После того я долго, ровно десять лет, не бывал в Коктебеле, поехал туда после Колиной смерти, уже в 1967 году, и все мне напоминало там Колю.

Однажды мы шли с ним по отмели в Янышарах, как всегда возбужденно говоря или споря, и вдруг одновременно увидели среди водорослей плывущую змею. Нам обоим стало неприятно: раньше мы часто ходили по этому мелководью, вброд обходили мыс, который исконные коктебельцы прозвали Хамелеоном, оценив его поразительную способность менять цвет в зависимости от времени дня и погоды. Коля тут же мне рассказал, как в юности забрел в ущелье и оказался в окружении змей: они ползли, свешиваясь с кустов со всех сторон... Не помня себя от страха, Коля выбрался из этого змеиного логова.

— Вы попали в положение героя романа Луи Жаколио «В трущобах Индии», — сказал я. — Его не то бросили, не то завлекли в яму со змеями туги-душители. Раз-

ница та, что герой приключенческого романа был вынужден для своего спасения сохранять неподвижность трупа и позволил кобрам переползать по его лицу, обвиваться вокруг шеи, лизать его губы. . .

Терпеливо дослушав до этого места, Коля не выдержал и обрушился на фантазию романиста: как это может змея лизать?! Чем! Своим раздвоенным языком?! Преглупая сказка! Коля любил преувеличения и гиперболы, но только не в области природы и науки. . . А вот шутка могла быть как угодно гиперболична, и мы тогда же, на обратном пути в Коктебель, с наслаждением сочиняли сверхгротескную «балладу»:

. . . Прекрасная и знатная дама бросила в море свою вставную челюсть (нижнюю). Юноша смело кинулся в волны и достал ее со дна. Тогда дама бросила в море другой протез (верхний). Юноша вновь нырнул — и больше не вынырнул. «Юноши нет и не будет уж вечно». И протеза тоже. Так наказана была знатная и прекрасная дама. . .

Когда в Коктебеле, уже без Коли, я на прогулке вспомнил эту нашу трепливую пародию, вдруг мне стало бесконечно грустно. Как близко друг от дружки смех и печаль, когда они связаны с близкими и дорогими людьми, которых уже нет!

Но больше всего недостает Коли, когда имеешь дело с прекрасным, пусть в оценке его и во вкусах мы так часто и резко расходились. В последние годы Коля особенно ценил и любил изобразительное искусство — гравюру, рисунок; живопись от него была дальше, потому что он был дальтоник, путал зеленое и синее, что опять же давало повод для шуток. Однажды мы с Евгением Шварцем пришли в «Асторию», где москвич Коля снял номер. На стенке висел какой-то ординарный пейзаж с зеленым лужком и желтеющими березками. Шварц подошел поближе и прочел подпись художника.

— Коля, поздравляю! — с восторгом воскликнул Шварц. — У тебя висит настоящий Гуревич! Только он владеет такой синей гаммой!

Нечего говорить о том, что фамилия эта принадлежала художнику, о котором никто из нас и не слышал, но что касается синеи гаммы, Коля ничуть в ней не усомнился.

Я уже говорил, что Коля был крайне нетерпим к не

нравящимся ему авторам и произведениям, иногда несправедливо нетерпим, особенно к тому, что было ему органически чуждо: к поискам новой формы,— это относится и к живописи и к литературе. Когда я прочел ему два-три рассказа молодого Виктора Голявкина, Коля стал надо мной издеваться: «Тю, Леня, тю!», желая подчеркнуть, как я глупо ошибся. Затем, увидев, что это меня обидело, что я готов рассердиться, стал спешно хвататься за любимый образец: «Смерть Ивана Ильича» — вот это рассказ, это вам не Голявкин!»

Нетерпимы и презрительны были оба, и Марина и Коля, к послевоенным ленинградцам, к новым среди них литературным именам. Когда те переезжали жить и работать в Москву, когда с ними устанавливался личный контакт или Москва их громко признавала, отношение к ним Чуковских менялось. Это меня всегда удивляло и огорчало.

В последние годы Коля подобрел к Ленинграду, а то одно время был склонен считать свой родной город просто музеем, если не «саркофагом»... Тут сыграла роль и блокада, большую часть которой он провел в Ленинграде почти безвыездно. Квартира потеряна, дом разрушен, все пути назад, в довоенное житье, решительно отрезаны,— стало быть, «извергну тебя из уст моих!»... Имела значение и малоудачная постановка на киностудии «Ленфильм» «Балтийского неба». Коле так не понравилась первая серия, он так на нее разошелся, что опубликовал в «Литературной газете» гневное, раздраженное письмо. А так как вторая серия уже снималась и прекращать работу над ней было нельзя, мне пришлось стать посредником между режиссером и автором.

И все же потом Колю стало тянуть в Ленинград; и это было не только желание встретиться со Слонимским и со мной, как он всегда писал в письмах, но и повидать сам город. Помню, как, вернувшись из Финляндии (одна из первых его зарубежных поездок), он шел от меня в «Асторию», а я его провожал. Было холодно, ветрено, лицо секло снежной крупой; мы переходили Дворцовую площадь, Коля горячо, как всегда, о чем бы ни говорил, ругал мещанский уклад жизни финнов, мещанские их квартиры и города, и патетично противопоставлял им то, что в эту минуту нас окружало: Зимний, Александровскую колонну и самую площадь...

— Коля,— не выдержал я,— а если бы пришлось провести на таком ветру на этой площади часов пять, вы бы не согласились обогреться в мещанской квартире?

— Нет,— сказал Коля, но потом засмеялся и оттаял.

В те же пятидесятые годы Коля подружился с моим московским тезкой — Леонидом Николаевичем Мартыновым, с нашим бывшим ленинградцем Николаем Алексеевичем Заболоцким и с Эммануилом Генриховичем Казакевичем. Ему пришлось пережить двух из этих близких ему в Москве людей — Заболоцкого и Казакевича, и это были тяжкие для него потери.

Последний раз Коля писал мне из Коктебеля в июле 1965 года, за три месяца до смерти. Самое же последнее письмо от него я получил из Москвы, за десять дней до его смерти... Оно мне особенно дорого еще и потому, что Коля в нем пишет о только что вышедшей моей книге. Пишет и о том, что 3 декабря Союз писателей собирается устроить его творческий вечер, «нечто вроде юбилея»...

Коля умер 4 ноября, на другой день после того, как получил орден Трудового Красного Знамени. Летом он успел побывать в Ленинграде; мы с ним прелестно провели вместе два или три дня в Комарове, затем он полетел в Коктебель, где прожил полтора месяца, затем месяц в Венгрии... Трудно сказать, повредили ли его здоровью эти переезды и перелеты или катастрофа произошла бы и без того,— так напряженно жил Коля все предыдущие годы.

Можно ли его упрекать за эту неутомимость, надо ли сожалеть о ней? Он был таким, каким был всегда,— натура требовала! Теперь, уже задним числом, замечаешь, что в своей ранней литературной работе Николай Чуковский еще не смог (или не захотел) проявить, выказать тот бешеный темперамент, который в нем всегда бушевал (за долгие годы знакомства и дружбы я хорошо это узнал), но вовне выходил больше в спорах, в беседах, дискуссиях,— словом, больше устно, чем на бумаге, хотя Коля более полувека был профессиональным литератором — поэтом, прозаиком, переводчиком; почему-то он считал нужным постоянно себя сдерживать,— любя Достоевского, тяготел в собственном творчестве к Бунину; пожалуй, в его прозе даже не чувствовалось

и внутреннего, как бы с усилием сдерживаемого, бунни-ского кипения.

Лишь в последние годы чуковский темперамент обрел наконец свое выражение и в литературной работе. В послевоенных рассказах и повестях Николай Чуковский стал уходить от присущей ему описательности, четкой, точной, но холодноватой. Больше того, некоторые из этих поздних рассказов, например «Последний разговор», действие в котором происходит у постели неизлечимо больного, умирающего человека, он написал в диалогах, без единой ремарки. А ведь именно диалог раньше был самым слабым звеном в его прозе: содержал то, что автору нужно было вложить в уста героя или героини, но не выражал личность, характер этих героев, не лился из их сердец, их разгоряченного мозга. Сейчас это изменилось: говоря сегодняшним языком, из средства информации диалог стал фактором эмоциональным. Недаром театры и телевидение ставят эти рассказы как пьесы. Возможно, в дальнейшем Николай Чуковский пришел бы к драматургии, к театру,— раньше это искусство было от него далеко и как бы закрыто для его дарования чистого повествователя. Но этого Коля уже не успел. Обидно. Было бы здорово, если бы его азарт собеседника и оратора пробил себе путь на сцену!

Вообще, мне кажется, что, несмотря на свои успехи и возросшую популярность, Николай Чуковский еще не успел полностью себя выразить — его мастерство и талант год от года крепили. Как и его отец, он был щедро и разносторонне одарен. Если бы не стал писателем, он, наверное, мог бы стать ученым — историком, социологом, географом, причем не узкого профиля, а с широким охватом явлений, со склонностью к смелым выводам и обобщениям. Но что гадать о том, кем он мог стать! Он стал хорошим писателем, и это очень много. А для друзей он был верным другом,— это тоже много и очень нужно.

...1970 год. Сажу в Колином кабинете, темноватой и тихой комнате,— тихой несмотря на то, что квартира эта находится в самом центре столицы, правда, уединилась во флигельке, стоящем во дворе дома на углу Арбата и улицы Мяковского. Сидя здесь, понимаешь, почему он ценил и любил эту комнату: тишина! Самое большое благо для всякого, кто читает, думает, пи-

шет. Сейчас здесь еще тише, чем бывало всегда: нет самого хозяина, нет его голоса. Я всматриваюсь в немые портреты Корнея Ивановича и Коли и думаю об их отношениях — отца к сыну, сына к отцу.

Какое же оно было — отношение Корнея Ивановича к сыну Коле, к писателю Николаю Чуковскому? На людях — всегда веселое, порою насмешливое. Казалось, можно бы иногда обидеться, но Коля не обижался. То есть, может, и обижался, но никогда этого не показывал. Помню, в 1939 году, когда Корней Иванович уже переехал в Москву, он пришел с гостившим у него Колей к нам в гостиницу. У нас с женой в это время сидел близкий, дорогой нам гость — Николай Александрович Киселев. Дядя Коля, старый художник-пейзажист, всегда был застенчив с посторонними людьми (это роднило его с тезкой, Колей Чуковским!), и беседа у наших гостей не клеилась, хотя у них нашлись общие друзья и знакомые, к тому же такой близкий Корнею Ивановичу человек, как Репин... Впрочем, Корнею Ивановичу ничто не мешало — ни скованность Николая Александровича, ни зажатость сына: он весело издевался над тем, что Коля уже успел написать больше, чем он, и горячо хвалил другого своего сына за то, что тот ничего не пишет, не литератор и вообще равнодушен к литературе... Кстати, это неверно. Я отлично знал, что Боба Чуковский, молодой инженер-гидролог, любит и помнит наизусть сотни страниц Маяковского и Некрасова, с увлечением читает их вслух своим чуть картавым и вместе с тем таким чуковским голосом, но только в отсутствие родных!

Через два года Боба погиб на фронте во время наступления немцев на Москву. Если слова «мертвые остаются молодыми» верны для всех, то для Бобы они верны в особенности. Его нельзя было не любить, он был человек удивительной искренности, доброты, обаяния, и я вполне допускаю, что младшего сына Корней Иванович любил сильнее, чем старшего, давно уже оторвавшегося от родительского гнезда, — так бывает.

Но вот я читаю письма Корнея Ивановича разных лет и с радостью убеждаюсь, что он не только любил первенца, но и живо интересовался его литературной работой, его судьбой, хотя, как я говорил, никогда не оказывал ему протекции. Более чем интересовался — он

уважал работу сына, это отчетливо видно из писем. Зачем же тогда этот небезобидный смех, эти шутки при посторонних, похожие подчас на издевки? Странность характера, театр для себя и для других, шумное представление, цирковые репризы, словесная клоунада, где пусть не ждут пощадки близкие, родные ему люди, волею или неволью вовлеченные в эту блистательную и беспощадную игру?

Но ведь так им Корней Иванович был почти везде. В Союзе писателей идет совещание. Докладчик ласково упрекает Кассиля и Михалкова в том, что они не пишут сейчас для самых маленьких. При этих словах появляется в зале Корней Иванович, седой, высокий, с порывистыми и вместе с тем гибкими движениями и жестами. Как горячий нож сквозь масло, он легко проходит сквозь сидящий на стульях и в креслах литературный люд к свободному месту в середине второго или третьего ряда: прикладывая длинные руки к сердцу, сгибаясь пополам, раскланивается со всеми знакомыми и незнакомыми и одновременно подает реплику своим слышным во всех концах зала чуковским голосом:

— Да, да, не пишут! Да, это народное бедствие!

Зал смеется. Не может удержаться от улыбок президиум собрания. Хохотнул в носовой платок докладчик. Деланно весело хохочут сами виновники народного горя. А Чуковский уже уселся на словно бы поджидавший его стул и, чуть склонившись вперед, весь сосредоточился для внимательного слушания доклада, на который он так элегантно опоздал. Да разве может такой человек удержаться от того, чтобы торжественно, хотя и вполголоса, не сказать, обернувшись от телефона, по которому только что позвонил старшему сыну:

— Сам подошел! — вложив в это «сам» максимум взрывчатой веселой почтительности. Кстати, это говорилось тогда, когда их отношения были особенно дружескими и близкими — к концу жизни обоих: Коля умер на три года раньше отца. . .

А разве мог я не побаиваться при встречах с Корнеем Ивановичем: а ну как кольнет? вдруг вышутит? Но, как видно, я не был для него совсем своим и не был достаточно чужим, чтобы избрать меня мишенью для шуток. Наоборот, запомнился случай, когда Корнею Ивановичу понадобилось мое присутствие. Летом

1943 года в Москве он вдруг пришел ко мне в Трубниковский переулоч (телефона у меня не было) и, как всегда весело, непринужденно, предложил мне отправиться вместе с ним в ВОКС (Всесоюзное общество культурных связей), где он намеревался прочесть вслух работникам американского отдела несколько рукописных глав своей книги о Чехове, которую собирались издать для Америки и Англии. Редакторы были молодые и бойкие, а главное — совершенно чужие ему люди, и он, по видимому, хотел, чтобы рядом, под боком, был более или менее близкий человек. . . Именно более или менее: например, Колю, как слишком близкого, он бы не взял с собой, а такой, как я, вполне годился! Кстати, этот вариант рукописи о Чехове так и не увидел света — ни у нас, ни за границей. Идея книги была несколько странной: составить ее из глав, каждая из которых доказательно повествовала бы о каком-нибудь одном свойстве характера Чехова, противоречащем другому: скажем, чеховская скупость — чеховская щедрость, чеховская сухость — чеховская доброта, и т. д. При чтении все эти противоположные, противоречивые черты должны были, как на волчке, раскрашенном в цвета спектра, слиться в единый образ!

Выслушав прочитанные главы, воксовские редакторы не высказали никаких определенных суждений, я тоже, конечно, молчал, но когда мы пошли домой (Корней Иванович жил на улице Горького), я выразил робкое сомнение в послушном слиянии таких разных глав в нечто целое, подобно цветам радуги или спектра, хотя не скрыл, что мне, как бывшему «леваку», эта дерзкая идея понравилась. . .

Интересно, что я совершенно забыл реакцию на мои слова со стороны столь опытного и знаменитого полемиста и остролова, зато помню, что для того, чтобы переменить тему, рассказал ему о прочтенном в то лето романе Уилки Коллинза (автора «Лунного камня» и «Женщины в белом») — «Опавшие листья». Своим главным героем и сюжетной завязкой роман этот отдаленно напоминал роман Достоевского «Идиот», только сниженный до банальной беллетристики: в пансионе под названием «Опавшие листья», помещаемся в глухом месте в Америке, вдали от шумного света, жил и воспитывался некий чистый и прямодушный юноша: он нео-

жиданно получал богатое наследство и пускался в опасное плавание среди рифов чуждого его привычкам и характеру большого света, впутываясь в различные сложные истории, где главное место занимали женщины, откровенно делившиеся с ним подробностями своей бурной жизни. . . Корней Иванович сказал, что ему неизвестно, читали ли Коллинз и Достоевский романы друг друга, но что совпадение это любопытно, тем более если обе вещи написаны в шестидесятые годы.

Через несколько лет Корней Иванович заново переписал свой очерк о Чехове, полностью изменив композицию, что вряд ли имело какое-либо отношение к ВОКСу и к нашей беседе. Когда же при случае я рассказал Николаю Корнеевичу об этом вечере, об «Опавших листьях», реакция была такой, какой и следовало ожидать: Коля стал яростно издеваться над тем, что мне пришло в голову сопоставлять, упоминать рядом величайшее создание гениальнейшего в мире писателя со стряпней автора каких-то дрянных детективов! После разноса я не поленился узнать, когда издан роман Коллинза: оказалось, что в 1879 году, через десять лет после выхода в свет романа Достоевского. А вот читал ли Коллинз «Идиота» — так и не знаю, скорее всего не читал, иначе постеснялся бы «заимствовать»: все-таки друг и соавтор Диккенса! . .

И все же не беседой о Коллинзе больше всего запомнилась мне наша прогулка с Корнеем Ивановичем. Когда мы шли по одной из пустынных в то лето московских улиц, не то Станкевича, не то Грановского, ведущих от улицы Герцена к Главному телеграфу, неподалеку от которого жил Корней Иванович, он вдруг спросил:

— Вы знаете стихотворение Полонского «Поцелуй»? — И, не дожидаясь ответа: — Его вчера открыла Марина. . . Да, открыла, — повторил он без тени иронии (хотя не сомневаюсь, что стихотворение было ему известно и до «открытия»!). — Молодец Маринка!

И сразу же, как бывало в таких случаях и с Колей, он принялся вслух читать; мало того, прочтя эти короткие десять строк, немедленно прочел снова:

И рассудок, и сердце, и память губя,
Я недаром так жарко целую тебя —
Я целую тебя и за ту, перед кем
Я таил мои чувства — был робок и нем,

И за ту, что меня обожгла без огня
И смеялась, и долго терзала меня,
И за ту, чья любовь мне была бы щитом,
Да убитая спит под могильным крестом.
Все, что в сердце моем загорелось для них,
Догорая, пусть гаснет в объятьях твоих.

Каюсь, Полонский в иных стихах казался мне много-словным, вялым (не говоря, разумеется, о таких превосходных вещах, как поэма «Миазм» — о Петербурге, о петербургских каналах), но тут я почувствовал, что в этих десяти строчках гениально спрессована целая жизнь — четыре разные любви одного и того же человека, причем последняя любовь явно ущербна, пусть она и должна компенсировать, говоря ненавистным Корнею Ивановичу «канцеляритом», три предыдущие... Но более всего меня поразило, как загорелся от этих стихов Корней Иванович, только что, полчаса назад, испытывавший не слишком приятные для него минуты общения с вежливо-холодными молодыми редакторами. Нарочно ли он решил перебить досадные впечатления и для этого все твердил и твердил чем-то милые ему строчки, каждый раз выделяя, подчеркивая слова «и за ту», «и за ту»?

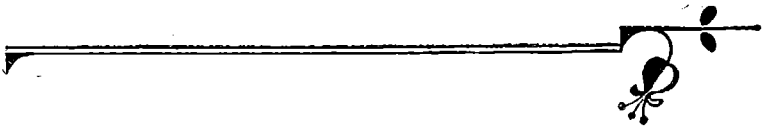
И за ту, что меня обожгла без огня
И смеялась, и долго терзала меня,
И за ту, чья любовь мне была бы щитом,
Да убитая спит под могильным крестом...

А быть может, и в самом деле им владело сейчас то бескорыстное восхищение, какое доставляют особенно нравящиеся нам стихи, музыка, картина, от которых не оторвать взгляда, слуха, души, — кто это может знать? Ясно мне было одно: до чего они с Колей в эти минуты были похожи друг на друга!

Заключительная моя глава явно разрослась, — разрослась, возможно, за счет не столь уж важных, а то и лишних деталей и эпизодов. Но кто возьмет на себя смелости сказать, что важно, а что неважно для характеристики друга? На днях я нашел записанную мной когда-то на клочке бумаги фразу: «В воспоминаниях и материальное становится духовным». И в скобках:

«Развить эту мысль». А, собственно, для чего развивать? Мысль абсолютно ясна и правильна... Вообще, когда вспоминаешь о дорогом и, казалось бы, еще так недавно живом человеке, нельзя заранее отделять главное от второстепенного: иногда в пустяке и случайной детали больше правды, чем в возведении крупноблочных массивов, якобы необходимых для увековечения сложного и безусловно масштабного существа, с которым ты общался три с половиной десятка лет, что было и увлекательно и очень непросто.

1977



ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая ВЗРОСЛЫЕ МОЕГО ДЕТСТВА

| | |
|------------------------------------|-----|
| От автора | 4 |
| Пожары | 7 |
| Старый дом и его хозяйка | 25 |
| Семейный альбом | 42 |
| Соседи | 50 |
| Гости | 69 |
| Воронцова | 88 |
| Скрипка | 102 |
| Книги | 115 |
| Уездная мозаика | 129 |
| Отец | 164 |
| Мосты | 192 |

Часть вторая ПРОСТО ВЗРОСЛЫЕ

| | |
|--|-----|
| Еще от автора | 198 |
| Стрела провеса | 200 |
| Тимирязев. Полежаев. Пиотровский | 216 |
| Черкасов | 239 |
| Вечер в «Москве» | 253 |
| Н. П. Акимов в театре и дома | 265 |
| Поздняя дружба | 298 |
| Молодые глаза | 311 |
| Старый любительский снимок | 326 |
| «Уважаемые читатели!» | 335 |
| «Дорогого стóбит» | 351 |
| Л. Пантелеев и Алексей Иванович | 358 |
| Эшелон вернулся | 365 |
| «Дедушка» | 379 |
| Путешествие с Паустовским | 386 |
| Тетка | 408 |
| «А Германия все нет!» | 419 |
| Беллетрист божьей милостью | 440 |
| Сын своего отца | 452 |

Леонид Николаевич Рахманов

ЛЮДИ — НАРОД ИНТЕРЕСНЫИ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1981 г. 496 стр. План выпуска 1981 г. № 124. Редактор *И. С. Кузьмичев*. Худож. редактор — *А. Ф. Третьякова*. Техн. редактор *Л. П. Полякова*. Корректоры *Т. С. Харыкина* и *Ф. Н. Аврунина*. ИБ № 2800. Сдано в набор 20.02.80. Подписано к печати 18.12.80. Бумага тип. № 3. Формат 84×108¹/₃₂. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 25,90. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1801. Цена в переплете № 7 1 р. 90 к. (100 000 экз.), цена в переплете № 5 1 р. 70 к. (100 000 экз.). Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр,

Красная ул., 1/3.